

БОЛЬШАЯ ИГРА • THE GREAT GAME

Василий Верещагин

СКОБЕЛЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ
О РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ
1877–1878 гг.





В.В. Верещагин



В.В. Верещагин
СКОБЕЛЕВ

*В память 130-летия подвига русских
солдат-освободителей*



РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877-1878 гг.



МОСКВА

2007

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
*Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси*
АЛЕКСИЯ II

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

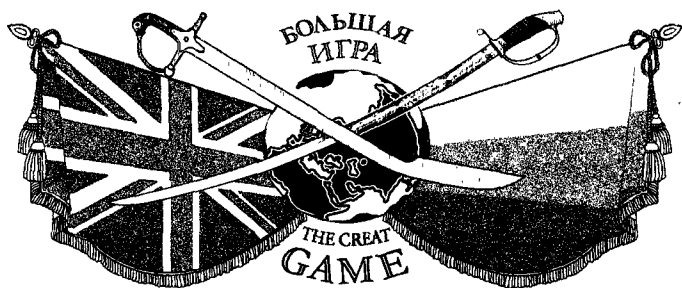
Интернет-портал
«Православная книга России»
www.pravkniga.ru

В.В. Верещагин

В 317 Скобелев. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в воспоминаниях В.В. Верещагина. — М.: «ДАРЪ», 2007. — 496 с.

ISBN 978-5-485-00152-0

Книга «Скобелев. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в воспоминаниях В.В. Верещагина» открывает собой серию «Большая игра», посвященную англо-русскому соперничеству за влияние на Ближнем и Среднем Востоке в XIX — начале XX века. Мемуары великого русского художника-баталиста и героя нескольких войн В.В. Верещагина будут интересны всем любителям русской истории.



ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящая книга открывает собой серию «Большая игра», которая будет выходить в издательстве «ДАРЪ». Профессиональным военным, дипломатам, историкам этот термин (по-английски «the great game») известен как термин, обозначающий англо-русское соперничество за влияние на Ближнем и Среднем Востоке в XIX — начале XX века. Соперничество, приведшее Россию и ее армии в Среднюю Азию, Персию, Манчжурию, Синьцзян, на Кавказ, Балканы и в Малую Азию, стало стержнем международной политики на протяжении целого столетия со времени окончания наполеоновских войн и получило свое драматическое продолжение после Великой Октябрьской Социалистической Революции в противостоянии Советского Союза и Соединенных Штатов Америки — в противостоянии военных блоков и политических систем.

Таким образом, «Большая игра» отнюдь не закончилась русско-британским договором 1907 года, подписанным ввиду растущей германской мощи. Она также не ограничивается регионом Ближнего и Среднего Востока, а также Средней Азии — эта игра охватила весь Земной шар, притом, что место Британии в роли «мирового гегемона» заняли их прямые наследники — США.

Не закончена эта игра и поныне, и уже от нового поколения политиков и военных зависит, приобретет ли она форму прямого столкновения, или будет разыгрываться по классической схеме противостояния сверхдержав XIX–XX веков — в виде холодной войны, при которой армии противоборствующих государств не ведут прямых боевых действий друг против друга.

Впрочем, будущее покажет, как будут развиваться события. Огромной зоной нестабильности на всем протяжении наших южных границ является линия, тянущаяся от Пакистана на востоке до Сербии на западе. Те территории, которые Россия стремилась контролировать в целях собственной безопасности с самого начала XIX века, вышли из-под ее контроля и подвергаются деструктивному воздействию тех же сил — англо-саксонской цивилизации. Вместо единого конгломерата экономически и политически интегрированных территорий севера и юга Евразии — к чему, пусть и не всегда

последовательно и осознанно, стремилась Россия — мы видим большей частью враждебные друг другу страны и народы, экономика и политические системы которых разрушаются под воздействием все тех же внешних деструктивных сил, которым уже двести лет противостоит Россия.

Англо-саксонское доминирование, приобретающее в последние шестнадцать лет форму американского диктата, достигается теми же способами, что и в позапрошлом веке. Те же территории подвергаются ударам с тем, чтобы с них угрожать безопасности основы евразийского «мирового острова» — России. Контроль над Афганистаном, проникновение в Среднюю Азию, вытеснение России с Кавказа, Черного моря и Балкан — все это неизменные цели англо-американской внешней политики на протяжении последних двух столетий, и можно лишь удивляться, насколько постоянно и неуклонно они воплощаются в жизнь.

В связи с этим посвященная отражению различных аспектов англо-русского противостояния серия «Большая Игра», которую планирует выпустить издательство «ДАРЬ», должна послужить весьма полезным инструментом информирования нашего общества о событиях хотя и давно прошедших, однако ничуть не утративших современного звучания. Неприкрытая русофобия, военный шантаж, локальные войны, шпионаж, заказные истерики западной прессы, провокации с одной стороны и непоколебимое мужество русских солдат и генералов при не всегда последовательно прорусской политике самих российских властей с другой — все это читатель найдет на страницах книг, которые выйдут в серии «Большая игра». В ней будет представлен как русский взгляд на внешнеполитические события, так и взгляд наших противников — англичан и американцев. Пусть, сравнив их, читатель сам сделает вывод, кто был прав...

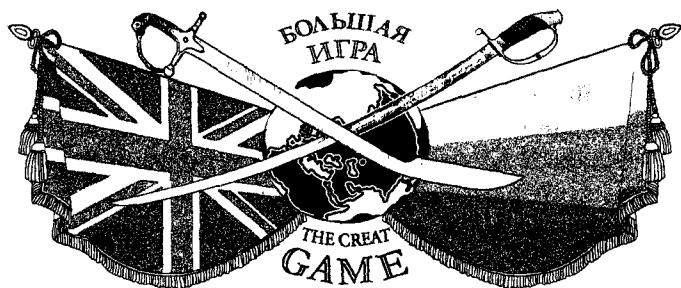
Первая книга данной серии посвящена событиям русско-турецкой войны 1877–1878 гг., 130-летие которой отмечается в этом году. Эта война — одно из крупнейших событий XIX века. Причина этого не только в масштабе военных действий, развернувшихся одновременно на двух фронтах в Европе и Азии, и числе участвовавших в сражениях войск. Главное значение этой войны в том, что ее результатом стало окончательное освобождение балканских народов, получивших возможность выйти на путь свободного национального развития. В первую очередь это относится к Болгарии, получившей независимость после 500-летнего турецкого господства.

Древняя Болгария, в IX в. просвещенная светом Христианства, стала родиной православной славянской книжности, составившей органичную часть древнерусской культурной традиции. Однако начавшееся в XIV в. многовековое господство чуждого по религии и культуре государства наложило тяжелый отпечаток на последующую историю болгарского народа. Сумев сохранить свою веру, язык и обычаи, болгары не раз поднимали восстания, жестоко подавлявшиеся турками. И вот наступил момент, когда

суждено было сбыться давним надеждам на заступничество «деда Ивана», как называли болгары русских. Войска Российской империи, перейдя Дунай, вступили в схватку с турками, пядь за пядью освобождая от захватчиков болгарскую землю. В этой жестокой борьбе болгарское народное ополчение, сражавшееся под руководством русских генералов, проявило подлинное мужество и героизм. В боях на территории Болгарии участвовали и румынские войска. Военное братство православных народов сыграло едва ли не большую роль в победе над врагом, чем планы военных и комбинации политиков. Оковы векового рабства были разбиты. Ценой десятков тысяч жизней русских героев болгары получили независимость. Последнюю русско-турецкую войну XIX в. болгарский народ по праву и с гордостью назвал Освободительной.

И горько видеть в наше время, как память русских героев подвергается забвению, а их благородный подвиг принижается разглагольствованиями о неких политических дивидендах, которые с их помощью якобы нажила Россия для использования в своей геополитической игре с Западом. Политиканство и демагогия, подкуп правящей элиты и «выкручивание рук», двойная мораль и лицемерие — все это инструменты из арсенала совсем другой «политической культуры», заботящейся лишь о соблюдении собственных интересов... Стоит только изумиться, до какого совершенства можно довести умение обращать к своей выгоде несчастья других и переворачивать с ног на голову любую ситуацию. Что же касается России, то ее народы всегда платили собственной кровью за свою и чужую свободу, и не их вина в том, что вместо благодарности они подчас получали (и получают) оскорбления и упреки. Стоит, вероятно, задуматься, а надо ли и дальше быть столь же бескорыстными в общении с теми, кому данное чувство оказывается чуждым?

Книга великого русского живописца и героя нескольких войн В.В. Верещагина — редкий по своим художественным и историческим достоинствам памятник эпохи. Читая правдивые строки о той жестокой войне, мы вновь вспоминаем наших героев, рядовых солдат и офицеров, верой и правдой служивших Отечеству. Реалист Верещагин не принадлежит к числу любителей красивой фразы и романтических вздохов. Его наблюдательный ум суров и вместе с тем полон ответственности и боли за Россию. Чуждый ложного, «квасного» патриотизма, он вызывал немало критики со стороны поверхностно мыслящих людей, не способных увидеть глубокий трагизм войны как узаконенного массового убийства. Но право на философское осмысление кровопролития как действия, глубоко противного человеческой природе, он заслужил своими военными подвигами и несгибаемой верой в Отечество.



ВЕРЕЩАГИН И ВОЙНА*

...Выполнить цель, которую я задался, а именно: дать обществу картины настоящей, неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека, а нужно самому все прочувствовать и проделать, участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытывать голод, холод, болезни, раны... Нужно не бояться жертвовать своею кровью, своим мясом — иначе картины мои будут «не то».

В.В. Верещагин

Великий русский художник Василий Васильевич Верещагин (14.10.1842–31.03.1904)** прославился не только как живописец, но и как мыслитель и общественный деятель, положивший все силы своего многообразного таланта на алтарь служения Отечеству. Поразительное мужество характера, доставшееся ему по наследству от предков (в роду Верещагиных было немало военных), а также полученное образование (юный Василий окончил Александровский малолетний кадетский корпус и Морской кадетский корпус в Петербурге — с отличием) сделали из него человека долга, преисполненного чувства ответственности перед своим народом. Это позволило ему, уже известному художнику, не только участвовать едва ли не во всех крупных военных кампаниях его времени наравне с кадровыми офицерами, но и принести немало пользы Русской армии своим опытом, наблюдательностью, острым умом. Пользуясь дружбой со многими высокопоставленными сановниками и генералами, Верещагин, не стесненный

* При составлении очерка использованы материалы монографий: *Лебедев А.К., Солодовников А.В.* Василий Васильевич Верещагин. Л.: Художник РСФСР, 1987; они же. В.В. Верещагин. М., Искусство, 1988.

** Здесь и далее все даты приводятся по старому стилю.

сословными и карьерными соображениями, всегда мог открыто выразить свой взгляд на события, дать подчас нелицеприятную, но, как правило, беспристрастную, оценку тем или иным лицам и обстоятельствам. Взгляды Верещагина отличают непреклонное стремление к истине, трезвое, но искреннее отношение к людям и стойкая неприязнь ко всем формам бесчеловечности, главной из которых он считал войну.

Верещагин обладал независимым и свободолюбивым характером. Отказавшись от уготованной ему военной карьеры (что стоило ему разрыва с семьей, гордившейся дворянскими традициями), он не принял и консервативных порядков Академии художеств в Санкт-Петербурге (которую покинул в 1863 г., незадолго до известного «бунта четырнадцати» во главе с И.Н. Крамским), предпочтя нелегкую стезю самостоятельного творчества. Молодой художник отправился на Кавказ, где много рисовал, пробавляясь случайными заработками... Наконец, полученное от дяди наследство, приложенное к трудолюбию и упорству, позволило талантливому живописцу-мыслителю выпрямиться во весь свой могучий рост. Пройдя неполный курс в парижской Академии художеств, Верещагин к 25 годам закончил формальное образование, достигнув немалых успехов. Впоследствии художник продолжал учиться всю жизнь, проделав огромную работу по совершенствованию своего мастерства.



Верещагин — гардемарин.

Как известно, у Верещагина нет могилы: пройдя через три большие войны — в Средней Азии, на Балканах и на Дальнем Востоке, — он упокоился в водах Желтого моря вместе с адмиралом С.О. Макаровым, когда флагманский броненосец «Петропавловск» подорвался на японской mine. До этого судьба щадила героя, не раз смело смотревшего в лицо смертельной опасности: в 1868 г. при осаде самаркандской крепости войсками бухарского эмира пуля расщепила ствол ружья у него на груди (за мужество в этом сражении Верещагин, 26-летний прапорщик в отставке, приехавший «на этюды», получил орден Св. Георгия Победоносца 4-й степени); на Дунае, оказавшись, как всегда, на переднем крае войны, он был серьезно ранен в правое бедро и перенес тяжелые страдания.





**1 В.В. Верещагин. Александр II под
Плевной 30 августа 1877 г.
(Царские именины). 1878-1879.
60,5 × 202 см. Государственная
Третьяковская галерея**

**2 В.В. Верещагин. Пикет на Дунае.
1878-1879. 120 × 200,5 см.
Киевский музей русского искусства**

**3 В.В. Верещагин. Шпион.
1878-1879. 100 × 76 см.
Киевский музей русского искусства**







В.В. Верещагин.
Перед атакой. Под Плевной.
1881. 179 × 401 см.
Государственная Третьяковская галерея



В.В. Верещагин.
После атаки. Перевалочный пункт
под Плевной. 1881. 183 × 402 см.
Государственная Третьяковская галерея





В.В. Верещагин.
Победители. 1878-1879. 180 × 301 см.
Киевский музей русского искусства



В.В. Верещагин.
Побежденные. Панихида.
1878–1879. 180 × 300,5 см.
Государственная Третьяковская галерея



В.В. Верещагин.

Дорога военнопленных (Дорога в Плевну). 1878–1879. Бруклинский музей, США



В.В. Верещагин.

Привал военнопленных. 1878–1879. Бруклинский музей, США



В.В. Верещагин.

Пикет на Балканах. Ок. 1878. 47 × 38 см. Киевский музей русского искусства



В. В. Верещагин.
Шипка — Шейново (Скобелев под Шипкой: «Именем отечества, именем государя, спасибо, братцы!»). 1878–1879. 147 × 299 см. Государственная Третьяковская галерея





В.В. Верещагин.
Два ястреба (Башибузук). 1878–1879. 78,5 × 110 см.
Киевский музей русского искусства



В.В. Верещагин.
Представляют трофеи... 1872. 240,8 × 171,5 см.
Государственная Третьяковская галерея



В. В. Верещагин.

*Двери Тамерлана (во дворце бухарского эмира в Самарканде).
1872. 213 × 168 см. Государственная Третьяковская галерея*



1 В.В. Верещагин.
Афганец. Этуд. 1867–1868. 41,5 × 26,8 см.
Государственная Третьяковская галерея

2 В.В. Верещагин.
Смертельно раненный: «Ой, убили, братцы!.. Убили!... Ой, смерть моя пришла!..» 1873. 41,5 × 26,8 см.
Государственная Третьяковская галерея

3 В.В. Верещагин.
Высматривают. 1873. 81 × 103 см.
Государственная Третьяковская галерея

4 В.В. Верещагин.
Парламентеры: «Сдавайся!» — «Убирайся к черту!» 1873. 58,4 × 74 см.
Государственная Третьяковская галерея







В.В. Верещагин.
У крепостной стены: «Тсс!.. Пусть войдут...»
1871. 95 × 160,5 см.
Государственная Третьяковская галерея



В.В. Верещагин.

У крепостной стены: «Вошли!» 1871. Не сохранилось



В. В. Верещагин.

*«На Шипке все спокойно!» Триптих. 1878–1879. Ч. 1: Московский центр искусств.
Ч. 2–3: Местонахождение неизвестно.*



В. В. Верещагин.

Снежные траншеи. 1878–1881. Местонахождение неизвестно



В.В. Верещагин.
Торжествуют: «Так появляется Бог. Нет Бога, кроме Бога...» 1872. 195,5 × 257 см.
Государственная Третьяковская галерея





В.В. Верещагин.
Натадают врасплох. 1871. 82 × 207 см.
Государственная Третьяковская галерея



В.В. Верещагин. Забытый. Не сохранилось





В.В. Верещагин.
Окружили — преследуют... 1872. Не сохранилось



Н. Дмитриев-Оренбургский.
Генерал М. Д. Скобелев на коне



А. Боголюбов.
Атака катером «Шутка» турецкого парохода на Дунае



А. Кившенко.
Штурм крепости Ардаган 5 мая 1877 года





П. Ковалевский.
Эпизод из болгарской войны





А. Кившенко.
Эпизод из Русско-турецкой войны



П. Ковалевский.
Сражение при реке Ломе





Н. Дмитриев-Оренбургский.
Сдача крепости Никополь 4 июля 1877 года





Н. Дмитриев-Оренбургский.
Взятие Гривицкого редута под Плевной 30 августа 1877 года



И.И. ПУШКИН



Н. Карзин.
Переправа туркестанского отряда через Аму-Дарью у Шейх-Арыка в 1873 году





Н. Карзин.
Гусарские полки приветствуют лейб-егерей





Г. Манизер.
Эпизод из русско-турецкой войны





Н. Дмитриев-Оренбургский.
Последний бой под Плевной 28 ноября 1877 года





Л.Ф. Лагорио.
Отбитие штурма крепости Баязет 8 июня 1877 года





А. Кившенко.
Сражение на Шипкинском перевале 11 августа 1877 года





А. Кившенко.
Сражение у Шипки-Шейново 28 декабря 1877 года





М. Малышев. *В Болгарии*



Н. Дмитриев-Оренбургский.
Въезд великого князя Николая Николаевича в Тырново 30 июня 1877 года

Что же заставляло служителя муз, имевшего мировую известность, покинуть свою уютную парижскую мастерскую, расстаться с начатыми полотнами — и окунуться в беспощадные жестокости войны? Лежа после ранения в бухарестском госпитале и жестоко мучаясь от раны, обострившейся из-за неграмотного лечения, Верещагин размышлял о близости смерти, спрашивал себя, зачем он по доброй воле шел на те опасности, куда другие отправлялись по долгу службы, — и отвечал сам себе: «...моя обязанность, будучи только нравственною, не менее, однако, сильна, чем их; ...выполнить цель, которую я задался, а именно: дать обществу картины настоящей, неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека...» На понимание окружающих рассчитывать при этом не приходилось: «Почти не довелось встретить военных, которые согласились с тем, что я не дурил, не блажил от безделья, а делал большое, важное дело».

Важность и значение подвига Верещагина оценили потомки. Его картины, несущие в себе повествование о невероятных страданиях и бедствиях войны, о будничном героизме и мужестве воинов, вошли в золотой фонд русской культуры. Французский писатель и политик-социалист Ж. Валлес (1832–1885) писал: «Своей палитрой, своей кистью Верещагин приносит человечеству больше пользы, чем Наполеон со своей Великой армией причинил ему зла... Чтобы искоренить зло вековых традиций, он не пытался идеализировать мир в пошлых, безвкусных аллегориях. Он просто восстановил с ужасающей точностью, с эпическим реализмом истинный образ войны: кровь, развалины, пламя, нагую гнусность резни. И за это — воспоминание о нем не изгладится из благодарной памяти народов. Василий Верещагин хорошо послужил человечеству».

Опрокинув все прежние представления о батальной живописи, художник не стремился увековечить на своих полотнах торжествующих военачальников и триумфы русского оружия. На своей первой персональной выставке, открывшейся в Петербурге в марте 1874 г., Верещагин выставил туркестанскую серию (более 120 картин и этюдов, столько же рисунков), созданную по впечатлениям от своих поездок в Среднюю Азию в 1867–1868 и 1869–1870 гг. Вход был бесплатный (только дважды в неделю собиралась плата по рублю, переданная Верещагиным на устройство народных школ в его родной Новгородской губернии). Девять парадных залов Министерства внутренних дел едва могли вместить толпы посетителей: одних только каталогов было продано 30 тыс. экземпляров (по пятаку за штуку). Невиданная популярность выставки обеспокоила власти. Незадолго до ее открытия, в январе 1874 г., вышел высочайший манифест о введении вместо рекрутских наборов всеобщей воинской повинности: отныне в ар-

мии предстояло служить всему мужскому населению Российской империи (примерно половина 20-летних юношей по жребию призывалась на срочную службу, остальные зачислялись в ополчение). Что могли увидеть будущие воины и их семьи на картинах Верещагина? Сверхчеловеческий ратный труд солдата: вот он бежит смертельно раненный, вот лежит убитый, позабытый на поле брани, вот раскуривает трубку над телом поверженного врага... Во главе слитной массы воинов — офицер, отличающийся от прочих лишь пашкой наголо, — такой же, как и все, служака войны. Не видно ни блистающих орденами полководцев на красавцах-конях, ни эффектных победных сцен, ни триумфальных торжеств, столь привычных на батальных полотнах. Суровым осуждением всех войн вообще, несущих гибель и несчастье, стала знаменитая картина «Апофеоз войны», которую Верещагин написал еще в 29-летнем возрасте, подписав: «По-свящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим».

Не этого ожидали от знаменитого живописца и георгиевского кавалера сановники и генералы. Газета «Голос» писала: «Едва ли найдется юноша, который, увидев эти дышащие правдой сюжеты, будет еще восторженно носиться с воинским героизмом и будет себе воображать войну чем-то вроде одних букетов славы, отличий и тому подобного». Раздались обвинения в непатриотичности и клевете на Русскую армию... Влиятельный публицист М.Н. Катков в «Московских ведомостях» заявил: «Картины г-на Верещагина — это эпопея Туркестанской войны, изображенная с туркменской точки зрения... Герои — это туркмены, побеждающие русских и торжествующие свою победу...» Упреки раздавались и со стороны друзей: так, знаменитый покоритель Туркестана генерал К.П. Кауфман, хороший знакомый Верещагина, публично потребовал от него признания в том, что сюжет картины «Забывтый» он взял не из жизни, поскольку ни один русский солдат не был брошен на поле боя незахороненным. Особенно возмутил «Забывтый» императора Александра II, который долго стоял перед картиной и «вопреки своей обычной мягкости очень резко выразил свое неудовольствие». Правительство отказалось приобрести туркестанскую серию (эти работы после ряда перипетий приобрел П.М. Третьяков). В ответ на обвинения в слишком вольном «сочинительстве» Верещагин вынул из рам три картины («Забывтый», «Окружили — преследуют», «У крепостной стены. Вошли»), отнес домой и сжег... Поднялся шум, за художника попытка вступить популяриный критик В.В. Стасов. Расстроенный Верещагин, не дождавшись закрытия выставки, уехал в Индию.

Власти оказались в затруднении. С одной стороны, выходило, что Верещагин сжег картины, законопослушно исполняя «высочайшую волю»; с другой — в общественном мнении он сразу же приобрел ореол

«жертвы самодержавия». Было решено оказать ему официальные знаки внимания, и уже 30 апреля 1874 г. совет Императорской академии художеств «за известность и особые труды на художественном поприще» присвоил В.В. Верещагину звание профессора (по тогдашне-



Забутый. 1871.

му статусу — самое почетное, выше академика). Отреагировал художник бескомпромиссно, отправив открытое письмо в газету «Голос»: «Известясь о том, что Императорская академия художеств произвела меня в профессора, я, считая все чины и отличия в искусстве безусловно вредными, начисто отказываюсь от этого звания. В. Верещагин. Бомбей, 1 (13) августа».

Венцом индийской серии стала обличительная картина «Подавление индийского восстания. Расстрел из пушек» (ок. 1884 г.). В своих записках художник сравнивает средневековые зверства турок с «цивилизованными» и «разумными» методами англичан. Несмотря на то что англичане действовали несколько не более гуманно, их расправы с непокорными почему-то не вызывали ужаса у европейского общественного мнения. «Во-первых, — пишет с жестокой иронией Верещагин, — они

творили дело правосудия, дело возмездия за поправленные права победителей, далеко, в Индии; во-вторых, делали дело грандиозно: сотнями привязывали возмущившихся против их владычества сипаев и не сипаев к жерлам пушек и без снаряда, одним порохом, расстреливали их — это уже большой успех против перерезывания горла или распарывания живота. Все это делалось, конечно, так, как принято у цивилизованных народов, без суеты, без явно высказываемого желания поскорее лишить жизни несчастных. Что делать! Печальная необходимость: они преступили закон и должны искупить вину, никто не должен быть вне закона... Повторяю, все делается методично, по-хорошему: пушки, сколько их случится числом, выстраиваются в ряд, к каждому дулу не торопясь подводят и привязывают за локти по одному более или менее преступному индийскому гражданину, разных возрастов, профессий и каст, и затем по команде все орудия стреляют разом. Замечательная подробность: в то время как тело разлетается на куски, все головы, оторвавшись от туловища, спирально летят кверху. Естественно, что хоронят потом вместе, без строгого разбора того, которому именно из желтых джентльменов принадлежит та или другая часть тела». В этом и заключалась «гениальная» идея казни: по представлениям индийцев, главным условием бессмертия души является погребение или сожжение тела в целостном виде; англичане со свойственным им прагматизмом позаботились лишить мятежников надежды на посмертное перевоплощение...

Любопытна реакция на эту картину самих англичан, которую Верещагин имел случай наблюдать на своих лондонских выставках: «Один старый английский чиновник, уже отдыхавший на пенсии, громко, публично сказал мне, что картина моя представляет величайшую клевету, с которою он когда-либо встречался. На мое же замечание, что это не клевета, а бесспорный исторический факт, он ответил, что «служил в Индии 25 лет, но ни о чем подобном не слышал». «Однако вы можете найти подробные описания во многих книгах». «Все книги врут», — невозмутимо ответил британец. Очевидно, продолжать спор было бесполезно. Сэр Ричард Темпл, известный деятель и знаток Индии, сказал мне, что напрасно я придавал удрученный вид одному из привязанных к жерлу пушки. «Я многократно присутствовал при этой казни, — говорил он, — и могу вас заверить, что не видал ни одного, который не бравировал бы смертью, не держался бы вызывающе...» Приятель мой, генерал Ломсден, молодым человеком участвовавший в войне сипаев и отправивший на тот свет пушками множество темнолицых героев, на вопрос мой, стал ли бы он опять так расправляться, если бы завтра вспыхнуло восстание, не задумываясь отвечал: «Certainly! And without delay!» («Конечно! И немедленно же»). Значит, и под этой моей картиной нужно подписать: сегодня, как вчера и как завтра... За последующую выставку в Лондоне



Подавление индийского восстания англичанами.

был такой случай. Какой-то почтенный господин с дамой, старушкой же, посмотрев на фотографическое воспроизведение этой картины, подошел ко мне и сказал: «Позвольте мне представиться, general so and so! (забыл его имя). Представляюсь вам как первый пустивший в ход это наказание; все последующие экзекуции — а их было много — были взяты с моей». Старушка-жена подтвердила слова мужа, и оба они так, видимо, были довольны этою славною инициативою, когда-то проявленною, что я и приятель мой, французский художник, при этом присутствовавший, были просто поражены их наивным хвастовством!»

Верещагин был уверен, что увековеченный им сюжет «проберет не только английскую шкуру», и не без прозорливости писал, что его картина «опередила буржуазные понятия на сто лет и со временем принесет мне немало чести и похвал». Стоит добавить, что позднее всемирно известное полотно было продано в Нью-Йорке с аукциона и после этого пропало бесследно...

Когда 12 апреля 1877 г. разразилась Русско-турецкая война, Верещагин тотчас отправился в действующую армию и добился зачисления в состав действующей армии: он был причислен к адъютантам

главнокомандующего (великого князя Николая Николаевича, брата императора Александра II) с правом свободного передвижения по войскам. И вновь, как и в Туркестане, Верещагин удивлял окружающих отвагой и стремлением оказаться в самом горячем месте. Получив ранение и пролежав несколько месяцев в госпитале, он вновь вернулся на поле боя и дошел до самого Константинополя. За участие в боевых действиях Верещагин был представлен командованием к награждению золотым оружием, но отказался от награды и, как только речь зашла о заключении мира, уехал в Париж, рисовать.

Через два года появилась его знаменитая «Поэма войны», вызвавшая еще большую сенсацию, чем туркестанская серия. В декабре 1879 г. балканская серия была выставлена в Париже, вызвав большой успех. Многие подписи были вызывающи: так, картина о кровопролитном третьем штурме Плевны называлась «Царские именины», триптих о замерзающем часовом — «На Шипке все спокойно!», издевательства турок над погибшими русскими воинами — «Победители». Наследник-цесаревич, будущий император Александр III, с гневом начертил: «Читая каталог картин Верещагина, а в особенности текст к ним, я не могу скрыть, что было противно читать всегдашние его тенденциозности, противные национальному самолюбию, и можно по ним заключить одно: либо Верещагин *скотина* (подчеркнуто жирной чертой — *Прим. ред.*), либо совершенно помешанный человек!» В беседе с художником А.П. Боголюбовым цесаревич заметил: «Война всегда была, есть и будет — за обиженную честь нации или за что другое, — и не пошлыми изображениями спекулятора для своей известности лечить подобные раны человечества».

Но «спекулятор» пытался лечить. В феврале 1880 г. балканская серия была выставлена в Петербурге. За 40 дней выставку посетили более 200 тысяч человек — успех превзошел все ожидания. Выставленные полотна вызвали настоящую бурю обсуждений, всколыхнув общественное мнение. Посетивший выставку с матерью 9-летний А.Н. Бенуа вспоминал на склоне лет, «какое потрясающее впечатление произвели на русское (и все европейское) общество картины Верещагина, в которых художник представил и подчеркнул нелепость и преступность войны... Таких картин никто из бывших на войне тогда не рисовал и не описывал... «Панихида» меня поразила до глубины души». Многие картины вызвали неудовольствие в верхах. Президент Академии художеств великий князь Владимир Александрович велел заменить вызывающие подписи к картинам. Император Александр II, обозрев выставку, с грустью сказал: «Все это верно, все это так было», — но автора видеть не пожелал, как отметил в дневнике военный министр Д.А. Милютин,

который сам, «обойдя весь ряд картин, вынес грустное впечатление». Но Верещагина не страшилась неприязнь двора. Своему другу Стасову он писал: «Все это — и злоба Владимира, и мнение Николая... как представителей самого ярого консерватизма — показывает, что я стою на здоровой, нелицемерной дороге, которая поймаётся и оценится в России».

Когда через два года картины Верещагина показывались в Берлине, осмотревший выставку суровый начальник германского генерального штаба фельдмаршал Мольтке, хотя и признался: «Точь-в-точь то же было и у нас» (имея в виду Франко-прусскую войну 1870–1871 гг.), осудил многие сюжеты как бросающие тень на императорскую

власть. Верещагин язвительно писал Стасову: «Солдатам и школам запрещено было ходить гуртом на мою выставку — вот-то дураки и идиоты!» Он еще не знал тогда, что прусский военный атташе в Петербурге генерал Вердер посоветовал Александру II просто-напросто уничтожить все антивоенные полотна строптивного художника...

Картины балканской серии с беспримечной правдивостью воспроизводят будни войны, тяжелые переходы Русской армии, полевые госпитали. Основную группу составляют картины, посвященные третьему штурму Плевны и сражениям под Шипкой. В трагедийном плане передана судьба турецких солдат. На недоуменный вопрос П.М. Третьякова, почему его вообще волнует судьба врагов, Верещагин отвечал: «...мы с вами расходимся *немного* в оценке моих работ и *очень много* в их направлении. Передо мною как художником *война*, и *ее* я бью, сколько у меня есть сил; сильны ли, действительны ли мои удары — это другой вопрос, вопрос моего таланта, но я бью с размаху и без пощады. Вас же, очевидно, занимает не столько вообще *мировая идея* войны, сколько ее частности...» Так и не оценив широты замыслов Верещагина, Третьяков купил только часть картин, и серия, вопреки надеждам художника, оказалась разрозненной.

Широко известный как живописец, Верещагин обладал и писательским талантом. Особый интерес представляют его военные воспоми-



Великие князя
Александр Александрович
и Владимир Александрович.

нения, как бы дополняющие его картины. Наиболее полно описаны Верещагиным события Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., в которой он принимал участие. Пользуясь своим особым статусом — полуговарданным, полугварданным — и имея множество знакомых среди военачальников, художник побывал на всех ключевых театрах военных действий, так что оставленные им записки по праву могут считаться важным первоисточником по истории этой войны, вошедшей в историю под именем Освободительной.

Читая записки Верещагина, поражаешься его отваге и хладнокровию, качествам, снискавшим ему уважение и солдат, и кадровых бое-



Верещагин в 1877 г.

вых офицеров. Немало врагов сложило голову при встрече с «бедовым штатским полковником» (как назвал его в Туркестане один казак). Стоит заметить, что именно личный героизм и безукоризненная храбрость георгиевского кавалера давали художнику моральное право со всей прямоотой высказывать свое критическое мнение о войне. Несмотря на непростое отношение к творчеству Верещагина, и император Александр II, и другие высокопоставленные лица вполне благосклонно, едва ли не покровительственно относились к нему лично, а многие высшие офицеры — среди них Скобелев и Кауфман — были его близкими друзьями. Разумеется, Верещагин, как и

всякий художник, искал популярности и ценил внимание «прогрессивной общественности» не только на Родине, но и за границей. Нельзя отрицать известную справедливость адресовавшихся ему упреков в тенденциозности: по одним лишь его картинам действительно трудно составить *вполне объективное* представление о войнах России в Азии и Европе. Отчасти это оправдывается тем, что пацифистская позиция Верещагина была в его эпоху совершенно уникальна на фоне прославления силы оружия и рассуждений об известной пользе «разговора пушек и ружей», имеющего свойство «очищать воздух»... Что же касается литературного творчества, то здесь острый и наблюдательный ум Верещагина проявляется более умеренным и взвешенным образом, делая его повествование подлинно реалистичным и объективным. По этой причине публикуемые ниже записки художника о войне служат прекрасным дополнением к его широко известным полотнам.

Перед тем как дать читателю возможность погрузиться в занимательное и не лишенное подлинного литературного мастерства повествование, считаем уместным кратко изложить основные события войны 1877–1878 гг.



Отношения России с Турцией резко обострились в 1875–1876 гг., когда вспыхнули восстания в Герцеговине, Боснии и Болгарии, в ответ на которые турки учинили расправу над мирным населением, вырезав 30 тыс. человек. Несмотря на то что это было далеко не первое и не самое кровопролитное из карательных мероприятий, обычных для агонизировавшей османской деспотии, на сей раз общественное мнение как в Европе, так и в России было взбудоражено статьями англо-американского журналиста Я. Мак-Гахана.

Осенью 1876 г. Россия начала частичную мобилизацию. После провала переговоров с турецким правительством 12 апреля 1877 г. был издан высочайший манифест о войне с Турцией. Русские войска (общей численностью 275 тыс. при 850 полевых и 400 осадных орудиях) выдвинулись через территорию Румынии к Дунаю. Еще 70 тыс. вторглись во владения Турции на Кавказе.

Первоочередной задачей русских войск было форсирование Дуная. Поскольку после Крымской войны Россия лишилась Черноморского флота, вся тяжесть задачи по обеспечению господства на Дунае легла на флотилию, наскоро сформированную из небольших катеров, оснащенных минами. Едва ли не единственным способом активно противостоять турецким судам (среди которых были и бронированные мониторы) стали так называемые шестовые мины. Атака таким устройством требовала незаурядного мужества: экипаж катера-миноноски должен был подойти почти вплотную к неприятельскому судну, ткнуть нанизанной на шест миной в его борт и, наконец, привести в действие взрывное устройство при помощи электровзрывателя... 8 июня 1877 г. миноноска «Шутка» лейтенанта Н.И. Скрыдлова атаковала пароход «Эрекли». Хотя взрыва не последовало (шквальным огнем были перебиты провода), эта акция, ставшая первой в мировой истории дневной минной атакой, позволила отогнать турецкие суда и беспрепятственно завершить минирование Дуная. Раненый Скрыдлов был удостоен Георгиевского креста. Вместе с ним в бою принимал активнейшее участие и также был ранен его старший товарищ по Морскому корпусу — Верещагин, как всегда оказавшийся в самом горячем месте.

Два героя открыли счет боевым потерям начинавшейся войны, который вскоре пошел на сотни, тысячи, десятки тысяч... Всего за время

войны Россия потеряла только убитыми в боях более 20 тыс. человек, из них 15 тыс. на Балканах (общее количество потерь с учетом вспыхнувших после войны эпидемий составило более 110 тыс.). Среди тех, кто не вернулся домой, оказался брат художника Сергей Васильевич Верещагин, ушедший на войну добровольцем и героически погибший под Плевной. Другой его брат, казачий сотник Александр, был ранен в том же сражении.

Первыми на турецкий берег 10 июня переправились у Галаца и Браилова части Нижнедунайского отряда, в задачу которого входило отвлечение основных турецких сил. Не встретив серьезного сопротивления, отряд к началу июля занял всю Северную Добруджу.

Место переправы основных сил находилось намного западнее, в районе Зимницы и Свиштова. С минимальными потерями форсировав Дунай под прикрытием минных заграждений, русские войска 15 июня вступили на турецкую территорию. Было принято решение разделить армию на три отряда. Передовой отряд, под командованием генерала И.В. Гурко, выдвинулся вперед, 25 июня занял Тырнов — древнюю столицу Болгарии и, стремительно перейдя Балканы по труднопроходимому перевалу Хаинкёй, с юга подошел к Шипке. Через Шипкинские ворота — главный перевал Балканского хребта — шла прямая дорога на Константинополь, и столь стремительный захват этого пункта застал врасплох турецкую армию.

Однако основные русские силы не могли двигаться вперед, не обеспечив безопасность дунайской понтонной переправы — тонкой нити, обеспечивавшей армии все коммуникации. На правом фланге Восточный отряд (под командованием цесаревича Александра Александровича) осадил крепость Рущук и при помощи линии укреплений по река Лом блокировал основные турецкие силы в Болгарии — 100-тысячную армию Мехмета-Али-паши, сосредоточенную в районе Шумлы (Шумена). Западный отряд генерала Н.П. Криденера должен был обеспечить правый фланг. Поначалу он добился успеха: 4 июля сдалась крепость Никополь, в плен попали 7 тыс. турок, в том числе два паши и 105 офицеров. Но вскоре произошло событие, резко осложнившее положение Русской армии. 7 июля, в тот самый день, когда передовой отряд Гурко овладел Шипкой, к городу Плевна подошел с северо-запада, из района Видина, 17-тысячный корпус Османа-паши и начал возводить редуты в горах над городом. Плевна, не имевшая укреплений, не привлекла особого внимания Криденера, занятого осадой Никополя. Но теперь, когда турки, засевшие вокруг Плевны, стали угрожать тылам Русской армии, было решено немедленно выбить их из этого стратегического пункта...

Турецкая армия, во многих отношениях уступающая русской, имела и несколько важных преимуществ. Во-первых, турки были вооружены

новыми английскими винтовками системы Генри (Пибоди), прицельно бившими на 1800 шагов, значительно дальше русских ружей (у наших шестилинейных винтовок системы Крынка прицел был нарезан только до 600 шагов, хотя били они на 1200; новые винтовки Бердана, бывшие на 1500 шагов, еще не поступили в войска), имели намного больший запас патронов и шанцевый инструмент. Во-вторых, турецкие офицеры артиллерийских и инженерных войск проходили основательную подготовку под руководством европейских специалистов, а на вооружении у них стояли орудия новейших систем, в том числе стальные с немецких заводов Круппа. Все это сказалось под Плевной. В кратчайший срок Осман-паша сумел по всем правилам фортификационного искусства укрепиться на окружавших город высотах; трижды все более и более крупные русские силы шли на приступ — безрезультатно... 8 июля против 15-тысячной турецкой группировки, уже успевшей окопаться в горах, выступил слабый отряд генерала Шильдер-Шульднера — из 8,5 тыс. участвовавших в атаке убитыми и ранеными было потеряно 2400 человек. Эта неудача заставила отказаться от немедленной переброски войск через пока еще свободный Шипкинский перевал. 18 июля на штурм был брошен уже весь IX корпус генерала Криденера (36 тыс. при 180 орудиях) — потери составили 7300 человек. Новое поражение стало серьезным испытанием для русских тылов: волна панического бегства, вызванного ложной тревогой, едва не смела дунайские коммуникации. Верещагин писал: «Будь турки более подвижными, армия наша могла бы быть в лучшем случае прогнана за реку, а в худшем — потоплена в ней». Было решено стянуть под Плевну все силы Западного отряда, призвав на помощь молодую румынскую армию (всего более 80 тыс. человек и более 350 орудий). В течение нескольких дней турецкие позиции обстреливались из артиллерии, но пушки оказались бессильны против земляных укреплений. Наконец 30 августа, на именины императора, Русская армия при поддержке румынских войск двинулась на штурм турецких укреплений (к этому времени Осман-паша усилил свою группировку до 50 тыс.), чтобы в конце концов отступить, потеряв 16 тыс. человек (из них около 3 тыс. потеряли румыны)... Катастрофа «третьей Плевны», произошедшая на глазах Александра II, лично прибывшего под Плевну в сопровождении румынского князя Карла, произвела крайне тяжелое впечатление на армию и на всю страну.

Едва поправившийся Верещагин, ковыляя с больной ногой, и здесь оказался в гуще событий. В день штурма он находился среди высочайших особ и генералитета, с возмущением наблюдая полное отсутствие координации между войсками и верховным командованием.

Известие о «полном провале» атаки, полученное от случайного иностранца — американского военного агента Грина, — тут же повергло всех в уныние; царственные особы ретировались, главнокомандующий опустил руки... Как выяснилось позже, американец просто-напросто дезинформировал русский штаб. На деле в кровопролитном сражении был достигнут определенный успех: русско-румынские части заняли крупный Гривицкий редут, а генералу Скобелеву удалось захватить стратегическую позицию вблизи Плевны; однако парализованное дезинформацией командование оставило его отряд без поддержки, и Осман-паша, бросив против него все свои силы, на следующий день отбил «скобелевский» редут. Цена слепого доверия «иностранному специалисту» оказалась высока: под угрозой была поставлена судьба всей военной кампании... Великий князь — главнокомандующий высказался за незамедлительный отвод войск обратно за Дунай; однако император предпочел дожидаться резервов и взять Плевну измором.

На кавказском театре военных действий также сложилась тревожная обстановка. После первых успехов, когда были взяты крепости Баязет (17 апреля) и Ардаган (5 мая) и блокирован крупный город Карс, русские войска под напором свежих турецких сил перешли к обороне. Во время героической обороны Баязета против 15-тысячной армии Фаик-паши отличился капитан Штоквич, возглавивший 1,5-тысячный гарнизон крепости; воины получали по одной ложке воды в день, когда 28 июня генерал А.А. Тергукасов пришел на помощь осажденным.

Пока русские войска не могли справиться с укреплениями Плевны, 21 августа переброшенная из Черногории турецкая армия Сулеймана-паши подошла с юга к Шипкинскому перевалу и предприняла несколько отчаянных попыток прорваться на помощь к Осману-паше. Но героическая оборона Шипки, которую вел отряд генерала Радецкого и болгарское ополчение под командованием генерала Столетова (всего 6 тыс. при 27 орудиях), сдержала натиск противника, потерявшего только во время первого приступа (9–14 августа) более 7 тыс. человек. С наступлением осени в горах начались жестокие холода и положение защитников Шипки стало крайне тяжелым. Число обмороженных доходило до 300–400 человек в день. Турки вели непрерывный артиллерийский обстрел наших позиций.

Неудачи под Плевной поколебали, но не сломили боевой дух русских войск. Генерал Гурко выдвинулся во главе с новоприбывшими из России гвардейскими частями на софийском направлении, откуда Осман-паша продолжал получать провиант и подкрепления и куда мог прорваться из окружения. Чтобы замкнуть кольцо блокады, предстояло

взять несколько мощных укреплений. Наиболее кровопролитным стал бой на редуте Горный Дубняк (12 октября), при взятии которого потери гвардейцев составили 3500 человек; в тот же день еще 1300 лейбегерей полегли, пытаясь овладеть редутом Телиш. Горечь этих потерь усугублялась тем, что оба редута можно было бы попытаться принудить к сдаче одним лишь артиллерийским огнем (так вскоре и был взят Телиш). Верещагин, прибывший на место вскоре после сражения, был потрясен картиной тысяч тел геройски погибших русских воинов, раздетых и изувеченных турками...

Героизм русских солдат в значительной мере деморализовал турецкие войска. Отряд Гурко, невзирая на зимние холода, стремительным натиском перешел Балканы, занял Софию и погнал турок к Филиппополю. Тем временем в Плевне 28 ноября сдался Осман-паша, раненный при попытке вырваться из окружения. Попавшие в плен 43 тыс. турок в больших количествах умирали от голода и холода, не доходя до Дуная. Верещагин, посетивший Плевну после сдачи, с ужасом описывает дорогу, буквально устланную окоченевшими телами... В Закавказье турки также терпели неудачи: после сражения при Аладже (1–3 октября) русские войска штурмом взяли Карс (6 ноября) и вышли к Эрзуруму.

Затянувшаяся осада Плевны грозила приостановить кампанию. Шипкинский перевал был блокирован стоящей под Шейново турецкой армией, а преодолеть Балканы в других местах в разгар зимы не представлялось возможным. Но не так считал генерал Михаил Дмитриевич Скобелев, будущий герой шипкинского сражения. Он настоял на реализации плана генерала Радецкого: обойти Шипку с востока и запада и ударить по турам под Шейново с фронта и флангов. В тяжелых условиях Скобелев, а с ним и Верещагин, переправился с колонной через горы по проложенному в снегах коридору западнее Шипки; с востока перевал обошла колонна князя Святополк-Мирского. 27–28 декабря совместная атака русских сил привела к окружению и сдаче 30-тысячной турецкой армии. Дорога через Балканы была свободна.

После того как в начале января генерал Гурко разбил под Филиппополем армию Сулеймана-паши, на пути Русской армии к Константинополю практически не осталось регулярных турецких войск. В этих условиях было особенно важно не упустить захваченную инициативу и не позволить туркам вновь собраться с силами. Для решения этой задачи Скобелев выдвинул передовой отряд кавалерии под командованием Александра Петровича Струкова. Нетрудно догадаться, что Верещагин не преминул присоединиться к своему старому другу.

Неспешный, но планомерный и прекрасно организованный бросок небольшого по численности отряда увенчался сдачей Адрианополя — «второй столицы» Османской империи.

Во время мирных переговоров в Мраморном море неожиданно объявилась эскадра английских броненосцев... (первая информация об этой «демонстрации» в главном штабе была получена через посредство Верещагина). Как известно, русские войска остановились в Сан-Стефано, всего в 20 км от Константинополя. Достижение многовековой цели русской политики — освобождение Царьграда — было в тот момент как никогда близко! Константинополь, фактически беззащитный, лежал перед русскими войсками на расстоянии одного дневного перехода. Отсутствие решимости в русском командовании, противоречивые приказания императора и опасения реакции со стороны Англии, Австрии и Германии не дали России разрешить восточный вопрос в свою пользу.

Условия подписанного в Сан-Стефано мира были благоприятны для братских народов. После 500-летнего турецкого ига была возрождена болгарская государственность, Румыния обрела окончательную независимость и контроль над устьем Дуная, Сербия и Черногория получили существенные территориальные приобретения. Все это стоило России больших людских и материальных потерь. В то же время никаких ощутимых приобретений для себя великая православная держава, имевшая исторические права на территории вплоть до Дуная и моральные — вплоть до Константинополя включительно, не получила.

Максимальную выгоду из столкновения на Балканах двух могучих держав вынесла, как обычно, Британская империя. Англичане постарались, чтобы кровопролитие было как можно более серьезным: одной рукой снабжая Турцию оружием и боеприпасами, другой они подливали масла в огонь антитурецкой истерии в России. Двуличную игру самого «передового» государства XIX в. прекрасно понимали многие. Показательна сцена, описанная Верещагиным. Беседуя с турецкими парламентарями, генерал Струков заметил: «Не забывайте, что у нас есть общий враг, тот, который обещаниями довел вас до теперешнего положения и бросил на произвол судьбы». «Это верно», — отвечал Сервер-паша со слезами на глазах... Англия смогла использовать гибель русских и турецких солдат для достижения своих целей. Уже в 1885 г. английский посол в Константинополе сэр Вильям Уайт писал английскому послу в Петербурге сэру Роберту Мориеру следующее: «Что касается принятого нами образа действий, то я уверен, что Вы одобрите его. В будущем европейская Турция, до Адрианополя по крайней мере, должна принадлежать христианским народам... Мы

подвергались постоянным обвинениям со стороны России в том, что являемся главным препятствием освобождения христианских народов от европейской Турции. Причины для такого особенного образа действий с нашей стороны, по счастью, перестали существовать; мы имеем теперь возможность действовать беспристрастно и постепенно, с надлежащими одержками применять ту политику, которая прославила Пальмерстона в отношении Бельгии, Италии и т.д. Русские принесли много жертв для освобождения Греции, Сербии и княжеств. Но они потеряли все свое влияние в Греции, Сербии и Румынии. Одна только Черногория осталась верною и благодарною... В настоящее время они теряют Болгарию... Эти только что освобожденные народы желают дышать свежим воздухом, но не через русские ноздри»*. Вместо Османской империи, поддерживать существование которой для Англии становилось все менее выгодным, между Россией и заветным Царьградом, дававшим ей выход к Средиземному морю, появилась череда несамостоятельных «независимых» государств, которые тут же стали инструментом антироссийски настроенной европейской политики и впоследствии всегда выступали против России. Чего стоит пример освобожденной в 1878 г. Болгарии: эта страна, появившаяся на свет ценою рек русской крови, умудрилась оказаться противником России едва ли не во всех войнах XX века, а ныне торопливо примкнула к военному блоку, который постаринке именуется Североатлантическим, но интересы свои простирает все дальше и дальше на восток...

Для более полного представления о боевом опыте и взглядах В.В. Верещагина в качестве приложения приводятся его записки о войне в Средней Азии, замечания относительно состояния военного дела в России, а также проницательные наблюдения о духовном состоянии и тревожных перспективах современного ему европейского общества.

В конце книги приведены краткие биографии главных героев, упоминаемых В.В. Верещагиным.

«Как мало, как поверхностно мы изучаем историю!» С горечью следует признаться, что это восклицание Верещагина справедливо и в отношении нашего поколения. Пусть же данная книга послужит скромным вкладом в дело восстановления памяти о великой истории нашего Отечества.

П.В. Кузенков

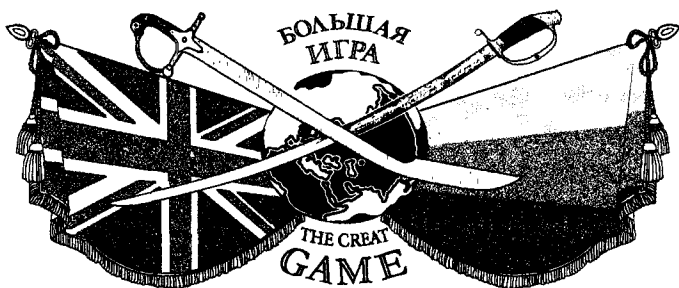
* Вандам А. Наше положение. СПб., 1912; цит. по кн.: Неуслышанные пророки грядущих войн. М., 2004. С. 114. Прим. 2.



РУССКО- ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА

1877-1878 гг.

В ВОСПОМИНАНИЯХ
В.В. ВЕРЕЩАГИНА



НА ВОЙНЕ 1877—1878 гг.*

Знакомый уже с характером азиатских кампаний, я хотел познакомиться и с европейскою войною, ввиду чего приятель мой, бывший генеральный консул в Париже Кумани, своевременно списался через нашего общего знакомого барона Остен-Сакена с начальством главной квартиры собранной в Бессарабии армии, и мне предложено было состоять при особе главнокомандующего.

Турецкий поход. На Дунае

Приехав в Кишинев и переодевшись в плохонькой гостинице, я пошел в главную квартиру. Добрый генерал Галл представил меня г-дам Непокойчицкому, Левицкому и др., а также, к большому моему удивлению, молодому генералу Скобелеву. «Я знал в Туркестане Скобелева», — говорю ему. «Это я и есть!» — «Вы! Может ли быть, как вы постарели; мы ведь старые знакомые». Скобелев порядочно изменился, возмужал,

* Текст приводится по изданию: На войне: Воспоминания о Русско-турецкой войне 1877 г. художника В.В. Верещагина, со многими рисунками автора и снимками с его картин. М.: Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1902. — Здесь и далее все сноски — примечания редактора.

принял генеральскую осанку и отчасти генеральскую речь, которую, впрочем, скоро переменял в разговоре со мною на искренний, дружеский тон.

Он только что приехал. Над его двумя Георгиевскими крестами, полученными в Туркестане, подсмеивались и говорили, что «он еще должен заслужить их». Я хорошо помню, что эта последняя фраза понравилась в главной квартире и повторялась, так же как и высказанная одним молодым уверенностью, что «этому мальчишке нельзя доверить и роты солдат».

Узнав, что я пойду вперед вместе с отцом его, Михаил Дмитриевич просил ему передать о скором своем приезде — он был назначен начальником штаба к отцу Дмитрию Ивановичу Скобелеву, командовавшему передовою казачьею дивизией, — назначение, не особенно почетное для генерал-майора с Георгием на шее, командовавшего перед этим областью и небольшою армиею!



Отряд Скобелева-отца состоял из полка донцов и полка кубанцев в одной бригаде, полка владикавказцев и осетин с ингушами в другой. Первой бригадой командовал полковник Тутолмин, неглупый, добрый человек, истый кавалерист, большой говорун; второй — полковник Вульферт, георгиевский кавалер за Ташкент, куда он первый вступил при штурме.

Насколько Тутолмин любил говорить речи, настолько Вульферт любил молчать.

Полковыми командирами были: у донцов Денис Орлов, живой и симпатичный, хороший товарищ; у кубанцев Кухаренко, сын известного на Кавказе генерала, сам имевший вид бравого кавказца, оказавшийся впоследствии болезненным, нервным. Владикавказцами командовал полковник Левис, полурусский, полушвед, толстый, красный, добродушный и бравый, — словом, претипичный воин. Его интересно было наблюдать на лагерной стоянке, когда, гуляя с заложенными назад руками

около своей палатки, он очень часто заходил в нее, опрокидывал в рот рюмку, снова гулял, снова прикладывался и т. д. Полковой командир ингушей и осетин — русский фигурой и фамилиею, кажется, Панкратьев.

Я помещался в хате со стариком Скобелевым. У него была таратайка и пара лошадей, на которой мы выезжали утром,



Генерал Д.И. Скобелев.

по выступлении войск. Догнав отряд, Скобелев надевал огромную форменную папаху, садился на лошадь, объезжал полки, здоровался с офицерами и казаками и затем опять садился в таратайку, причем папаха отправлялась под сиденье, а на смену ее вытаскивалась красная конвойная фуражка. Дмитрий Иванович командовал несколько лет тому назад конвоем его величества и носил конвойную форму. Когда мы подъезжали к деревням, он не забывал откидывать борты пальто и открывал свою нарядную чер-

кеску, обшитую широкими серебряными галунами. Румыны везде дивовались на статного, характерного генерала. Я помню, что во время осмотра казаков главнокомандующим в Галаце Скобелев-отец поразил меня своею фигурой: красивый, с большими голубыми глазами, окладистою рыжею бородою, он сидел на маленьком казацком коне, к которому казался приросшим. Он говорил мне, что в нем много литовской крови.



Дорогою мы обыкновенно или рассказывали что-либо друг другу, или Дмитрий Иванович рассуждал с кучером Мишкою

о худо подкованной пристяжной, о ненадежной вожже или шине у колеса и т.п., чаще же всего спорил с ним, бранился, угрожал отправить его домой, а с переходом через границу даже и выпороть, так как «законы теперь уже другие», — но угрозы эти так и оставались угрозами, что кучер Мишка очень хорошо знал. После, когда в отряд прибыл Михаил Скобелев, часто трудно было различить, о ком говорит, кого Дмитрий Иванович зовет — Мишу-сына или Мишку-кучера.

Мы ехали часто довольно далеко впереди войск; на полпути, выбрав хорошее место для роздыха войск, останавливались, добывали пресного или кислого молока, если по близости было какое жильё или поселение, и затем, с подходом офицеров, завтракали чем-нибудь холодным.

Я забыл упомянуть еще о трех постоянных членах нашего общества: капитане Генерального штаба Сахарове, с широким, сильно татарского типа лицом, исправлявшем при отряде должность начальника штаба, умном и остроумном человеке; штабс-ротмистре Дерфельдене, адъютанте главнокомандующего, состоявшем при отряде от его лица, славной русской натуре, несмотря на немецкую фамилию; наконец, штаб-ротмистре гатчинских кирасир Лукашеве, исправлявшем должность адъютанта штаба, если не ошибаюсь.

При отряде была и артиллерия Донского войска, но командир батареи держался отдельно, между своими офицерами. Командиры полков второй бригады так же, как и сам Вульферт, редко бывали с нами, потому что они шли сзади на один переход и являлись к Скобелеву только тогда, когда догоняли нас на дневках.

Нечего и говорить, что завтраки наши на лугу, под деревьями или под навесом румынской хаты были очень оживленны и веселы. После отдыха сигнал выступления, и затем снова наша таратайка, а за нею и отряд двигались вперед.

Мы останавливались иногда по дороге порасспросить и поболтать со встречным крестьянином или крестьянкою, причем сами немало смеялись нашим усилиям дать себя понять. «Вы не умеете, — говорил мне иногда Дмитрий Иванович, —

дайте я объясню», — и вправду, иногда добивался ответа. Раз мы свернули с дороги к румыну, пасшему стадо баранов, сначала обезумевшему от страха при виде генерала, но потом уверившемуся в наших мирных намерениях. Скобелев хотел купить барашка *на племя*, как он выражался. Отставив руки недалеко одна от другой, он начал блеять тоненьким голоском: «Бя! Бя-я!» Крестьянин понял, продал барашка и долго улыбался нам вслед. Мы возили этого барашка в тарантасе, но он вел себя так дурно и запакостил нас, что был сдан в обоз.



С приходом отряда в назначенное по маршруту место в хате, занимаемой Скобелевым, готовился обед. Условие было такое, что сам Д.И. поставляет провизию и повара, Тутолмин вино, Сахаров, если не ошибаюсь, чай и сахар, а мне предложено было заботиться о сладком, т.е. изюме, миндале, орехах и т.п. Скобелев всегда сам приготавливал салат, причем от беспрерывного пробования вся борода его покрывалась салатными листьями.

Для супа он посылал часто повара тихонько утащить молодых виноградных листочков из ближнего виноградника.

Случалось, однако, что обед почему-либо заставлял себя ждать, тогда мы старались убить время всяким вздором и шутками. Сочинялись стихи: «к повару», «к обеду», а затем и вообще приуроченные к обстоятельствам — к походу, к погоде и т.п. Вот, например, стихи, сочиненные на артельном начале; в них грехи четверых: самого генерала Скобелева, полковника Тутолмина, капитана Сахарова и штабс-ротмистра Дерфельдена:

Скобелев — Не стая воронов слетается,

Тутолмин — Чуя солнышка восход,

Сахаров — Генерал в поход собирается

Дерфельден — И кричит: «Давыд Орлов!»

А вот мои вирши, не оконченные, потому что Д.И. попросил прибавить что-нибудь о порядке и стройности в отряде, чем убил мое вдохновение, разумеется к лучшему:

Шутки в воздухе несутся,
Песни громко раздаются,
 Все кругом живет,
 Все кругом живет.
Старый Скобелев с полками,
Со донскими казаками
 В Турцию идет,
 В Турцию идет.
Тут же тянутся кубанцы,
Осетины-оборванцы;
 Бравый все народ,
 Бравый все народ.
Артиллерия тащится,
Может в деле пригодиться.
 Как знать наперед,
 Как знать наперед.
А в тылу у всех драбанты,
Писаря и медиканты,
 Словом, всякий сброд,
 Словом, всякий сброд...

Предположение продолжать, как сказано, не состоялось. После обеда, перед чаем, опять разговоры и шутки, а часто и песни, которым не брезговал подпевать басом и сам генерал. Песни очень любил Тутолмин; он так старательно вытягивал нотки, что иногда закрывал глаза от удовольствия, особенно когда пелась одна его любимая, солдатская, с припевом:

Будем жить — не тужить
И царя благодарить!

И еще:

Будем жить — не тужить,
И я буду вас любить!



Спать ложились рано, так как вставать приходилось очень рано.

На одной стоянке только что мы легли было спать, как раздалась выстрелы и за ними общая тревога. Наскоро одеваясь,

спрашиваю Скобелева, что бы это могло быть. «Турки», — отвечает он. В несколько минут отряд был на ногах. Как назло, казак затерял уздечку моей лошади, и я поспел выехать позже всех. Темнота была хоть глаз выколи! Проехав через какие-то канавы и буераки и едва не свалясь с лошади, я добрался до построившегося уже отряда. Раздаются негромкие голоса: «Где артиллерия? Артиллерия сюда! Кубанцы вправо!» Слышу, зовет генерал: «Василий Васильевич! Где Василий Васильевич?» Я присоединился к штабу.

Послали разъезд, и что же оказалось? Какому-то еврею-маркитанту, остановившемуся здесь ночевать и в темноте порядочно струсившему, вздумалось придать себе бодрости несколькими выстрелами из револьвера. Казаки, особенно Орлов, просили позволения хорошенько отодрать плетками этого героя, не давшего всему отряду выспаться, но я заступился и предложил дать ему только по нагайке за каждый выстрел; это было принято, и еврей получил только три нагайки, но, кажется, здоровые!



По большим деревням казаки располагались в домах, а в стороне от селений — в палатках. Вообще, войско держало себя прилично, хотя и не обходилось без жалоб: там казак стянул гуся, там зарезали и съели барана так ловко, что ни шкуры, ни костей нельзя было доискаться; бывали даже жалобы, хотя и редко, на то, что казак «бабу тронул».



«Бабу тронул».

Шли мы с большими предосторожностями, как бы в неприятельской стране, с разъездами по сторонам, которые Скобелев называл «глазами». Хотя некоторые из офицеров и подтрунивали над этими

предосторожностями, но так как нельзя было поручиться, что какая-нибудь шальная партия черкесов, переправясь темной ночью через Дунай, не набедокурит, не напугает всю окрестность, то, может быть, предосторожности эти были нелишние. Хотя мы еще были далеко от Дуная, но жители кругом ввиду постоянных слухов о переправе неприятеля то там, то сям через Дунай были в сильнейшей тревоге.



Солдатские палатки.

И офицеры, и казаки в отряде вели жизнь скромную: ни больших кутежей, ни сильной игры не было. Помнится мне пирушка у Кухаренко, командира Кубанского полка, что-то такое праздновавшего, кажется, день своего рождения. Орлов явился с полудюжиною доброго донского, последнею, как он уверял; потом, однако, явилась еще полудюжина, уже окончательно последняя, и едва ли не отыскалась еще третья, уже совсем, совсем последняя.

Главным интересом праздника была давно возвещенная жеребятина, которую К. собирался нас угостить. Мне случилось в Туркестане есть лошадь, но жеребенка не едал.

Подали. «Го-о-оспода! — протянул Кухаренко, порядочно заикавшийся, — п-о-ожалуйте ж-ж-жеребенка!» На блюде какие-то громадные котлеты, ребра с несколько синеватым мясом. Все попробовали; мне мясо понравилось, но большинству нет: кто ел мало, а кто и совсем оставил тарелку.

Подали второе блюдо. «Го-о-оспода, кто н-не желает ж-жеребятины, в-вот п-о-ожалуйте б-а-аранинки!» Принялись за баранину, слышались голоса С. и других: «Вот это другое дело, это мясо...» Когда все наелись, Кухаренко опять затянул: «Не в-в-в-зыщите, г-г-господа, о-о-оба блюда б-были ж-ж-жеребятина!..»

Подали второе блюдо. «Го-о-оспода, кто н-не желает ж-жеребятины, в-вот п-о-ожалуйте б-а-аранинки!» Принялись за баранину, слышались голоса С. и других: «Вот это другое дело, это мясо...» Когда все наелись, Кухаренко опять затянул: «Не в-в-в-зыщите, г-г-господа, о-о-оба блюда б-были ж-ж-жеребятина!..»



У меня не было ни лошади, ни повозки, и всем этим надобно было завестись. Решено было, что достанет все сотник Венков, командир одной из кубанских сотен, умеющий добывать все, всегда и везде. Генерал познакомил меня с ним. «Это можно», — отвечал тот; и на другой же день я получил рыжего коня, хотя с бельмом на одном глазу, но доброго, хорошо видевшего и одним глазом, а главное, недорогого, за 70 рублей, что по тогдашним ценам на лошадей было недорого.

Позже, в Бухаресте, В. добыл мне и повозку с лошадьёю, за 400 франков, от русского поселенца, скопца. Для повозки Скобелев дал мне пешего донского казака Ивана, а для моих поездок молодого осетина Каитова.



Вскоре подъехал к нам молодой Скобелев. Перед ним прибыли его лошади. Одна, подаренная ему отцом, кровная английская выводная кобыла, уже довольно старая, была разбита на ноги; другая, белый жеребец персидской породы, была при некоторых хороших статьях чуть ли не уродом в общем. Третий конь — хивинский, золотистый туркмен, далеко не из лучших туркменских лошадей.

О молодом генерале в отряде уже слышали, и меня, как его знакомого, часто спрашивали, что он за человек. Я всем отвечал, что он храбрый, хороший офицер.

Отношения отца и сына Скобелевых были дружественные, но мне казалось, что Дмитрию Ивановичу не совсем приятен был Георгий 3-й степени Михаила Дмитриевича, в то время как у самого у него был только 4-й. При этом отец, отчасти как бывший кавказец, относился иронически к военным заслугам Михаила Дмитриевича в Туркестане, войны которого он называл *бараньими*. Помню, что раз за столом мне пришлось крепко заступиться за молодого генерала, так что старый даже надулся. Вообще же М.Д. своими военными рассказами,

так же как планами и предположениями для предстоявшей кампании, несколько нарушил ровный, патриархальный строй нашей походной жизни.

Помнится, молодой Скобелев строил такое множество планов перехода через Дунай и всех войск, и отдельных частей, предприятий для нападения врасплох на турецкие пикеты, батареи и проч., планов и предприятий, которые он постоянно по секрету сообщал то тому, то другому из старших офицеров отряда, что многих привел в совершенное недоумение. «Он какой-то шальной, — говорил мне Сахаров, — чуть не каждый час новый план; возьмет под руку — «знаете, что я вам скажу», — и начнет, и начнет, да такую чушь!»

Как искренно любивший Скобелева, я посоветовал ему быть воздержным и осторожным. Он очень интересовался знать, какое произвел впечатление в отряде, на что я и сказал ему, что его молодость, фигура, Георгиевские кресты и проч. бесспорно произвели известное обаяние, но он должен остерегаться разрушить его надоеданием всем со своими проектами, как бы они ни казались лично ему практичными и удобоисполнимыми. Михаил Дмитриевич горячо поблагодарил за это. «Это совет истинного друга», — сказал он мне.



Подойдя к Бухаресту, мы не вошли в самый город согласно конвенции; к отряду выехал полковник Бобриков, бывший наш военный агент в Константинополе, вместе с несколькими румынскими офицерами, и обвели нас кругом предместьями, в одном из которых, в стороне Дуная, мы разместились. В отряде очень недовольны были этим и находили условие не проходить городами унижительным, с чем, пожалуй, можно было и не согласиться.

Лишь только части расположились, как старику Скобелеву дали знать, что главнокомандующий проездом в Бухаресте и остановился в доме консула Стюарта. Почтенный Дмитрий Иванович так обрадовался этому, что как сидел на кровати,

так и вскинул ноги кверху, совсем вертикально. Он поехал верхом со своим значком из голубого шелка с большим белым крестом, который шел по Румынии впереди отряда, и имел с главнокомандующим объяснение по поводу одного обстоятельства, бывшего потом причиною потери им командования отрядом.

Я ездил по городу с молодым Скобелевым и, признаюсь, немного совестился его товарищества: встречным барыням, особенно хорошеньким, он показывал язык!

Скобелев скучал бездействием; видно было, что ему не хотели доверить отдельного командования, и он сильно горевал о том, что не остался в Туркестане, где теперь, по слухам, готовилась демонстрация против Англии; мысль о походе в Индию не давала ему покоя. «Дураки мы с вами вышли, что сюда приехали», — говорил он оставившему вместе с ним службу в Туркестане капитану Маслову, тоже крепко порывавшемуся назад. Я советовал Михаилу Дмитриевичу не торопиться сетованиями. «Будем ждать, Василий Васильевич, — говорил он, — *я умею ждать и свое возьму*». Маслову я советовал связать свою судьбу с судьбою Скобелева, который, как можно было быть уверенным, действительно сумеет занять свое место. Жаль только, что это случилось поздно, что его молодость так долго служила ему помехою и такому рысаку не было хода, — исход кампании был бы другой.

Скобелев-отец угостил нас всех обедом в гостинице «Гюк», где и я остановился на время нашего роздыха в Бухаресте. Гостиница порядочная, недорогая, как говорится, делавшая дела за это время; впрочем, не было, вероятно, человека в Бухаресте, который так или иначе не пользовался бы от русских; трактирщики же и содержатели гостиниц просто, должно быть, наживали состояния в это бойкое время.

В Бухаресте я познакомился с полковником Паренцовым, настоящим начальником штаба нашего отряда, должность которого исполнял Сахаров. Теперь он состоял при другом деле и не намеревался, по-видимому, присоединиться к нам.

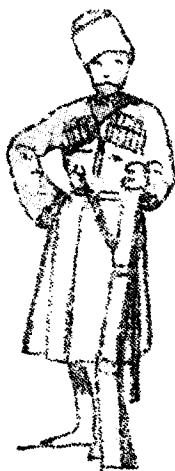
Будучи обязан поставлять для нашей столовой артели сладости, я обегал все лавки в городе, но, кроме дрянного изюма и твердого чернослива, ничего не мог найти — все было раскуплено. Как ни стыдно это было, а пришлось угощать добрых товарищей по походу этою гадостью.



Донской казак.

Кажется, после двух дней роздыха мы выступили далее в старом порядке. Один день шли впереди донцы, другой — кубанцы, большею частью с песнями и казачьей музыкой, хотя не всегда гармоничною, но громкою и залихватскою. Так и представляется мне при воспоминании об этой музыке офицер, заправлявший ею в Кубанском полку (забыл его имя): статный, красивый, огромного роста, он собственноручно дирижировал ударами в турецкий барабан, и какими ударами! — нельзя было слушать их иначе как на почтительном расстоянии.

Войска, как и прежде, останавливались, где было место — по хатам, а где нет — в палатках, только была бы поблизости вода. Мы всегда добывали себе домишко, когда крестьянский, когда помещичий. Иногда заходили с Д.И. погулять в расположенные по соседству усадьбы, где, в отсутствие хозяев, охотно все показывали, угощали нас дульчесами, т.е. вареньем с неизменным стаканом воды. Раз остановились в большом помещичьем доме, очень просторном и удобном; но отряду в эту ночь было не сладко: сколько ни разыскивали, не нашли подходящего сухого места и казаки принуждены были поставить палатки на топком грунте;



Кубанский казак.

на беду, еще погода была сырая, моросил все время дождик; помнится, здесь обвиняли начальника отряда в том, что он слишком пригоняет место лагеря войск к месту собственной остановки.

Отсюда Д.И. Скобелев был временно вызван по начальству. За время отсутствия отца Скобелев-сын командовал отрядом. Как же и рад он был объехать казаков и сказать им: «Здорово, братцы!» Он уже жаловался мне, когда я сдерживал его новые поползновения проситься назад в Туркестан: «Думаете вы, Василий Васильевич, мне легко не иметь права поздороваться с людьми после того, как я водил полки в битву и командовал областью?..»

Казаки увидели разницу между сыном и отцом; слышно было, как говорили: «Вот бы нам какого командира надо». Старик Скобелев это узнал потом и рассердился. «Он не может быть на этом месте, потому что я на нем», — говорил он мне. Не знаю почему, старого Скобелева называли все пашою; Сахаров даже называл его Рыгун-пашою за то, что он часто и громко рыгал.

Казаки певали часто пародию на известную солдатскую песню «Было дело под Полтавой», начинавшуюся стихом: «Было дело под Джунисом», сложенную на тот же голос нашими добровольцами в Сербии. Между прочим, стих:

Наш великий император,
Память вечная ему... и т.д.

был пародирован так:

Наш великий М...е,
Чтобы черт его побрал,
Целый день сидел в резерве,
Телеграммы отправлял!

Старый Скобелев часто слышал эту песню и никогда не обращал внимания на нее; молодой в первый же день своего короткого командования сказал казакам: «Братцы, прошу вас не петь эту песню: в ней осмеиваются наши братья, храбро дравшиеся за славянское дело!» — это было справедливо; к

тому же и помянутый с насмешкой М., прекрасный, истинно русский человек, стоил скорее похвалы, чем порицания за свою деятельность в Сербии.

Михаил Дмитриевич успел осведомиться о пище людей и некоторых других порядках в отряде, что тотчас же сделалось известным нижним чинам и дало молодому генералу популярность. Помню, он был до того нервен, что поминутно бил шпорами лошадь и дергал ее; я сказал ему, чтобы он не делал этого хоть перед все замечающими казаками.

Скоро мы пришли к Фратешти, близ станции железной дороги этого же имени, откуда открылся Дунай далекою, серебристою, сверкающею на солнце полосою. Так как отряд должен был расположиться вдоль реки, — о переходе его еще не было и речи, — то я надумал съездить ненадолго в Париж, если разрешат. В пути испортились некоторые из моих художественных принадлежностей — однажды при падении вещей помялись краски и полотна, — приходилось или поскорее выписать, или съездить самому; я предпочел последнее и, сказавшись Скобелеву, в тот же день уехал на станцию, откуда через Бухарест в Плоешти, где в это время была главная квартира. Главнокомандующий любезно отпустил меня, посоветовав только осторожность в разговорах с французами.



Ровно через двадцать дней я вернулся. Главная квартира в это время была оченьлюдна и шумна, так как государь император уже прибыл в армию. Вечером в тот же день я переехал в Журжево, где стоял Скобелев со своею дивизиею, и на следующее утро был разбужен пушечною пальбою; прибежал казак от начальника дивизии звать меня: турки-де бомбардируют Журжево, пожалуйте.

Приезжаю на берег Дуная; день прекрасный, ясный: Руцук как на ладони со своими фортами, белыми минаретами и дальним лагерем. Д.И. Скобелев со штабом сидит под плетнем дома, выходящим на реку. Турки бомбардируют, как оказывается,

не город, а купеческие суда, собранные перед городом между берегом и маленьким островком, на которых, по их предположениям, должны были переправиться наши войска; это были прекурьезные барки, конструкции прошлого столетия, и надобно было иметь очень дурное мнение о переправочных средствах русских войск, чтобы предположить себе их плывущими в турецких берегах на этих галерах.



Вид Рущука.

Пока неприятель еще не пристрелялся, несколько гранат упало в крайние городские дома, и какой же там поднялся переполох! Все бросились с самыми необходимыми вещами в руках на другой конец города. Я пошел на суда и поместился на среднем из них наблюдать, с одной стороны, кутерьму в домах, с другой — падение снарядов в воду. Вон ударила граната, за нею другая в длинное казенное здание, что-то вроде складочного магазина, служившее теперь жильем полусотне кубанских казаков; по первой гранате, ударившей в стену, они стали собирать вещи, но по второй, пробившей крышу, повысыпали, как тараканы, и, нагнув головы, придерживая

одною рукою кинжал, другою папаху, бегом, бегом, вдоль стен, в улицу.

Некоторые гранаты ударяли в песок берега и поднимали целые земляные не то букеты, не то кочны цветной капусты, в середине которых летели вверх воронкою твердые комья и камни, а по сторонам — земля; верх букета составляли густые клубы белого порохового дыма.

Гранаты падали совсем около меня; когда турки пристрелялись, лишь немногие снаряды попадали на берег, большинство ложились или на суда, или в воду, между ними и перед ними. Два раза ударило в барку, на которой я стоял, одним снарядом сбило нос, другим, через борт, все разворотило между палубами, причем взрыв произвел такой шум и грохот, что я затрудняюсь передать его иначе как словом *адский*, хотя в аду еще не был и, как там шумят, не знаю. Грохот этот, помню, выгнал на верхнюю палубу двух щенят, исправно принявшихся играть и только при разрывах останавливавшихся, наостривавших уши, и — снова давай возиться.

Интереснее всего было наблюдать падение снарядов в воду, что подымало настоящие фонтаны, превысокие.

Когда показывался дымок, делалось немного жутко; думалось: «Вот ударит в то место, где ты стоишь, расшибет, снесет тебя в воду, и не будут знать, куда девался человек».

Турки выпустили пятьдесят гранат, потом замолчали; результат этой бомбардировки был самый ничтожный.

— Где это вы были, — спрашивают меня, — как же вы не видели такого интересного дарового представления?

— Я его видел лучше, чем вы, потому что был все время на судах.

— Не может быть! — отвечали все в голос.

— Пойдемте туда, посмотрим аварии, — сказал Скобелев.

Мы обошли суда, осмотрели поломки, но собачек не нашли уже: спрятались ли, испугавшись, или их сбило в воду?

Порядочно-таки досталось мне за мои наблюдения; некоторые просто не верили, что я был в центре мишени, другие

называли это бесполезным браверством, а никому в голову не пришло, что эти-то наблюдения и составляли цель моей поездки на место военных действий; будь со мною ящик с красками, я набросил бы несколько взрывов.



Отряд держал пикеты по Дунаю на большом пространстве. На левом фланге, в Малороше, — донские казаки Орлова; в центре, до деревни Малы-Дижос, — кубанцы; далее, до деревни Петрошан, — осетины.

Сначала я съездил к донцам, в Малорош; они выстроили себе образцовую вышку для наблюдений, очень рассердившую турок, которые начали обстреливать казаков, что в свою очередь Орлову не понравилось; гранаты попадали в коновязь и так пугали и разгоняли лошадей, что их не скоро разыскивали. Пробовали отвечать из наших донских пушчонок, но они не доносили, и, чтобы не срамиться, перестали стрелять. За бытность мою в лагере казаки под руководством саперов рубили фашины для закрытия. Я повидал Грекова и других знакомых офицеров. Греков по обыкновению цвел и краснел... от белого вина.



Близ самого Журжева возводились батареи. Мы ходили вместе с обоими Скобелевыми смотреть их постройку, и старик заметил саперному офицеру, что надстилку над землянками он делает слишком легкою. Молоденький офицер щеголевато приложил руку к козырьку и ответил: «Для турок довольно, ваше превосходительство». Скоро оказалось, что эта оценка была далеко не верна.

Немного далее от города, у первой деревни Слободзеи, возводилась еще батарея, кажется, осадных орудий, долженствовавших хватать на девять верст: тут работал дельный полковник Плющинский.



Городишко Журжево продолжал жить обычною жизнью, местами еще более обыкновенною деятельною; правда, очень многие повыхали в ожидании бомбардировки, и особенно прибрежные дома были пусты, но далее, в глубь города, на площадях и по улицам, толпилось всегда много народа, торговля шла бойко; гостиницы и трактиры были просто переполнены офицерством, кутившим на все лады — и в одиночку, и толпами, с прекрасным полом и без оногo. Разгул доходил до безобразия, до забвения приличий. Помню, зайдя раз вечером с Сахаровым и другими офицерами в трактир поужинать, мы застали там пьяную компанию, снявшую с себя сабли, фуражки, а некоторые даже и сюртуки, и одевшую в них гулявших с ними девчонок — это в общей-то зале!

Наша молодежь, помянутый С.Л. и другие часто ходили в какой-то сад слушать арфисток и до того нарасказывали Скобелеву о приятностях времяпрепровождения там, что старик, не желавший компрометировать важность начальника дивизии прямым посещением этого рая, решил заглянуть туда обиняком: видели, как он подлезал и высматривал через забор, и смеялись же потом над ним! Но он отнекивался, уверял, что это был не он, а кто-нибудь другой.



Еще в Бухаресте я познакомился у М.Д. Скобелева с известным корреспондентом «Daily News» Мак-Гаханом, а позже в Журжеве виделся с Форбсом, приезжавшим в штаб отряда, не помню, с каким-то сообщением. Я один говорил по-английски и, переводя, старался, помню, смягчить убийственно холодный прием и ответы, встреченные им у нас. Сам я, чтобы не навлечь на себя нареkanie в потворстве «коварным англичанам», избегал при встречах на улице вступать с ними в разговоры, что, признаться, было очень совестно; видно было,

что Форбс чувствовал общую к нему подозрительность и старался заискивать, быть любезным.



Сам начальник дивизии помещался в небольшом домике на набережной, куда мы собирались ежедневно к обеду. Здесь присоединялся к нам князь Цертелев, бывший секретарь посольства в Константинополе, теперь поступивший урядником в Кубанский полк и состоявший при Дмитрие Ивановиче. Михаил Скобелев, хотя уже был теперь утвержден начальником штаба отряда, редко жил с нами, а больше пребывал в Бухаресте, куда его привлекали преимущественно женщины всевозможных национальностей, со всей Европы собравшиеся на жатву. И что за пиры, что за разгул стоял теперь в этом городе! От прапорщика, в первый раз имевшего при себе 300 рублей, до интенданта, бросавшего десятками тысяч, — все развернуло, все распахнуло славянскую натуру, кутило, ело, пило — пило по преимуществу!

У Михаила Дмитриевича в это время сплошь и рядом не было ни гроша, так что он перехватывал, где что было можно, и в особенности, разумеется, пробовал теревить отца, тугого и неподатливого на деньгу. Один раз, когда молодой послал к старому попросить денег, тот дал ему четыре золотых, что вывело М.Д. из себя. «Ведь я лакеям на водку больше даю», — сказал он с сердцем; по правде сказать, в такое бойкое время ему не хватило бы никаких денег.



Я часто гулял со старым Скобелевым по аллеям бульвара. Раз он мне говорит: «Пойдемте смотреть, как поведут шпиона». Мы сели на лавочку против дома, в который вошли полковник Паренцов и адъютант главнокомандующего; перед крыльцом поставили спереди и с боков по два солдата. Мы сидели, ждали

долго, и я было хотел выйти посмотреть процедуру обыска и допроса, но Скобелев удержал.

Вот, однако, они вышли на крыльцо: впереди шпион, руки в карманы пиджака: мне, дескать, наплевать, я не виноват; однако когда он увидел солдата, то, очевидно, понял, что дело серьезно, на несколько секунд приостановился, глубоко вдохнул воздух и... начал спускаться с лестницы.

Это был барон К., австрийский подданный; действительно ли он был шпион — не знаю, но, вероятно, нашли у него что-либо компрометирующее, так как малого отправили в Сибирь, и только через два месяца по заступничеству воротили — напрасно, уж лучше бы совсем не посылать.



Еще в главной квартире, перед поездкою в Париж, я встретился с лейтенантом гвардейского экипажа Скрыдловым. Он отправлялся тогда на рекогносцировку Дуная и звал меня в Малы-Дижос, место расположения Дунайского отряда гвардейского экипажа. Сообщил он мне также, что готовится атаковать на своей миноноске один из турецких мониторов, и звал идти под турку вместе; я принял приглашение на том условии, что он даст честное слово показать мне картину взрыва. Случай был единственный, упускать его не следовало.

Вскоре, по возвращении в Журжево, я поехал в гости к морякам, жившим в части деревни, наиболее удаленной от берега, так как динамит и пироксилин, которыми они начиняли свои пироги, должны были содержаться в возможной безопасности от турецких выстрелов.

Скрыдлов был вместе со мною в Морском корпусе, на два года младше по классу; мы вместе плавали за одну кампанию на фрегате «Светлана». Когда я был фельдфебелем в гардемаринской роте, он состоял у меня под командою; и распекал же я, помню, его, беднягу, в особенности за постоянные разговоры и перешептыванья во фронте, от чего ему, видимо по живости характера, трудно было удержаться.



Лейтенант гвардейского экипажа
Н.И. Скрыдлов.

Я поместился с ним и его товарищем Подъяпольским в домике их на краю большой грязной площади. Обедали мы иногда в общей офицерской столовой, а чаще варили что-нибудь у себя; прислуживал матрос-денщик, добрый детина, смешивший нас своими неуклюжими повадками. Мы спали на крыльце домика под пологами, так как комары в это время года (конец мая) были презлые.

С первого же дня я посвящен был словом и делом в великий секрет обоих товарищей. Дело

в том, что, когда гвардейский экипаж уходил из Петербурга, владелец известного английского магазина, бывший их поставщик, предложил отряду в напутствие ящик хересу, который Скрыдлов взялся доставить на Дунай. Доставить-то он доставил, но, кроме Подъяпольского, никому покамест об этом ящике не заикнулся, и приятели потягивали себе хересок, оказавшийся недурным, да угощали своих гостей, до поры до времени, конечно, пока *все* не узнали о проделке и не отняли ящик, значительно, впрочем, облегченный, так как и Скрыдлов и Подъяпольский были не дураки выпить...

На той же площади деревни жил начальник всего минного отряда капитан 1 ранга Новиков, очень бравый офицер, украшенный еще в севастопольскую кампанию маленьким Георгием. Первый раз я видел его на обеде у одного важного в армии лица, которое спросило его, за что он получил крест. «Пороховой погреб взорвал», — отвечал Новиков таким густым басом, что все просто изумились. Тот же бас, хотя и не столь высокой пробы, раздавался в занимаемом им домишке. Мы ходили к нему пить чай и с интересом прислушивались и присматривались к его словам и распоряжениям, стараясь по

ним угадать, скоро ли начнется давно ожидаемая закладка мин в Дунай для защиты переправы, которая должна была начаться немедленно за тем.

Новиков был неутомим; храбрый и толковый, он имел только два заметных недостатка: во-первых, всех, без разбора, оглушал своим пушкообразным голосом, во-вторых, мины называл бомбами; и то и другое, впрочем, охотно всеми прощалось ему за его доброту и простоту обращения.



Несколько раз ездили мы со Скрыдловым по исполнению разных возложенных на него поручений. По Дунаю ездили, разумеется ночью, ставить вехи для обозначения пути, по которому должны были следовать миноноски при закладке мин. Дунай был сильно разлит еще, и по затопленному низкому берегу миноноски не везде могли проходить, так как некоторые из них сидели довольно глубоко. Надобно было проследить и указать вехами фарватер речонки, впадавшей в Дунай; по ней-то предполагалось следовать с минами.

Так как приказано было никак не беспокоить турок, не возбуждать их внимания никакими работами и по возможности усыплять их бдительность, то мы выехали, когда уже почти стемнело, и к утру вехи были поставлены; но с расчисткою фарватера речонки, загороженного при устье солидными сваями, долго провозились и так и не кончили в этот раз. Пробив покамест небольшой проход для шлюпки, мы проехали в самый Дунай, отчасти для того, чтобы побравировать, а отчасти для проверки, есть турки на острове при стоявшем там карауле или нет. Тихо, едва опуская весла в воду, пробирались мы мимо густых ивовых деревьев; всякий внезапный шум, всплеск рыбы, крик ночной птицы заставляли нас вздрагивать; мы пристали к острову, погуляли и уверились, что турок на нем нет, хотя они, видно, были там недавно, косили траву. Мы проехали Дунаем; турецкий берег был совсем близко. Течение так сильно, что трудно было подаваться вперед, и скоро,

чтобы не мучить людей и не привлечь внимания неприятеля, С. поворотил назад: к утру мы были дома, и мичман Нилов, помощник Скрыдлова, бывший с нами этот раз, поехал еще на следующую ночь и, окончательно развалив запруду, прочистил путь — прочистил, не прочистив, потому что это место задержало потом весь минный отряд.

Другой раз мы ездили по берегу с секретным поручением, данным Скрыдлову ко всем частям войск, содержащим посты на Дунае. Мимо наших кубанцев, владикавказцев, осетин проехали до Зимницы, где держали посты гусары, не помню, какие именно.



В Парапане я познакомился с генералом Драгомировым, проезжавшим по делу приготовления к переправе; осведомившись о том, не корреспондент ли я, и получив отрицательный ответ, он начал говорить о ходе дела так свободно, разумно и логично, что удивил нас, т.е. меня, Скрыдлова и Вульферта, у которого мы остановились. Драгомиров пользовался и пользуется большою популярностью и теперь считается одним из лучших боевых генералов нашей армии.



Генерал М.И. Драгомиров.

Офицеры, в обществе которых мы останавливались и обедали, были чрезвычайно любезны с нами, хорошо кормили и исправно снабжали переменными лошадьми; впрочем, Скрыдлов, может быть, не прочь был бы, чтобы к последней исправности прибавилось немного и выбора: как нарочно, ему доставались такие россинанты, что на последнем переезде от гусар к казакам он всю дорогу должен был бить своего долговязого

гнедого коня, а еще неприятнее было то, что, несмотря на старание ехать по-английски, т.е. подпрыгивать на стременах, он стер себе до крови тело. «Ты вот как ездил», — учил он меня, подпрыгивая на стременах, и целую неделю потом профессор мой едва ходил. Известно, что женщины и моряки — самые смелые и неукротимые ездоки.

Я написал этюд Дуная и одного из казацких пикетов на нем, но вообще работал красками немного; ездил в Журжево, ходил к казакам и иногда бродил смотреть работы минеров или ездил со Скрыдловым пробовать машину и ход его миноноски «Шутка». Чтоб опять-таки не обращать на себя внимание турок, надобно было ездить или с заходом солнца, или в дурную погоду и не дымить, не давать искр, для чего брался только лучший уголь: турки не знали и не должны были знать о существовании у нас целой паровой флотилии.



Один раз, довольно поздно, мы вышли в очень бурную погоду. Ветер так усилился, что при возвращении, против течения, «Шутка» не могла выгрести. Мутный Дунай страшно разбушевался, причем благодаря сильному дождю в нескольких шагах ничего не было видно, и это навело Скрыдлова на мысль привести в исполнение давно задуманное дело атаки одного из турецких мониторов, стоявших перед Руцуком. Мы знали, что один стоит перед фортами, а другой — правее, за островком, и так как по стуку в продолжение нескольких дней можно было догадаться, что около последнего строили *кринолин* или какую-нибудь подобную защиту, то должно было рассчитывать на возможность подойти только к первому. В такую погоду, конечно, была возможность подойти почти незамеченным почти вплоть. «Пойдем, хочешь?» — спрашивал Скрыдлов. «Пойдем, я готов...» Вышло, однако, то, что мы не пошли. «Дело не в том, — говорил в конце концов Скрыдлов, — чтобы уничтожить у турок один лишний монитор, а чтобы заложить мины и дать возможность навести

мост для переправы армии; ввиду такой важной цели неблагоразумно, пожалуй, преступно рисковать одною из лучших миноносок, которых у нас мало. Как ты думаешь?» «И то дело», — отвечал я.

Мы решили пристать к берегу, но так как непогода все застилала перед глазами, то ошиблись — приткнулись не туда, очень далеко от нашей деревни, и только к ночи добрались до дому. Интересно, что на том мысу, к которому мы пристали, стоял пикет из трех казаков, так глубоко спавших, завернувшись в бурки, что мы насилу растолкали их, и будь тут вместо нас партия черкесов, они, как бараны, были бы перерезаны. Я сказал об этом сотенному начальнику, взяв, однако, с него предварительно слово не взыскивать на первый раз.



Этот сотенный командир, стоявший в Малы-Дижосе, был К.П. Венков, тот самый всезнающий и вездесущий офицер, которому Скобелев поручил купить мне лошадь и повозку. Я довольно близко познакомился с этою своеобразною личностью и частенько бывал у него.

Когда я приходил, он прежде всего спрашивал: не хочу ли я борщу? А ну, так чаю? И, уже не дожидаясь ответа на второй вопрос, приказывал *заварить*. Какой у него был чай, с каких плантаций — неизвестно; достаточно того, что он сильно окрашивал воду и что Кузьма Петрович считал его *хорошим*. Ложечки, однако, не водилось, и хотя хозяин всегда приказывал Щаблыкину (денщику) «подать ложечку, помешать», но тот, зная уже, как понимать это, отправлялся к плетню, вынимал кинжал и вырезал аккуратный прутик. К.П. сам пил всегда вприкуску, экономно, и оставшийся кусочек бросал назад в сахарницу со всеми отпечатками пальцев на нем.

Разговор мой, да, вероятно, и всякого другого посетителя, с К.П. начинался обыкновенно его вопросом: «Что, не слышать, скоро ли переправа?» — затем переходил к слухам о мире, неизвестно откуда, до начала еще военных действий, к

нему доходивших, причем К.П. каждый раз также не забывал, более или менее конфиденциально, разузнавать о том, как лучше, вернее и выгоднее пересылать домой деньги и можно ли посылать золото не особенно гласно.

Дом свой Кузьма Петрович, очевидно, очень любил, и чем дальше затягивался поход, тем чаще и настойчивее доходили до него все тем же неведомым путем слухи о близком мире. Он много рассказывал о своем хуторе близ Ставрополя, о старшем сыне Кузьмиче, его раннем уме и развитии. Рассказывал об охоте на зайцев и лисиц по первому снегу, для чего раздобыл гончую Милку, которую, впрочем, предлагал мне в подарок каждый раз, что я бывал у него, отчасти, вероятно, потому, что она ему оказывалась не нужна, отчасти ввиду того, что не предвиделось скоро конца кампании, а нужно было кормить пса, возиться с ним.

Рассказывал также В. о делах против горцев, в которых он участвовал на Кубани, причем не рисовался, никаких геройских подвигов не выдумывал, а прямо сознавался, что в таком-то деле он, спасая свою жизнь, утекать, что совсем не считается постыдным у казаков в силу правила, что коли ты сильнее неприятеля, тогда души, круши его, но если он тебя сильнее, тогда спасайся, и чем быстрее, тем лучше, — казачьи понятия о храбрости не те, что солдатские.

К.П. оказался и музыкантом: один раз, позванные к нему со Скрыдловым и еще двумя морскими офицерами, мы застали его в меховом бешмете заправляющим хором песенников со скрипкою в руках. Хотя и видно было, что рука, управлявшая смычком, брала больше смелостью, чем умением, но ведь на нет и суда нет, говорит пословица.

Речь К.П. была всегда ровная, покойная, так же как и его взгляд, куда-то как будто рассеянно направленный. И обращение с казаками тоже больше ровное, без брани, которая приберегалась лишь для самых экстренных случаев, хотя казаки и держатся правила, что «брань на ворота не висит».

К.П. просто боготворил свою лошадь, небольшого вороного кабардинца, ездил всегда на другом коне, а этого только

кормил и холил до того, что он был совсем круглый, как наливное яблочко; он говорил, что *таких* лошадей не сыщешь теперь и в Кабарде, и уверял, что не отдаст ее ни за какие деньги, что не помешало ему впоследствии продать мне ее за 300 с лишком рублей, хотя больше 100—150 она не стоила. Словом, Кузьма Петрович был тип выслужившегося из урядников казацкого офицера, не особенно храброго, но и не труса, — и та и другая крайность между казаками редкость, — без всякого образования, но очень смышленного, себе на уме, сумеющего найтись во всяком положении, раздобыться провиантом и фуражом там, где его, по-видимому, вовсе нет, лихо порубить отступающего врага и — не без чести — отступить перед наступающим...



Скрыдлов сообщил мне под секретом, что видел у Новикова бумагу из главной квартиры, в которой высказывалось неудовольствие главнокомандующего на медленность приготовлений, которою задерживается наведение понтонов (уже совсем готовых) и переправа всей армии. Значит, на этих днях должны пойти, хотя нет еще угля, нет того и другого... Сообщил также, что он и Х. назначены атаковать неприятельские мониторы, в случае если бы те вздумали мешать работать, — значит, взрыв монитора можно будет видеть.

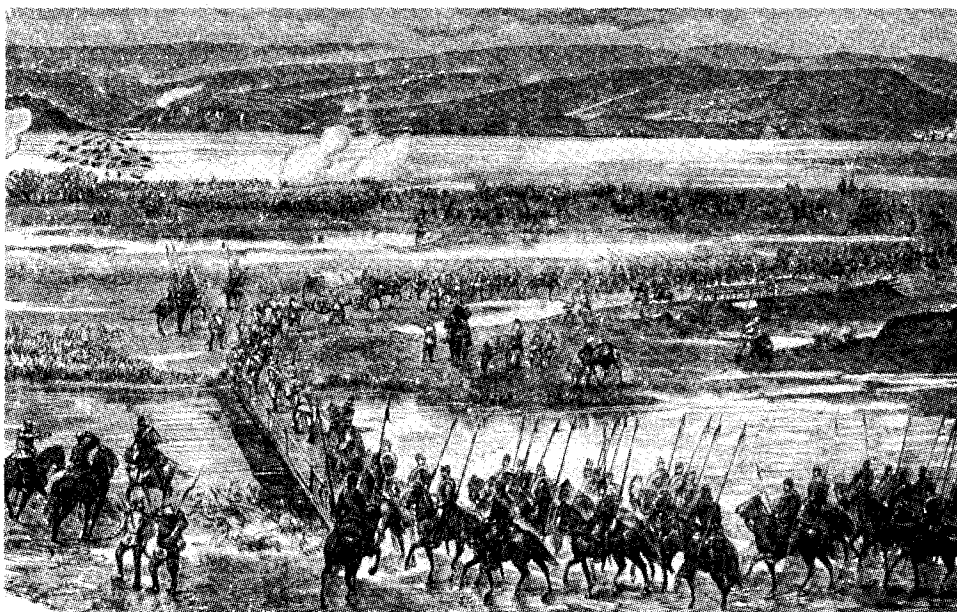
Далее, однако, он сообщил, что Новиков не хочет брать с собою никого из посторонних, к составу отряда не принадлежащих, что, следовательно, мне нужно будет переговорить с отцом-командиром теперь же, что я и сделал.

Модест Дмитриевич сначала казался непреклонным и все советовал мне смотреть с берега — это за три-то версты, — однако сдался-таки наконец, и мы занялись приготовлениями к походу под турку: сварили несколько куриц, взяли бутылку хересу (*все* уже проведали про него и отняли ящик), взяли хлеба и проч. чуть не на неделю; я взял бумаги и мой маленький ящик с красками, которым, однако, не суждено было выглядывать на свет Божий.



Накануне нашей экспедиции я получил телеграмму через старого Скобелева: «Художнику Верещагину немедленно следовать со стрелковою бригадою. Скалон».

Сначала я ничего не понял, но потом, съездив в Журжево, разобрал в чем дело: давно уже просил я Дмитрия Антоновича Скалона, управлявшего канцелярией главнокомандующего, дать мне возможность видеть переправу и для этого вовремя прицепить меня к самой передовой части; теперь стрелковая бригада выступила к Зимнице — значит, где-нибудь там



Переправа у Зимницы.

готовилась переправа... Так как движение бригады по ночам — днем войска не двигались, чтобы не будоражить турок, — потребовало бы не менее двух суток, то я рассчитал, что успею побывать с моряками при закладе мин, а потом догнать генерала Цвейцинского с его бригадой.

Я зашел в домишко, в котором были сложены мои вещи, чтобы захватить наиболее нужные, и, перебирая их, почувствовал

маленькую неловкость: было немного жутко при мысли, что турки не останутся хладнокровны к тому, как Скрыдлов будет взрывать их, а я смотреть на этот взрыв и что, по всей вероятности, мины наши нас же самих первыми и поднимут на воздух — зато же я увижу взрыв монитора!

Простившись с моею квартирною, осмотрев лошадей, между которыми был новый, беленький иноходец, купленный недавно за 25 золотых, я пошел повидать некоторых офицеров и затем в ту же ночь воротился в Малы-Дижос, чтобы немедленно перебраться на миноноску.

Младший брат мой, поступивший из отставки на службу во Владикавказский полк, приехал в этот день ко мне, прямо с дороги; я направил его по начальству, а сам с моею дорожною сумкой пошел к морякам.



После обеда во дворе дома, где помещался общий стол, Т., старший офицер морского отряда, заведовавший им, раздавал людям водку и делал это так торжественно и методично, что задержал наше выступление. Уже было почти темно, когда все собрались у берега маленького залива, в котором приютились миноноски, начавшие разводить пары.

Неожиданно приехал молодой Скобелев и, отведя в сторону Новикова, с жаром что-то стал говорить ему: он высказывал ему желание быть полезным отряду и предлагал взять его на одну из миноносок, но Н. наотрез отказал в этом.

Священник Минского полка, молодой, весьма развитой человек, стал служить напутственный молебен. Помню, что, стоя на коленях, я с любопытством смотрел на интересную картину, бывшую предо мною: направо — последние лучи закатившегося солнца и на светло-красном фоне неба и воды черным силуэтом выделяющиеся миноноски, дымящие, разводящие пары, на берегу — матросы полукругом, а в середине — офицеры, все на коленях, все усердно молящиеся; тихо кругом, слышен только голос священника, читающего молитвы.

Я не успел сделать тогда этюды миноносок, что и помешало написать картину этой сцены, врезавшейся в моей памяти, сцены, просто поразительной.

Когда кончился молебен, отходящие расцеловались с остающимися, в числе которых был и Подъяпольский, наш приятель и сожитель. Я обнялся с М.Д. Скобелевым. «Вы идете; этакий счастливец, как я вам завидую!» — шепнул он мне; ему, видимо, хотелось поскорее показать себя Дунайской армии.



Скрыдлов не торопился разводиться пары, и я попенял ему за это, так как нам приходилось выступать на веслах. «Будь уверен, — отвечал он, — что мы всех обгоним и войдем в Дунай первыми; они не знают фарватера, и все будут на мели». Так и случилось. Было так темно, что всех нельзя было различить, и хотя на передней шлюпке шел лоцман, но когда пары у нас поспели и мы стали подвигаться пошибче, то вправо и влево стали различать какие-то неподвижные черные массы; мы их окликали, они нас окликали; все это оказывались миноноски, сидящие на песке; «Шутка» стаскивала многих, но, должно быть, они снова притыкались, потому что движение вперед шло медленно.

Предположено было еще до рассвета войти в русло Дуная и с зарею начать класть мины; вышло же, что уже рассвело, а еще никто даже не выбрался на фарватер. Было утро, когда прошли местом, где мы выворачивали сваи, с которыми тут опять много возились. Случилось, как говорил С., что мы вошли в фарватер Дуная почти первыми; впереди шел только Х., т.е. вторая миноноска, назначенная к атаке, самая легкая и ходкая из всех, — вторая по быстроте была наша «Шутка».

Мы долго стояли на одном месте, чтобы дать время подтянуться остальным, и потом пошли вдоль островка, густые деревья которого скрывали еще нас от турок. Очевидно, что

сделать, как предполагалось, т.е. тайком подойти и положить мины к турецкому берегу, было немыслимо; вдобавок, кроме нашей и еще одной-двух, все остальные миноноски страшно дымили и пыхтели, так что одно это должно было выдать отряд.

Только что стали мы выходить из-за первого островка, как из караулки противоположного берега показался дымок, раздался выстрел, за ним другой... И пошло, и пошло, чем дальше — тем больше. Берег был недалеко, и мы ясно видели суетившихся, перебежавших солдат; скоро стало подходить много новых стрелков, особенно черкесов, и нас начали осыпать пулями, то и дело булькавшими кругом лодки.

Нас обогнал и пошел впереди Новиков; он стоял на корме, облокотясь на железную покрывку миноноски, не обращая никакого внимания на выстрелы, для которых его тучная фигура, облеченная в шинель, представляла хорошую мишень.

Сделалось вскоре очень жарко от массы падавшего свинца: весь берег буквально покрылся стрелками и выстрелы представляли непрерывную барабанную дробь.

Грозно, тихо двигались миноноски; уже первые остановились у берега и начали работу, когда последние только еще входили в русло реки. Солнце давно вышло; было светлое летнее утро, легкий ветерок рябил воду. Мины приходилось класть под выстрелами. Отряд, начав погружать их, сделал большую ошибку тем, что сейчас же прямо не пошел к турецкому, т.е. правому берегу, а начал с этого — левого; вышло то, что первые мины уложили порядочно; даже около середины мичман Нилов бросил свою мину, но второпях неладно, так как она всплывала наверх; далее же никто из офицеров не решился идти, так что половина фарватера осталась незащищенной. После, ночью, Подъяпольский ездил поправлять эти грехи; но все-таки, если турки не пробовали пройти тут, что они могли бы сделать, то это надобно отнести к тому, что они были напуганы предыдущими взрывами их судов русскими минами. (Турки преспокойно проходили потом этим местом, как я узнал.)



Закладывание мин на Дунае.

Наши две миноноски притаились, между тем, за леском маленького острова, расположенного несколько ниже места работ. Мы слышали какой-то шум в кустах островка, но не обратили на него внимания, как вдруг из-за него показались две лодки и быстро направились к нам; уже мы приготовились встретить их маленькими ручными минами, изготовленными С. нарочно на случай рукопашной схватки, как оказалось, что это наши казаки, стрелки, еще ранее нас засевшие на островке для прикрытия работ. Сделано это было Скобелевым и, по правде сказать, ни к чему не послужило.

Тем временем со стороны Руцука пришел пароход и стал стрелять по нашей флотилии, хотя без вреда для нее.

— Николай Ларионович, — говорю Скрыдлову, — что же ты его не атакуешь?

— А зачем его трогать, коли он близко не подходит, ведь его выстрелы не вредят...

Пароход скоро ушел, вероятно, за подмогою. Видим, летит к нам миноноска Новикова.

— Николай Ларионович, почему вы не атаковали монитор?

— Это не монитор, Модест Дмитриевич, а пароход; я думал, вы приказали атаковать в том случае, если он подойдет близко...

— Я приказал вам атаковать его во всяком случае, извольте атаковать!

— Слушаю-с!

Новиков повернул снова к работам.

— Ну, брат Николай Ларионович, — говорю Скрыдлову, — смотри теперь в оба. Если будет какая неудача в закладке мин, ты будешь козлом отпущения: из-за тебя, скажут, не удалось.

— Теперь атакую, теперь приказание ясно!

Скрыдлов велел все приготовить; сам он поместился спереди, у штурвала, для наблюдения за рулевым и носовую мину, меня же просил взять в распоряжение кормовую плавучую мину; уже раньше он выучил меня, как действовать ею, когда ее бросать, когда командовать «рви!».

Чтобы команда была веселей, он приказал всем вымыться.

— Ты не мылся, хочешь помыться? — спрашивает он меня.

— Я уж вымылся.

— Да у тебя мыла нет, помилуй!

Нечего делать, помылся еще мылом.

Все мы облачились в пробковые пояса, на случай если бы «Шутка» взлетела на воздух и нам пришлось бы тонуть, что должно было быть первым, самым вероятным последствием взрыва мины. Мы закусили немного курицею и выпили по глотку заветного хереса, после чего приятель мой прилег вздремнуть, и — странное дело — его крепкие нервы действительно дали ему вздремнуть.



Я не спал, стоял на корме, облокотясь о железный навес, закрывавший машину, и следил за рекою по направлению к Руцуку. «Идет», — выговорил тихо один из матросов; и точно, между турецким берегом и высокими деревьями острова, закрывавшего фарватер Дуная, показался дымок, быстро к нам подвигавшийся.

— Николай Ларионович! — кричу, — вставай, идет...
Скрыдлов вскочил...

— Отваливай, живо!.. Вперед, полный ход!

Мы полетели благодаря попутному течению очень быстро. Турецкого судна не было видно.

— Николай Ларионович! — кричу опять, — задержись немного, чтобы нам встретить его ближе сюда, а то мы уткнемся в турецкий берег!

— Нет уж, брат, ты слышал, что толкует Новиков?.. Теперь пойду хоть в самый Руцук!

— Ну валяй...

Вот вышел пароход, вблизи, вероятно по сравнению с «Шуткою», показавшийся мне громадиною; С. тотчас же повернул руль, и мы понеслись на него со скоростью железнодорожного локомотива.

Что за суматоха поднялась не только на судне, но и на берегу! Видимо, все поняли, что эта маленькая скорлупа несет смерть пароходу; по берегу стрелки и черкесы стали кубарем спускаться до самой воды, чтобы стрелять в нас поближе, и буквально осыпали миноноску свинцом; весь берег был в сплошном дыму от выстрелов. На палубе парохода люди бегали как угорелые: мы видели, как офицеры бросились к штурвалу, стали поворачивать к берегу, наутек, и в то же время награждали нас такими ударами из орудий, что бедная «Шутка» подпрыгивала на ходу.

«Ну, брат, попался, — думал я себе, — живым не выйдешь». Я снял сапоги и закричал Скрыдлову, чтоб он сделал то же самое; он послушался и приказал то же сделать матросам.

Я оглянулся в это время: другой миноноски не было за нами. Говорили, что у ней что-то случилось в машине... Дело было неладно! «Шутка» была одна-одинешенька, отряд остался далеко позади нас. Огонь делался невыносимым; от



Матрос.

пуль все дрожало, а от снарядов просто встряхивало; уже было несколько серьезных пробоин и одна в корме, около того места, где я стоял, почти на линии воды: железная защита наша над машиною была также пробита. Матросы попрятались на дно шлюпки, прикрылись всякою дрянью, какая случилась под руками, так что ни одного не было видно; только у одного из минеров часть лица была на виду, и он держал перед ним для защиты буюк, причем лежал неподвижно, как деревяшка. Мы совсем подходили к пароходу. Треск и шум от ударявших в «Шутку» пуль и снарядов все усиливался.

Вижу, что Скрыдлова, сидевшего у штурвала, передернуло — его ударила пуля, потом другая. Вижу также, что наш офицер-механик, совсем бледный, снял фуражку и начал молиться — он был католик, — однако потом он оправился и, перед ударом вынув часы, сказал Скрыдлову:

— Николай Ларионович, 8 часов 5 минут!

— Это было недурно.

Любопытство брало у меня верх, и я наблюдал за турками на пароходе, когда мы подошли вплоть: они просто оцепенели, кто в какой был позе: с поднятыми и растопыренными руками, с головами, наклоненными вниз, к нам, как в заключительной сцене «Ревизора».

В последнюю минуту рулевой наш струсил, положил право руля, и нас стало относить течением от парохода. Скрыдлов вцепился в него:

— Лево руля, с. с., такой-сякой, убью! — и сам налег на штурвал.

«Шутка» повернулась против течения, медленно подошла к борту парохода и тихо ткнула его шестом... Тишина в это время была полная и у нас, и у неприятеля; все замерло в ожидании взрыва; минута была жуткая...

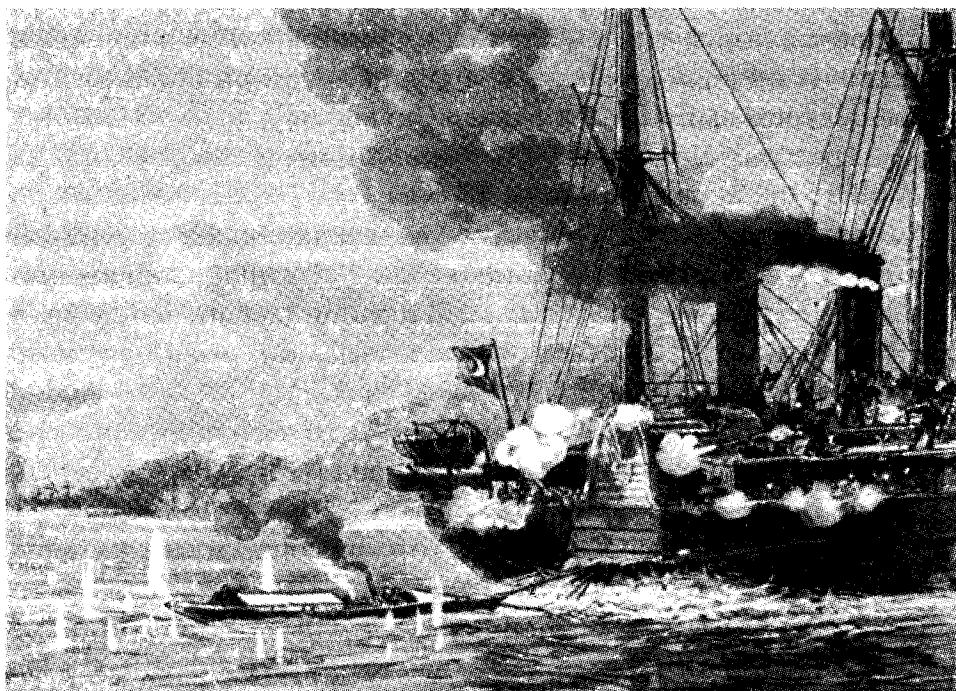
— Взорвало? — спрашивает меня, калачиком свернувшись над приводом, минер.

— Нет, — отвечаю ему вполголоса.

— Рви, по желанию! — снова раздается команда Скрыдлова — и опять нет взрыва!

Между тем нас повернуло течением и запутало сломившимся передовым шестом в пароходном канате, причем корму отнесло. Турки опомнились — и с парохода, и с берега принялись стрелять пуцце прежнего. Скрыдлов приказал обрубить носовой шест, и мы пошли наконец прочь; тогда пароход повернулся бортом да так начал валять, что «Шутка», избитая и пробитая, стала наполняться водою; на беду еще пары упали, и мы двигались только благодаря течению — это уж немного прозевал механик.

В ожидании того, что вот-вот мы сейчас пойдем ко дну, я стоял, поставив одну ногу на борт; слышу сильный треск



Минная атака лейтенанта Скрыдлова.

подо мною и удар по бедру, да какой удар! — точно обухом. Я перевернулся и упал, однако тотчас же встал на ноги.

Мы шли по течению, очень близко от турецкого берега, откуда стреляли теперь совсем с близкого расстояния. Как только они не перебили нас всех! Бегут за нами следом и стреляют, да

еще ругаются, что нам хорошо слышно. Я пробовал отвечать несколькими выстрелами, но оставил, увидев, что это бесполезно.

Мы прошли уже довольно далеко по реке, мимо целого ряда купеческих судов, стоявших между берегом и островком в правой руке. Слева тянулся все еще тот же остров с большими, развесистыми ивами; русло реки тут очень узкое. Пароход вдогонку за нами не шел; но другая беда: навстречу от крепости бежит на всех парах монитор, очевидно, вызванный пароходом.

— Николай Ларионович! — кричу Скрыдлову, но за выстрелами совсем не слышно было голоса. — Николай Ларионович, видишь монитор?

— Вижу.

— Что ты намерен делать?

— Атакую твоей миной; приготовь ее да бросай ближе.

Атаковать нам, почти затонувшим, несомым течением, было трудновато; однако другого-то ничего не оставалось делать. Монитор подходил и уже сделал по нам два выстрела: я обрезал веревку, которою мина была привязана, и распорядился было бросить ее, как вдруг, на наше счастье, на конце левого острова открылся рукав реки, куда мы, собрав последние силенки машины, и свернули.

Здесь, и только здесь, вздохнулось свободно; большие суда не могли гнаться за нами теперь, и монитор успел только послать еще выстрел вдогонку.

Так как «Шутка» все более и более опускалась, то С. приказал подвести под киль парусину, чтобы несколько задержать течь, и, таким образом, мы могли надеяться благополучно добраться до дому.



Защищенные островком, мы подвели здесь итоги: «Шутка» была совсем разбита и, очевидно, не годилась для дальнейшей работы; оказались большие пробоины не только выше, но и ниже ватерлинии; свинца, накиданного выстрелами, собрали и выбросили несколько пригоршней. У Скрыдлова две

раны в ногах и контужена, обожжена рука. Я ранен в бедро, в мягкую часть. Поднявшись после удара, я все время по-прежнему стоял, но, чувствуя какую-то неловкость в правой ноге, стал ощупывать больное место: вижу, штаны разорваны в двух местах, палец свободно входит в мясо. «Э-э, да никак я ранен? Так и есть, вся рука в крови. Так вот что значит рана. Как это просто! Прежде я думал, что это гораздо сложнее». Пуля или картечь ударила в дно шляпки, потом рикошетом прошла через бедро навывлет, перебила мышцу и на волос прошла от кости; тронь тут кость, верная бы смерть.

Из матросов никто не ранен.

Подведенные итоги выяснили прекурьезную вещь: взрыва не последовало оттого, что проводники были перебиты страшным огнем.

— Ваше благородие, — доложил Скрыдлову минер, — ведь проводники перебиты.

— Не может быть!

— Точно так; вот, извольте посмотреть...

Как С. обрадовался! Снялась с него ответственность за незнание, неумение, пожалуй, нерадение, в которых не преминули бы его упрекнуть приятели. Когда мы удалялись от парохода, Скрыдлов только о том и жалел, что сломанный шест и недостаток паров не позволяют ему повторить атаку носовой миной; правда, мы шли тогда прямо на монитор и предстояла еще атака кормовую, но это удовольствие, очевидно, было ему менее занимательно. Приятель мой вцепился себе в волосы и вскричал с таким отчаянием в голосе, что жалко его сделалось:

— Столько работы, трудов, приготовлений — все прахом, все пропало даром!

— Перестань, — кричу ему, — что за отчаяние такое! Это неудача, а не неумение...

Зато, узнав, что при данных условиях взрыва и не могло быть, мой Николай Ларионович повеселел — гора у него свалилась с плеч. И то сказать: в девятом часу солнечного летнего дня атаковать, буквально под градом снарядов, накладно.

Остался, однако, один вопрос, которого мы не могли решить: почему вторая миноноска не пошла за нами в атаку? Надобно думать, что этот случай атаки неприятельского судна *одной* миноноскою был первый и последний: он против всех правил. Новиков говорил мне потом, что командир этой миноноски был нервен...

Впрочем, результат оказался удовлетворительный: пароход поворотил назад, так же как и монитор: значит, цель атаки была достигнута.



Кстати, позволю себе здесь сказать несколько слов по поводу волонтеров, о которых один специалист в Кронштадте выразился, что они мешают в деле. Я полагаю, напротив, что если волонтер знает дисциплину и то дело, на которое идет, то, разумеется, сумеет быть не только храбрым, но и хладнокровным, что весьма важно. Когда, например, нужно было приготовить кормовую мину, минер до того оробел, что только бессвязно поворачивался, чего-то отыскивая дрожащими руками, и я вынул свой ножичек, чтоб обрезать веревку; другой минер перед атакою тоже, видимо, действовал не совсем сознательно, потому что без всякой нужды тронул привод, сообщавший ток mine, еще на огромном расстоянии от неприятеля; наконец, помянутый рулевой со страху положил не туда руля, да вдобавок взмолился перед Скрыдловым: не лучше ли, дескать, спуститься! Все эти примеры, мне кажется, доказывают, что матрос или солдат, *вынужденный* идти вперед, не делает это с тем сознанием и разумением, как волонтер, *желающий* идти вперед.



Покинув наше убежище, С. пошел снова к месту расположения прочих миноносок, чтоб отдать отчет Новикову. Все офицеры стояли на берегу и, видимо, не знали, что у нас

творилось (мы были закрыты от них во все время атаки островом).

— Взорвали? — кричат навстречу.

— Нет, — отвечает Скрыдлов, — огонь был слишком силен: перебило проводники. Я и Василий Васильевич ранены!

Общее молчание, в котором слышалось неодобрение, только бравый Новиков сделал Скрыдлову ручкою, поблагодарил за неравный бой среди белого дня.

Отряд отдыхал, завтракал и собирался идти дальше. Нас потащили на румынский берег; из весел сделали носилки и положили на них Скрыдлова, а я пошел пешком; сгоряча я не чувствовал ни боли, ни усталости, но, пройдя с версту, почти повис на плечах поддерживавших меня матросов.

На берегу встретились Скобелев и Струков, издали наблюдавшие за установкою мин; первый, с которым мы расцеловались, только и повторял: «Какие молодцы, какие молодцы!» Бравому из бравых, видимо, было завидно, что не он ранен. Нас втащили в деревню ПарAPAN и поместили в большом помещичьем доме, в том самом, где жил Вульферт и где я познакомился с Драгомировым. Мне рассказывали после, что видели с берега, как наш дымок понесся навстречу турецкому, и так как знали, что атаковать пошла «Шутка», то поняли, что я, многогрешный, лечу вместе с этим дымком.

Скоро прискакала из Рущука конная батарея и уже было снялась с передков против места, где отдыхали моряки, но Струков вовремя предупредил флотилию, из-за высокого берега не видевшую опасности, и она успела удрать: по грудь, а местами и по шею в воде, Струков прошел целую версту и взбудоражил отряд, собиравшийся было завтракать: моряки живо собрались, большую часть своего добра успели захватить, но кое-что бросили-таки и утекли вверх по реке для закладки другого ряда мин. Батарея била по лодкам и вещам, неосторожно брошенным миноносками, и также вздумала бомбардировать дом, в котором мы помещались.

По этому случаю я совершенно нечаянно насмешил всех бывших около нас офицеров: чтобы не быть расстрелянными,

нам предложили перейти в один из крестьянских домов подалее в деревне; Скрыдлов согласился, но я уперся, объяснив, как мне и теперь кажется не без резона, что «в крестьянском домишке будут, наверное, блохи, а тут их нет».

Госпиталь. Бухарест

Мы со Скрыдловым были первые раненые в турецкую войну 1877 года, и в главной квартире, и в армии участие к нам было общее.

Признаюсь, я долго не понимал, что ранен серьезно. Через 10—15 дней, я был в том убежден, можно будет опять присоединиться к передовому отряду, с которым я до сих пор шел.

Кроме небольшой лихорадочности и возбужденности, ничего дурного не чувствовалось, и боли в ране не было ни малейшей, хотя мой палец и ощупал большую прореху в платье, белье и тканях мышцы, а все любопытствовавшие видеть рану, несмотря на нежелание пугать меня, не могли удержаться от восклицаний: «У-у!» или «О-о! Однако разорвало-таки вам!».

«Ничего, заживет! — утешал я сам себя. — Поеду в главную квартиру, полечусь немного и скоро опять буду на ногах».

Это решение ехать в главную квартиру и некоторое время полежать казалось тяжелою жертвою, так как означало отказ от надежды присутствовать при переправе и видеть переход войск через Дунай, что мне было в высокой степени интересно и к чему я давно готовился. Сначала я хотел, несмотря ни на что, следовать в своей повозке за скобелевскою кавказскою бригадою и приказал казаку сделать переплет попокойнее.

Вульферт посоветовал, однако, ехать лучше с ним в главную квартиру, и когда, как говорю, я согласился на это, предатель вместе с другими стал советовать полечиться в госпитале. Я заподозрил всех в заговоре против меня: старика Скобелева в том, что не хочет более, чтобы я шел с его отрядом; Вульферта в том, что стесняется ехать в главную квартиру с больным. И тот и другой — милейшие люди — пришли ко мне с уверением в самом искреннем желании исполнить все,

что я хочу, но только от души советовали, для моей же пользы, для более скорого выздоровления поехать в госпиталь.

Что было делать, я понимал, что благоразумие говорит их устами, но в то же время очень трудно было расстаться с намерением видеть переход войск через реку и первые действия их на том берегу.

Скрыдлов пристал к моим врагам: «поедем да поедем; скоро поправимся, воротимся...». Все другие тоже точно сговорились: «отдохните, полежите, полечитесь, без этого рана, хоть и не опасная, может долго не закрыться» и проч.

Я крепко затосковал, но в конце концов решил отказаться от мысли идти за армией и поворотил назад, в журжевский госпиталь. Дальше Журжева, думал, уж ни за что не поеду, отлежусь в самом деле и ворочусь. Но и этому не довелось сбыться: пришлось возвращаться до самого Бухареста.

Ах, как досадно было поворачивать назад с перспективой лежать, не вставая с постели, в больнице, вместо того чтобы идти в авангарде армии! В моей парижской мастерской стояли большие полотна, начатые и оставленные из-за желания видеть европейскую войну; а ну как да война-то скоро закончится миром, как уже стали поговаривать, и я ничего не увижу?!

Нас повезли в Журжево в полковой повозке, данной командиром Минского полка полковником Мольским, уверявшим, что благодаря этому «специально приспособленному» экипажу мы просто не заметим переезда.

Дорогой, однако, пришло в голову, что, должно быть, бравый полковник шутил. Трудно представить себе, до чего сильна тряска этих полковых госпитальных повозок и, главное, жестка, от множества винтов, гаек, цепей, шумевших, гремевших и прыгавших при малейшей неровности дороги.

Не сомневаясь, что изобретатель этих «специально приспособленных» повозок получил награду за свое изобретение, — у нас ведь никто не считает, что служит за жалованье; все требуют еще особенных награждений, — думаю, однако, что поступили бы справедливо, если бы заставили этого изобре-

тателя ездить в таком экипаже, в каком морили нас и за нами тысячи других несчастливцев.



Я был совсем разбит, Скрыдлов — менее; впрочем, он смотрел таким взвинченным, что перенес бы и не такую пытку: его только что объявили кавалером Георгиевского креста. Дума этого ордена в исполнение статута собралась накануне в составе пяти наличных кавалеров: капитана 1 ранга Новикова, генералов — старого и молодого Скобелевых, полковников — Вульфферта и Мольского.

Новиков получил Георгиевский крест в Севастополе, за взрыв порохового погреба. Скобелев-отец — на Кавказе, не помню, за какое дело. Молодой Скобелев носил два Георгия: один — 4-й степени, за рекогносцировку в Хиве, другой — 3-й степени, за участие в покорении Коканда. Мольский получил свой крест также в Севастополе. Вульфферт первый взошел на стену Ташкента при взятии его Черняевым.

Единогласно решено было дать Георгия Скрыдлову, потому что хотя взрыва судна и не последовало, но так как турецкий пароход и монитор перестали мешать нашим работам по установке мин и, поворотив назад, ушли в Руцук, то цель атаки была достигнута.

Это толкование значения нашего дела было, скорее, предлог, подвод подвига под весьма строгий, хотя и растяжимый статут Георгиевского креста; главным же побуждением, высказанным стариком Скобелевым и одобренным всеми другими, была необходимость отметить высшею военною наградою в самом начале кампании из ряда вон выходящую отвагу нападения: скорлупа «Шутка», плохо приноровленная для миноносной цели, набросилась на большие, хорошо вооруженные суда и не в темноте, под покровом ночи, а среди белого дня, при ярком солнце.

Решение думы было все-таки неожиданностью для нас. Как раз за время лежания друг против друга, на большом турецком

диване помещичьего дома, в котором нас поместили, мы многократно принимались за решение вопроса о том, что Скрыдлову дадут. Сам он говорил, будто хорошо знает, что Георгия не заслужил, так как на воздух турку не поднял, а за одну личную храбрость этого креста не дадут.

— Как ты думаешь, дадут ли хоть Владимира?

— Дадут, непременно дадут!

— А Георгия, думаешь, не дадут?

— Должно быть, не дадут, брат; помирись с этим!

— Знаю, только не дали бы Анну! — сокрушался милейший Николай Илларионович, так старательно приготовивший все для успеха дела; тем более он был доволен, когда узнал о решении думы.

В этом же собрании георгиевские кавалеры присудили крест генералу* Струкову за извещение нашей флотилии об опасности приближения к ней конной турецкой батарее. Моряки не могли видеть ее с реки, но она хорошо была видна с нашего берега, откуда Скобелев со Струковым в бинокли наблюдали за ходом дела нашей атаки и установки мин. Наизусть зная статут Георгиевского креста, Михаил Дмитриевич тотчас схватил быка за рога и сказал приятелю:

— Вот твой белый крест, Александр Петрович, беги, плыви, извести Новикова о том, что по ним сейчас начнут бить, пусть немедленно уходит с миноносками!

Струков не задумываясь бросился в воду и, где по колени, где по пояс, а где и по шею, где вплавь, где вброд, насколько было возможности быстро двигаться в воде, направился к морякам, только что расположившимся на отдых. Он спотыкался, проваливался, захлебывался, но все-таки добрался: отчаянный крик его был услышан. Однако, как моряки ни торопились, турецкая батарея успела сняться с передков и начать по ним такую пальбу, что пришлось кое-что бросить и утечь без оглядки: отвечать орудиям было нечем, на миноносках пушек не было. Не предупреди Струков флотилию, вероятно, немало было бы разбитого.

* В то время полковнику. — Здесь и далее примечания редактора.

В общем раны наши были очень счастливы: у Скрыдлова одна пуля вошла в икру ноги и засела в ней, другая скользнула по верхней части ступни и тоже не испортила костей. У меня, пробив бедренную мышцу, пуля или картечь прошла около самой бедренной кости; несколько линий вглубь для него и несколько линий в сторону для меня — ему не только не довелось бы больше танцевать, до чего он был охотник, но и пришлось бы лишиться ступни, а мне так-таки прямо идти в червивую каморку. Это милые черкесы, бежавшие вдоль берега за миноноской и стрелявшие на самом близком расстоянии, наградили нас.

В деревне Малы-Дижос, где стояла казачья бригада, офицеры с командиром ее, милейшим Тутолминым во главе, встретили нас на дороге с бокалами шампанского в руках: пришлось и нам пригубить — за наше здоровье!

Когда я высказал надежду, что дней через 10—12 снова буду с ними, Т. огорошил меня откровенным замечанием, что раньше двух месяцев и думать нечего о возвращении. Такое горе взяло меня, когда я услышал это первое, без обиняков высказанное мнение о моем положении, что чуть не выпрыгнул из повозки и не пошел назад пешком: кабы приятели не удержали, кажется, я сделал бы эту глупость.

В конце концов откровенность эта принесла мне ту пользу, что я стал серьезнее относиться к своей беде, меньше загадывать о том, что делается или будет делаться в передовом отряде, больше помышлять о том, где и как я буду лечиться, отлеживаться.



Дорога порядочно разморила нас, но чистое помещение журжевского госпиталя скоро приободрило и оправило. Скрыдлову тотчас вырезали пулю из икры, причем он отнесся к этому умалению нажитого добра совершенно равнодушно, не выразил ни удовольствия, ни неудовольствия, так что старший доктор, делавший операцию, поцеловал его.

У меня ничего не резали, только промывали рану, причем при каждой перевязке вытаскивали из нее пинцетом кусочки сукна и белья, затащенные туда пулей, таскали ежедневно, утром и вечером, по маленьким кусочкам, чем донельзя натрудили мои нервы.

Замечательно, что никакой боли пока в раненой ноге я не ощущал, но зато другая нога, не раненая, ныла невообразимо (употребляю это выражение сознательно, потому что положительно представить себе невозможно, что за ужасное нытье это было!).

Наши русские доктора, старший и его помощник, приходили только перевязывать раны утром и вечером, а днем мы их не видели; поэтому пришлось пожаловаться на мою беду туземному лекарю, не то румыну, не то австрийскому еврею; он ответил, что ничего нет легче, как помочь делу, и тотчас сделал подкожное впрыскивание морфина.

Ощущение вышло в высшей степени приятное: легкая, прямо чудодейственная теплота пошла от уколотого места по всему телу и сразу уняла все боли, принесла покой, дремоту и сон.

На следующий день, однако, те же боли возобновились, и чем ближе подходило ко времени, когда был сделан укол, тем больше, так что я настойчиво потребовал повторения впрыскивания, лишь бы как-нибудь забыться и перетерпеть. «Конечно, конечно», — ответил услужливый доктор и сделал второй укол; так я и начал ежедневно утешаться и облегчаться морфином, бесспорно очень успокаивавшим, но в то же время, по словам всех докторов, задерживавшим мое выздоровление.

Нельзя сказать, чтобы я делал это с легким сердцем, нет, напротив: хорошо понимая, что лучше обходиться без искусственного усыпления, я даже просил не слушать меня, когда буду требовать его; но подходило время, боли делались невыносимыми, и я начинал просить, умолять, браниться, пока не добивался впрыскивания.

Старший наш доктор (забыл его фамилию) был очень недоволен, когда узнал, к какому средству ежедневно прибегали для успокоения меня. Это был совсем порядочный и,

по-видимому, хорошо знающий дело человек, серьезно относившийся к своим обязанностям, чего, например, нельзя было сказать о его помощнике П. Я слышал потом, что уже после нашего отъезда из Журжева этого последнего устранили от должности ординатора госпиталя, в котором он служил, за крайне небрежное отношение к больным и что в числе доводов, приведенных для доказательства противного, он ссылался на меня и Скрыдлова, якобы его уходу обязанных выздоровлением. Это совершенно неверно; наоборот, чтобы быть справедливым, надобно сказать, что обоим нам не доводилось встречать более невнимательного, распущенного врача, чем П. Я слышал, — не знаю, верно ли это, — что он все время проводил за картами; во всяком случае, мы были просто возмущены! После утренней перевязки, например, все служащие госпиталя, следуя его доброму примеру, пропадали, и, исключая времени завтрака, мы не видели их до самого вечера, следовательно, не могли получить никакой помощи, а между тем обоим нам нельзя было не только вставать, но и шевелиться, не рискуя вызвать кровотечение.

Один раз, когда на наш зов особенно долго никто не являлся, мы сговорились кричать вместе разом, и так как легкие наши (особенно у Скрыдлова) были здоровые, то можно представить себе, что за отчаянные вопли раздались по госпиталю, хотя без результата.

Положение наше становилось неудобным: двое, хоть и раненых, но еще живых, в каком-то не то мертвом, не то сонном доме — встать для каждого из нас было почти самоубийством, а никто не являлся.

— Давай бить стекла в окнах, — говорит Скрыдлов.

— Идет!

Дзинь, зазвенело стекло моего окна. Дзинь, другое — со стороны товарища. Только было я намеревался пустить чернильницу в третье, как вбежал лекарский помощник. Я был до того зол, что пустил чернильницу, назначенную было для окна, прямо в него и так ловко, что запачкал ему физиономию с носом включительно. Он рассердился, хотя умеренно,

потому что боялся, как бы мы не пожаловались на его небрежный уход, и оправдывался тем, что вот только-только прилег; это «только» его и всей прислуги длилось часов пять.

Старший доктор, по сведениям из главной квартиры, сообщил об общем к нам участии. Государь за обедом поднял бокал «за здоровье Скрыдлова и Верещагина». Войско наше перешло через Дунай и теперь уже действовало на турецком берегу; тем более горько мне было слышать все это, что с самого отъезда из Парижа я был мысленно в первых рядах при переправе.

Доктор сообщил также, что турки скоро начнут бомбардировать Журжево, почему нас перевезут в Бухарест — еще шаг назад от действующей армии; и я не утерпел, чтобы не возразить: «Неужели нельзя заживить рану в Журжеве, хоть где-нибудь!» Оказалось, что никак нельзя: военный госпиталь один и стоит на месте, легко обстреливаемом, получен формальный приказ, ослушаться которого немислимо.



Наши кровати перетасили на железную дорогу — турки, к счастью, не начинали еще стрельбы, — поставили в отдельный товарный вагон, и мы не товаром, а багажом, со скорым поездом, без приключений доехали до Бухареста.

— Позвольте узнать, который из вас г-н Верещагин? — спросил вошедший в вагон молодой человек, как только мы остановились на Бухарестской станции.

— Что вам угодно?

— Г-жа Демидова, заведующая здешним отделением Красного Креста, поручила мне встретить вас, приветствовать и спросить, не имеете ли вы в чем-нибудь надобности. Она, впрочем, сейчас сама будет здесь.

И вправду, скоро пришла полная, очень красивая дама с таким запасом доброты, любезности и забот о нашем с товарищем будущем положении в новом месте, что стало советно.

— Ничего решительно не желаю, — сказал ей я, — кроме того, чтобы вы помогли поскорее подняться и уехать в армию.

— Уж две-то недельки побудьте с нами, а потом и поезжайте с Богом!

Вместо двух неделек мне пришлось пробыть почти два с половиной месяца. И то счастливо: хоть кости унес.

Наши тюфяки положили на носилки и потащили в госпиталь Бранковано, двинулись туда торжественно, процессией. Добрейший консул Стюарт, с которым я познакомился раньше, шел дорогой рядом с моими носилками и любезно защищал от солнца своим зонтиком. Кто-то другой из консульства так же оберегал Скрыдлова, и это публичное внимание наших властей вместе с новостью появления на улицах первых раненых сделали то, что весь путь был запружен народом. Я закрылся одеялом с головой, но все-таки чувствовал на себе любопытные взгляды толпы.

В лазарете нас поместили вместе в одну небольшую комнату, что для меня было не совсем удобно, потому что если, с одной стороны, так должно было быть веселее, то, с другой — и беспокойнее от массы посетителей. Я, как бука, никого не знал, а Скрыдлов со времени прибытия на Дунай успел пере-знакомиться чуть не со всем авангардом армии, офицерами и чиновниками всех родов оружия и службы, и все теперь являлись «осведомляться»; хочешь полежать спокойно — знакомятся, выражают почтение, трясут за руку; хочешь соснуть — казак повествует над ухом о том, как они вчера «дернули»...

Дубасов рассказывал о том, что он с Шестаковым, проезжая через главную квартиру государя, был любезно удержан к обеду и что его величество, с участием расспрашивая о нас, был очень доволен узнать, что Дубасов мне родственник.

Скоро государь сам приехал в госпиталь и, войдя с большой свитой в нашу комнату, прямо обратился к Скрыдлову со словами:



Н.И. Скрьдлов —
георгиевский кавалер.

— Я принес тебе крест, который ты так славно заслужил, — голос его при этом так дрожал от внутреннего волнения, что он едва закончил фразу.

Скрьдлов поцеловал руку, положившую крест ему на грудь.

Потом его величество обратился ко мне:

— А у тебя уж есть, тебе не нужно! — И государь подал мне руку.

— Есть, ваше величество, благодарю вас, — ответил я.

Еще после нескольких замечаний, между которыми было то, что «Скрьдлов смотрит бодрее» меня, также после нескольких приветливых слов государя-наследника, румынского принца Карла и некоторых других лиц — между ними был доктор Боткин — все покинули госпиталь, потому что, кроме нас, других раненых еще не было в нем.



Скрьдлов стал быстро оправляться, а я сначала держался на точке замерзания, а потом начал опускаться ниже нуля.

Каждый день продолжали таскать у меня из раны кусочки белья и сукна; так как началось нагноение раны, то появились такие боли, что, можно было думать, самая шкура сдирается с больного места. Затем, и это печальнее всего, нашла лихорадка.

Появление этой нежеланной гостьи я предчувствовал заранее и просил давать мне мышьяк или хинин, но доктора не послушали. «В городе нет лихорадки, — говорили они: один доктор, младший, но, кажется, более сильный по знанию и

опыту, — Кремниц, другой, старший положением и летами, чех, — Пацельт, — нет причины думать, что она привяжется». А вот привязалась же.

Дело в том, что я часто и подолгу страдал от лихорадки малярийной формы, в первый раз схваченной еще в 1863 году в Закавказье, потом исправленной и дополненной в Туркестане, Китае, Индии, и она являлась по всякому поводу; довольно было мне порезать палец, чтобы сделалась лихорадка, не та, которая трясет, а та, что валит с ног: раз что человек в постели, он чувствует себя хорошо, голова светла, даже аппетит небольшой есть; но попробуешь встать на ноги и, главное, начать заниматься — сейчас почувствуешь слабость, неохоту, дрожание рук и ног.

Теперь, раненный, я был вполне уверен, что старая приятельница посетит меня, — и не ошибся.

Не меньше предупреждал госпитальных докторов наш профессор Марконет, известный хирург, много работавший за год перед тем в Сербии. «Разрежьте ему рану, очистите ее от всего загноившегося и давайте больше хинина», — говорил он коллегам, но те и его не послушали, может быть, немножко из *jealousie de métier**.

Начали давать хинин тогда, когда лихорадка сказалась уже в очень сильной и характерной форме; увеличили порции его, но это не помогало, и я стал клониться долу. Пришлось перенести меня в отдельную комнату, в которую, как трудную, заперли двери.

Одному, в большой зале, без шума, смеха и запаха табаку, стало спокойно, но мука с прислугою осталась прежняя, если не увеличилась. Прислуживала румынская женщина, не понимавшая ни слова по-русски: говорю ей, что хочу пить, — она зажигает спичку, воображая, что желаю курить; просишь поднять повыше голову, — она тянет за ноги, в уверенности, что я лежу слишком высоко. К этому присоединилась еще и полная незащитность моя относительно сохранения денег: высмотрев

* Профессиональной ревности (*фр.*).

в ящичке столика, стоявшего у кровати, горсточку золотых, она, должно быть, решила, что человеку, почти умирающему, незачем иметь много денег, в особенности в то время, как у нее их мало, и поживилась. Будто в полусне я слышал, как, оставшись раз посидеть у кровати, после моего приема морфина она что-то шарила в ящичке и, конечно, нашла, что было нужно.

Во время перевязки на другой день доктор предложил «пересмотреть и проверить, все ли кругом в порядке и целости, так как Катерина подозрительно быстро собралась, потребовала расчета и уходит в свою деревню».

— Бог с ней, пусть уходит, — ответил я, не допуская и мысли, чтобы в госпитале могли обокрасть, и, помню, наградил еще уходившую золотым «на чай». Только когда несколько дней спустя я случайно проверил свою кассу, оказалось, что 5–6 золотых не хватало.

К счастью моему и других русских раненых и больных, навчавших уже прибывать в госпиталь, наши сестры милосердия

сменили туземную прислугу, и меня взяла на руки сестрица-волонтер Александра Аполлоновна Чернявская, прелестнейшая особа, совершенно бескорыстно и самоотверженно ходившая за мною целых два месяца и буквально поставившая меня на ноги.

Помню, что я лежал в дремоте, забытый, когда почувствовал приятное веяние ветерка около лица; хоть был конец июля и окна стояли настежь, но в этом опахивании слышалось что-то особенное, напоминавшее детство, детскую, няню... Открываю глаза и вижу почтенную особу, осторожно, внимательно отмывающую свежую веточкою мух от моего ли-



Сестра милосердия.

ца; мух было немало, так как стояли жары, а город Бухарест в то время особенною чистотою не отличался.

Должно быть, однако, никакого дела в жизни нельзя делать, не возбуждая чьих-либо подозрений и неприязни, и моя милейшая, честнейшая, благонамереннейшая сестрица, тамап,

как я ее называл, немало преоборола недоразумений от своих, т.е. сестриц-заправил, прежде чем ей, волонтеру, позволили спокойно работать...



В это время посетил меня проездом в Петербург флигель-адъютант Т., ехавший из главной квартиры государя в Петербург с турецким пашой и всеми трофеями, взятыми в Никополе.

Т. участвовал в деле взятия этой крепости и после пережитых впечатлений был в сильно возбужденном, нервном состоянии: представляя, например, как лежат турецкие убитые и как наши, он бросался на пол, раскидывал руки и ноги и даже закрывал глаза... Я дружески посоветовал ему быть дорогой и в Петербурге менее экспансивным, больше сдержанным, чем милейший Т. немного обиделся, так что даже сказал мне: «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит».



Генерал Н.П. Криденер.

О том же взятии Никополя я слышал другой рассказ, представлявший занятие этой крепости в другом свете, от молодого армейского офицера, бывшего в отряде генерала Криденера и приехавшего в branкованский госпиталь лечиться. «Мы шли, — рассказывал он, — двумя изгибавшимися и ломавшимися шеренгами и кричали время от времени «ура!». Резервов у нас не было, и, признаюсь, я думал: куда же это мы идем, неужели крепость брать? Вдруг слышу, что крепость сдается. Конечно, она могла бы не только отразить наше неуверенное движение, но и долго еще держаться».

Вскоре после известия о падении этой крепости и других успехах начали приходить дурные вести, и имя Плевны, никому прежде не известной, стало всеми произноситься с большим или меньшим смущением: как-то понижая голос, точно боясь стен, стали говорить о всюду начавшихся неудачах.

Вести приносились нам нашими консульскими, но так как здоровье мое все ухудшалось, то, должно быть, доктора посоветовали не передавать мне особенно дурных, волновавших сообщений. И то сказать, некоторое время мне было не



Сергей Верещагин
в 1877 г.

до военных успехов, и двери приперлись почти для всех.

Тут приехал ко мне брат мой Сергей, живший в Вологде, тоже начавший заниматься живописью, покинувший было ее, но потом снова взявшийся и в последнее время оказавший уже большие успехи. Помню, что у меня едва хватило сил для разговора с ним:

— Подойди поближе, наклонись ко мне: что тебя привело сюда?

— Не могу ли быть чем-нибудь полезен тебе?

— Ничем, любезный друг, если ты приехал только для

этого, то лучше поезжай назад. Но если ты не прочь посмотреть на войну, съезди в главную квартиру и оттуда к действующим войскам; послушай, как свистят пули; когда вдоволь наслушаешься, уезжай обратно.

Я нацарапал несколько слов рекомендации к Д.А. Скало-ну, управлявшему канцелярией главнокомандующего, передал брату служившего мне пешего казака с повозкою моих лошадей, палатку, кровать и все нужное в походе, до больших сапог включительно, и отправил его за Дунай.

Сначала на Шипке, в первое занятие ее, потом в скобелевском отряде при Михаиле Дмитриевиче он проявил такую храбрость и бесстрашие, что буквально дивил всех.

«Какой-то он странный, — говорили мне некоторые лица главной квартиры, не любившие опасностей. — Ходит в атаку с плетью в руках!»

М.Д. Скобелев, дававший брату самые опасные поручения, со слезами на глазах передавал мне после 30 августа о гибели юноши и о его полезной деятельности в отряде левого фланга. Один раз Скобелев обрушился на покойного за то, что он якобы пустил Калужский полк дальше, чем было приказано, но, как сам М.Д. сознавался после, обрушился несправедливо.



Скрыдлов тем временем настолько поправился, что принял предложение съездить для окончательного поправления в Россию. Перед тем как оставить госпиталь, товарищ по несчастью просил позволения навестить меня, и его принесли ко мне в комнату на тюфяке. Мы дружески попрощались, кажется, без большой надежды увидеться когда-либо в этом мире.

Рана моя отказывалась заживать, а доктора отказывались сделать необходимую операцию прореза и прочистки ее: надеялись обойтись и так. Лихорадка просто замучила; некоторые ночи приходилось по 12—13 раз переменять намокавшее белье! К счастью, наши сестры милосердия исполняли эту обязанность, иначе застудиться и окончательно свихнуться было бы самым обыкновенным делом.

Лихорадка моя имела чисто восточный характер: лишь только я закрывал глаза и забывался, как передо мной открывались громадные, неизмеримые пространства каких-то подземных пещер, освещенных ярко-красным огнем. В этой кипящей от жары бесконечности носились миллионы человеческих существ, мужчин и женщин, верхами на палках и метлах, проносившихся мимо меня и дико хохотавших мне в лицо...

Дремота проходила, видение исчезало, и я оказывался весь в поту, белье хоть выжми. Снова дремота, снова те же картины — опять лихорадочный пот...

Одну ночь мне было особенно плохо. Понимая, что дело неладно, я решил оставить кое-какие распоряжения на случай возможного конца. Вся обстановка ночи запечатлелась в моей памяти: около постели сидела m-me Штаден, старшая сестра общины, сменившая уставшую Чернявскую. Комната моя, казавшаяся огромною, слабо освещалась ночником, обрисовавшим общие очертания фигуры сестры с ее профилем, белым чепцом и рукою, пишущею под мою диктовку: она записывала мою последнюю волю...

Ах, как смерть была близка и как мне не хотелось умирать! Вспоминая все случившееся, я бранил себя за то, что вздумал идти смотреть, как будут взрывать монитор. Правда, Скрыдлов дал мне слово, что покажет взрыв, но что было делать против *force majeure**: и взрыва не видел, и получил такую нахлопку, что приходилось уже не только не думать о будущих работах, а распрощаться со всеми старыми.

Что будет теперь, думалось, с большими, начатыми полотнами? Как небрежно к ним отнесутся, как вкривь и вкось будут судить их; мысли выражены неясно, техника не отделана! Как мило, тихо, уютно казалось мне теперь в моей чудесной мастерской! Сидел бы, работал бы в ней! Что меня оттуда гнало!

«Гнало то, — отвечал я сам себе, — что я захотел видеть большую войну и представить ее потом на полотне не такую, какую она по традициям представляется, а такую, какая она есть в действительности. Попался! Что делать, приходится умирать, но ведь мог и проскочить благополучно; тогда я все, что видел, написал бы! А может быть, и теперь еще проскочу? Может быть, не умру?.. О, какое это будет счастье!..»

Мне приходилось выслушивать множество выговоров за ту легкость, с которою я пошел в опасное дело. Они, военные, идут по обязанности, а я — зачем?

* Чрезвычайное событие (*фр.*).

Не хотели люди понять того, что моя обязанность, будучи только нравственною, не менее, однако, сильна, чем их; что выполнить цель, которою я задался, а именно: дать обществу картины настоящей, неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека, а нужно самому все прочувствовать и проделать, участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, холод, болезни, раны... Нужно не бояться жертвовать своею кровью, своим мясом — иначе картины мои будут «не то».

И в это время, и после такие объяснения мои выслушивали только с улыбкой снисхождения: почти не довелось встретить военных, которые согласились с тем, что я не дурил, не блажил от безделья, а делал большое, важное дело.



После одной из лихорадочных, мучительно-бессонных ночей доктор Кремниц, придя к утренней перевязке, стал дружески выговаривать мне за то, что я не поправляюсь, не помогаю ему в его желании скорее поднять меня с постели... Как я после понял дело, мне следовало бы, скорее, укорять его в том, что он не хочет решиться помочь мне и вместо того, чтобы, как опытные врачи советовали, разрезать и прочистить рану, упорствует в надежде заживить ее так, без лишних хлопот.

Вместо ответа я обвил его шею руками и залился слезами: — Доктор, доктор, что вы говорите! Я энергичен, деятелен, стал бы я из упрямства задерживать свое выздоровление! Просто слышу, что силы покидают меня, и чувствую, что скоро будет конец... Спасите меня, доктор: решитесь сделать что-нибудь!

Это что-нибудь случилось очень скоро. Начав раз перевязку, за каковою процедурой я всегда внимательно следил, доктор обратил внимание на подозрительный цвет выделений из раны и когда вслед за тем поднес перевязку к носу, то переменялся в лице: я видел, что кровь бросилась ему в голову!

Мне сказали потом, что показались ясные признаки начинавшейся гангрены.

Доктора перекинулись несколькими словами, дали приказания помощникам, которые засуетились и нанесли разных посуды и препаратов.

— Вам будет сделана маленькая операция, — ответила на мой вопрос Чернявская, — маленькая, неопасная, но после нее вы тотчас начнете выздоравливать.

Я совершенно удовлетворился этим объяснением, тем более что хуже того, что было, не могло быть; при вполне сохранившихся сознании и всех мыслительных способностях физические силы до того упали, что я едва мог говорить.

Совсем решившиеся на операцию доктора смущались, однако, тем, что, пожалуй, я не вынесу ее, потому что с давнего времени ничего не ел.

— Что-нибудь вы должны съесть: если не проглотить, то хоть пожевать!

Но я упорно отказывался от всего: все было противно. Наконец добрейший смотритель госпиталя распорядился принести из лучшей гостиницы хорошо приготовленное филе, несколько кусочков которого я помял во рту; тотчас потом и приступили к операции.

Откуда-то явился над моим носом кружок мокрой марли, который сестра милосердия держала так близко, что я невольно стал дышать исходившим от него запахом.

— Оставьте, — говорил я, чувствуя, что все начинает падать из глаз. — Мне тяжело, я задыхаюсь.

— Дышите, дышите, — твердили кругом, — худого ничего не будет...

Я отклонял голову, надеясь спастись от этого несносного, будто враждебного запаха, но он (хлороформ) следовал за мной, одолевал, и скоро я потерял сознание...

Долго ли продолжалась операция — я не знаю; говорили, что больше часа. Мне разрезали рану во всю длину, от входного до выходного отверстия, вырезали из нее порядочный кусок загноившегося и уже разложившегося мяса — от помянутых кусочков материи, все еще державшихся в глубине поранения, — но, кажется, сделали ту ошибку, что не склеили

края раны липким пластырем, как это, по словам сестер милосердия, практиковалось нашими докторами. Едва ли не это было потом причиною кровотечений, вызванных самыми небольшими движениями.

Когда отняли хлороформ и я стал приходить в себя, я услышал несколько голосов: «Пейте!»

Перед губами держали бокал шампанского, и я выпил его весь. Кругом знакомые лица смотрели так ласково, участливо, что казались особенно симпатичными, и от вина ли, от действительного ли улучшения, произведенного устранением заразы, я почувствовал себя гораздо бодрее.

Скоро явился аппетит, и отчаяние в возможности сохранить жизнь уступило место самой твердой надежде в том, что еще проживем и поработаем! Наступило настоящее выздоровление.

Думаю, не ошибаюсь, полагая, что было немножко ревности к русским братьям со стороны докторов, помешавшей им сделать операцию тотчас по моем прибытии в госпиталь и заставившей приступить к ней только в последнюю минуту, когда промедление, хотя бы до вечера, могло иметь для меня самые печальные последствия.



По мере выздоровления стали пускать и желавших навесить, справиться о здоровье, сообщить новенькое. Консульские опять начали передавать последние известия, смягченные, прикрашенные, но все не очень утешительные: уже разыгралась вторая Плевна, где герой Никополя Криденер не отличился. Гурко давно уже воротился из своей прогулки за Балканы, а главная квартира главнокомандующего много передвинулась назад от Тырнова, едва не дойдя до Дуная. Будь турки более подвижными, армия наша могла бы быть в лучшем случае прогнана за реку, а в худшем — потоплена в ней.

На азиатском театре войны тоже было не красно и начальные успехи уступили место крупным неудачам из-за того же недостатка войска.

Все стали сознавать и говорили, что не следовало начинать войну со 150 000 солдат против 400 000.

И здесь явилось доказательство того, что уроки истории очень мало принимаются во внимание.

Австрийцы пошли занимать Боснию и Герцеговину, к защитникам которых относились несерьезно, с небольшим количеством войск, чтобы не пугать общественное мнение Европы, и потом принуждены были чуть ли не мобилизовать всю армию, чтобы поднять свой престиж в глазах того же общественного мнения и достичь цели.

Англичане высадили в Египет, защитников которого ставили ни во что, слишком мало войска из-за боязни испугать Европу и после крупных неудач и потерь людьми, временем и деньгами должны были истратить всего вдвое более, чем если бы серьезно взялись за дело сначала.

Мы начали войну с Турцией прямо с ничтожными силами на обоих театрах войны опять-таки наполовину из самонадеянности, презрения к неприятелю, наполовину из боязни испугать общественное мнение Европы, и так уж настроенное за Турцию против нас. Результат не заставил себя ждать: турки, будучи в превосходных силах в Азии и в Европе, погнали нас назад, лишь только огляделись, оправились от первого конфуза и поняли нашу малочисленность.

Более полустолетия тому назад Наполеон I сказал, что «la victoire aux gros bataillons»*, и все сознали и сознают справедливость этих слов, но только один Мольтке применил их на практике: все же остальные вояки, действуя «своим умом», попались, попадаютя и будут попадаться.

Приезжавшие из столиц в главную квартиру или уезжавшие туда, интересуясь здоровьем художника, заходили в госпиталь узнать о самочувствии, поговорить. Я уставал от этих визитов и представлений, но они бодрили, были лестны, так как фактически доказывали общее участие.

* Победа — у крупных батальонов (фр.).

Часто заходил редактор одной только перед объявлением войны начавшей издаваться, но уже завоевавшей солидный успех газеты, талантливый человек, когда-то державшийся либеральных принципов, изливавший мне много наболевшего на душе за время наших поражений.

Нередко приезжал наш канцлер князь Горчаков, проживавший в Бухаресте, милый, любезный, обходительный человек, иногда уже немного заговаривавшийся — не хочу сказать, со стороны смысла, но со стороны забывчивости.

При нем всегда неотлучно находился и всюду ездил барон Ф., с большим тактом исполнявший обязанность «*dame de compagnie*»* знаменитого государственного человека. Когда почтенный князь заходил в рассказах дальше, чем следует, барон начинал покашливать все более и более многозначительно, пока Горчаков, точно встряхнувшись, не останавливался. Жалко было слышать, как старик говорил иногда при этом: «Боже мой, я чувствую, что глупею с каждым днем».

Рассказывая мне раз об известном графе Р., князь пустился в такие скабрзные подробности по поводу рода смерти этого господина, что «*dame de compagnie*» стала настойчиво и энергично кашлять: в головах у меня стояла молоденькая сестрица, со вниманием следившая за нашим разговором.

После отъезда князя я рассказал Чернявской о том, что было, и попросил разузнать обиняком, насколько милая хохлушка была сконфужена рассказом; о том, чтобы она не поняла ясных, громко сказанных слов князя, мне и в голову не приходило.

— Как красив! У вас, я слышала, сегодня был канцлер? — спросила Чернявская.

— Да, — отвечала маленькая сестрица, — был Горчаков, рассказывал, смеялся.

— Ну а что он рассказывал, вы не помните?

— Много разного! Только я все это уже в книгах читала...

Мы вздохнули свободно.

* Сопровождающая дама (фр.). Здесь: опекун.

Горчаков был большой поклонник женщин и не мог говорить хорошеньким или о хорошеньких без того, чтобы пальцы его не прыгали по рукоятке палки, как по клавишам. Желание быть всегда любезным и услужливым вовлекло его в такую, например, ошибку: прехорошенькая молодая девушка явилась просить его рекомендации для поступления в сестры милосердия: она горела желанием послужить раненым! Не справившись о прошлом особы и судя только по смазливому личику, канцлер рекомендовал девицу заведующей одной из общин, и она была принята. Каково же было потом узнать, что сестрица стала показываться на загородных прогулках и попойках с неранеными офицерами... Хоть ее тотчас же исключили, тем не менее в глазах посторонних, например румын, осталось впечатление маленького темного пятнышка на нашем Красном Кресте.



Много медицинских знаменитостей, особенно хирургов русских и иностранных, приезжавших на театр войны или возвращавшихся оттуда, посещали госпиталь и присутствовали при перевязке. Один француз, помню, пресерьезно говорил надо мною — разумеется, в комплимент мне: «Это тот больной, который был ранен при таких драматических обстоятельствах!» Признаюсь, мне и в голову не приходило, чтобы наша шутка на «Шутке» могла считаться драмой.

Все, профессор Богдановский особенно, настаивали на том, что нужно бросить морфин, мешавший моему выздоровлению.

— Попробуйте, испытайте, крепитесь, — твердили они. Но я отвечал, что пробовал, испытывал, крепился, и ничего не выходило; в последнюю минуту боли доходили до такой силы, что не было возможности выносить их.

— Вы так привыкнете, что не будете в состоянии обходиться и на всю жизнь сделаетесь морфинистом!

— Нет, не сделаюсь.

— Как же вы отвыкнете, если это войдет в привычку?

— Когда буду крепче, начну двигаться, уставать — тогда буду в состоянии спать без морфина.

— Смотрите, не было бы поздно!

Это мнение, что меня следует спасти, привело к следующему: приятель мой доктор Чудновский — он был из наших мест, товарищ молодых годов, — принимая близко к сердцу мою неосторожную самонадеянность, подговорил раз врачарумына, делавшего уколы морфином, или разбавить его, или прямо впустить под кожу дистиллированной воды. Действие вышло ужасное: не успели доктора покинуть меня, — а ушли они нарочно поскорее, — как вместо обыкновенной теплоты по телу пошел холод и скоро припадок лихорадки, один из сильнейших, которые я когда-либо имел, заставил меня стонать и метаться.

Напрасно я звал, умолял прийти на помощь. Конечно, заранее условившись, никто не приходил, и только сестра милосердия, хотя тоже не сочувствовавшая морфину, видя страшное действие этой пробы, старалась утешать, уговаривать и даже разыскивать доктора, но без успеха.

На следующее утро я был в отчаянном состоянии и так раздражен, что, когда Чудновский с улыбочкой подошел расспрашивать о том, как была проведена ночь, я ему пропел плохую благодарность. Милейший приятель, хотя и понял, кажется, свою ошибку, когда узнал о десятичасовом припадке лихорадки, все-таки обиделся резкостью выговора и долго после этого не приходил ко мне.

Я уже был на ногах, выходил гулять, ездил по городу, когда его дружеская физиономия снова заглянула в дверь и он спросил:

— Ну что, все еще принимаете морфин?

— И не думаю, — ответил я.

— Как же вы отвыкли?

— Я не отвыкал, это сделалось само собой: сначала мне дали хлоралу на ночь, и я заснул без морфина; потом дали перед сном стакан крепкого венгерского вина, добытого в погребе

какого-то богатого румына, и я свалился на всю ночь. Затем пришлось еще раз прибегнуть к хлоралу, и после уж я начал спать натуральным сном, благо движение и чистый воздух расположили к нему и сделали ненужным снотворное лекарство.

Это было, впрочем, значительно позже, а пока немало было хлопот с кровотечением из раны и с началом ходьбы.

Раз сестра милосердия необычайно сердито стала выговаривать: зачем я беспокоен, двигаюсь на постели, не берегусь — из раны показалась капелька крови. «Лежите смирно, я велю переменить белье!» Оказалось, что это была не капелька, а настоящая струя, намочившая и простыню и тюфяк: не заметь ее вовремя сестра, я истек бы кровью.

Побежали за доктором, явившимся очень встревоженным и тоже начавшим выговаривать за непоседливость, а я ни душой, ни телом не был виноват.

Принятые средства не могли остановить разошедшейся крови, и пришлось всю рану туго набить маленькими шелковыми кисточками, которых нанесли целый ворох и все забили в разрез; хорош, значит, был разрез, о котором мне говорили как о «маленьком».

Это забивание шелка в рану со всею силою, на которую были способны крепкие пальцы немца Кремница, было до того мучительно, что я вскрикивал и потом просил, чтобы в случае надобности в такой операции ее делали под хлороформом.

Кровотечение повторилось после еще один раз, но его остановили легче, без испытаня моей выносливости. Еще другого рода пробой терпения было вынужденное лежание на одном и том же боку: сильнейшие пролежни покрыли все выдающиеся сочленения левой стороны — ранена была правая, — пролежни, в свою очередь обратившиеся в маленькие ранки, требовавшие ежедневных забот и ухода.

Постоянное лежание на одном боку надоело мне до такой степени, что я упросил наконец доктора, несмотря на все его отговоры, что еще рано, провести меня по палате, и, страшно

ковыляя подгибавшейся и еще отказывавшейся служить ногой, я обошел все свободное пространство моей комнаты. Следующие дни прогулки повторились в усиленных размерах, и дальше — больше, я стал не только ходить по комнате, но и спускаться в раскинутый перед госпиталем садик, где вскоре начал проводить большую часть дня.

Кажется, помогло делу заживления раны то, что сестры милосердия настояли, чтобы края ее после каждой перевязки слеплялись полосами липкого пластыря, не позволявшего нараставшим грануляциям тереться и раздражаться. Как я уже заметил, это давно было рекомендовано нашими русскими, но доктор Кремниц, сильный своею практикою в рядах прусской армии за время австрийской и франко-немецкой войн, не находил нужным применять этого.



Не менее, помню, ошибался этот почтенный, во всех отношениях достойный врач и в оценке деятельности сестер милосердия.

— Во французскую кампанию у нас тоже были сестры, — говорил он, — но мы от них чуть ли не больше имели вреда, чем пользы, так как женщины дурно подчиняются дисциплине и позволяют себе не исполнять, обходить распоряжения докторов...

Из его же слов можно было понять и объяснение такого, конечно, нежелательного явления: дело в том, что в немецкой армии сестрами милосердия были преимущественно барыни, многие очень влиятельные, гордые тем, что не только не получали жалованья, но еще от себя вносили немалую лепту на дело ухода за ранеными; тогда как у нас все, исключая волонтеров вроде моей Чернявской, получали от 20 до 30 рублей в месяц и, пройдя подготовительный курс в петербургских и московских госпиталях, с полною покорностью, с забвением своего «гонора» не только беспрекословно исполняли предписания докторов, но и исполняли самые грязные, отталкивающие работы.

Даже там, где доктор не наклонялся над раной и не осматривал ее без крепкой сигары во рту — до такой степени бывал силен запах, — сестрица как нагнется над гнойным поражением, так и не разогнется, пока всего не промоет, не прочистит, не перевяжет.

При посещении перевязочных пунктов во время битвы мне случалось видеть, что тут и там доктор с засученными рукавами, в своем кожаном переднике, сплошь залитом кровью, точно у доброго мясника, после осмотра нескольких сотен раненых выходит из палатки и либо сидит на каком-нибудь солдатском ранце, опустив голову и руки в полном изнеможении, либо стоит и курит папиросу за папиросой, жадно глотая дым и выпуская его кольцами к небу... Так даже за подобным, понятно необходимым отдыхом я никогда не заставлял сестер: разве перекинутся несколькими словами, пожалуются на невыносимый труд, но затем, без преувеличения, не покладая рук, с утра до вечера носят теплую воду, тазы, марлю и весь перевязочный материал, помогают перевязывать и сами перевязывают — только что сами не режут, а помогают резать, держат оперируемые руки и ноги, после чего относят и бросают в складочную кучу эти свидетельства храбрости и готовности «живот свой за веру и Отечество положить».

А как они грязно жили, где-нибудь, кое-как спали, когда удавалось поспать, что и как приготовленное ели! Недаром тиф и горячки начали валить их после кампании, когда силы надломались, а нервы сдали!

Случаи нерадения, конечно, бывали, но редко, и они без дальних церемоний обрывались или строгим выговором, или в крайнем случае отсылкою в Россию.

Был один очень деликатный пункт, относительно которого немецкий врач был прав, это — присутствие у постели раненого или больного для близкого, интимного ухода за ним молодой, красивой женщины, хоть и с повязкой Красного Креста, но все-таки женщины. Спешу оговорить, что в словах моих не должно видеть ничего, кроме сказанного, никакой инсинуации, и приведу пример, который сказанное пояснит: рядом с

моею комнатою лежал молодой кавалерийский полковник с раздробленным локтем и за ним ухаживала молодая сестрица, полька, замечательно красивая. Ничего, решительно ничего не было в данном случае, тем не менее доктора стали замечать, что чем больше бравый офицер беседовал с сестрицей, самоотверженно за ним ухаживавшей, тем более раздражалась и затыгивалась выздоровлением его и без того нелегкая рана.

Кремниц сначала крепился, потом намекал и, наконец, в интересах больного прямо предложил удалить под каким-нибудь предлогом красавицу-сестру. Предлог нашелся в том, что она, будучи замужнею, оказалась уже приехавшею на театр военных действий в третьем месяце беременности, и ей посоветовали для сохранения собственного здоровья поехать домой.

Мимоходом замечу, что этот сосед-полковник присылал ко мне спросить: каким образом я нашел возможным отстать от морфина, который он никак не мог бросить?

Я ответил, что, по всей вероятности, так же как и я, он сумеет отрешиться от этой привычки после, когда будет больше двигаться, когда физическая усталость вместе со стаканом хорошего крепкого вина поможет засыпать без морфина.

Немного отклонюсь здесь от нити моего рассказа замечанием о том, что много спустя, в Париже, близкий приятель мой, француз, узнав о том, что мне удалось отделаться от привычки к впрыскиванию морфина, практиковавшегося в продолжение целых двух месяцев, передал просьбу одного *gentilhomme*'а* из своих знакомых, приходившего в отчаяние от морфинomanии своей молодой жены и хотевшего узнать, как, какими средствами можно отучить от ужасной привычки. Одно время, так же как отчасти и теперь, во французском обществе морфин был в такой моде, что барыни носили на браслетах и других украшениях маленькие серебряные и золотые шприцовки, которыми дома и в обществе, улучив минуту, делали себе уколы.

* Дворянина (фр.).

От такой привычки хотел излечить свою хорошенькую жену помянутый господин и, кажется, применил рекомендованный мною способ. Я, однако, предлагал строго наблюдать за тем, чтобы лекарство не оказалось вреднее болезни, как это иногда бывает.



Говоря о времени лечения в Бухаресте, нельзя не помянуть добрым словом госпиталь, в котором я лежал, так же как и администрацию его. Здание представляло нечто вроде загородного дворца владетельных князей Бранковано-Бибеско, завещанного под больницу и в эту войну предназначенного румынским правительством для русских раненых. Не знаю уж, почему у нас так высокомерно отнеслись к этому великодушному предложению и почти не посылали больных, которых могло бы поместиться в 3—4 раза больше, чем их было, — это в то самое время, когда некоторые из зданий, занятых нашими ранеными, были так заражены, что почти все операции кончались смертью. Мне рассказывали об одном сведущем и обыкновенно весьма счастливо практиковавшем хирурге, пришедшем в отчаяние от фатального конца всех произведенных им операций. «Если еще этот умрет, — сказал он наконец перед операционным столом, — я уеду!» И действительно, он уехал, а вскоре после открылась истинная причина большой смертности, и пришлось покинуть зараженное здание госпиталя.

Заправление бранкованским госпиталем по завещанию должно было находиться в руках одного из членов дома жертвователя, и в то время им управлял полковник Бибеско, не князь, но приходившийся сродни княжеской линии.

Нелегко было бы найти более заботливого и деликатного смотрителя, чем этот милый отставной воин, потерявший один из пальцев в венгерской кампании, во время которой состоял при штабе Русской армии. Я лично не мог нахвалиться его вниманием и уходом: родной отец не сделал бы большего

для моего оздоровления, чем сделал этот румынский боярин-солдат.

Когда за мой обратный проезд Бухарестом, после войны, он с детским простодушием высказал свою обиду, состоявшую в том, что русское правительство хочет наградить его орденом Св. Станислава 2-й степени, в то время как он уже имел Анну этой степени за 49-й год и, следовательно, вправе рассчитывать на Станиславскую ленту, — я с истинным удовольствием взялся изложить его претензию приятелю моему Д.А. Скалону, правителю канцелярии главнокомандующего; хотя, признаюсь, не справился после о том, каков был результат моего ходатайства: наградили смотревшего в гроб, но все-таки пробиравшегося в дамки старика по его заслугам или нет?

Король, тогда еще князь, румынский неоднократно присылал справляться о моем здоровье, а королева, тогдашняя княгиня (Кармен-Сильва), простерла любезность до присылки подарка, какой-то художественно исполненной мозаики, явившейся в то время, когда мне было совсем плохо и потому почти не виденной мною.

Также и бояре румынские из знакомых полковника Бибеско любезно звали посетить их, но, зараженный одною мыслью — поскорее вырваться из госпиталя и уехать в армию, я держался самого гигиенического режима: никуда не ездил, нигде не засиживался, рано ложился спать, рано вставал, гулял, катался, ел, пил; засыпал же, как святой, уж без всякого снотворного лекарства.



О намерении ехать в армию, не дожидаясь окончательного заживления раны, я не говорил никому, потому что ожидал самого энергического сопротивления, а между тем чувствовал, что свежий воздух поможет окончательно поправиться лучше, чем весь уход госпиталя.

Когда я наконец сказал, что хочу скоро «выписаться», случилось как раз то, чего надобно было ожидать, коли не

большее: к желанию моему отнеслись не как к неосторожности, а как к временному сумасшествию! Полковник Бибеско уговаривал нежно, отечески, но доктора, увидев, что противоречить бесполезно, только пожимали плечами и потом обрушились на милую Чернявскую, которая, будучи отчасти на моей стороне, так как мы сговорились ехать вместе — она — в передовой госпиталь, я — в главную квартиру, — отговаривала слабо, а потом совсем согласилась со мною. Мы решили, что если ехать спокойно, не торопясь и исправно перевязывая рану в попутных госпиталях, то при чудесной августовской погоде можно вылечиться вернее, чем в стенах лазарета.

Сказано — сделано: я нанял городской фаэтон за три золотых, т. е. 60 франков, в день с условием, что он привезет меня к плевненским позициям и, если понадобится, будет возить и по ним столько дней, сколько пройдет до времени, когда я буду в состоянии сесть в седло; это по расчету моему должно было случиться дней через 7—8.

Я распрощался с добрым смотрителем госпиталя, докторами, сестрами милосердия и прислугой и сел на железную дорогу, а в Журжеве — на тройку выехавшего туда фаэтона и покатил по берегу Дуная. Какая была погода, какая ширь, какой подъем духа после двух с половиной месяцев пребывания в духоте! Наконец-то, думалось, я увижу настоящую военную драму под Плевной, где, по сведениям, готовились к последнему кровопролитному штурму...

Плевна

Ехать из госпиталя одному с не закрывшейся еще раной было трудно; поэтому я взял попутчика, некоего Т., пробиравшегося на место военных действий в качестве корреспондента одной петербургской газеты. Зная, что сообщающих сведения о ходе военных действий в главной квартире не жаловали, а в последнее время, под влиянием неудач, даже совсем не пускали — надобно же было найти козла отпущения, — я затруднялся взять с собой одного из таких опальных как бы под

свое поручительство и охрану. Т., однако, уверенно говорил, что он хороший приятель адъютанта главнокомандующего Х., так что поедет *к нему, а не со мной*. Вдобавок он обещал перевязывать мою рану всюду, где не будет госпиталей или перевязочных пунктов, что для меня было крайне необходимо; поэтому мы выехали вместе.

Оказалось, что я взял себе попутчика во всех отношениях на горе! Служа в одном из министерств столоначальником, он не мог отрешиться от спеси, присущей такому сану, и, например, преспокойно оставался сидеть в экипаже, в то время как я ковылял с палочкой, поднимался и спускался по лестницам, разузнавая и расспрашивая обо всем, что в дороге приходилось узнавать. Помню, когда, подъезжая уже к Плевне, я попросил его догнать перерезавшего нам дорогу иностранного офицера для того, чтобы спросить о ближайшем проезде к месту нахождения главной квартиры, он ответил: «Догоняйте сами, если хотите; я не гончая собака!» А как мне было догонять с хромой ногой, уже начинавшей развинчиваться в этом переезде?

Чернявская, одно время ехавшая следом за нами, говорила мне после, что имела желание побить моего попутчика за то, что он даже не со столоначальнической, а прямо с министерскою важностью восседал на подушках коляски, в то время как я хромал в суетах за дорожными хлопотами.

Как говорю, следом за нами, пока только до Систова, выехала добрая сестра — мамаша Чернявская, поставившая меня на ноги и отправившаяся искать работы около раненых же дальше.



Нельзя не удивляться тому, что, широко раздавая почетные награды не только офицерам и солдатам действующих войск, но и всем писарям, денщикам, не слышащим свиста снарядов, — так скупы на этот счет к сестрам милосердия, часто не только хорошо знакомым с пением пуль и гранат, но и прямо умирающим от лишений, зараз и всяческих бед своего тяжелого ремесла близ полей битв.

Сестра милосердая, буквально выходившая меня и после еще многих других раненых, которую эти последние называли «ангелом нашим небесным», которая снисходила до исполнения самых мелких капризов и требований этих взрослых детей: утешала, мирила, писала заветания и исполняла их, и проч., и проч., и проч., не только не получила никакого отличия, но даже и «спасибо» — где же справедливость?

Скажут, довольно и того, что она исполнила свой долг, довольно награды этого сознания — гм, гм. Но ведь все только исполняли свой долг, однако пусть попробовали бы не дать им за это наград!

Чтобы быть справедливым, надобно сознаться, что женщины, как более слабые, со всех сторон обижены мужчинами; немудрено, что более злопамятные из них иногда отплачивают нам...



Вместе с Чернявской ехала ее племянница Г., очень милая девушка, не отстававшая от своей тети в деле ухода за больными солдатами. Не невозможно, что очень хорошенькое личико молодой особы было косвенною причиною неуспеха сестер в приискании работы на передовых позициях, заставившего их воротиться потом в Систово и устроиться при тамошнем госпитале. Все мы люди, все мы человеки: многие хорошо послужившие родине пожилые, сановитые сестры относились не совсем доверчиво к юным, хорошеньким коллегам-сестрицам, потому что и раненые, и сами доктора часто были слишком «привержены» к ним.

Трудно выразить впечатление довольства всего моего существа от возвращения к жизни и всем ее прелестям. Перед кем двери гроба не были уже открыты, кто не пробовал умирать и не слышал зазывающего туда голоса: *entrez, monsieur, entrez!** — тот не может понять моего тогдашнего счастья!

* Входите, сударь, входите! (*фр.*)



В Зимнице, прямо представлявшей из себя кабачок низшего пошиба, решительно не было места, куда можно было бы приткнуться, и мы провели ночь в наших экипажах, а на другой день переехали на тот берег Дуная, к городу Систову.



Вид Систова.

Дорога туда была очень песчаная, а понтонный мост совершенно живой; как и почему турки не прорвали его своими броненосцами — остается непонятным.

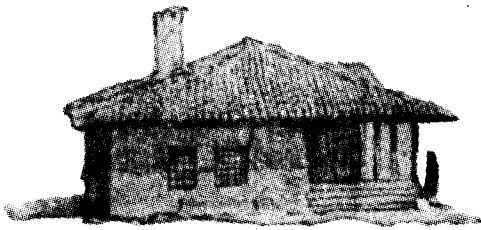
Несколько стоявших в Рущукe броненосцев и паровых судов прекрасно могли бы разнести, уничтожить переправу, а наши войска оказались бы отрезанными на том берегу. Мины, как я уже заметил, были положены очень дурно, вернее сказать, на большей части главного русла Дуная вовсе не положены, и боязнь турок в этом случае надобно отнести прямо к «внушению», данному им миноносками наших моряков, стерегших турецкие суда и храбро, днем и ночью, налетавших на них, где бы они ни показывались. Внушение на войне играет еще большую роль, чем где-либо, и, в противность известной

теории гр. Толстого, я утверждаю, что «обаяние» личности, «ореол» непобедимости стоит многотысячной армии.

Чернявская имела несколько слов рекомендаций к маленькому болгарскому чиновнику систовского комендантского управления; я было скептически отнесся к этой протекции, но очень ошибся: болгарин оказался премилый, прелюбезный и преплезный нам; он сам повел нас на квартиру к какой-то дальней родне своей, жившей, правда, в переулке, за закоулками, но зато в тихом месте, где не слышно было пья-

ньенского солдатства, в маленьком, уютном домике.

Хозяевами оказалась очень древняя болгарская чета, образом жизни, привычками, пожалуй, и тайными симпатиями подходившая ближе к туркам, чем к своим воинствовавшим



Болгарский домик.

теперь болгарам. Не буду описывать обстановки жизни и порядков, высмотренных у наших систовских хозяев; скажу только, что, к удивлению нашему, они относились с немалым недоумением и недоверием ко всему творящемуся в их городе и даже как будто вздыхали по старозаветному турецкому режиму и своему прежнему благополучию, с ним связанному.

И то сказать, мы много раз, особенно в два последних столетия, взывали к их братским симпатиям, по мере надобности пользовались ими и потом снова оставляли население на ярость турецкого гнева, жестоко платившего за эти симпатии. Наши старички-хозяева, помнившие безжалостную турецкую расправу после прежних войн, охотно вели с нами дружеские разговоры, соглашались в том, что они нам «братушки», но оставались себе на уме, выжидая, что будет дальше. Мы ознакомились немного с городом, его снаружи грязными, но живописными постройками — некоторые из них я

занес на полотно, — побывали в единственном ресторане, расположенном в саду, в котором разношерстная, преимущественно военная публика была оригинальнее самого кормления.

Скоро, однако, в чайнии более интересного, ожидавшего нас, по всем слухам, под Плевною мы двинулись дальше; сестры остались пока в Систове.



К вечеру мы подъехали к деревне Радоницы, в которой стоял со своей квартирой государь. Его величества не было в это время: он еще не возвращался с плевненских позиций, на которые уехал с самого утра.

Когда стемнело, государь приехал и прямо прошел со всею многочисленною свитою за плеть своего помещения. Тут были граф Адлерберг, генерал Милютин, князь Суворов и много других. Я с попутчиком стоял в темноте, между деревьями, и, хотя знал почти всех приехавших, не решился, однако, заявить о своем присутствии, потому что, если бы меня затащили к столу, мой товарищ остался бы, как малый ребенок, с пустым желудком и дело вышло бы неладно. Хотя представление о том, как господа свиты сейчас сядут за стол и после хорошего дневного моциона на открытом воздухе начнут кушать, вызвало слюнки изо рта, пришлось терпеливо направиться в деревню, к нашей хате; раздобыв с великим трудом петуха и утолив голод похлебкою, мы легли спать.



Военный министр Д.А. Милютин.

На другой день, после больших хлопот с перевязкой уже начавшей раздражаться раны, мы собрались выездом. Государь со свитой, сказали нам, давно проскакал на нескольких тройках по направлению позиций, близ турецкого редута около Гривицы. Очевидно, слухи о готовившемся штурме были справедливы.

Подъезжая к Плевне, мы невольно спрашивали себя в недоумении: «Да где же она? Кажется, уже близко, а ничего не видно!»

«Вон там», — говорили, указывая на горизонт, перерезанный слегка холмистой линией скучной, монотонной равнины. Уже слышались удары выстрелов, стали показываться и верхи дымок от них, а все ничего не было видно.

Большинство общества, вероятно, представляло себе войска, расположенные вокруг Плевны, вроде тех рядов воинов, что штурмуют крепости с башнями, воротами и рвами на народных картинах: все ярко, красиво!

Ничуть не бывало: кругом самого прозаичного грязного восточного городишка, построенного в глубокой долине, невысокие, гладкие, совсем не живописные холмы, почти без растительности, покрытые лишь бурой, выжженной травой, и между ними кое-где полками и батальонами — валяющиеся на траве, кто на спине, кто на брюшке, солдаты. Только широкие короткие черточки дальних редутов, венчавших возвышенности, заставляли напрягать зрение в надежде увидеть то, что охранялось такими твердынями. Это и была невидимка Плевна, уже унесшая столько жизней и, пожалуй, еще сулившая немало неудач и бед.

Также и относительно облежавших Плевну позиций наших войск: и мне в Бухаресте, и, пожалуй, многим, следившим за делом издали, они казались интересными, грандиозными, но на деле ничего грандиозного не было: все плоско, гладко, безотраднo.

По мере приближения выстрелы слышались все яснее и громче.

Дорога была пустынна: проезжал казак или проходили, размахивая руками и о чем-то споря, несколько солдат; по-падался навстречу доктор...



На одном из холмов, на горизонте, нам указали множество двигавшихся точек: то были государь, главнокомандующий и лица обеих главных квартир. Проехав деревню Сгаловицы, мы потеряли было их, скрытых холмом, из вида, но потом сразу очутились перед ними.



Д.А. Скалон.

Тут, на месте, мне стало еще более неловко оттого, что, как бы в противность общему распоряжению, я вез на одну из наиболее важных боевых позиций, в самую главную квартиру, корреспондента газеты. Я попробовал сказать моему спутнику о том, что, пожалуй, будет лучше, если он наперед скажется, предупредит о себе, но он так был уверен в дружбе и покровительстве приятеля-адъютанта, что пришлось согласиться.

А вышло неладно: когда мы, двое штатских, выйдя из экипажа, стали приближаться к группам офицеров, занимавших первый холм, нас стали окидывать холодно измерявшими взглядами: точно мы были соглядатаи, повинные по меньшей мере в одной из последних неудач армии. Даже меня, состоявшего при особе главнокомандующего, хорошо знавшего почти всех тут бывших, встретили только официально-вежливо; один Скалон — дружески: как будто шутка моя на «Шутке» с последовавшими раною и пребыванием в госпитале были чем-то предосудительным.



Мой спутник, высмотрев приятеля-адъютанта — очень милого офицера, которого я хорошо знал, — подошел к нему чуть не с распростертыми объятиями, но тот, сконфуженный фамильярностью «клеенки», пожал ему руку, перекинулся несколькими фразами и отошел...

Мне сделалось жалко Т.; он попробовал потом прилечь на траву около группы молодежи, но все тотчас же встали и разошлись в разные стороны...

В это время великий князь главнокомандующий проходил мимо; я подошел к нему и поздоровался.

— Как! Вы! — И, бросившись на шею, он начал обнимать и целовать меня. — Молодчина, молодчина вы эдакий! Какой молодец, какой молодец! Как ваше здоровье? Что рана? Видели ли вы государя? Пойдем к нему!

И он потащил меня на следующий холмик, на котором на маленьком складном стуле сидел его величество с биноклем в руке, наблюдавший за ходом бомбардировки Плевны.

Главнокомандующий поставил меня прямо перед государем.

— Здравствуй, Верещагин, — с самой милой, любезной улыбкой сказал его величество. — Как твое здоровье?

Государь говорил *ты* близким к нему лицам и всем георгиевским кавалерам.

— Мое здоровье недурно, ваше величество, благодарю вас.

— Ты поправился?

— Поправился, ваше величество.

— Совсем поправился?

— Совсем поправился.

Его величество, кажется, желал сделать еще вопрос, когда я учинил маленькую неловкость: без фуражки, с голой головой, под моросившим дождиком я почувствовал приближающийся насморк и, не испросив дозволения, накрылся. В ту же минуту государь отвернул голову и обратил взор на позиции, как бы не замечая злополучного картуза на моей голове.

Выручил князь Суворов, обнявший меня и потащивший к себе:

— Земляк, земляк! Ведь я Суворов! Ваш, новгородский! Ваш близкий земляк!..

Румынский князь, граф Адлерберг и другие лица, стоявшие за государем, подходили, жали руки, выражали участие, спрашивались о здоровье.

Во время разговора с генералом Игнатьевым, чуть не задушившим меня в своих мощных объятиях, я слышал, как князь Суворов, этот «old gentleman»*, говорил государю о моем брате, начинавшем художнике и состоявшем тогда волонтером-ординарцем при Михаиле Дмитриевиче Скобелеве:

— Ведь это храбрец, ваше величество; у него пять ран, под ним убито восемь лошадей; наградите его, ваше величество!

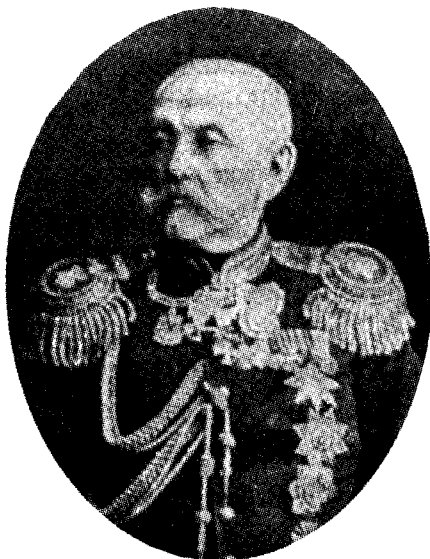
Государь тут же приказал от своего имени послать брату солдатский Георгиевский крест.

Когда я воротился на первый холмик, с которого хорошо был виден любезный прием, оказанный мне на втором, все руки дружески протянулись вперед, все наперебой начали интересоваться «делом» на Дунае, раною, здоровьем. Даже злополучный «попутчик» извлек пользу из моего «успеха»: его перестали избегать, с ним начали говорить, как будто он и не был корреспондентом, — так заразителен пример выше...



Откуда явилась Плевна-твердыня?

Как, когда создалась и выросла, буквально под носом у нашей армии, такая сильная крепость — это пока неудобно



Князь А. А. Суворов.

* Старый джентльмен (англ.).

разбирать. Довольно сказать, что еще недавно большая дорога через город Плевну была свободна и наш отряд был в нем, занимал его...

Однако, если строевые офицеры не поняли необходимости немедленного укрепления этой позиции — легко доставшейся, легко и отнятой, — как могли просмотреть ее специально образованные офицеры Генерального штаба с полевым начальником их?

Зато турки не зевали: редуты воздвигались за редутами и в самое короткое время оборона города была приведена в такое состояние, что две последовательные атаки наши были отброшены с громадными потерями людей, а главное, с уничтожением всего престижа, заслуженного Русской армией успешною

переправою через Дунай, взятием Никополя и набегом Гурко за Балканы.

Потеря нашего военного ореола в глазах других и самих себя, вызванная неумелым ведением первых атак, вместе с укоренившимся впечатлением трудности взять редуты открытою силою много помешали успеху третьего штурма, о котором теперь идет речь.

Разгром наших двух корпусов Криденера и Шаховского 18 июля, при втором приступе, был так велик, что его трудно себе и представить, — это было не отступление, а беспорядочное бегство,

разброд. Не случись Скобелев, не прикрой он с одним батальоном и казаками отступавших, разгром мог бы обратиться в истребление...

Без преувеличения можно сказать, что, будь турки подвижнее, а главное, не останься они под впечатлением умелого и



Генерал А.И. Шаховской.

злого скобелевского отпора их попыткам преследовать Шаховского, войска наши были бы загнаны в Дунай.

История с Плевной — это в полном смысле слова «*histoire des petits raquets*»*: сначала послали на Плевну маленький отряд, потом дивизию с кончиком, потом два корпуса, потом несколько корпусов, наконец, огромную армию и только с нею, потеряв массу времени, людей и денег, — одолели.

Как мало, как поверхностно мы изучаем историю и как за то мало, как поверхностно она учит нас!



Паника, последовавшая за поражением 18 июля, не поддается описанию. Довольно было слов: «Турки наступают!», чтобы большой транспорт раненых был брошен погонщиками, прислугою и даже большею частью докторов и сестер милосердия, убежавших без оглядки от воображаемых турок.

В Систове тот же крик: «Турки, турки, турки!», брошенный марш-маршем проскакавшим казаком, поднял на ноги не только все туземное население, но и всех русских: интендантские чиновники, писаря, казаки, солдаты, раненые, больные, выздоравливающие в стадном беспорядке бросились к Дунаю, к единственной переправе через него — мосту. Все, что не попало на него, попробовало спастись вплавь и, конечно, перетонуло; попавшие столкнулись с шедшими навстречу людьми, лошадьми, волами и после короткой отчаянной борьбы, сбросив их с моста в воду, пробились на румынский берег, где началась бешеная скачка среди невообразимой пыли, крика и гама.

С болгарской стороны только и была видна неизмеримая, в небо упиравшаяся туча песка, в которой, толкая, сбрасывая друг друга, неслась обезумевшая от паники толпа!

Скажут — это стыд, это срам! Но это скажут те, которые не имеют понятия о войне, которые не знают о том, что представляют собою задворки армии, которым непонятно, как быстро

* История маленьких посылок (фр.).

утрата веры в свою силу, с одной стороны, и утвердившаяся уверенность в непобедимости неприятеля — с другой, переходят в панику, не только в обозе, но и в самых войсках. Заурядное начальство тут не поможет, вернее — само будет увлечено потоком. Тут нужна находчивость Скобелева, который по примеру Суворова, встречая озверевшие от страха толпы бегущих солдат, кричал им: «Так, братцы, так, хорошо! Зама-нивайте их! Ну, теперь довольно! Стой! С Богом, вперед!»

И в военном деле генерал-артист встречается реже, чем генерал-ремесленник.



Император Александр II в 1877 г.

Глубокою ночью штаб его величества получил с полевого телеграфа депешу, извещавшую о наступлении турок. Пришлось разбудить спокойно почивавшего государя.

Скоро его величество вышел и, сказав несколько ободрительных слов своему конвою, сел на коня и тихо, при общем молчании, выступил по направлению к Систову и переправе... Что дальше, то спокойнее кругом; турок нигде не было, и дело наконец разъяснилось. Как мне передавали, так и не могли узнать, куда девался телеграфист, поднявший своей депешей тревогу: он счел за лучшее улетучиться.

В то время, о котором я веду речь, т.е. в конце августа, все успокоилось и вошло в обычную русско-турецкую рутину. Турки, и прежде вовсе не преследовавшие наших, теперь окончательно засели в городе и редутах Плевны. Наши же, подкрепившись румынами, на две трети обложили Плевну — окружить вполне не позволяла сравнительная малочисленность.

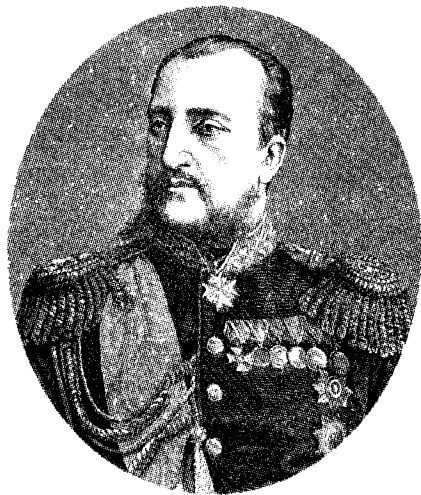
Почему из-за неполноты обложения мы не отложили штурма? Не вытребовали тотчас же подкреплений? Не окружили Плевны со всех сторон? Не переняли Софийского шоссе, по которому доставлялись осажденным провиант и снаряды? Вероятно, были какие-нибудь уважительные причины? Не зная, однако, их, невольно думается, что принятым главным полевым штабом решением в значительной мере руководила поговорка: авось, небось да как-нибудь.

Готовились к третьему, как думали, последнему штурму. Помню, что когда я спросил одного из видных деятелей кампании: «Неужели будут опять штурмовать?» — то услышал в ответ: «Что смотреть на этот глиняный горшок — надобно разбивать его», — и говоривший сделал движение носком сапога. Старая история: закидаем шапками.

Уже несколько дней его величество, ободря войска своим присутствием, приезжал ранним утром из своей квартиры и с переднего холма наблюдал за ходом бомбардировки.

С правой стороны его величества сидел обыкновенно главнокомандующий; сзади, в два ряда, стояли генералы свиты. Ближе министры гр. Адлерберг, Милютин, генерал-адъютанты кн. Суворов, кн. Меншиков, Игнатъев, Воейков и др. Младшие чины держались по сторонам пригорка, в группах, на лугу, когда не было дождя; те и другие внимательно следили в бинокли за стрельбой.

На холмике главной квартиры главнокомандующего группы держались свободнее, лежали на спинах и на брюшках; также и разговоры были свободны: однообразие и монотонность бомбардировки без всякого видимого результата мало развлекала молодежь, обменивавшуюся



Великий князь — главнокомандующий
Николай Николаевич (Старший).

замечаниями не столько о происходившем перед глазами, сколько о Петербурге и оставшихся там близких сердцу. Что делает она? Когда придется свидеться? Ах, кабы послали курьером!

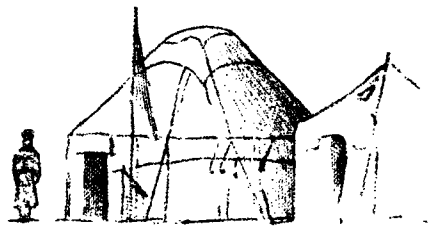
Вдали сильными пятнами выделялись плевненские редуты, все грозные, все внушавшие уважение к позициям, которые решено было еще раз попробовать взять в лоб, открытою силою.

Высоты для постройки редутов были выбраны замечательно умело, так что все самомалейшие подступы к городу прикрывались сильным огнем. Что касается самой техники защиты работ по укреплению редутов, то она оказалась несравненно выше нашей — все сделано солидно, не наскоро, не кое-как: рвы широкие, глубокие, насыпи высокие; орудия и ружья, бесспорно, лучшие против наших; запасы снарядов для орудий и патронов для ружей прямо неистощимые.

Трудно сказать, который из редутов являлся наиболее грозным: все казались труднодоступными. Гривицкий обращал на себя внимание тем, что вовсе не отвечал на бомбардировку; многие даже были того мнения, что у него недостаток в снарядах; другие, впрочем, выражали догадку, что он бережет свои гостинцы для более подходящего времени, для посылки с более близкого расстояния. И в самом деле, в день штурма, как только солдаты наши двинулись на приступ, так долго

молчавшая громада зафыркала и заплевалась страшным количеством сначала гранат, а потом и картечи.

На другой день, утром, по приезде на гору штаба, после ночлега в Сгаловицах, я узнал, что главнокомандующий уехал по направлению к центральным



Палатка главнокомандующего.

батареям генерала Зотова; туда и мы со спутником двинулись, так как мне непременно хотелось ознакомиться с устройством и расположением батарей, а затем, буде возможно,

проехать на левый фланг, чтобы повидать М.Д. Скобелева и двух братьев моих, состоявших при нем ординарцами.

Один был военный; начал службу в драгунах, вышедший было в отставку, чтобы управлять довольно большим доставшимся ему имением, и доуправлявшийся до продажи его, теперь снова поступил во Владикавказский полк Терского казачьего войска, куда по моей просьбе принял его Скобелев-отец.

Другой — штатский, тот самый молодой художник, который приехал из Вологды ко мне в госпиталь и теперь, прямо заразившись страстью к военному спорту и бесстрашием к военным опасностям от Скобелева-сына, исполнял около него самые трудные и рискованные поручения: разузнавал о расположении неприятельских сил, наносил кроки местностей, разводил войска, причем, ежедневно заезжая за нашу цепь, был всегда встречаем градом неприятельских пуль... Это был совсем оригинальный молодой человек: он не только рубился шашкой, но и врывался в неприятельские ряды... с плеткой, чем приводил в недоумение товарищей, полагавших, что он ищет смерти. Доктор Обер-Миллер жаловался мне, что у малого пять ран, но он не хочет перевязываться, так что везде растет дикое мясо, и кн. Суворов совершенно верно докладывал государю, что под этим штатским ординарцем убито восемь лошадей.

Ему, как я выше говорил, государь приказал послать от своего имени солдатский георгиевский крестик.

На батарее нам сказали, что главнокомандующий был, но уехал по направлению левого фланга. Выйдя из экипажа, я взял записную книжку и направился к орудиям; тут вышло нечто комичное: конечно, с ближнего редута видели подъехавшую колясочку и двух людей, из нее вышедших, причем, разумеется, заключили, что это если не *сам*, то какое-нибудь высокопоставленное лицо, — и давай осыпать батарею снарядами!

Турки — бравый, но флегматичный народ, и у них с большинством осаждавших русских батарей было нечто вроде

негласного согласия: много стреляли мы — усердно отвечали и они, помалчивали, поберегали снаряды и людей мы — не беспокоили и они нас.

Теперь, очевидно, это маленькое *dolce far niente** было ими нарушено: только треск пошел от ударявших и разрывававшихся гранат!

Видно было, что из-за этого беспокойства артиллеристы не прочь были поскорее выжить нас с батареи: стали рассказывать всякие страхи: «Вот тут, где вы сидите, вчера убило двоих, а здесь, рядом, одного убило, а троих ранило...» Делая вид, что не замечаю подвоха, я жевал любезно предложенные солдатские сухари и, подкрепившись, а главное, набросав всю обстановку, перешел к дереву, стоявшему впереди орудий, и зарисовал расстилавшуюся перед нами местность с пускавшим дымки редутом.

«Ну, обстрелянный же вы!» — сказали мне на прощанье офицеры; а товарищ так и тащит за рукав: «Пойдем да пойдем скорее». Когда, однако, мы дошли до дороги, дело стало более серьезным: экипаж уехал далеко, так что только верх его да часть морды лошади торчали вдали из-за кустов, и пришлось идти около версты по гладкому, совершенно открытому шоссе, с шумом веника в бане устилавшемся неприятельскою шрапнелью. Уж как им, должно быть, хотелось положить нас, — хромой, с палочкой, я не мог шибко идти, — но так и не задела ни меня, ни товарища.

Только что, проехав ущелье, мы выбрались на равнину, как увидели главнокомандующего с рассыпавшеюся за ним в одиночки большою свитою.

— Возьмите вправо, — крикнул Струков. — Вы привлечете выстрелы!

Великий князь любезно крикнул мне:

— Базиль Базилич, здравствуйте!

Струков рассказал, что они не были у Скобелева из-за дальности расстояния. Если прямо дымки выстрелов с позиций

* Приятное безделье (*ит.*).

Имеретинского показывались, по-видимому, не далее пятиверстного расстояния, то колесною, окружною дорогою к нему было верст пятнадцать.

Чтобы не заночевать в дороге, я поворотил назад и направился в место расположения главной квартиры, деревню Парадим, где генерал Струков уступил мне свою хату, сам переменившись в ту, что прежде занимал кн. Меньшиков.

Приближался день штурма. Все понимали, что предстоит великое кровопролитие, но умы были заняты не столько им, сколько вопросом: возьмем Плевну или нет?

Накануне дела, совсем вечером, приехал ко мне с левого фланга «на минутку» брат мой, казак.

До сих пор не знаю, приводил он слова Скобелева или свое собственное замечание:

— Неужели назавтра штурм, ведь у нас войска совсем мало, с чем наступать?

— Ну, брат, — ответил я, — теперь поздно об этом разговаривать, да нас с тобой и не спросят.

За ужином в главной квартире, куда я посадил оголодавшего казака, великий князь, главнокомандующий громко сказал:

— Верещагины, — с сильным ударением на *ны*, — государь приказал послать от своего имени вашему штатскому брату Георгиевский крест, — передайте ему это!

— Не забудь же, передай, — наказывал я, отпуская брата. — Да смотри, будь молодцом!

— Убьют, — сердито сказал он, садясь в седло.

— Нет, тебя не убьют, может быть, только ранят, и мы тебя вылечим.

О возможной участи другого брата я не высказывал предположений, но, наслышавшись об его безоглядной храбрости, побаивался, признаюсь, как бы его не ухлопали.

Так и вышло: первого — ранили, второго — убили.

Уже много спустя на вопрос мой военному брату о том, узнал ли штатский перед смертью о Георгиевском кресте, — который, я знаю, ему хотелось иметь, — казак признался,

что нет, что он не торопился сказать об этом, потому что какое-то едва заметное чувство не то соревнования, не то маленькой зависти помешало ему тотчас по приезде сообщить более отличившемуся и публично взысканному товарищу по оружию о государевой милости, хотя этот товарищ был родной брат.

Он отложил это на после, а после оказалось поздно: братишка был убит наповал.

Разбери, кто может, все изгибы человеческого сердца!



В день третьего штурма, утром, за чайным столом главной квартиры, я находился около главнокомандующего. Помню, что его высочество сидел, опустив голову и держа ее между ладонями рук, говорил вполголоса, будто бы сам с собой: «Как наши пойдут, как пойдут сегодня...»

Моросил дождик, и глинистая почва до того размягчилась, что нельзя было ходить и по ровному месту — без преувеличения, на несколько вершков налипала земля к сапогам, — каково же было в этих условиях всходить на высоты, да еще для атаки, под огнем! Штурма, однако, не отложили, так как главнокомандующий был уверен, что значение именно этого дня, торжественно справлявшегося во всей России, — 30 августа, именины государя императора, — поможет войскам преодолеть преграды и добиться цели — овладеть редутами. В таком именно смысле отнеслись к своим частям командующие генералы и предлагали им порадовать государя, подарить ему Плевну.

Расчет был верен, но малочисленность атаковавших сравнительно с атакуемыми дала расчету оправдаться только наполовину.

Скоро главнокомандующий и затем вся главная квартира выехали на высоты для наблюдения за ходом битвы.

Я в фаэтоне шагом тащился на гору, когда услышал сзади окрик: «Дорогу! Дорогу!» — и едва успел свернуть в кусты,

как пронеслись сначала конвойные казаки, потом коляска четверней вороных с государем императором.

— Здравствуй, Верещагин, — ласково ответил его величество на мой поклон.

На высотах в этот день было оченьлюдно. Между другими ко мне подошел чиновник Министерства иностранных дел граф Муравьев, впоследствии министр иностранных дел, и, представившись, сказал:

— Позвольте мне, как русскому, осведомиться о вашем дорогом для всех нас здоровье?

Я познакомился также с князем Баттенбергом, весьма красивым, подвижным молодым человеком. Встретил старого знакомого С. П. Боткина, поинтересовавшегося узнать о состоянии моей раны; так как откровенничать при публике было неудобно, то он осмотрел мою ногу в кустах и, как многие другие, не утерпел, чтобы не сказать: «Однако разворотило-таки вам!»

Пальба не умолкала, пушечная и ружейная; последняя часто переходила в барабанную дробь, только зловещего характера. Под звуки пальбы началась и божественная служба перед походною церковью, зеленой палаткой поставленной на первом холмике.

Государь стоял впереди; несколько поодаль — главнокомандующий и за ним — лица государевой свиты и офицеры главной квартиры.

Скоро все опустились на колени, и я помню, что сильно дрожал голос священника: в нем слышались слезы, когда, молясь за государя, он просил Господа сил «сохранить воинство его!».

Картина огромного штаба, коленопреклоненного, молящегося с опущенными головами, на фоне темных облаков и белых дымков выстрелов была в высшей степени интересна; я начал писать ее, но из-за других работ не кончил, о чем теперь сожалею.

Во время богослужения раздался страшный треск ружейного огня в центре наших позиций, послышалось «ура! ура!».

Очевидно, войска пошли на приступ; но как это могло случиться, когда штурм был назначен для всех в 3 часа пополудни? Главнокомандующий послал тотчас же разузнать о том, что, как и почему, но служба кончилась все-таки при некотором возбуждении, так как никто не мог себе представить, что могло побудить нарушить ясно выраженную диспозицию: сами ли солдаты пошли или увлекся отдельный начальник?



После молебна, с водосвятием и провозглашением многолетия, подан был завтрак. Для государя, генерал-адъютантов и свиты был поставлен на переднем холмике стол со стульями.

Мы, на втором холме, возлежали на траве без чинов, кто где примостился. Я очутился рядом с кн. Меншиковым, успешшим захватить бутылку и налить мне шампанского; когда по просьбе соседа с другой стороны я передал бутылку туда, милейший князь пришел в отчаяние:

— Василий Васильевич, да можно ли отдавать шампанское?!

— А то как же?

— Нужно самому выпивать его! Человек, дайте сюда шампанского!

— Нет больше, ваша светлость: сорок бутылок выпито!..

— Вот видите, — шепнул М., — хоть выпито только половина сорока, но все-таки мы с вами без вина!

Государь император поднялся с того стола и, оборотясь к нам, громко, хотя взволнованным голосом, произнес: «За здоровье тех, которые там теперь дерутся — ура!»

«Ура-а-а!» зашумело такое, что, конечно, у турок слышали его.

Скоро начался общий штурм. Гром выстрелов ружейного огня слился в настоящий непрерывный рев, перебивавшийся более сильными ударами и в одиночку, быстро, один за другим, и залпами артиллерийской стрельбы.

Сначала еще виднелись в синеватой дали дымки скобелевского левого фланга, так же как и ответные нам выстрелы всех редутов, но потом ничего уже нельзя было разобрать, все заволокло пороховым дымом; только время от времени в просветах между поднимавшимися к небу клубами дыма показывались пятна редутов, поминутно блестевших огнем и фыркавших дымками.



Князь Карл Румынский отправился с несколькими офицерами своей свиты пониже, откуда был виден Гривицкий редут, атакуемый, с одной стороны, нашими, с другой — румынами.

Некоторые из наших, в том числе я, со стариком Скобелевым, бывшим не у дел, пошли за ними; мне интересно было видеть поближе наши штурмовые колонны.

Мы стали меж кустов, где лишь изредка шлепались гранаты с Гривицы, которой теперь было не до нашей группы, так как к ней поднимались штурмующие войска. Солдаты шли в две шеренги, изломанными линиями, постоянно изменявшими изгиб: большие извилины — там, где больше бьют, ровнее — в местах, где меньше гостинцев.

Опасность всюду, куда направляются турецкие орудия: пристрелявшись к середине шеренг и расстроив их тут, направляют огонь на фланги: начинается замешательство, остановка на них; огонь снова направляют на центр, уже успевший за время передышки подвинуться вперед...

С жужжаньем летит, с треском и громом разрывается граната то впереди войск, то позади, иногда и среди их — целый кочан цветной капусты из дыма вместе с землей поднимается с этого места; все кругом или нарочно бросается ниц, или отбрасывается изувеченное осколками. «Ой! Ой! Носилки! носилки сюда!» — слышатся стоны и крики. Уцелевшие тем временем оправляются и снова карабкаются наверх, пока новая граната опять не перемешает ряды и не сконфузит людей.

Храбро идут там, где офицеры впереди: вон, на правом фланге один, по-видимому молодой человек, машет саблей и не идет, а прямо бежит; поспевают за ним и солдатики, но не надолго: его фигурка кувыркается и ряды тотчас же замедляют шаг...

Раненые отходят сами, когда ноги целы, или, при других изъянах, относятся санитарями и товарищами вниз, в балку, в закрытие от рассвирепевшего редута.

Как ни запрещают обыкновенно товарищам покидать строй для уноса раненых, этот способ избегания опасности все-таки практикуется в широких размерах и сильно разрежает ряды. Пока не будет строжайшего наказания за самовольный уход из дерущихся частей, эта «мода» вряд ли прекратится.

Каюсь, я сам не раз с удовольствием выходил из огня, ведя или вынося пришибленного товарища, и был очень доволен тем, что мой поступок принимался не за слабость, а за подвиг человеколюбия, тогда как в нем всегда бывала с последним и частица первого.

По мере того как поднимались штурмовавшие, орудия редута переходили от гранат к картечи, и народа стало валиться больше... Ход солдат поубавился; «ура» все еще кричали, но с меньшей энергией, и наконец вовсе остановились: начальника впереди уже вовсе нет; «ура!», «ура!», «ура-а-а!» — а некоторые прямо пятятся назад...

Редут шлет выстрел за выстрелом; снаряд за снарядом косят линии, которые начинают сдавать, отходить, спускаться... Скоро все поворотили; одни еще отстреливаются, другие бегут...

С румынской стороны тоже было не ладно: пришло известие о том, что и там штурм отбит.

— Отбиты! — выговаривают один за другим румынские офицеры, следившие с особенным вниманием за своею стороною.

— Отбиты, — произносит и сам князь, совершенно бледный, чуть не шатающийся. — Лошадь, скорей лошадь! — произнес он и ускакал с некоторыми из офицеров.

— Что это он так перебудоражился? — спросили мы оставшегося с нами полковника.

— Очень просто, — хладнокровно, не отнимая бинокля от глаз, ответил он. — Прекрасно знает, что не усидит, если его разобьют.



Александр II под Плевной.

Поднявшись снова на гору, я застал государя по-прежнему на походном стулике, со стоящими за ним генералами, наблюдающими в бинокль ход битвы, хотя разбирать что-либо сделалось трудно, так как все заволкло дымом; из этого моря дыма слышалось: «ура!», «Аллах! Аллах!», опять «урр-а-а!».

Я написал потом картину, представляющую государя и главнокомандующего, смотрящих вместе со штабом на штурм Плевны, и какого-какого вздора не пришлось потом выслушать по поводу ее: уверяли, будто я в цензурных видах отрезал часть картины, представлявшую какое-то пиршество. Это — чистая нелепость, потому что, во-первых, никто в это время не пировал, во-вторых, отрезал я кусок полотна

не с правой стороны, где мог быть представлен пир, а с левой, то место, где должны были находиться батареи генерала Зотова, слишком удлинявшие мою картину.

Если не ошибаюсь, около шести часов из сплошного дыма выделилась фигура всадника в шляпе с широкими полями, в какой-то полувоенной форме; фигура сошла с лошади и стала подниматься; в ней узнали американского военного агента капитана Грина, возвращавшегося с наших позиций.

Государь тотчас же послал попросить его к себе и стал спрашивать. Я стоял близко и слышал, как Грин рассказывал, что все атаки отбиты и штурм со всех сторон не удался. Я видел, что действие этого рассказа на государя, главнокомандующего и окружающих лиц было ужасное; вероятно, тут же запала в них перешедшая потом в решение мысль о необходимости оставить всякие дальнейшие попытки действовать открытою силою.



А между тем милейший Грин сочинял, врал — неумышленно, бессознательно, — но все-таки врал и по отношению Гривицы, которая хоть и поздно, но была взята, и по отношению левого фланга кн. Имеретинского, где Скобелев с Куропаткинским забрались в этот день очень далеко: заняли первостепенный если не по величине и силе, то по месту расположения редут, господствовавший над входом в Плевну.

Наши офицеры Генерального штаба настаивали на том, что Скобелев взял не тот редут, который следовало, так как захваченный обстреливался с более сильного и более высоко расположенного соседа, но ведь «по одежке протягивай ножки»: взято было то, что с небольшими силами можно было взять; поддержанные Скобелев с Куропаткинским заняли бы и большой редут; все вероятия за это, уже по одному тому, что в продолжение многих дней сряду они теснили турок и отнимали у них высоту за высоту, пока не добрались 30 августа до укрепления, с которого можно было просто шагнуть в Плевну.

Для меня лично в этом не было ни малейшего сомнения: я был потом в «Скобелевском» редуте, так-таки прямо висевшем над Плевной, и понимаю решение Османа-паши или отобрать этот редут, или приготовиться уходить.

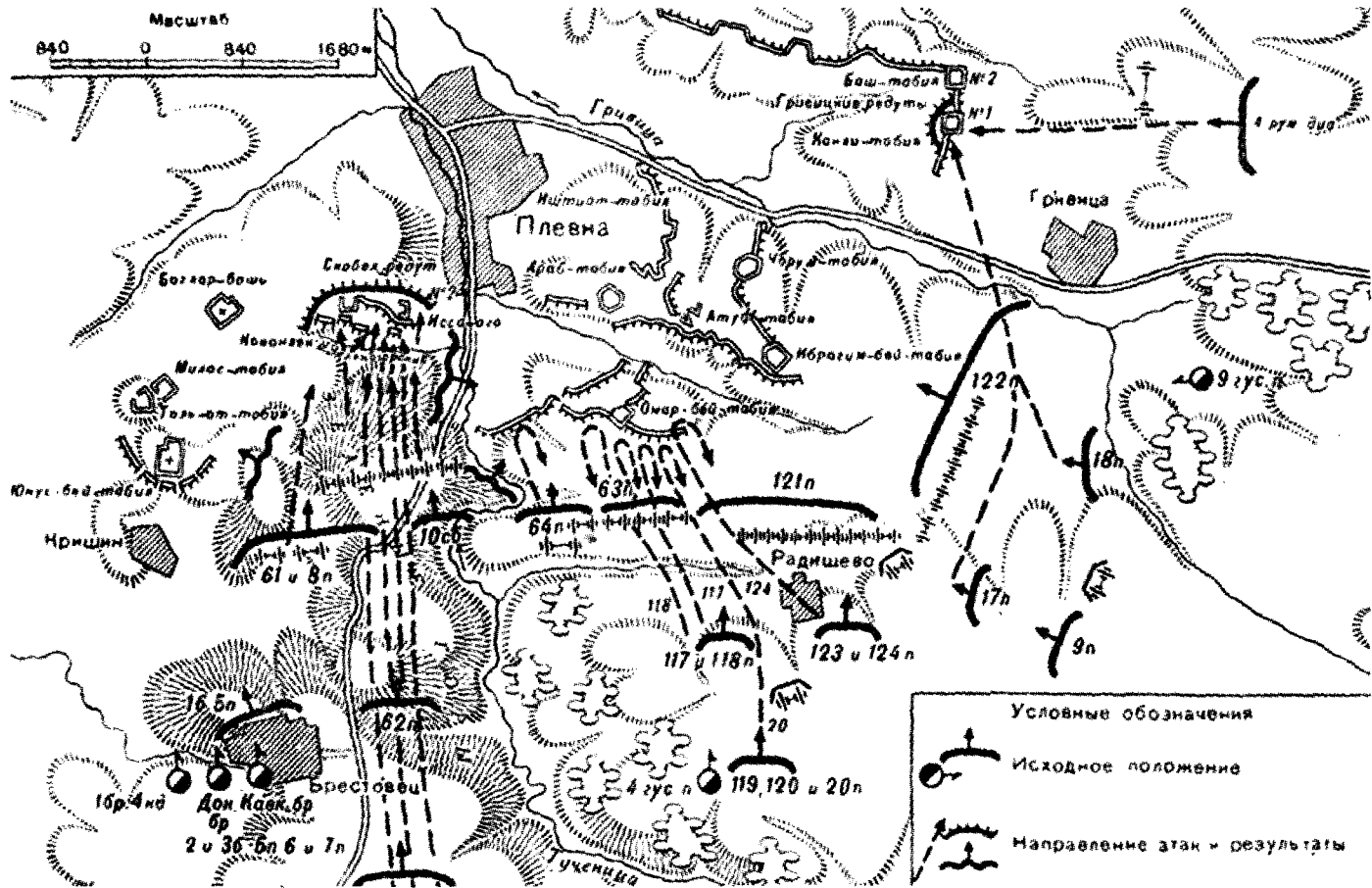
Скобелева не поддержали, и турки, не беспокоимые на другой день, т.е. 31 августа, ни с которой стороны, всеми силами навалились на белого генерала и прогнали его далеко-далеко, за шоссе, т.е. отняли у Имеретинского все, что было взято трудами и потерями многих дней, даже недель.

Почему же Скобелева не поддержали?

Во-первых, — говорю это сознательно, — потому, что он был слишком молод и своими талантами, своею безоглядною храбростью многим намозолил глаза... Во-вторых, потому, что в главной квартире понятия не имели об успехах штурма 30 августа. Виноват, конечно, штаб, но, с другой стороны, виноваты и начальники частей: я свидетель того, что и главнокомандующий, и сам государь были плохо извещаемы об успехах и неудачах дня, точно будто боялись огорчить их, и что помянутый американец Грин был единственный человек, сообщивший хоть что-нибудь; это что-нибудь оказалось худшим, чем ничего, потому что было прямо противно истине. Он рассказал, что повсюду успех, тогда как на обоих флангах был крупный успех, и ему поверили, его слов не проверили и опустили руки!

Я свидетель того, что весть о взятии Гривицкого редута, бывшего совсем под боком, пришла только глубокою ночью, опять-таки нечаянно, от любителя, хоть на этот раз и русского офицера.

Если уж не по обязанности относительно главнокомандующего, то хоть ради государя, смертельно беспокоившегося и так в смертельном беспокойстве и уехавшего, должны были присылать в продолжение всего дня, и особенно тотчас по окончании боя, подробные донесения! До отъезда государя с лицами ближайшей свиты от главнокомандующего и его советников было решено в общих чертах терпеливо отнестись к полной неудаче дня — в сущности, почти полной удаче, — и не было



План штурма Плевны 30-31 августа.

принято никаких мер ни для удержания за нами Гривицкого редута, ни для поддержания Имеретинского, т.е. Скобелева.

Еще левый фланг был довольно далеко, и посланные оттуда скакали от полу- до трех четвертей часа, а с наступлением темноты и больше; но Гривицкий-то редут, повторяю, был совсем близко — снаряды его, как я уже сказал, били по подножию той высоты, на которой находились государь и главнокомандующий; значит, с него не дано знать об успехе штурма прямо по халатности и нарушению обязанностей службы.

Думаю, что узнай великий князь своевременно, т.е. до отъезда государя с позиции, о том, что на правом нашем фланге Гривица в наших руках, по всей вероятности, вместо решения оставить всякие попечения, всякие новые приступы и отложить решение дела в долгий ящик, было бы скомбинировано на утро новое усилие с демонстрациею в центре и на правом фланге и с решительным ударом на левом.

Как только Скобелев и Куропаткин со своими силами взяли бы соседний с ними редут, так турки, обстреливаемые с двух сторон, принуждены были бы очистить Плевну.

Рано утром на другой день еще было время для этого, но потом уже стало поздно! Уныние, овладевшее всею армиею до главнокомандующего включительно, от распространившегося слуха о полной неудаче сослужило туркам хорошую службу, а нам плохую.

Полагаю, можно признать, что все дело штурма или штурмов Плевны было необдуманно. Непрактично надеяться, что с небольшими силами можно успешно атаковать большие, да еще скрытые за сильными укреплениями. В лучшем случае надобно было в нескольких пунктах демонстрировать и только в одном, много — в двух, вести серьезную атаку, но уже превосходными против неприятеля силами.

По правде сказать, достигнутое 30 августа было вовсе не дурным результатом; конечно, потеря была очень велика, до 18 000 человек, но зато Плевна была наполовину взята, только, повторяю, не потрудились вовремя известить об этом главнокомандующего, принявшего раньше, чем истина обнаружилась,

решение бросить начатое. Известись он вовремя о том, что еще одно усилие Скобелева — и оба фланга турецкой защиты будут в наших руках, — можно ли думать, чтобы он сам и присутствовавший при военных действиях государь не решились бы сделать это последнее усилие?

Когда узнали правду и начали обдумывать, что можно еще сделать, стало поздно: добытое на правом фланге удержалось в наших руках, но успех левого был потерян: турки уже с утра налегли на маленький скобелевский отряд и к вечеру, как сказано, отняли у Имеретинского все взятое за предыдущие дни.



Уныние овладело всеми в нашем лагере к ночи 30 августа — везде начисто отбиты! (Как уверил Грин.) Главнокомандующий оставался ночевать на высотах в надежде, что тщетно подждавшиеся официальные донесения придут к нему тут раньше. Увы, они все не приходили!

Оставшиеся при главнокомандующем разместились по экипажам, какие у кого были; те, кто не имел с собой ничего, кроме верховых лошадей, уехали ночевать в Парадим.

В моем фаэтоне трудновато было лежать, и поэтому я принял любезное приглашение Г., у которого была хорошая телега; сам он поместился под нею, между колес.

Удивительно, как натянутые нервы поддерживают людей во время войны, так же как и на опасной охоте на диких зверей: у всех сапоги были полны воды и платье мокро, тем не менее все чувствовали себя хорошо, никто не жаловался ни на простуду, ни на ревматизмы. Расчеты здоровья за все нарушения правил гигиены во время кампании начинаются обыкновенно по окончании ее, когда тиф и горячки принимаются валить с ног наиболее слабых или наиболее рисковавших.

Я недурно устроился, хорошо укрылся и уже собирался заснуть, когда «хозяину квартиры» пришлось в голову попеть: тоненькой фистулкой он начал выводить арии из «Трубадура»

и «Травиаты», выводить недурно, довольно верно, но... немножко не вовремя.

«Не даст спать! — думалось мне. — Нет, надобно заснуть, что за пустяки, нужно... необходимо».

«Не даст спать!» — приходило опять в голову, и в конце концов, когда певец утомился, мой сон пропал. Полежав еще, поворочавшись с боку на бок, я решил лучше встать и пойти к огню, разведенному дежурными офицерами и казаками. Хвороста было нанесено немало, и хоть он был сыроват, но костер разгорелся большой, так что около него было теплее и уютнее, чем в мокрой повозке, под мокрым пледом.

В числе нескольких офицеров около огня я встретил моего бывшего корпусного товарища Пеллегрини, вышедшего было в отставку, потом снова поступившего на службу и теперь состоявшего адъютантом при генерале Зотове. Он очень не хвалил своего начальника и так увлекся, рассказывая, что его пыл приходилось останавливать, дабы не разбудить недалеко от нас спавшего в своей коляске или в своем тарантасе главнокомандующего.

Скоро разговор наш был прерван громким окликом генерала свиты его величества Чингис-хана.

— Ваше высочество! Ваше высочество!

— Что тебе?

— Ведь Гривицкий-то редут взят...

— Врешь ты?

— Ей-Богу, взят!

— Говорю тебе — врешь! — сказал великий князь, уже высунувшись из экипажа, голосом, в котором сказывалась боязнь верить слишком желанному событию.

— Да как же я могу врать, когда я теперь прямо оттуда, говорил с нашими офицерами и солдатами...

— Ну хорошо, я пошлю узнать; если ты говоришь правду, я тебя расцелую, а коли врешь — выдеру за уши!

— Извольте, ваше высочество, я готов!

— Струков! — закричал великий князь. — Позвать Струкова!

— Поезжай, — сказал он Струкову, когда тот явился, — к Гривицкому редуту и удостоверься, в чьих он руках, в наших или турецких, разузнай хорошенько.

— Слушаю-с!

— Да возьми с собой кого-нибудь, кто знает дорогу, а то ты заблудишься в этой темноте.

Темнота была, действительно, хоть глаз выколи, и наткнуться на турецкую цепь было не трудно, но как раз один из товарищей моего приятеля хорошо знал дорогу и, живо снарядившись, поскакал со Струковым в непроглядную тьму по направлению к редуту.

— Смотри, — шепнул ему Пеллегрини на прощанье, — ведь это «командировка»!..

Его высочество тем временем, тоже потеряв сон, встал и вышел к нашему огню, где, под влиянием хорошей вести, шутил и смеялся чуть ли не больше всех нас.

Откуда-то явился немец, капельмейстер оркестра одного из полков, и, тут же присев, давай потешать компанию.

Я уступил его высочеству свой складной стул и уселся на барабан, другие — кто на чурышке, кто на корточках, кто стоя, щурясь и защищаясь от искр трещавшего костра, все разглядели давно накопившиеся морщины, расправили нервы и дали волю здоровому смеху, благо была причина смеяться: чего-чего не порассказал немец о себе и о своей Frau, которой, конечно, не поздоровилось бы, если бы она слышала то, что мы слушали; и все это с шуточками, прибауточками, дурно и смешно выговариваемыми по-русски. Разумеется, это еще более смешило главнокомандующего, хохотавшего так, как, вероятно, ему давно уже не доводилось.

Немец делал вид, что не узнает главнокомандующего и считает его запанибрата, но потом оказался «*pas si bête qu'il en avait l'air*»*, потому что, улучив минуту, вставил в свои шуточки маленькую просьбицу, которую его высочество обещал рассмотреть.

* Не так глуп, как выглядел (*фр.*).

Струков воротился с донесением о том, что Гривица взята совместно нами и румынами, но что первый вошедший с нашей стороны в редут командир Архангелогородского полка, флигель-адъютант полковник Шлиттер смертельно ранен.

Главкомандующий сделал как обещал: расцеловал Чингис-хана и, кроме того, послал его с этим донесением к государю, наградившему счастливого вестника, если не ошибаюсь, золотую саблюю.

После убийственного сведения, доставленного иностранцем, это было первое донесение русского, хотя тоже любительское; насколько первое было неверно, настолько второе было правдиво.



Взятие Гривицкого редута.

Я тоже редко во всю мою жизнь хохотал так, как в эту ночь, хохотал, как оказалось, *не к добру* — обыкновенное определение беспричинной веселости перед беспричинным несчастьем.

Когда рассвело и все стали собираться около накрытого для чая стола, к главнокомандующему явился для доклада

приехавший с левого фланга капитан Д. Передав все, чему он был свидетелем, он подошел ко мне.

— Я должен сообщить вам, Василий Васильевич, что один брат ваш убит, другой — ранен.

Я понял: штатский Сергей — убит, казак Александр — ранен.

Поскорее я бросился к столу, что-то съел, несмотря на то что мне мигали на не приступавшего еще к закуске великого князя, сгреб в карман большую булку и, сев в экипаж, погнался по направлению левого фланга, в намерении помочь чем можно одному брату и разыскать тело другого.

Всякая потеря близкого лица глубоко чувствуется, как я замечал, не сейчас же, а через известный промежуток. Сначала думается: «Как это странно: мне как будто не жалко!» Но вот, месяца через 2, 3, 4 начинает налегать тяжелая дума, потом забирает тоска и сосет до тех пор, пока в лучшем случае обильные слезы не облегчат горя, в худшем — пока долгий промежуток времени, с хорошими и дурными событиями, не сгладит его.

Так было и тут; хотя образ немного резкого, но всегда честного, великодушного, бравого братишки стоял у меня перед глазами и я недоумевал, неужели никогда больше не увижу его, каким до сих пор видел, — тем не менее большего, захватывающего горя я не ощущал и рассуждал философски: «Что тут станешь делать: убили так убили, не спросились! В конце концов, теперь человек умер или после — не все ли равно?»

Я ехал через очень разоренные места, прямою убийственной дорогой. От встретившейся деревни — кажется, Брестовац — не оставалось ничего: только кое-где торчали остатки печей да всюду лежали груды золы и угля.

Пробовал спрашивать у встречных с левого фланга: не слышали ли?

— Не знаем; спросите вон у докторов, что идут за нами.

Доктора переспросили фамилию:

— Верещагин, Верещагин... Гм, фамилия-то известная! Кажется, убит, а впрочем, право, не знаю хорошенько; спросите на перевязочном пункте.

— А где перевязочный пункт?

— Вон там, как переехать через овраг, поднимитесь, тут в лощине и будет. К ним и через них всех возят со всех сторон: они, должно быть, знают.



Действительно, скоро открылась одна из самых интересных, поучительных, прямо поразительных картин, которые я когда-либо видел; палаток в перевязочном пункте было всего четыре; надобно думать, не больше как человек на сто каждая, но сколько в них было набито народа и сколько валялось, сидело и томилось между палатками, а также на дороге, к ним и за ними, трудно и передать — точно улей, разбредшийся без матки: все жужжит, движется, переговаривается.

К бывшим налицо раненым всё прибывали новые, так как продолжали подбирать вчерашних — их оказалось ужасающее количество, — а на левом фланге и теперь шел бой, из которого непрерывно подбавляли: носилок тащили, тащили, тащили без конца.

Впечатление этих верениц носилок с умиравшими можно было сравнить с линией экипажей на праздничном гулянье, где они почти упираются друг в дружку и остановка одного вызывает столкновение и пререкание у следующих; только и слышно было: «Что стали там, ступай, проходи! Долго ли тут стоять!..»

Сестры милосердия входят и выходят или с теплой водой, или с тазами, полными кровью и кровяными корпиею и бинтами, и к ним, и к докторам, выходящим из палаток вздохнуть, покурить, обращается множество не перевязанных еще, опирающихся на ружья, приподнимающихся с земли или прямо умоляющих с того места, куда положили санитары: просят «досмотреть», «допустить в палатку», «хлебца», «водицы» и т. д.

— Подожди, успеешь, не всех вдруг, — утешает доктор; и как же иначе: готовились по наказу к принятию трех тысяч

раненых, а когда я спросил, сколько их всего, отвечали: «Неизвестно еще, пока идет *восьмая* тысяча».

Доктор, к которому я обратился, оказался весьма любезным человеком: он расспрашивал за меня о братьях моих, у кого мог: у уполномоченного Красного Креста, и, сколько возможно было дознаться, выведал, что одного легко раненого провезли сегодня утром, должно быть, по направлению Систова, и теперь он должен был быть или там, или на дороге к Бухаресту. Другого, тяжело раненого или убитого, не было еще в получке, да если он убит, то более возможно, что и не будет, коли кто-нибудь не возьмет на себя труд доставить его.

— Не хотите ли войти в палатку, полюбопытствовать? — спросил меня доктор. Мы вошли.

Первое, что бросилось в глаза при самом входе, у левой стороны, — фигура офицера во флигель-адъютантском мундире; это был полковник Шлиттер, командир Архангелогородского полка, впереди своих людей вбежавший в Гривицкий редут. Он был ранен смертельно и положен, как все, на землю; голова его была покрыта кисеей от мух, облепивших лицо; рот был открыт, и из него текла сукровица, а тяжелое, прерывистое дыхание почти подбрасывало верхнюю часть фигуры, еще изящной, несмотря на грязь и кровь, которыми был выпачкан щегольской мундир с золотым аксельбантом.

— Что? — спросил было я доктора, но он тотчас же как-то сердито закачал отрицательно головой: «Никакой!»

Перед входом же прямо на барабане сидел пехотный генерал, без правого сапога, с засученными сверх колена штанами и бельем.

— Вы из главной квартиры? — спросил он меня.

— Да, оттуда.

— Что, скажите, какие вести?

— Пока известно только, что Гривицкий редут взят; говорят, и Скобелев одержал большой успех...

Генерал тотчас снял фуражку и осенил себя большим крестом:

— Слава Богу, слава Богу!

Мы пошли дальше, вернее сказать, стали пробираться дальше, потому что во всей палатке не было клочка незанятого места.

— Это что? Это что? Это?.. — сердито обратился доктор к фельдшеру, указывая ногой на несколько растянувшихся фигур. — Прибрать!

— Слушаю-с!

То были мертвые, некоторые отдавшие Богу душу до перевязки, другие — имевшие утешение видеть рану осмотренною доктором и перевязанною заботливыми руками сестрицы.

Вчера и сегодня, как мне говорили сестры милосердия, они, проработавшие без перерыва всю ночь, приняли многое множество последних распоряжений и последних поклонов, с адресами родных деревень, выговоренных коснеющим языком; а принятых последних вздохов и не сосчитать, кабы их вспоминать... Как ни тяжка рана, ни упал дух, все-таки последняя мысль солдатика вертится около родного гнезда с оставшимися там батькой, матушкой, часто Матрешкой, Грушкой, с Анюткой и Гришуткой; кому доверить последний поклон им, последнее «прости», коли в чем согрешил, с зашитым у пазухи рублем, как не «ангелу небесному», «сестрице милосердной»?

Обыкновенно в обществе, и не у нас только, а во всей Европе, может быть, вследствие векового сознательного и бессознательного лганья, укоренилось мнение, что раненый на поле битвы или на соломе госпиталя представляет из себя нечто картинное: красавец с распростертыми руками и ногами — если убит, или с очами, обращенными к небу, и рукой, зажимающей рану, — если умирает. На деле же ничего подобного; все просто и прозаично до невозможного: не целый человек, а комочек чего-то грязно-зеленоватого цвета — замечательно, что раненый сейчас же скорчивается, укорачивается, делается меньше, прикрытый дырявой, вонючей шинелишкой. Изпод шинели виден обыкновенно маленький воспаленный глаз, пытливо следящий за тем, что делается и говорится, как его осматривает доктор, с каким выражением лица останавливается

над ним сестрица: коли очень сконфуженно, так уж нет ли беды?

Привыкший к субординации солдат понимает, что бесполезно вступать в разговоры и расспросы — все равно ничего не узнает: высматривай сам, что можешь, и решай, увидишь еще пострела Гришутку или нет...

— Ну, каково тебе сегодня? — спрашивает доктор солдата с воспаленными глазами и красными от лихорадки щеками.

— Лучше, ваше выскородие, много лучше; вот как будто повыше есть что-то, а там — отлегло...

— Гангрена поднимается, — говорит мне доктор по-французски. — К вечеру он будет готов.

— Ну, а ты как?

— Покорнейше благодарю, вашескородие; теперь, даст Бог, поправлюсь и домой уйду, а ночью уж думал, кончусь...

— Он умрет через несколько часов, — снова замечает доктор.

— Ну, а ты?..

Опять несколько валяющихся тут и там умерших, опять нагоняй фельдшеру за то, что они не вытащены. Снова вопросы наивных, с надеждой смотрящих в глаза воинов, не подозревающих, что слова на иностранном языке означают смертные приговоры им.

В палатках — все трудные, кроме той, где режут руки, ноги, вырезают пули и проч. Когда мы вышли, опять осаждали доктора просьбами перевязать, дать поесть и проч.

И смотрят все разное и просят неодинаково: молодые — робко, постарше — решительнее. Один, хоть и исподлобья, но все-таки заискивающе взглядывает единственным глазом, на другом — повязана тряпица, успевшая потемнеть от запекшейся крови. Третий — с разнесенной картечью скулой, так что зубы и кости, как в мешке, поддерживаются в повязанном вокруг головы полотенце, прямо фыркает, плюется кровью, когда говорит; говорит из-за этого, конечно, неразборчиво, и только сердитые глаза да авторитетный тон речи указывают на то, что он чувствует внушительность своей раны. Даже

и тут встречаются шутники, но ворчунов больше, и в общем раненые — прекапризный народ: не посторонись, не сверни простой человек вовремя с дороги перед иным транспортом с ранеными — беда как раскричатся!

Сестры милосердия, в своих всегда белых накрахмаленных косыночках, в общем, смотрят чисто и опрятно, разве только кровавые пятна, там и сям разбросанные в живописном беспорядке по платью, по подолу и на груди, на руках, указывают на совсем особый род занятий этих невозмутимо-спокойно держащих себя тружениц. Зато доктора смотрят совсем оригинально: они по большей части без мундиров и сверх жилета у них надет длинный черный кожаный фартук, сверху донизу краснеющий от крови; никакой мясник, конечно, не бывает больше залит ею, чем те хирурги, которые тут, в дивизионном лазарете, работают над ранеными.

И какой же крик шел из соседней палаты: «Ваше высокоблагородие! Ваше высокоблагородие!» — «Подожди, братец, подожди, какой ты нетерпеливый: еще плясать будешь, только подожди!»

Легко сказать «подожди»; и унтер, которому резали ногу, не сдаваясь на приглашение ждать, продолжал кричать за двоих.

— Должно быть, опять нет хлороформа, — заметил провожавший меня доктор, любезно пожелавший на прощанье найти брата живым.

Уф! С каким облегчением я вздохнул, выходя из палатки! Когда, направляясь к экипажу, я вынул из кармана захваченную со стола в главной квартире булку, чтобы заморить начавшего возиться в желудке червячка, — несколько рук потянулись к хлебу, и, конечно, я роздал по кускам все, что было, пожалев, что было так мало и что пришлось только ввести в охоту и маленькую зависть ничего не получивших.



Следуя от перевязочного пункта по дороге, я оставил в стороне довольно большой отряд наш, совершенно

бездействовавший. Ружья были в козлах, и солдаты либо прохаживались, либо сидели группами, прислушиваясь ко все более и более приближавшейся перестрелке и шуму битвы в отряде левого фланга. Офицеры с биноклями в руках следили за сражением и оживленно перебрасывались замечаниями.

Перестрелкой, впрочем, несправедливо было назвать то, что раздавалось со стороны Скобелева: это была непрерывная, немолчная трескотня ружейного огня попеременно с выстрелами и залпами из орудий. Протяжные крики «ура!» и «Алла!» сообщали что-то такое за душу хватающее всему этому военному грохоту.

На Зеленых горах я получил наконец положительное сведение и о братьях, и о ходе боя.

— Правда ли, что ординарец генерала Скобелева Верещагин убит? — спросил я донского офицера.

— Правда, убит.

— Можно разыскать его тело?

— Невозможно; наши отступают, и турки уже заняли вчерашние позиции — место, где Верещагин убит, давно в турецких руках...

Ко мне подошли старые знакомые, начальник штаба левого фланга полковник Паренцов и командир Донского казачьего полка Греков, подтверждавшие невозможность добыть теперь тело убитого.

— А Александр Васильевич ранен, — сказал Греков. — Вижу, скачет и кричит: «Греков, я ранен!» Должно быть, не очень опасно!

Паренцов подвел меня к своему принципалу, недавнему победителю Ловчи, князю Имеретинскому, назвал и сказал о цели моего приезда: розыска моих братьев, одного — убитого, другого — раненого.

Известно, что при взятии Ловчи князь предоставил все ведение дела штурма Скобелеву, по окончании же, т.е. по взятии этих сильно укрепленных редутов, упорно защищавшихся восьмитысячным гарнизоном, не затруднился представить своего храброго и талантливое помощника как «героя дня» штурма.



Генерал князь А.К. Имеретинский.

Говорили, что все сделали Скобелев и Куропаткин, но, чтобы так им довериться, а после так признать заслуги, нужно было, по выражению французов, «avoir quelque chose dans son sac»*.

Уже много спустя я имел случай слышать от самого Имеретинского, почему он передал ведение штурма Скобелеву.

— Я подошел, — рассказывал он, — под ловчинские редуты с приказанием атаковать их ночью, признаюсь, не имея никакого понятия ни о них самих, ни о местности кругом. У меня было только впечатление того, что позиция неприятеля очень крепка и что дело будет трудное; но как идти на нее, с какой стороны — я не знал и мог узнать, конечно, только на другой день рекогносцировкой под неприятельским огнем. В это время является ко мне Скобелев... «Князь! — говорит, — Вы новичок в этих местностях и, конечно, не знаете еще ни расположения, ни сил неприятеля. Узнавать это вам придется теперь не иначе как с большими потерями, а я давно все здесь изучил и ознакомлен с каждою пядью земли, с каждою возвышенностью, знаю все тропы, дороги и подступы, знаю дальность боя орудий, расположение траншей — доверьтесь мне, дело пойдет скорее, ручаюсь вам за успех». Я доверился и, признаюсь, не имел повода раскаиваться.

Некоторые другие подробности, рассказанные при этом случае о Скобелеве, не идут здесь к делу, хотя они и в высшей степени характерны для оценки личности покойного богатыря.

* Иметь кое-какой выбор в своем ранце (фр.).

Имеретинский с немногими офицерами сидел теперь около дороги и любезно пригласил присесть и закусить; признаюсь, голод заставил меня ничего не оставить от предложенных полукурицы и вина!

— Ах! Это тот самый молодой человек, которого Михаил Дмитриевич еще вчера утром присылал ко мне, — сказал князь, когда зашла речь о цели моего приезда на левый фланг. — Помню, помню; я слышал о нем от Михаила Дмитриевича; какая жалость! Конечно, немислимо теперь разыскивать его...

Дальше в разговоре князь спрашивал, не видел ли я по дороге войск им на помощь.

— Я просил подкрепления, мне не с чем драться!

— Здесь недалеко стоит отряд, но ружья в козлах, и, по видимому, он никуда не намеревается двигаться.

— А по дороге не видно?

— Я ехал сюда по проселку наперерез, и, сколько мог видеть, по дороге войск не было...

— Ну, так нам будет плохо сегодня, очень плохо!



Какая в это время шла перекатная трескотня со стороны битвы у Скобелева, и передать трудно; трескотня, все приближавшаяся, все более и более надвигавшаяся на зеленые горы, где мы беседовали.

На просьбы о помощи левому флангу штаб прислал только один разбитый накануне полк (Скобелев говорил мне на другой день, что это был сильно поредевший Шуйский полк), так что не только не могло быть речи о дальнейшем наступлении со свежими силами на соседний большой редут, как накануне располагали, но вопрос был уже только в том, удастся ли отступить с честью. И действительно, наступавшие во все предыдущие дни войска наши теперь отходили назад, отдавая одну за другою с таким трудом, с такими потерями занятые позиции.

Что турки, нигде в этот день не беспокоимые, всею силою навалились на наш левый фланг, давно уже им надоевший своею беспокойною деятельностью и накануне дорвавшийся

до позиции под самым городом, — это понятно; но что вся наша армия, хорошо слышавшая гром выстрелов и понимавшая их значение, не двигалась на эти выстрелы, — это уж мало понятно и может быть объяснено разве только упадком духа после признанной неудачи общего штурма накануне.

Я уже говорил выше, что это признание неудачи было недоразумением из-за недостатка и неверности донесений; в сущности же, была настоящая военная удача, так как два из плевненских редутов были взяты: на правом фланге — громадный Гривицкий реду́т, на левом — хоть и меньшая по силе позиция, но зато стоявшая под самой Плевною, из которой хорошо подкрепленные войска наши, без сомнения, овладели бы соседним большим редутом, вполне повелевавшим и городом, и защищавшею его армию Османа-паши.

Скобелев говорил мне на другой день, и я не имел основания не верить ему, что Осман наказал табурам*, посланным отбивать реду́т, названный после «Скобелевским», или выбить русских, или приготовиться очищать город.

Одна полная дивизия, которую бездействовавшая в этот день армия легко могла отделить для активной помощи левому флангу, и умелая демонстрация в двух других местах — и Плевна была бы взята в последний день августа 1877 года, так что не было бы последующего четырехмесячного сидения, потребовавшего напряжения сил всего государства; не было бы занятия Боснии и Герцеговины; не было бы... Да мало ли чего, вероятно, не было бы!

Фаталисты скажут, что случилось то, что должно было случиться, и что история идет заранее намеченным путем, но я думаю иначе и полагаю, что если отдельные личности и события не в силах изменить общий ход направления цивилизации, то отклонять, задерживать или ускорять разрешение мировых вопросов могут. Для отдельных государств и для миллионов отдельных личностей влияние выдающихся личностей и событий было, есть и, вероятно, долго еще будет очень велико.

* Батальонам (*тур.*).



Скобелев берет редут 30 августа.

Об убитом брате мне рассказали, что и на этот раз, как всегда, он очень не берег себя и был убит наповал.

— Почему же не вынесли его тела: ведь казацкий конвой был с ним?

— Где тут было выносить! Они сами насилу ноги унесли.

После, однако, оказалось, что вытащить тело можно было, и своего брата казацкого офицера, вероятно, не покинули бы на поругание турок, успели бы перекинуть через седло, но тут пал хотя и ординарец генерала, но все-таки чужой, да еще штатский, и осетины конвоя, нашедшие время снять с убитого шапку, кинжал, бинокль и проч., тело его оставили.

Я подозревал, что brave горцы начисто обобрали моего малого и сняли с него все, так как такая операция всегда может быть свалена на турок, но помалкивал. Однако когда объявили, что золотые часы и револьвер остались на убитом, я запротестовал, так как был уверен, что подобных сокровищ осетин ни за что не покинет. Пришлось пригрозить розыском, и сначала

часы, а потом и револьвер явились. Можно только представить себе, как трудно было bravому осетину расставаться с подобными вещами, по-видимому, самую судьбою ему посылаемыми!

Брат мой Александр, за два дня перед тем приезжавший в главную квартиру, говорил, как уже помянуто, что он не успел передать покойному о пожалованном государем знаке отличия военного ордена, а успел лишь сообщить мою настойчивую просьбу отослать ко мне в главную квартиру палатку, повозку и лошадей с казаком.

— Хорошо, после! — отрывисто ответил на это покойный, сел на лошадь и поскакал по поручению Скобелева наблюдать и доносить о ходе дела на крайнем фланге.

Из нескольких присланных им за этот раз записочек Скобелев на другой день вынул из кармана и отдал мне на память одну, которою сообщалось, что «турки наступают, наше отступление совершается в порядке»; потом совсем каракульками, очевидно в большом спехе, прибавлено: «порядка нет».

Мысль о том, что последние минуты убитого брата были огорчены моим требованием немедленной присылки всего дорожного скарба, хотя данного ему временно, но без которого ему самому трудно было обойтись, а известие о внимании государя совсем не передано, отравляла мой покой. Больше того, не получая со времени возвращения из госпиталя в главную квартиру никакого ответа на мои требования возврата своих вещей, я написал покойному братишке немало резкого и неприятного, чем теперь также казнился. К счастью, дипломатический чиновник главной квартиры Нелидов, заведовавший делами переписки, ошибся именем Верещагина на конверте, и мои свирепые послания брату Сергею Васильевичу вручил Василию Васильевичу, т.е. мне; вышло, что мои упреки и выговоры покойному не дошли по назначению, чему я был очень рад теперь, когда приходилось сводить счеты с совестью.

Распространяюсь об этом обстоятельстве потому, что в нем повторяется старая, всем знакомая история нашей общей несправедливости к людям, пока они живы, и раскаяния в этом, когда они неожиданно отойдут в вечность: кажется, воротись они к жизни, мы повели бы себя относительно их совсем иначе!..

Приходило также в голову, что, может быть, брат мой не убит, а только тяжело ранен и оставлен на поле битвы замертво!.. Факт, что наши осетины обшаривали, обыскивали и, вероятно, донага раздели его, ничего не говорил, потому что эти первобытные воины никогда не прочь пошарить у раненых, если уверены, что те не воротятся к жизни и не потребуют ответа за... неделикатное обращение.

Разрешить это последнее сомнение тогда же было невозможно; уже после полковник Энгельгардт сказал мне, что, зарывая мертвых, он хорошо узнал брата моего, «лежавшего в одной рубашке», и предал честному погребению.



Осман-паша.

Так и не добившись пока никакого результата по моим розыскам, я поехал назад, прислушиваясь ко все приближавшейся пальбе и крикам сражавшихся. «Ура, ура-а!», видимо, слабели, и, напротив, «Алла-а!» все свирепели, торжествовали, надвигались. Вся Русская армия слышала эти замиравшие звуки «ура!» и разраставшийся рев «Алла!», догадывалась об их значении, но не двигалась на помощь и,

с ружьями в козлах, следила за неравным боем, пока он не затих, пока наших не смяли, прогнали, отняли все прежде взятое, пока «ура!» не смолкло.

При обратном проезде перевязочным пунктом один из уполномоченных Красного Креста, Бок, сказал мне, что брат мой Александр перевязан и отправлен дальше.

— Куда?

— Кажется, в Бухарест, так как он уехал по направлению к Систову, — что оказалось не вполне верно.



Я свернул с большой дороги к месту расположения генерала Зотова, так как хотел узнать, какая причина могла помешать прислать князю Имеретинскому подкрепление, о котором он так настойчиво просил, и, кстати, повидать одного товарища, Пеллегрини, находившегося при генерале адъютантом.

Когда я обратился с вопросом к начальнику штаба полковнику Н., то получил в ответ, что «послать подкреплений нельзя, потому что войска нужны на месте».

— Да ведь на вас не нападают!

— А могут напасть; если нападут, с чем мы будем отбиваться?!

Иначе, конечно, не рассуждали генералы Наполеона III, воздерживаясь от помощи соседу, пока немцы душили их одного за другим.



Я уже рассказывал где-то об одном смешном случае, которого я был свидетелем за этот приезд в штаб генерала Зотова, однако позволю себе здесь повторить его.

Кроме помянутого начальника штаба и приятеля моего, адъютанта генерала, в палатке был еще вольноопределяющийся гусарского полка Т., бывший секретарь одного из больших посольств наших, из-за хорошего французского языка прикомандированный к штабу генерала для письменных сношений с главным начальником румынским князем Карлом. Надобно сказать, что было холодно, голодно и сыро, моросил дождик и в лагере не было огня, а следовательно, и горячей пищи; впрочем, если бы и был огонь, то дело было бы не лучше, потому что вряд ли нашлась бы какая-нибудь провизия.

Чуть ли не у Т. оказалась сохранившаяся *последняя* жестянка консервированных сосисок с капустой, которую решили для моего приезда откупорить и разделить. Признаюсь,

я по примеру П. тотчас же съел свою порцию. Но Н. и Т. захотели полакомиться как следует: поставили жестянку со своими долями на спиртовую лампочку и, когда аппетитный пар наполнил палатку, стали нас поддразнивать:

— Ага! Что? Небось сожалеете, что поторопились? Вот подождите, сейчас начнем есть!..

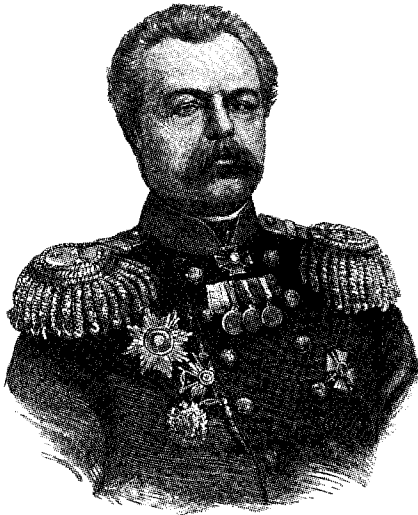
В эту минуту входное полотно палатки поднялось и в двери показалось полное, круглое, небритое лицо в огромных темных очках, с нахлобученной фуражкой.

— А! Господа! Да вы тут, я вижу, роскошествуете, — выговорило лицо, нюхая ароматный запах разогревавшихся сосисок с капустой.

— Ах! Ваше превосходительство! Пожалуйте! — вскрикнули офицеры, бросившись к выходу. — Пожалуйте, ваше превосходительство, не прикажете ли закусить?

— Закусить не прочь, — проговорил генерал Зотов, вдвигаясь в палатку всею своею тучною, приземистою фигурою, — почему не закусить!

Он сел к столу, ему придвинули тарелку, ножик, вилку и выложили все содержимое жестянки, которое, не разогнувшись, не проронив ни слова, он истребил без остатка.



Генерал П.Д. Зотов.

Мы в молчании следили за операцией боевого генерала, и надобно было видеть постные, унылые физиономии обоих подчиненных, все чаще и чаще переглядывавшихся за столом начальника, по мере того как сосиски одна за другою исчезали в его желудке.

Как-никак, им пришлось, однако, принять вид вполне довольных содеянным его превосходительством, когда, обли-

зываясь и причмокивая, он выходил из палатки с теми же словами, с которыми вошел в нее:

— Роскошествуете, господа, роскошествуете...

Зато же посмеялись мы с Пеллегрини. Он как раз перед этим рассказывал о скупости Зотова, которого сильно недолюбливал:

— Подумай только, что мы столуемся артельно, и все платим те же деньги 20 руб. в месяц, но столом пользуемся далеко не одинаково: у нас гостей почти не бывает, а у него они постоянно, так что иногда нам подают отдельно, конечно после него, обеды!



Воротившись в главную квартиру, я, к великому удивлению, нашел на завалинке своей хижины раненого брата Александра, которому Струков и другие знакомые старались всячески облегчить положение.

Случайное мое предсказание малому, когда он уезжал от меня накануне штурма, сбылось вполне, так как действительно его не убили, а только ранили. И рана хорошо зажила потом: пуля засела около пятки, между костью и сухожилием, и ее легко извлекли.

— Точно я предчувствовал, что твои слова сбудутся, — говорил он мне. — Все время держался около Скобелева с той стороны, с которой было меньше опасности, чтобы если уда-рило, так его, а не меня... Но не выгорело; пуля прошла с одной стороны на другую, через живот моей лошади, и во мне засела...

Юноша порядочно упал духом от боязни остаться навек калекой, и пришлось разуверять его, утешать тем, что еще потанцуем!

Хваля помощь врачей и сестер милосердия, брат жаловался на порядки обращения с ранеными санитаров и немало насмешил рассказом о том, как ему удалось-таки сорвать свою наболевшую досаду на одном из них. «Это был особенно

нахальный, не только с нижними чинами, но и со мной, офицером; уверенный, что с раненой ногой я не смогу добраться до него и задать ему выучку, он не обращал внимания на все мои просьбы, так что я пустился на хитрость: «Приди, пожалуйста, сюда!» — «Чего вам?» — «Приди на минутку, сделай одолжение». — «Да что вы? Господи! Чего вам нужно?» Однако подошел. «Нагнись, пожалуйста, ко мне поближе...» И только он нагнулся, как я его *бац!*».

Пришлось поступиться моею колясочкою, и я приказал кучеру-румыну, давно уж порывавшемуся бежать из этой юдоли печали, ран и смерти, приготовиться к поездке через Дунай. Экипаж приладили, наложили подушек и отправили раненого в Бухарест, в тот самый госпиталь Бранковано, из которого я незадолго перед тем выписался, на попечение тех же знакомых смотрителей и докторов.



На другой день главнокомандующий со всей главной квартирой ездил на осадную батарею, где держался военный совет и был серьезно поднят вопрос о том, не следует ли при обстоятельствах снять осаду Плевны.

Мы стояли поодаль, пока важные люди заседали за большим столом на дощатых скамейках. Несмотря на то что никто не высказывал малодушия, чувствовалось уныние от неудачи, хотя, повторяю, в сущности, была не неудача, а положительный успех, который в более умелых руках, чем господ Л. и Н., без сомнения, обратился бы в быстрое и полное завершение дела.

На совете решено было вытребовать из России большие подкрепления и между ними всю гвардию, а также генерала Тотлебена, в ожидании же их продолжать теперешнюю неполную осаду. Говорили, что помянутый злосчастный Л. первый, как младший, подал голос за то, чтобы оставаться — спасибо и на том, что не посоветовал отступить, так как и этого можно

было ожидать от такого само-надеянного, всезнающего, непогрешимого человека*.

Пока длилось заседание, мы наблюдали за действием осадных орудий, посылавших на неприятельские редуты громадные разрывные снаряды. Уверяли, что каждый выстрел стоил 300 руб., и признаюсь, что после, по взятии Плевны, я с особенным любопытством пересчитывал гигантские снаряды этой батареи, большею частью неразорванными зарывшиеся в землю около редутов: 300 руб., еще 300 руб., еще 300, еще, еще... Все — выброшенные на ветер. Кроме того, случалось, что эти снаряды разрывались тотчас по выходе из орудий, над головами стрелявших — поистине стрельба с сюрпризами.



Генерал Э.И. Тотлебен.

◆◆◆◆◆

Я рад был встретиться с молодым Скобелевым, подошедшим ко мне по окончании совета: со слезами на глазах вспоминал он о брате Сергее и об услугах, им оказанных. «Он очень, очень был полезен мне», — повторял М.Д., видимо, желая смягчить горечь потери, но я попросил лучше прекратить разговор о покойном; мне думалось, признаюсь, что сожаление сожалением, а не мешало бы в свое время поменьше запрагивать малого, которому, благо он был волонтер и делал все

* На военном совете после «третьей Плевны» генерал Левицкий и военный министр Милютин высказались за продолжение осады, тогда как главнокомандующий, поддержанный Зотовым и Массальским, предложил немедленно отступить за Дунай. Император поддержал первое мнение и вызвал из России подкрепления и генерала-инженера Тотлебена для организации регулярной блокады Плевны.

охотно, не отлынивая, буквально ни днем ни ночью, не было покоя от нервного, беспокойного и не всегда справедливого принципала.

Бравый Харанов, другой ординарец Скобелева, признавался, что, хотя и ему, и прочей молодежи, окружавшей генерала, доставалось опасной работы, брат мой был решительно козлом отпущения — день и ночь из палатки генерала раздавался крик: «Позвать Верещагина!» Это значило, что есть особенно рискованное поручение; вслед за тем всегда слышно было другое приказание: «Иван, лошадь, живо!»

— Верьте мне, — говорил Харанов, — это был герой, и мы прямо дивились его храбрости и хладнокровию: он просто не знал, что такое опасность!

И от Харанова, и от многих других я слышал, что Скобелев крепко обрушился раз на брата моего, за несколько дней до смерти последнего, за то, что он якобы завел Калужский полк дальше, чем ему было приказано, и тем подверг его опасности и потерям. Но из многих расспросов у очевидцев дела я хорошо узнал, что это был вздор. Оказалось, как все очевидцы утверждали мне, что брат мой не только выполнил данное ему поручение, но изо всех сил старался помешать самовольному движению солдат вперед, на «ура!». Когда полк возвратился назад оципанным, полковой командир, не желая винить своих людей, доложил Скобелеву, что виною был «его ординарец», и вспыльчивый генерал тут же обрушился на моего ни в чем не повинного брата. (С. уверял меня, что видел брата моего скачущим за Калужским полком и кричащим: «Калужцы, стой! стой!» Еще недавно я получил письмо от одного из офицеров-очевидцев, вызванное моею заметкою об этом случае, предлагавшего свое свидетельство о полной корректности поведения брата Сергея.)



Скобелева на военном совете решено было произвести за особенное отличие в генерал-лейтенанты и дать ему 16-ю дивизию; кроме того, он отпросился до времени подхода войск

из России и начала решительных операций вокруг Плевны в отпуск в Бухарест, отдохнуть, т.е. покутить.

Мне после помянутого военного совещания и еще в виду всех участников его Михаил Дмитриевич крепко жаловался...

— Представьте себе, Василий Васильевич, художника, — гадливо говорил он, — накладывающего на холст разные краски: красную, синюю, белую, зеленую, накладывающего долго, старательно, но из этого накладывания ничего не выходит, так и тут...

Когда я заметил, что он должен быть доволен производством в генерал-лейтенанты, М.Д. сердито отвечал:

— Чем тут быть довольным. Я был в свите, а теперь потерял аксельбанты...

Производство это, без назначения генерал-адъютантом, долго лежало у него на душе до самого того дня, когда ему была оказана эта государева милость.



После принятого решения прекратить активную деятельность против Плевны и ограничиться до времени прихода подкрепления пассивной главнокомандующий уехал из Парадима и перенес оттуда главную квартиру. Я остался пока, так как с лишением



Болгарская хата.

себя колясочки, сев в седло, растравил опять свою рану и должен был на некоторое время ограничить передвижения хроманием по окрестностям. Я поставил полученную наконец с левого фланга палатку свою на то место, где стояла кибитка его высочества, и расположил кругом повозку и лошадей, после службы у брата моего донельзя захудалых и загнанных.

Присланные также вещи покойного были наполовину растасканы; разные жилеты, брюки, сапоги оказались надетыми казаком, уверявшим, что «покойничек» подарил их ему; прибор лошади с нагайкой и другими вещами нашлись в сумках того же верного драбанта — обыкновенная история расхищения наследства «холостяка».

В первую же ночь моего одинокого пребывания тут не успел я заснуть, как послышалась живая, непрерывная пальба со стороны Гривицы.

«Турки пошли отбивать ее», — подумал я и не мог уснуть, пока дробь выстрелов не прекратилась и не стало известно, что атака турок отбита.

Неприятным сюрпризом войскам был огонь турок из соседнего с Гривицею редута, который сначала, когда брали ту последнюю, вовсе не был замечен; тем неприятнее теперь было убедиться в возможности быть обстреливаемыми оттуда. Решено было взять этот второй редут; атаковать вызвались румыны, а наши должны были демонстрировать. Я был сначала с демонстрированными частями, а потом наблюдал за движением румын и имел при этом случай еще раз убедиться в том, что официальные донесения обыкновенно не передают действительности.

Например, хорошо видно было, что румынские войска, кроме нескольких смельчаков, дошли лишь до рвов редута, в которых и засели; когда же навесной огонь стал выживать их оттуда, сначала одиночками, потом дружно, вместе, они побежали назад. В официальном же донесении было сказано потом, что румыны ворвались в редут, но, встретив численное превосходство, принуждены были отступить.



...Случайно я натолкнулся в Парадиге на известного американского корреспондента газеты «Daily News» Мак-Гахана, одного из непосредственных виновников войны за болгар, притеснения и резню которых он так трогательно и живо

описал в свое время. Первый раз я встретился с ним по приходе нашей армии на Дунай, где, как сказано уже, в Бухаресте на обеде, устроенном стариком Скобелевым, сын его Михаил Дмитриевич представил Мак-Гахана как своего старого друга.

Старик Скобелев называл этого корреспондента, как и всех других, «проходимцем», но мне он и тогда, и после казался скромным, правдивым человеком и хорошим товарищем. Мак-Гахан, бесспорно, симпатизировал русским, в отличие почти от всех других писавших в иностранные газеты; известный Форбс, например, прикидывался сочувствующим нам до тех пор, пока был в районе действия армии, но скинул маску тотчас же, как только выбрался на простор.

Очень немногие знали, что Мак-Гахан женат на русской, Елагиной из Тулы, и сам он старательно скрывал это обстоятельство, дабы не подрывать в Европе и Америке веры в свои сообщения.

Главкомандующий, впрочем, знал это, почему к этому корреспонденту относились с большою снисходительностью, чем к другим.

Как все корреспонденты больших английских и американских газет, Мак-Гахан ездил за армиею с большим комфортом. Кроме верховых лошадей для него, его помощника и прислуги у него всегда была идеально устроенная повозка, на колесах — летом, на полозьях — зимой, заключающая в себе решительно все: от кладовой для провизии и вина до удобной раскидывавшегося ложа для спанья.



Я. Мак-Гахан.

На этот раз, однако, повозка была уже отправлена, и я застиг корреспондента в ужасном положении: в грязной, дымной болгарской хате он валялся без самого необходимого с больной, скорченной ногой, которой он не мог распрямить. Только что поднявшись с постели после полома ноги, он вздумал

объезжать какую-то маленькую туземную лошаденку и, сброшенный ею, разбил опять ту же самую ногу!

Я застал его бледного, больного, в лихорадке от боли и потрясения и перетащил было в свою бывшую хату, когда подоспевший князь Цертелев, один из близких друзей американца, распорядился переправить его в Бухарест.



Жаль было также узнать о том, что около Гривицкого редута жестоко и, главное, совершенно бесполезно пострадал очень brave офицер, полковник Вульферт, тот самый, о котором я упоминал как о члене георгиевской думы, давшей отличие Скрыдлову и Струкову.

Шурин известного Черняева, бывшего женатым на его сестре, он отличился еще в Ташкенте, на стену которого взшел первый при штурме. Это был хладнокровный, храбрый, рассудительный офицер, после отнятия у старика Скобелева командования казачьею дивизиею, в которой он имел бригаду, состоявший при главной квартире. От нечего делать он отправился на Гривицкий редут, откуда только что целыми и невредимыми возвратились старик кн. Суворов и некоторые другие.

Вульферту, однако, не повезло: и белая ли бурка, которую он постоянно носил, или просто «кизмет», т.е. судьба, предали его, — только он получил пулю в плечо.

Несколько лет спустя я встретил его в Москве, сначала с рукой на перевязи, потом вовсе без руки, и, наконец, услышал, что он умер (застрелился).

Рассказы его самого о том, что над ним проделали не столько пуля, сколько разные хирурги, граничат с невероятным: там-то такая-то медицинская знаменитость сделала ему операцию, после которой боли не уменьшились, а усилились; в столице другая знаменитость сделала другую операцию, к несчастью, с таким же результатом, т.е. с новым усугублением болей. И так несколько раз!

Наконец рука его стала сохнуть, и прежде ли удружившая знаменитость или еще новая посоветовала сразу расквитаться со всеми болями, отрезав руку по локоть. Так как боли остались те же, то вскоре затем руку вылутили в самом плече.

Когда и это не помогло и боли стали расходиться дальше, В. застрелился. Не утверждаю, не зная наверное, что он действительно сам наложил на себя руки, но, припоминая рассказ В. и его характер, не считаю этого невозможным.



После уступки колясочки раненому брату я очутился на своих на двоих и на седле — и то и другое было нехорошо для моей раны, еще далеко не зажившей. Она воспалилась по всем правилам с трудом начавшей гранулироваться, но снова растроганной больной ткани; мне советовали даже снова лечь в госпиталь, но я рискнул не ложиться, и пара дней более спокойного житья в палатке снова поворотила дело на заживление, тогда как пребывание в лазарете, даже и барачном, могло бы иметь серьезные последствия от опасности заразы.

Ничего так не рекомендовали мне при выпуске из бухарестского госпиталя, как избегать общения с заразными больными, особенно тифозными, — а в каком пункте для больных и раненых их не было? Еще здоровые, благодаря постоянной напряженности нервов, могут не заражаться, но организм, ослабленный раной, тотчас поддается и свертывается.

Как только моя рана опять поджила, я сел на лошадь и отправился на Шипку, о которой в последнее время так много говорили и в частных, и в военных кругах.

На Шипке

Наслышавшись о торжественных приемах наших войск в городах и селениях, по всей дороге мне странно было встретить столько сосредоточенности, сдержанности, прямо недоумения

со стороны жителей; на ночлег пускали неохотно, получить корм себе и лошади было трудновато, после долгих просьб и торга. Причина многих недоразумений крылась, конечно, в разнице характеров северных и южных славян — насколько первые, русские и поляки, например, экспансивны, общительны, откровенны, настолько же вторые сдержанны и себе на уме.

С самого начала сильно увлекшись, по обыкновению, делом освободительной войны, мы решили: спасать — так спасать всю. Казаки стали «спасать» от бегавшей и летавшей живности, молодые военные не прочь были «спасать» от старых угрюмых мужей. Удивлялись, что пыл восторженных приемов скоро стихал и даже за угощение начинали просить расплаты, неблагодарные! Что за черствость! За всякую провизию и фураж требуют деньги, да еще немалые, лихвенные, а женщины просто чуть не отвертываются от красавцев-спасителей.

Нет сомнения, что представление наше о положении болгар перед войной было ошибочное. Если бы в высших школах наших преподавание велось не поверхностно, шаблонно, только для выполнения программы, а консульства наши, не строя из себя дипломатов, занимались собиранием сведений об экономическом положении народонаселения, то мы знали бы, что болгары живут несравненно зажиточнее русских и что стеснение их политической свободы в значительной степени искупается обеспеченностью в материальном, если можно выразиться, в хлебном отношении, чего нельзя сказать о большей половине России.



У меня и в мыслях нет не только восхвалять, но даже оправдывать излишества турецкого режима, понимающего право покорителя в старом, средневековом его смысле и позволяющего себе пускать в ход очень сильные средства усмирения строптивых, до поголовной резни включительно.

Но, помимо того что средства, практикуемые англичанами, справедливо ставимыми во главе цивилизации, несколько

не лучше, не гуманнее, надобно сказать, что болгары, справедливо рвавшие свою политическую свободу, вели постоянные, неустанные заговоры против турецкого владычества, заговоры далеко не платонические, так как время от времени то тут, то там проявлялись серьезные брожения и даже вспыхивали восстания.

Современная цивилизация скандализировалась главным образом тем, что турецкая расправа производилась близко, в Европе, а затем, и средства совершения зверств чересчур напоминали тамерлановские времена: рубили, перерезали горло, точно баранам.

Иное дело у англичан: во-первых, они творили дело правосудия, дело возмездия за попранные права победителей, далеко, в Индии; во-вторых, делали дело грандиозно: сотнями привязывали возмущившихся против их владычества сипаев и не сипаев к жерлам пушек и без снаряда, одним порохом, расстреливали их — это уже большой успех против перерезывания горла или распарывания живота.

Все это делалось, конечно, так, как принято у цивилизованных народов, без суеты, без явно высказываемого желания поскорее лишить жизни несчастных. Что делать! Печальная необходимость: они преступили закон и должны искупить вину, никто не должен быть вне закона. Можно было бы, положим, переложить гнев на милость, отменить казнь, заменить ее пожизненным заключением, тем более что христианская религия говорит прямо: «Не убий». Но то теория, а это практика, в которой для предотвращения еще больших несчастий надобно действовать устрашением. К тому же в *repandant** к вышеупомянутому «не убий» есть нечто другое — «око за око, зуб за зуб», исходящее тоже из весьма почтенного и авторитетного источника и имеющее преимущество быть более практичным. Значит, совесть могла быть почти спокойна; что же касается немедленных результатов, то они от суровых, но справедливых мер прямо благодетельны.

* *Para* (фр.). Здесь: в дополнение.

В самом деле, иноверцы, азиаты, особенно меланхолики-южане, как-то равнодушно относятся к жизни и смерть от руки завоевателей-христиан, считают чуть ли не благословенным делом, во всяком случае далеко не дурным в видах устройства будущей жизни. Там, думают они, согласно своим мирозозерцанию и религиозному учению за насильственную смерть и от руки палача-победителя неизбежно следует награда: вечное житье в раю блаженных. Рай у разных народов представляется различно, но все сходятся в том, что там будут вечно наслаждаться и это наслаждение наверно можно получить, приняв смерть от ненавистного покорителя-иноземца, — чего же лучше!

Смерти этой они не боятся, и казнь их не страшит; но чего они избегают, чего боятся, так это необходимости предстать перед высшим судьбою в неполном, истерзанном виде, без головы, без рук, с недостатком членов, а это именно не только вероятно, но даже неизбежно при расстреливании из пушек.

Повторяю, все делается методично, по-хорошему: пушки, сколько их случится числом, выстраиваются в ряд, к каждому дулу не торопясь подводят и привязывают за локти по одному более или менее преступному индийскому гражданину, разных возрастов, профессий и каст, и затем по команде все орудия стреляют разом.

Замечательная подробность: в то время как тело разлетается на куски, все головы, оторвавшись от туловища, спирально летят кверху. Естественно, что хоронят потом вместе, без строгого разбора того, которому именно из желтых джентльменов принадлежит та или другая часть тела. Это обстоятельство, повторяю, очень устрашает туземцев, и оно было главным мотивом введения казни расстреливанием из пушек в особенно важных случаях, как, например, при восстаниях.

Европейцу трудно понять ужас индийца высокой касты при необходимости только коснуться собрата низшей: он должен, чтобы не закрыть себе возможности спастись, омываться и приносить жертвы после этого без конца. Ужасно уж и то, что при современных порядках приходится, например, на железных дорогах сидеть локоть о локоть со всяким, — а тут может слу-

читься, ни больше, ни меньше, что голова брамина о трех шнурах ляжет на вечный покой около позвоночника парии — бррр! От одной этой мысли содрогается душа самого твердого индуса!

Говорю это очень серьезно, в полной уверенности, что никто из бывших в тех странах или беспристрастно ознакомившийся с ними по описаниям не будет противоречить мне.

К чести свободы, существующей в Англии, я должен сказать, что, когда несколько лет тому назад я выставил в Лондоне мою большую картину, представляющую «Расстреливание из пушек в Индии», между голосами, осуждавшими замысел картины, были и оправдывавшие его. Критиковали то, что каски английских артиллеристов были более нового против 1858 года образца, на что я отвечал, что полотно мое представляет не именно 1857—1858 год, а вообще интересный исторический факт, что позднее было еще небольшое восстание в туземных войсках южной Индии и тогда было практиковано это наказание, хотя в гораздо меньшем размере по числу жертв.

Один старый английский чиновник, уже отдыхавший на пенсии, громко, публично сказал мне, что картина моя представляет величайшую клевету, с которою он когда-либо встречался.

На мое же замечание, что это не клевета, а бесспорный исторический факт, он ответил, что «служил в Индии 25 лет, но ни о чем подобном не слышал».

— Однако, вы можете найти подробные описания во многих книгах.

— Все книги врут, — невозмутимо ответил британец.

Очевидно, продолжать спор было бесполезно.

Сэр Ричард Темплъ, известный деятель и знаток Индии, сказал мне, что напрасно я придавал удрученный вид одному из привязанных к жерлу пушки.

— Я многократно присутствовал при этой казни, — говорил он, — и могу вас заверить, что не видал ни одного, который не бравировал бы смертью, не держался бы вызывающе...

Приятель мой, генерал Ломсден, молодым человеком участвовавший в войне сипаев и отправивший на тот свет пушками множество темнолицых героев, на вопрос мой, стал ли бы он опять так расправляться, если бы завтра вспыхнуло восстание, не задумываясь отвечал:

— Certainly! And without delay! (Конечно! И немедленно же).

Значит, и под этой моей картиной нужно подписать: сегодня, как вчера и как завтра...

За последующую выставку в Лондоне был такой случай. Какой-то почтенный господин с дамой, старушкой же, посмотрев на фотографическое воспроизведение этой картины, подошел ко мне и сказал:

— Позвольте мне представиться, general so and so! (забыл его имя). Представляюсь вам как первый пустивший в ход это наказание; все последующие экзекуции — а их было много — были взяты с моей.

Старушка-жена подтвердила слова мужа, и оба они так, видимо, были довольны этою славною инициативой, когда-то проявленною, что я и приятель мой, французский художник, при этом присутствовавший, были просто поражены их наивным хвастовством!



После этого большого отступления, от сравнительного варварства к сравнительной цивилизации, возвращаюсь к дороге на Шипку и к нашим утрированным представлениям о жестокостях турок в 1876–1877 году.

Талантливый корреспондент «Daily News» Мак-Гахан, обангличанившийся американец, очевидно, не выдавший настоящей азиатской резни с миллионами жертв и решительно поголовным истреблением не одной деревни или области, а огромного числа городов и областей, объявил, что «свет не видел еще ничего подобного по дикости и разнузданности»; он представил болгар забитыми, несчастными, вечно полу-

голодными, живущими постоянно под опасностью лишиться не только всего добра, но самого живота...

Европа и Россия, конечно, прежде других содрогнулись — откуда уже было недалеко до перехода наших войск через Дунай. Велико было, однако, удивление наших войск, когда они нашли всюду сравнительное довольство, благосостояние и чем дальше, тем больше чистоту, порядок в домах, особенно городских, полные житницы, закрома, набитые всяким добром! Невольно явилась и стала высказываться мысль, что мы напрасно «кроем чужую крышу, когда своя хата течет»...

Сладость освобождения от турецких чиновников-взяточников, вызвавшая первые восторги, тотчас, говорю, сменилась сдержанностью и недоверием, как только выражения симпатий и дружбы стали сопровождаться шареньем в чердаках и подвалах, самовольной косью сена и хлебов, вскрытием запасов про черный день и т.п. Чем дальше, тем хуже, отношения обострялись обвинениями, с одной стороны, в тупости и неблагодарности, с другой — в излишней вольности, по всем частям...

Постоянно всем, вероятно, приходилось видеть, что даже офицерские квартиры в уютных городских домах, безукоризненной чистоты и опрятности — плюнуть негде, жаловались наши, — через несколько часов обращались в настоящие вертепы беспорядочности и грязи, все заплывалось, покрывалось обломками, объедками, окурками... Не успеет хозяйка дома прибрать за ушедшими постояльцами, снова все уцелевшее расставить по местам, вышаркать полы, постлать неизбежные половички и проч., как новое нашествие повергало опять все в прах.

Обратная, хорошая сторона наших — незлобивость, добродушие, откровенность решительно не были оценены непривычными к таким качествам в управителях болгарями, хотя и продолжавшими называть нас «братушками», но смотревшими нехорошо, исподлобья, совершенно замкнувшись от нас в своих тесных, набитых ребятами конурах.

После Стамбулов именно на черте нашей разнузданности разыграл свой эгоистический, против ожидания так долго тянувшийся фарс. Вряд ли он и его последователи серьезно верили в намерение русских прибрать их к рукам, но, видя разгул нашей широкой натуры, указали на него своим, по-своему истолковали его и воспользовались произведенным впечатлением.



Надобно прибавить еще неуверенность, бывшую у болгар, в том, что на этот раз русские братушки доведут дело освобождения от господства турок до конца и что снова не случится того, что бывало после прежних наших войн с турками, когда, заключив более или менее выгодные условия для себя и выговорив на бумаге забвение вин для всех туземцев, зарвавшихся в деле оказания помощи нашим войскам и сопротивления своим, мы уходили, фактически предавая наших сторонников гневу и ярости турок, вымещавших свое бессилие перед нами на них, их семьях, их имуществах.

Можно наверное сказать, что, несмотря на все наши уверения в том, что турки на этот раз будут окончательно лишены власти над страной, болгары, особенно когда первые успехи наши сменились неудачами, побаивались, по старому опыту, что опять дело не дойдет до этого и им придется ограничиться реформами турецкого образца.

Понятно, как это недоверие должно было отражаться на всех мелочах ежедневных отношений, особенно при добродушно-дерзкой несдержанности нашего языка: «подлец, такой-сякой» нередко слышалось в обращении спасителей к спасаемым.

Известен рассказ Ф., наказного атамана донских казаков, о том, как, встретив в каком-то захолустном углу казачка на пикете, он обратился к нему с вопросом: чем он тут питается?

Молчание.

— Что ж ты не отвечаешь?

Молчание.

— Да что ты, глух, что ли?

— Стараюсь, ваше превосходительство! — выпалил наконец воин.

«Беру, что плохо лежит», — нужно перевести это.

Известен также ответ казака офицеру, выговаривавшему ему за то, что он гоняется за хозяйскими гусями.

— Это дикие, ваше высокоблагородие!

И это не выдумка. «Что твое — мое» широко практикуется казаками в чужой стране, и они твердо уверены, что так должно быть, «что так устроено самим Богом, и вольтерьянцы напрасно восстают против того».



Перед самым Тырновом я поднялся к монастырю, расположенному на одном из утесов ведущего к городу ущелья. Можно сказать, только слава, что монастырь, после наших обширных и людных построек этого рода.

Несколько старцев-монахов бесстрастно шамкали бледными губами слова молитвы, бесстрастно же показали все их нехитрое и мало замечательное с археологической стороны устройство. Всего интереснее были они сами, вечно сидящие на солнце, с потухшими, безжизненными взорами, устремленными вдаль, — может быть, из-за мелькавших в уме воспоминаний молодости и грехов... без усталости перебирающие четки и шепчущие, шепчущие, шепчущие...

Полны характера их кладбища-погребя с уложенными в порядке черепами опочивших старцев. Многих они называют и поминают с теми или другими обстоятельствами их жизни и смерти. О некоторых рассказывают чудеса подвигов, все больше не духовных, а гражданских, из домашней кровавой истории открытой и подпольной борьбы с турками.

Черепя сложены в одном месте, в большем или меньшем порядке, рядышками; но ребра, позвоночники и кисти рук и ног — в беспорядочно наваленной куче, должно быть, как менее важные и нужные в будущем по их расчету.

Надобно сказать, что место для монастыря тут идеальное: город, долина с рекою за ним, затем Балканы — все это поразительно красиво и, бесспорно, наводит на размышления...

Воображаю, как интересно было наблюдать с этих высоко свитых человеческих гнезд народные восторги встречи русских войск; с одной стороны, приближающиеся с военной музыкою наши, с другой — выходящее им навстречу духовенство с хоругвями, крестами и массою народа. Последние, не смогшие вытерпеть, обгоняют своих коней и буквально бросаются на войска: крики, объятия, поцелуи, поцелуи без конца, покрывающие руки, ноги, самые стремяна...

Дрогнули, верно, сердца и у старых монахов...

Не в Тырнове, а после, в Адрианополе и далее, я был свидетелем этих встреч, и они до сих пор живы в моей памяти.

Какие-то стихийные, бесспорно искренние, конечно, только по недоразумению могли они изгладиться из сознания и даже переродиться во временную неприязнь.

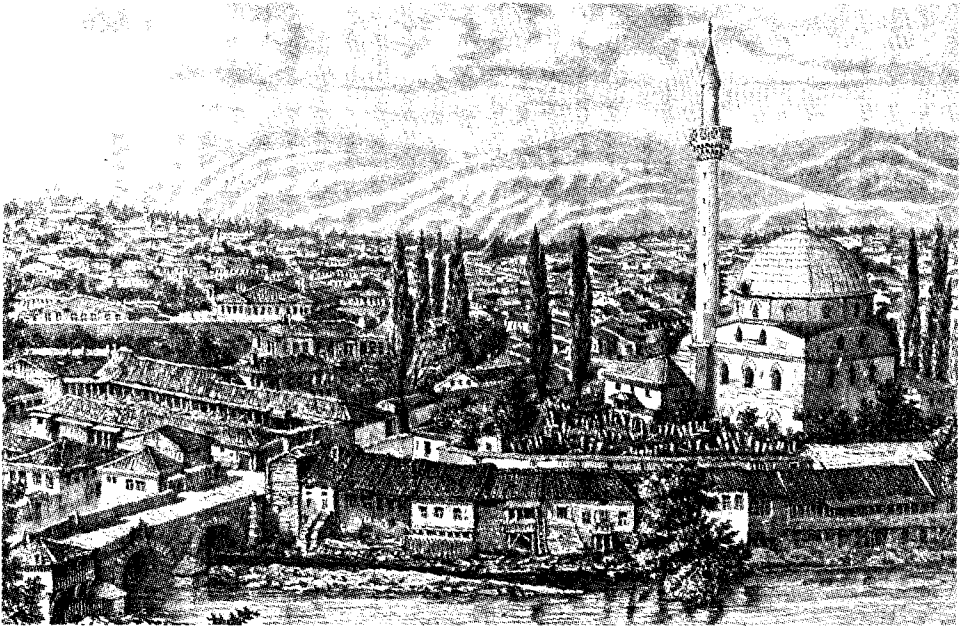


Самый город Тырнов мне очень понравился. И в нем был, правда, специфический запах большинства восточных городов, спускающих нечистоты в проходящие по улицам и дворам канавы, но все-таки зелень, свежесть и в то же время «благо-растворение воздухов и обилие плодов земных» сообщали все-му известную прелесть, чувство которой охватывало приезжего с севера.

Губернатор наш, генерал Домонтович, оказался обходительным и гостеприимным человеком: будучи знаком с моими работами, он принял меня как родного, с полными российскими предупредительностью и хлебосольством.

Комендант, полковник одного из гвардейских полков, тоже любезный человек, удивил меня, помню, сходством с одним из толстовских типов: постоянно ко всем без исключения фразам он прибавлял восклицание «а!».

— Теперь куда вы изволите проезжать? А!



Вид Тырнава.

— Дороги у нас вполне безопасны. А! Маленькая предосторожность, конечно, все-таки нелишняя. А! — И т.д.

Любезное начальство поместило меня в мирную болгарскую семью, где мне отвели чистую комнату с порядочною постелью и массой одеял.

Так как я держался чинно, не пил, не курил, не плевался, то хозяева скоро перестали стесняться, зазвали меня к себе и, пригласив также одного русского священника, просили нас побольше поговорить между собою по-русски для того, чтобы они могли насладиться звуками родственного им наречия!

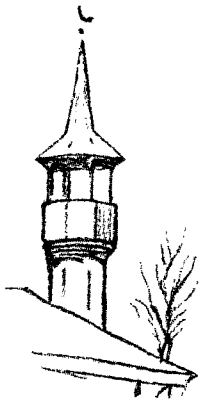
Несмотря на неловкость этого положения фонографа, я был тронут такою наивностью и, по-видимому, действительно доставил им удовольствие, насколько об этом можно было судить по оживленно слушавшим физиономиям. Понимание некоторых общих обоим наречиям слов, а также церковно-славянских оборотов речи приводило их прямо в восторг. Конечно, я видел, что все-таки большая часть нами говоримого была непонятна болгарам, но батюшка был иного мнения и,

подбадриваемый улыбками сочувствия и кивками головы, так и разводил турусы.

— Они все понимают! Все понимают! — уверенно высказался он и ушел очень довольный и своею сообразительностью, и их понятливостью.



Тип болгарских женщин нельзя назвать особенно красивым, пожалуй, мужчины красивее — не потому ли, может быть, что лучшие экземпляры первых нередко попадали в турецкие гаремы? В миловидности, однако, нельзя отказать им, и затем надобно отдать честь их целомудрию, по крайней мере относительно русских, — дальше этого сказать не могу, потому что не имел случая изучить внутреннюю жизнь народа.



Минарет.

В церквах болгарских тогда не было еще колоколов, запрещенных турками, и висели лишь чугунные била, в которые только и дозволялось сзывать народ к молитве. Надобно думать, что теперь или болгары платили такою же нетерпимостью, или все турки поразбежались, потому что не слышно было характерных призывных криков их муэдзинов с поломанных, осиротелых минаретов, да чуть

ли и мечеть на главной улице не была обращена в «склад вещевого довольствия».



Уже в Тырнове видны были на улицах «беглецы» из-за Балкан — преимущественно женское население, бежавшее от турецкой расправы в Казанлыке, Эски-Загре и Ени-Загре, т.е. в местах, занятых было генералом Гурко во время его памятного набега, а потом покинутых из-за неудач под Плевной.

На бравого генерала было, да и до сих пор, кажется, держится немало нареканий по этому поводу: зачем он с недостаточными силами занимал эти местности, вводил жителей в искушение и потом бросал их; население встретило его радостно, как избавителя, и скомпрометировало себя этим выражением преданности в глазах турок, жестоко ему отмстивших: все в демонстративно встретившем русских округе было ограблено, выжжено, вырезано.

Но ведь надобно сказать, что Гурко прежде всего солдат, да еще кавалерист, назначение которого состоит меньше всего в страховании жизней своих или чужих.

Улыбнулось высшее счастье — он пробрался вперед, и как можно дальше; повернулась фортуна спиной — и он спешит назад, в места не столь злачные, но более безопасные. Авангард всегда авангард, т. е. разведочная часть, и нельзя винить этих крылатых воинов в том, что им приходится иногда лететь вперед, иногда отлетать назад.



Дальше, по дороге до самого Габрова, и в этом городе число беженцев все увеличивалось, причем красноречиво говорило за себя почти полное отсутствие мужчин. Покинувшие родные места в чем есть, исхудалые, босые, в грязи, они не встретили ни у своих болгар, ни у нашего начальства никакой организованной помощи и призора, пробавляясь подаяннем на больших дорогах, разносили с собой тиф и другие болезни.

Город Габров представляет прелестное место, на реке, в ущелье с красиво выстроенными домами, обвитыми виноградом и зеленью, — все так и просилось на картинку!

Движение на улицах было огромное, все двигалось, толкалось, шумело; лавки полны и товарами, и покупателями, хотя надобно сказать, что, по множеству богатых покупателей из наших воинов, товары могли бы быть и менее примитивными — все залежавшееся в Москве и Нижнем находило тут верный и обеспеченный сбыт, но действительно хороших

вещей, по деньгам, которые предлагались, почти совсем не было, ни по какой отрасли торговли.

Одно, что было очень хорошо, — это местный бисквит, пекшийся огромными хлебами и так вкусно, что можно было объестся им.

Кроме помянутых беженцев, как сказано, болевших всевозможными болезнями, больше всего теми, что обуславливаются голодом, город был наполнен нашими больными и ранеными, содержание которых не отличалось удобствами; скученные, редко на койках, больше на досках и соломе, они, конечно, легко заражались и других заражали; тем не менее условия климата были так хороши, что смертность была сравнительно не очень велика и зараза не обратилась в эпидемию. Я, например, ходил по госпиталям и баракам, но нигде ничего не захватил, точно так же, как и многие из моих знакомых, — воздух был свеж и живителен, несмотря на всюду валявшуюся падаль.

Зайдя к заведовавшему городом, чтобы попросить его пригнать меня куда-нибудь в возможно чистую камору, я так и не вышел от него. Начальством был в высшей степени милый и гостеприимный человек, штабс-капитан Н.И. Кутепов, из стрелков Императорской фамилии. Не знаю уж, каков он был как стрелок, но по части распоряжения городом, и особенно своею квартирою, был мастер дела.

В такое опасное время, когда редкая неделя проходила без более или менее грандиозной фальшивой тревоги, возбуждавшейся известиями о движении на Габрово турок, приходилось и успокаивать жителей, и принимать под рукой меры к охранению города и отражению нападения, если бы такое случилось. Несмотря на все хлопоты и просьбы о присылке защиты габровскому правителю, никого и ничего не присылали, и вся надежда все-таки сосредоточивалась на больных, которые в данную минуту должны были явить себя героями.

Случайно проходившие городом с Шипки или на Шипку команды временно давали некоторую уверенность безопасности, но все это было несерьезно, и, вздумай турки в самом де-

ле двинуться обходным путем на город, — они все смяли бы перед собой, прогнали и перебили.

Квартира заведующего городом была настоящим постоянным двором: приезжали, уезжали, закусывали, завтракали, обедали и пили — пили много, но, к счастью, больше чай. Все мы, случайные гости, спали рядом, на где-то добытых тюфяках, подмощенных к скамьям и тахтам, что не мешало нам спать по-походному, т.е. идеально хорошо. Рано вставал и поздно ложился один только наш хозяин, с большим терпением и умением разбиравшийся в путанице приходов, постоев и уходов войск, донесений, требований, отношений, рапортов, жалоб, угроз. Я думал остаться в Габрове несколько часов, а пробыл три дня.



Вид Габрова.

Здесь я встретил совершенно изможденного болезнью доктора Пясецкого, известного по его в высшей степени интересной книге о Китае, с которым я познакомился еще по дороге на Дунай. Захватив около больных тиф, автор так осунулся и

изменился, что лишь с трудом можно было узнать его. Кроме своей специальности П. хорошо работал акварелью, и главное горе его теперь было в том, что утеряно много времени для этого занятия в лучшее время года, когда все светло, воздушно, зелено, когда работа красками так заманчива.

Здесь я познакомился, и мы вместе выехали дальше, с Н., полковником гвардейских егерей, прибывшим в действующую армию для приема армейского полка, расположенного под самой горой Св. Николая, на Шипке. Он тоже недурно рисовал, и мы немало любовались живописными уголками гор, по которым поднимались, следуя по прославившемуся за последнее время шипкинскому шоссе. Пока лошади шажком тащат нас, я расскажу в немногих словах историю столкновения, жертвою которого сделался мой спутник, столкновения, происшедшего на почве маленькой разницы в понятиях армейских и гвардейских офицеров (говорю о временах минувших).

Приняв полк, Н. поступил под начальство старого служаки, бывшего полкового командира, произведенного в бригадные и невозмутимо продолжавшего прежние, патриархальные отношения к полку и его хозяйству. Строгий к себе с этой стороны, Н. стал протестовать и протестовать, наконец допротестовался до того, что начальство, посмотревшее на дело оком противной стороны, признало «петербуржца» неправым — со своим уставом на монастырь не ходи, — и ему пришлось покинуть командование полком. С чисто бытовой военной стороны эта история, конечно, только и интересна, личности тут ни при чем; к тому же еще раз повторяю, что говорю о том, что уже кануло в воду.



Мы скоро добрались до места расположения палаток командовавшего войсками на Шипке генерала Радецкого со штабом и застали его превосходительство за любимейшим времяпрепровождением — за картами. С самого утра бравый генерал уже сидел за зеленый стол и, едва отрываясь для принятия пищи и

необходимейших распоряжений, не поднимался до самого вечера, до ночи. Воображаю, как надоели ему турки, порывавшиеся взять обратно Шипкинский перевал: целый день приходилось быть на месте приступов и разве в часы роздыхов присесть где-нибудь в землянке и всласть повинтить...

— Ваше превосходительство, — докладывали ему руку под козырек, — место над вторым оврагом очень опасное, совсем открытое со стороны турок — не прикажете ли послать туда на ночь подкрепления?

Генерал сдает и отвечает:

— Там есть батальон.

«Пусть сдает, — думает докладывающий, — тогда выслушает...»

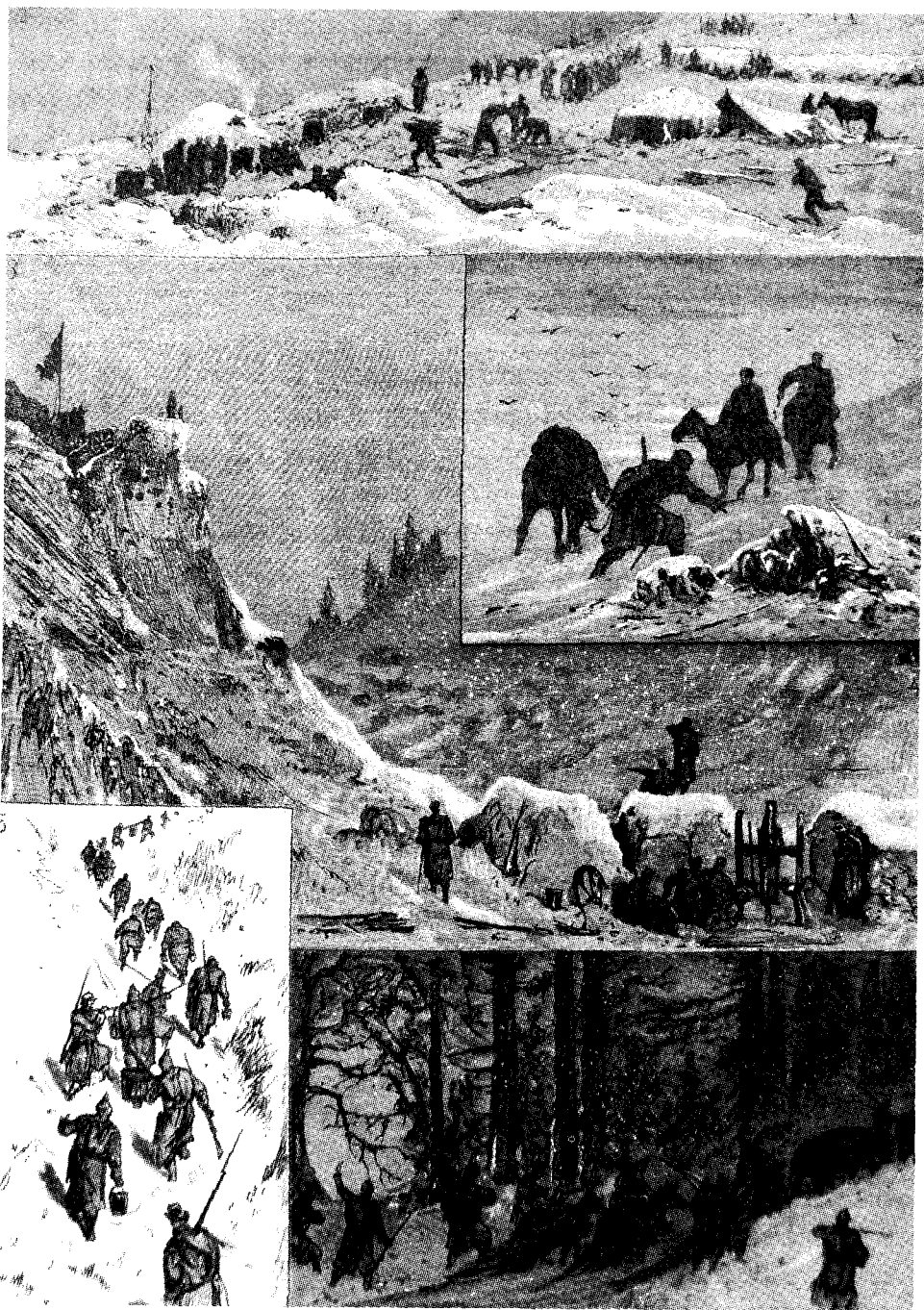
— Как же прикажете, ваше превосходительство? Насчет того места, как бы...

— Там батальон, — отвечает генерал, козыряя. — Там батальон!

Добродушный, рассеянный, хладнокровный в опасности, Радецкий был любим в войсках; это был тип холостяка, и послушать рассказы покойного товарища его по училищу Дмитрия Васильевича Григоровича о наивностях и чисто детской простоте Радецкого — можно было смеяться до слез.

Вечно в глубоко нахлобученной фуражке, Р. как-то приподнимал всю голову, чтобы смотреть в глаза говорившему ему и сразу располагал всякого в свою пользу и доброю физиономиею, и простотою речи.

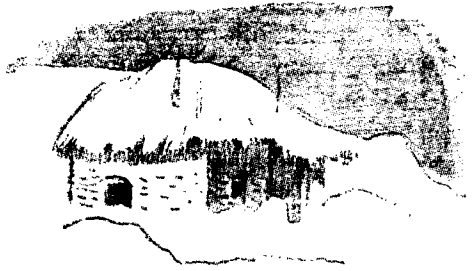
Справедливость требует, однако, сказать, что его проживание в пяти верстах от места действия и редкие из-за карт посещения батарей, землянок и траншей — в последние он, кажется, очень редко заглядывал — были причиною того, что целая дивизия вымерзла на Шипке. Конечно, этого не случилось бы, если бы винт не отнимал всего времени у командовавшего войсками и он имел бы время обходить все места расположения частей, спрашивая, беседуя, поддерживая бодрость и самодеятельность.



Зима на Шипке.



После первой ночи, проведенной в шипкинской землянке, я выглянул на свет Божий и ахнул! Оказалась совсем открытая позиция, на которой и самое выглядывание из землянки было небезопасно: сплошь и рядом солдаты, выходившие за самым необходимым, находили себе моментальную смерть!



Землянка-дворец
генерала Петрушевского.

Впереди, т.е. на юге, высится огромная конусообразная гора Св. Николая с нашей батареею, вся обстреливаемая навесными выстрелами из-под скалы, где у турок и траншеи, и мортирные батареи, и прицельными с так называемой Лысой горы, где простым глазом видны движущиеся турки.

С левой стороны тоже бросают бомбы и гранаты, но те высоты все-таки на приличном расстоянии, а вот Лысая гора прямо нависла над нами, откуда стреляют на выбор и, если только подозревают за идущим офицерское звание или какое-нибудь значение, так и преследуют выстрелами, так и клюют в землю, подпевая и подсвистывая на пути, их пули и гранаты.

Офицеры, разумеется, сохраняют свое достоинство, но солдаты, оберегая лишь жизнь, не церемонятся: граната летит, шум все усиливается, вот она падает и со страшным треском разрывается — моментально двое солдат, идущих по дороге и мирно беседующих, бросаются на землю и, как приплюснутые, остаются недвижимыми; как только осколки разлетелись, они вскакивают и, как ни в чем не бывало, отправляются дальше, продолжая прерванную беседу, часто весело смеясь.

Хромая, с палочкой, со складным стулом и ящиком красок в руках, я видел, что путь мой постоянно устилался пулями, словно цветами. Пренеприятное чувство, когда замечаешь,

что целят тебе в нос; возьмешь вправо — пули тоже берут по правее, свернешь налево — и пчелки летят левее!

На левом фланге месторасположения Минского полка — круглая батарея, под которою помещалась землянка-дворец генерала Петрушевского, командира 14-й дивизии, заменившего Драгомирова, тут и раненного. Дворцом эта землянка называлась потому, что в ней было целых две клетушки, и в этих клетушках без устали пили шампанское, благо сам хозяин не прочь был выпить.

С Михаилом Фомичом Петрушевским я был знаком по Туркестану, где он служил сначала помощником, а потом и самим начальником штаба. Это был тучный, медлительный, редко выглядывавший из своего дворца начальник, лишь один раз взобравшийся со мной, «только для меня», как он выразился, на круглую батарею. Брат известного профессора физики, он сам был образованным офицером и с честью поддерживал репутацию туркестанцев, заявивших себя в турецкую кампанию с лучшей стороны.

В самом деле, Скобелев, Петрушевский, Дмитровский, Каульбарс, Калитин и многие другие, не отличенные доверием в начале кампании, выдвинулись после в силу своих способностей как первоклассные боевые офицеры.

Начальник штаба войск, расположенных на Шипке, был тоже туркестанец, генерал Дмитровский, нервный, работающий человек.

С нашей стороны много работал над укреплением Шипки полковник Ласковский, но, как ее ни укрепляли, она все-таки осталась открытою всем батареям и траншеям неприятеля,



Генерал М. Ф. Петрушевский.

занявшего соседние высоты, что имело громадное неудобство относительно потери людей: от шальных гранат и пуль, т.е. пускаемых не прицельно, а навесно, на счастливого, мы потеряли, конечно, не меньше, если не больше народа, чем от турецких приступов и штурмов.



Приходилось двигаться, не торопясь да хромя, с палочкой, и трудно было делать это иначе — делать вид, что не боишься, не обращаешь внимания на опасность, но, в сущности,



Верещагин после ранения.

конечно, на сердце щемило, так как все время надобно было ждать, что вот-вот одна из целого роя пчел приласкает своим прикосновением!

Надобно сказать, что свист полета пули не всегда одинаков, и это разное «пение» обуславливается, вероятно, столько же самым составом тельца маленького снаряда, сколько и излетом ее — пуля перевернувшаяся, пуля со свинцом или другим недостатком, пуля, пущенная прицельно или навесно, — все поют на разные лады и тоны.

Разно также ударяются пули в камень, в землю, наконец, в тело: прямой стук в первом случае переходит в более шуршащий удар во втором и, наконец, в едва заметное «тсс» в третьем. Уверяют, что если еще можно проследить удар пули в тело соседа, то той пули, которая ударит самого, никогда не услышишь!

Когда меня ранило на миноноске «Шутка», я слышал прямо грохот пули, рикошетировавшей о дно шлюпки, но самого поранения тела положительно не слышал.



Расскажу о моем посещении горы Св. Николая, интересном по той заботливости о своих особах, которая невольно сказалась при этой прогулке у меня и у других.

Вызвался пойти со мной и все показать мне генерал М., давно уже, по его словам, не осматривавший батарей, а потому хотевший при этом случае пополнить пробел в своем начальническом надзоре.

Повторяю, все расположение наше было совершенно на виду у турок, зорко следивших за передвижением и частей, и отдельных лиц. Конечно, тотчас же турки высмотрели фигуру генерала и группу еще нескольких лиц, его окружавших, и буквально засыпали нас пулями; лопнуло поблизости и несколько гранат, но они ложились еще неудачнее первых. Право, это интересный вопрос, почему столько направленных в одно и то же место ружейных дул производили так мало вреда — смешно сказать, что никто из нас не был даже задет, а ведь мы были буквально как на ладони!

Здесь надобно сознаться в маленькой немой игре, шедшей у меня с М., может быть, незримо для других, но ясно и понятно для обоих нас: как бы невзначай после первой остановки он направился дальше с левой стороны от меня — турки были с правой — и, следовательно, несколько прикрылся мною. Не столько потому, что около важных лиц принято держаться с левой стороны, сколько из эгоистического желания быть уложенным после его превосходительства, я после вторичной остановки взял да и пошел левее его, откуда гостинцев не летело. Хвать-похватать не успел, заговорившись с кем-то, не доглядел, как милейший М. опять очутился слева от меня, но я опять не задумываясь занял мое прежнее место...

К нам вышел бравый полковник-артиллерист Гофман, командовавший артиллериею, если не ошибаюсь, всей шипкинской позиции; он приложил руку к козырьку, поздоровался, генерал представил меня, и мы пошли дальше. Новые лица

приставали к нам, процессия увеличивалась, и турки учащали огонь — истинно дивиться надобно было, что по такой кучке, как наша, стрельба оказалась совершенно безвредной, это была какая-то насмешка над стрельбою!

Кто-то из офицеров хромал, и так настойчиво, все больше и больше, что генерал предложил ему не трудиться провожать его, идти в землянку; действительная ли это была хромота или из-за нежелания без нужды подставлять себя пулям и гранатам, трудно было разобрать. Во всяком случае, у меня язык не повернулся бы осудить человека за то, что у него не стальные нервы и что, терпя в продолжение часа или получаса град сыплющихся кругом пуль, он не забывает, что Сони, Маши, Васи, Гриши ждут не дождутся его возвращения домой, что он единственная их опора и надежда и что, следовательно, без особенной нужды бравировать даже грешно. Захромать тут нетрудно, и надобно удивляться, как отцы семейства настолько владеют обыкновенно собой, что не показывают вида боязни оставить за собой полдюжины сирот!

Бывают, впрочем, люди нервные, решительно не выносящие огня. Один, помню, и ни более ни менее как полковник, совсем не выносил ни свиста пуль, ни шума гранат около себя; он как-то сгибался, припадал с видимо невольным и непреодолимимым стоном, так что начальству пришлось дать ему другое назначение.

Еще более неудобный случай был при атаке Зеленых гор у Скобелева, случай, за который Михаила Дмитриевича, помню, обвиняли, но в котором он ни душой ни телом не был виноват: полковой командир при одной из атак шел сзади, а не впереди полка, как бы следовало, и на замечание генерала, что он не любит этого, ответил оправданием, что он устал, нездоров, задыхается...

— Извольте идти впереди, — приказал С. и проехал далее, но, зная, что «нервные» люди этого сорта бывают иногда очень настойчивы, послал ординарца узнать, послушался ли полковник его приказания. Когда оказалось, что *нет*, — генерал вернулся и осрамил офицера...

Повторяю, что Скобелева осуждали за этот случай, но я решительно не вижу, как мог он, оставаясь начальником, обязанным блюсти военный порядок, действовать и поступать иначе!

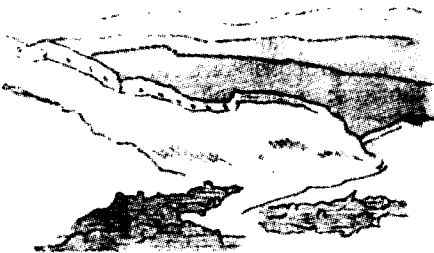


Мы поднялись до батареи, венчавшей гору Св. Николая и прямо висевшей вместе со скалою, на которой она была устроена, под южным склоном Балкан в этом месте и над долиною роз. Батарея эта называлась батареею Мещерского, по имени бывшего командира ее, тут и убитого, как я уже выше говорил.

Петрушевский рассказывал мне, что, когда этот офицер, женатый на княжне Д., сестре очень высоко возведенной судьбою особы, прибыл на Шипку, все смеялись над русским артиллерийским полковником, прекрасно изъяснявшимся по-французски, но очень плохо по-русски. С течением времени, однако, этот русский иностранец не только бесстрашием, но и простой, чуждой фатовства манерой держать себя со всеми заслужил общую симпатию, а когда его убили, глубокое участие и сожаление. «Жаль, — говорили все, — русский был человек!»

Хорошим мериллом популярности покойного было негласное окрещение батареи его именем.

На батарее было полегче от пуль справа, но зато еще хуже от пчелок, летавших из турецких траншей, расположенных под скалою Св. Николая. Решительно ни к чему другому не подходит так близко сравнение впечатления пролета такого количества пуль, как к движению роя пчел; только близко пролетающие пчелки этого рода шумят несколько шибче и на разные лады: некоторые поют, другие как-то воют, третьи шипят.



Турецкие траншеи под горой Св. Николая после нашей атаки.



Очень много вредили турки во время раздачи у нас пищи, которая привозилась на гору снизу, на тройках. Хотя раздача производилась в закрытом месте, но неприятель знал время ее и направлял обыкновенно такой ружейный и гранатный огонь, что редко дело обходилось без потерь, иногда крупных. Справедливость требует, впрочем, заметить, что, по всему читанному об осаде Севастополя, положение на Шипке было очень сносное сравнительно с таковым в последнем, где противник был иной и где было меньше тех негласных смягчений огня, которые нет-нет да и практиковались между воевавшими сторонами в турецкую войну даже и на Шипке.

Обыкновенно турки стреляли сильно тогда, когда наши позиции были хорошо видны им; так, например, с Лысой горы по утрам огонь был несилен, потому что мешало солнце; зато после полудня, когда наши позиции бывали хорошо освещены, пули и гранаты сыпались. С другой стороны, с так называемого Вороньего Гнезда, гранаты по той же причине били больше по утрам.

За время моего пребывания на Шипке начальнику артиллерии Гофману, на батарее которого был убит лучший фейерверкер, это надоело; он приказал начать усиленную стрельбу и бил так долго, так настойчиво, что, должно быть, нанес немало вреда, потому что после этого турки были гораздо менее деятельны, более спокойны, на что и мы отвечали меньшим рвением в стрельбе.

Хуже всего были бомбы, прилетавшие из-под горы Св. Николая, разрушавшие даже крепкие землянки и в некоторых из них клавшие всех в лоск, за разным занятием, за обедом, игрой в карты и проч.

Нельзя не сказать здесь несколько слов о геройстве турок, лезших на такие высоты, как скала Св. Николая и некоторые другие. По этим крутизнам трудно взбираться и просто туристу, а уж лезть в амуниции, с ружьем и большим количеством патронов должно было быть невообразимо трудно.



Атака турками горы Св. Николая.

Со своим вечным призывом «Алла! Алла!» они шли под пулями, наталкивались на штыки и буквально устилали своими телами крутые подступы к шипкинским позициям, на которых потом огромное количество трупов павших гнило до самого времени сдачи Шипки. Говорили, будто турок поили вином и что большинство лезших на приступ были, что называется, «выпимши», но кто решится серьезно подтвердить, а главное — доказать такое обвинение?

Изумительно храбрые, настойчивые атаки турок на шипкинские позиции еще раз доказали то, что мне случилось не один раз говорить, а именно: что солдаты всех армий обыкновенно хороши — разница в офицерах.

В отряде генерала Гурко

Уже давно говорили о том, что с приходом подкреплений из России кольцо вокруг Плевны тотчас сомкнется и генерал Гурко с гвардией перейдет на Софийском шоссе в наступле-

ние; тем не менее дело под Горным Дубняком было для многих неожиданностью*.

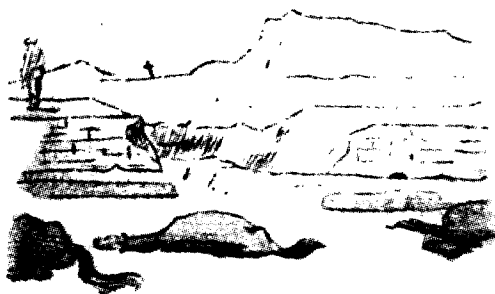
Я выехал туда и прибыл на второй день после боя. По дороге, помню, встретил двух офицеров, ехавших из гвардейского отряда в Россию на поправку:

один от контузии в голову, другой от очень серьезной раны в грудь. Первый возбужденно рассказывал о всех перипетиях боя, включительно с историей своей контузии; второго, кажется, не радовал и Георгиевский крест, к которому он был представлен, — так тяжела была его рана. У первого, очень милого молодого человека, дырочка в фуражке от прострелившей ее пули — обыкновенно едва заметная — после частых демонстраций перед слушателями уже обратилась в большую прореху и за дорогу до Петербурга обещала раздаться до величины отверстия, оставляемого бомбою.

Оба офицера с большой похвалой отзывались о храбрости и хладнокровии, проявленных в бою графом Шуваловым, хвалили турок и их пашу-коменданта, которого, кстати сказать, я скоро встретил верхом, со своими офицерами, идущих в плен: то был довольно худощавый старик строгой фигуры и, по-видимому, приличных манер.

Подъехав к деревне Горный Дубняк, я оставил влево возвышенность с копошившимися по ней людьми, это и было павшее укрепление, смотревшее теперь не особенно грозно.

* 12—13 октября 1877 г. отряд гвардии под командованием генерал-лейтенанта И.В. Гурко штурмом овладел укрепленным редутом Горный Дубняк (к юго-западу от Плевны на софийском направлении), который обороняла турецкая дивизия под командованием Ахмета-Хивзи.



Вход на редут Горного Дубняка.



Редут Горного Дубняка.

В главной квартире генерала Гурко я встретился прежде всего с князем Цертелевым, бывшим секретарем нашего посольства в Константинополе, потом с урядником Кубанского казачьего полка, в ординарцах у генерала Скобелева, теперь состоявшего в той же должности при генерале Гурко.

Он представил меня генералу и потом перезнакомил с золотой молодежью, составлявшею штаб командующего.

Так как я выразил намерение остаться при отряде и идти с ним за Балканы, то мне любезно предложили поместиться вместе с членами английского клуба (почему английского?), состоявшего из следовавших за генералом адъютантов и ординарцев; все это был прекрасный народ, менее обстрелянный, чем молодежь, окружавшая Скобелева, но также бравый и весьма скромный.

Все члены оригинального клуба держались тесно вместе в точном значении слова: вместе столовались, вместе спали вповалку на соломе, укрываясь кто одеялом, а кто и просто буркой или шинелью. Квартира клуба и тут, и везде была вблизи генеральской, так как ординарцы для всяких посылок и поручений требовались постоянно, днем и ночью.

Содержание, при небольшом взносе на него каждым, если не ошибаюсь, 20 рублей в месяц, было не блестящее, и мне смешно вспомнить, что, когда раз два члена английского парламента, приехав на театр военных действий, были угощены у нас хорошими консервами (попавшими в очень оголодалые желудки), они пришли в восторг не только от нашего гостеприимства, но и от комфорта, с которым мы живем, — а консервов-то у нас случилась одна-единственная банка!



На другой день по приезде я нашел в редуте все более или менее прибранным; хотя видны еще были следы великого грома, но уже из громадного количества перебитого скота: быков, ослов и лошадей, часть была оттащена и позакопана; наши убитые в огромном числе лежали хоть еще не зарытые,

но уже в больших братских могилах — всё красивый народ гвардейских полков, многие в странных позах, в которых застала их моментальная смерть; тела, видимо, начали разлагаться к этому третьему



Братские могилы
под Горным Дубняком.

дню со времени смерти: лица и кожа были розовые, фиолетовые, зеленовато-синие. Мертвые укладывались в несколько рядов, один на другом и, как мне казалось, зарывались в землю недостаточно глубоко; только высокие насыпи над могилами должны были спасти их от профанации, с одной стороны, собак, шакалов и волков, а с другой — болгарских пахарей, взрывающих землю своими плугами очень глубоко. Всюду валялась масса фуражек, фесок, сумок, ремней, турецких лаптей с подвертками, которые там и сям перебирались нуждавшимися из наших.

Было удивительно, что сравнительно небольшое число защитников небольшого редута уложило такое большое число атаковавших: турецкого гарнизона было с небольшим 3000, а наша потеря свыше 4000!

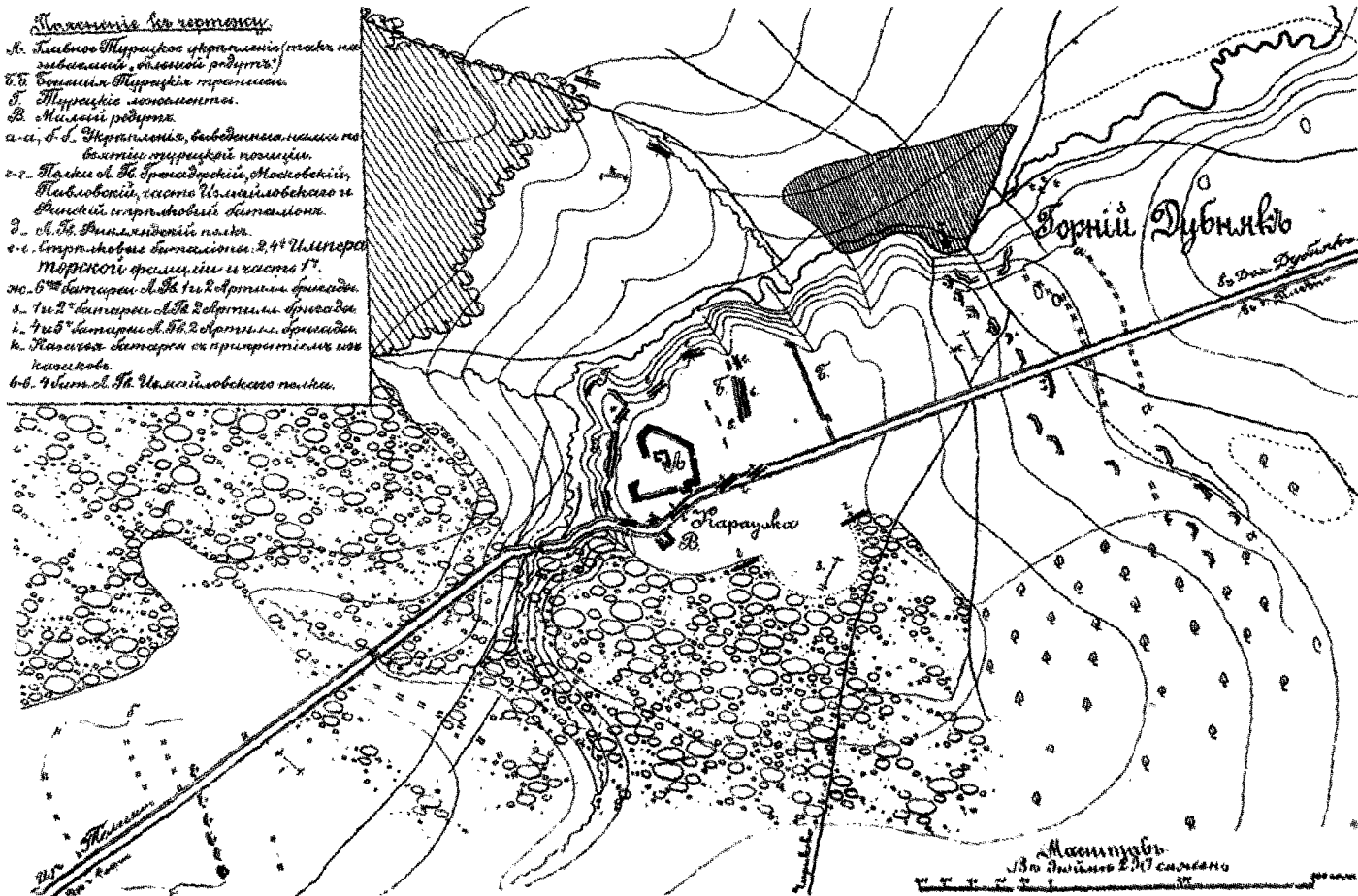
Объяснить это можно было, с одной стороны, пылом только что пришедшей из России гвардии, с другой — еще не вполне умелым распоряжением начальства ее.

По диспозиции боя полки гвардии должны были к известному времени сходиться и занимать места вокруг неприятельского редута, на которых обязаны были оставаться до того времени, когда дело атаки будет достаточно подготовлено артиллериею. Оказалось, однако, что штаб отряда либо не знал, либо забыл, что турецкие ружья навесно, да еще с возвышенности, хватали на расстояние до четырех верст, так что расположившиеся для ожидания войска оказались в сфере неприятельского огня; много страдая от этого огня, люди не вытерпели и пошли на «ура!».

Разумеется, это только смягчающие вину обстоятельства, так как ничто не может оправдать полкового командира,

Положение для черчения.

- А. Лесной Турецкой крепости (также на зыбкомыи, болотной родники)
- Б. Болотный Турецкий турпешей.
- В. Турецкий колодезь.
- Г. Мисский родник.
- а-и, б-д. Турпешей, выведенные нами по плану турецкой позиции.
- е-г. Пещеры в. П. Брандербургской, Московский, Павловский, части Чомайловского и Вишней, стариковый батальон.
- д. в. П. Финляндский паша.
- е-и. Стариковый батальон: 2, 4, 4 Числа торской бригады и части 7.
- ж. в. 6^{та} батарея в. П. 2^{та} артилл. бригада.
- з. 1^{та} 2^{та} батареи в. П. 2^{та} артилл. бригада.
- и. 7^{та} 2^{та} батареи в. П. 2^{та} артилл. бригада.
- к. Кавказская батарея с припритилями или каменкою.
- л-с. Числа в. П. Чомайловского паша.



План укрепления Горный Дубняк.

нарушившего диспозицию и пошедшего на штурм раньше подготовки его бомбардировкою. Случилось то, что от страшных потерь, — так как шли по открытому месту и турки стреляли на выбор, — люди не могли дойти до редута и засели во рву его.

То же повторилось кругом всего укрепления, так как все войска поддерживали «ура!» первого полка, пошедшего на приступ, и упреждение нападения сделалось общим.

Что делали наши люди во рву? Ничего, теряли массу убитыми и ранеными (говорили даже, частью от своего огня), и генерал Гурко уже распорядился было приказать отступать, когда артиллерия, рисковавшая перебить своих, все-таки сделала свое дело и турки сдались.

Мне говорил очевидец и участник боя С., бывший при графе Шувалове, будто турецкий комендант был очень удивлен последней атакой и спрашивал потом, как это случилось, что наши войска пошли на штурм в то время, когда они решили сдаться и выкинули белый флаг?

Нет сомнения, войско наше вело себя очень браво: офицеры были на своих местах, что во всех армиях бывает не всегда, и результат дела был устрашающий, но факт остается фактом: взятие небольшого редута с несколькими пушками и небольшим, в три тысячи человек, гарнизоном стоило больше четырех тысяч отборного войска потери, когда тот же результат мог бы быть достигнут действием одной артиллерии, если бы ей только дали время, с несравненно меньшею тратою людьми.

Уже после кампании один из видных деятелей отряда, генерал Гурко, говорил мне, что дело под Горным Дубняком будет с течением времени все более и более выигрывать в оценке людей, изучающих военное искусство, но я ответил, что, по мнению моему, случится обратное, что по этому делу будут учиться, как не должно поступать, чтобы не жертвовать без крайней надобности пылким и храбрым народом. Я полагаю, что дело под Горным Дубняком имеет смысл только как первый опыт гвардии в этой войне, но с научной, военной стороны оно не выдерживает критики: неумело составленная диспозиция

со стороны начальства и бесцеремонное нарушение ее со стороны войск или, вернее, со стороны одного полка, поддержанное потом всеми другими.

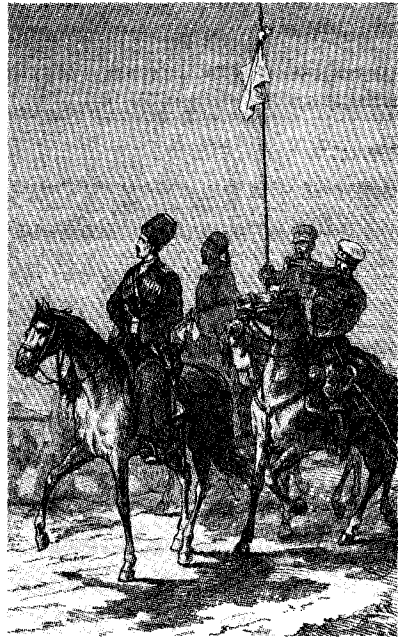


Не далее как на последовавшем через день взятии другого укрепления, Телиш, сказала вся ошибка дурно рассчитанной атаки Горного Дубняка: артиллерийский огонь с нашей стороны с раннего утра начал сыпать снаряды в турецкое укрепление, как яблоки в корзину, и добился одним этим без штурма высокого военного результата сдачи. Все войска и штаб генерала Гурко стояли кругом спокойными зрителями в ожидании момента приступа на случай, если турки не откажутся от сопротивления. Чтобы облегчить им совершение вежливого акта сдачи, около полудня был послан в редут князь Цертелев с весьма лаконической цидулой: «70 орудий направлено на вас, если вы не сдадитесь немедленно — все будете перебиты!»

Когда Цертелев ехал мимо нас с этой запиской и белым платком на казацкой пике, мы говорили ему шутя, что он едет класть свою голову в пасть коли не льва, так волка.

Очень может быть, что, если бы телишский паша походил на дубнякского, то неприятель продержался бы еще несколько часов, но дурковатый и трусоватый комендант ухватился обеими руками за угрозу и тотчас сдался.

Сознание того, что этим военным успехом были обязаны исключительно артиллерии, всего лучше сказалось в маленькой наивной сценке, которой весь штаб вместе с Гурко был



Князь Цертелев — парламентар.

свидетелем: солдатик-артиллерист гладил и целовал свое орудие, приговаривая: «Спасибо тебе, голубушка, поработала ты за нас и заработала!»

Говорили, Телиш легко сдался потому, что был напуган примером Горного Дубняка; но, не отрицая в известной доле и этого, скажу, что главная причина сдачи была полная невозможность отвечать из пары пушек на массу со всех сторон сыпавшегося чугуна и серьезно вредить войскам, не рискувавшим нападением, а державшимся вдаль.



Потеря в людях была у турок сравнительно невелика, но я был поражен количеством убитых животных, валявшихся около обгорелых коновязей; очевидно, все, что не было хорошо прикрыто, было почти полностью истреблено — вполне современный способ атаки укрепленных позиций.

Замечу кстати, что здесь, как и при Горном Дубняке, около всех сраженных животных было нечисто, как это и всегда бывает.

Турки встретили нас дружелюбно; кто из них еще рылся в своей хурде-мурде, выбирая для плена что понужнее и поценнее, кто выходил с котомкой за плечами, усиленно работая челюстями над галетами, беречь которые теперь не предвиделось надобности. Многие были одеты в форму наших солдат, конечно, убитых за два дня перед тем, и черный-пречерный турок, облеченный в сюртук егерского офицера, пережевывавший какую-то ватрушку и с улыбкой проделавший нам военный салют, дал мне повод написать потом картину переодевания турок на поле битвы.

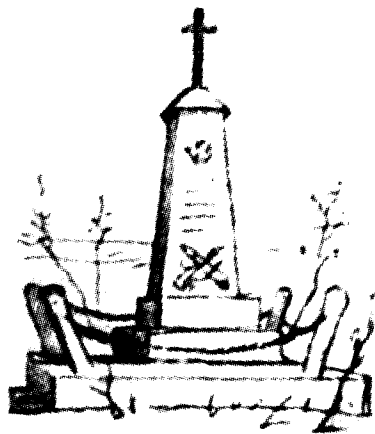
Если этот раз наши потери под Телишем были ничтожны, то они были немалы в день взятия Горного Дубняка, при обстоятельствах, еще раз подтверждавших неудобство давать волю боевой горячности, о которой говорено выше. Егеря должны были не допускать гарнизон Телиша до подачи помощи Горному Дубняку и в этих видах издали демонстрировать

готовность к атаке. Вместо демонстрации полк пошел на приступ и, на совершенно открытой местности потеряв половину своего состава, отступил.

Кто был виноват в этом нарушении дисциплины: командир, офицеры или солдаты? Могло быть и то, что, как под Горным Дубняком, место, назначенное полку, было недостаточно отдалено и излетные пули портили много народа, не стерпевшего и пошедшего на «ура!». Вероятно, все действовали слишком нервно.

Очень строго винить и здесь не приходилось, потому что и тут все учились, включая Гурко и его штаб, после уже убедившихся в том, что сфера турецкого огня простирается дальше, чем они рассчитывали.

Приведенный к Гурко телишский паша, небольшой человек с вертлявыми, не похожими на турецкие манерами прямо выразил радость сравнительно благополучному окончанию защиты. Однако, когда его болтливость прервали вопросом о том, где находятся русские раненые от дела третьего дня, которых отступивший полк наш не успел подобрать, он сильно сконфузился.



Памятник егерям под Телишем.

«Генерал возлагает лично на вас ответственность за их сохранность», — передали ему. Он просто не знал, куда деваться, заезжил, стал, с одной стороны, уверять, что все они живы, с другой — жаловаться на своих людей, совсем будто его не слушавших. У нас уже было сведение о том, что раненые наши были все прикончены, после же оказалось, что они были и прирезаны, и изуродованы: лишь только полк или, вернее, остатки полка егерей отошли, как турки вышли из укрепления и расправились по-своему.

Поперхнувшийся на шутке от угрозы личной ответственности за варварство своих солдат (а может быть, и собственное?),

паша вышел от генерала совсем пришибленный от страха за свою особу, но русское благодушие скоро помирилось со злом; мало того, даже никто не позаботился разузнать о том, где лежат погибшие егеря, в каком виде их могилы. Открыто это было после совершенно случайно мною, и распоряжением тоже случайно встреченного приятеля — генерала Струкова — все павшие вынуты из-под наброшенной на них земли и погребены в братской могиле.



Беспорядок во взятом Телише был великий, и наши совсем перемешались с турками, всячески изъяслявшими свое довольство окончанием напасти. Так как турецкие офицеры и солдаты брали с собой только самое необходимое, то наши солдатки всласть рылись в оставленном добре; не обходилось, конечно, без разговоров с пантомимами, шуток и прибауток.

Кроме нескольких штук солдатских форм редифов* и мюстагафиза** я взял на память в палатке одного офицера фотографию с плохого рисунка, представлявшего танцовщицу с веером, не то испанку, не то француженку, с банально улыбающейся физиономией, на обороте турецкие надписи, должно быть, выражения восхищения красотой.

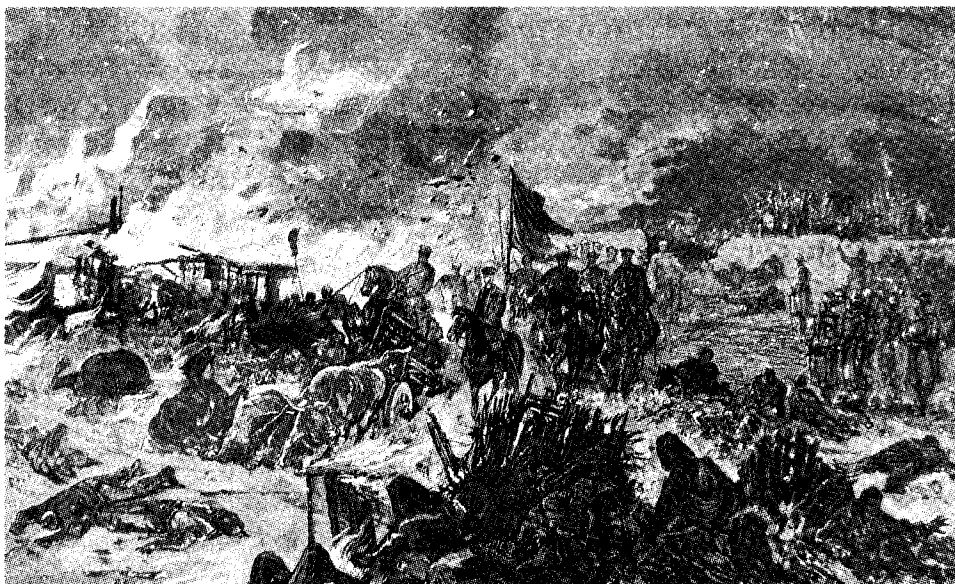
Чего было много, очень много, это ружейных патронов: их были целые ящики, и нужно отдать справедливость туркам как за эти запасы, так и за выбор мест для укреплений и самую постройку их: все это было лучше организовано, чем у нас. Редуты Плевны, Горного Дубняка, Телиша и др. служили тому наглядным доказательством.

Теперь путь сообщения между Плевной и Софией был в наших руках, и Плевна должна была остаться отрезанною, потому что Дольний Дубняк, последнее укрепление на Софийском

* Редиф — нерегулярные части турецкой армии, с 1869 г. комплектовались призывниками, служившими один год (в регулярных частях — четыре года).

** Мюстахфиз — части запаса турецкой армии.

шоссе, должно было сдать. Действительно, в ту же ночь турки очистили этот редут и наши заняли его; укрепление оказалось не сильное, и большого сопротивления не могло быть.



Внутри взятого редута под Горным Дубняком.

В утро занятого Дольнего Дубняка Гурко, помню, ходил под укреплением, весело потирая руки, когда я, приблизившись, поздоровался. «Сдача за сдачей, — довольным тоном заметил он, — не успеваю писать донесения!»

Генерал призвал здесь князя Шаховского, писавшего в «Московские ведомости», и просил его написать в газету, что теперь расчищен путь к Балканам и за Балканы; просил представить трудность предстоявшего зимнего похода и надежду на успешное выполнение его с такими войсками. «Пусть знает Москва, как мы стараемся!»

Я упомянул об этом маленьком интимном эпизоде потому, что покойного Скобелева сильно обвиняли в ухаживании за корреспондентами для приготовления и направления общественного мнения, а оказывается, так как Шаховскому ни за что иное, как за корреспонденции Гурко дал ордена Стани-

слава, Анны и Владимира с мечами, что все мы люди, все человеки с одинаковыми слабостями.

В нашем «английском клубе», то есть в свите генерала, были представители всех родов оружия: лейб-гусар, лейб-драгун, конногвардеец, улан и др. Из разночинцев кроме князя Шаховского был я, художник, потом, немного спустя, присоединился инженер П., заведовавший особым отделом Красного Креста при гвардейском отряде, заявивший себя потом добрым гением наших желудков в том смысле, что в дни полной бескормицы снабжал нас из запасов Красного Креста. Как ни стыдно было пользоваться предназначенным для больных и раненых, но так как многие откусывали от этого вкусного торта, то скрепя сердце принимал помощь и наш милейший распорядитель.

Этим распорядителем был бравый, аккуратный во всех отношениях, образцовый улан Георгий Антонович Скалон, брат заведовавшего канцелярией главнокомандующего, одна из самых прелестных личностей, какие мне доводилось встречать; как он ухитрялся при больших ценах на все сводить концы с концами за нашу маленькую плату, это осталось его секретом.

Генерал столовался отдельно в числе 4—5 человек, платя, если не ошибаюсь, те же 20 рублей в месяц. Он был очень умерен в пище и иногда целый день оставался без нее, если не считать кусочков черных солдатских сухарей и шоколада, постоянно имевшихся в его карманах. Мы подозревали, что вместе с сухарями у него были в карманах пальто и котлеты, но это не было доказано и осталось в области предположений и догадок.

Офицеры всей гвардии, многие очень богатые, да к тому же на войне получавшие усиленные оклады, нуждались часто в самом необходимом; случалось, что не было ни чая, ни сахара, ни свечей, не говоря уже о кофе, шоколаде, сырах и т. п. Гвардейский корпус не захотел допустить обыкновенных маркитантов, преимущественно из евреев, и отдал право снабжения всем нужным одному подрядчику, некоему Львову, который взял да и опоздал, чем довел нужду в отряде до крайности. Зато когда наконец монополист-маркитант приехал и навез

всего — по каким ценам, это можно себе представить! — в лагере устроился праздник: молодежь не утерпела, разрешила себе все, и у нас в клубе немало смеялись над тем, что всей гвардии известный *bonvivant** семеновец граф К. был найден утром на другой день в канаве.

Корреспондент наш князь Шаховской был прекрасный молодой человек; он исполнил просьбу генерала и в возвышенном, даже торжественном тоне расписал как предстоявшие трудности перехода через Балканы, так и взятие Горного Дубняка. У нас в клубе особенную сенсацию произвела фраза, касавшаяся донесения генералу Гурко о сдаче турок, как-то в таком роде: «К генералу подскакал всадник... То был ротмистр Скалон!» За Левушкой Шаховским начали ухаживать, как за хорошенькой женщиной, потому что всем захотелось быть прописанными в газетах.



Гусар.

Вспоминаю, что один из ординарцев генерала, гусар С., был замечательный карикатурист и, как бы в противовес торжественным описаниям Ш., очерчивал лица и события в таком потешном виде, что нельзя было не смеяться над его рисунками. Вся юмористическая сторона похода войск гвардии в ее внутренней жизни, особенно все, касавшееся клуба, было занесено в альбом, и надобно же было случиться, что альбом этот, принадлежавший Скалону, где-то в Адрианополе или Константинополе затерялся.



Объявлено было, что государь приедет смотреть свою гвардию, и все с волнением ожидали, что он скажет, как отнесется

* Бонвиван, гуляка, человек, любящий пожить в свое удовольствие (*фр.*).

к последним победам, бескровным и кровавым; у всех было сознание того, что горно-дубнякский погром был куплен слишком дорогой ценой.

В свите генерала мы напряженно следили за тем, как его величество, выйдя из коляски, в которой приехал, сел на лошадь и тихо двинулся к фронту. Генерал Гурко тоже тихо поехал к нему навстречу, отдал честь, подал рапорт и склонил голову. Мы впились глазами в движения государя: он принял рапорт и затем... обнял и поцеловал генерала, припавшего к его плечу.

Все вздохнули свободно.

Объезжая войска и нас, свиту, государь ласково обратился ко мне со словами:

- Здравствуй, Верещагин, ты поправился?
- Поправился, ваше величество.
- Совсем поправился?
- Совсем поправился, ваше величество.



Я съездил в Телиш, чтобы взглянуть на то место, где пали наши егеря. Отклонившись с шоссе влево, я выехал на ровное место, покатоое от укрепления, покрытое высокой сухой травой, в которой на первый взгляд ничего не было видно. Погода была закрытая, пасмурная, неприветливая, и на темном фоне туч две фигуры, ясно вырисовывавшиеся, привлекли мое внимание: то были священник и причетник из солдат, совершавшие божественную службу.

Я сошел с лошади и, взяв ее под уздцы, подошел к молившимся, служившим панихиду.

Только подойдя совсем близко, я разобрал, по ком совершалась панихида: в траве виднелось несколько голов наших солдат, очевидно, отрезанных турками; они валялись в беспорядке, загрязненные, но еще с зиявшими отрезами на шеях.

Когда служба кончилась, я поздоровался с батюшкой, сказавшим мне с некоторым раздражением: «Срам, срам!»

— Действительно, срам, — повторил я, полагая, что он говорит о валявшихся у ног наших головах.

— И ведь не знаем, когда получим все это.

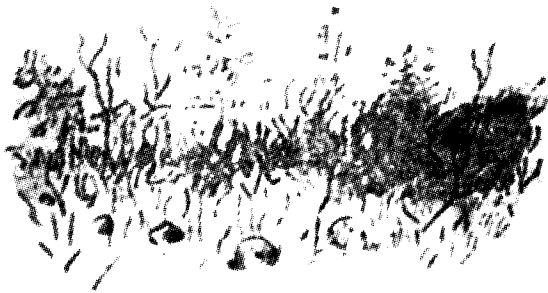
— Что получите, батюшка? — переспросил я, не поняв его фразы.

— Ризы наши, помилуйте! Все отстало, и неизвестно, когда догонит, разве не срам то, что я служу панихиду в праздничной ризе?

Признаться, только тут я обратил внимание на то, что почтенный священник был в красном с золотом облачении.

Батюшка и причетник обратили мое внимание на множество маленьких бугорков, разбросанных кругом нас; из каж-

дого торчали головы, руки и чаще всего ноги, около которых тут и там возились голодные собаки, а по ночам, вероятно, работали и волки с шакалами.



Отрезанные турками головы егерей под Телишем.

Видно было, что тела были наскоро забросаны землей, только чтобы скрыть следы, и, при-

знаюсь, я пожалел тут о том, что угроза генерала Гурко коменданту Телиша сделать его лично ответственным за бесчеловечное обращение с ранеными осталась только угрозой: быстрый суд на самом месте преступления был бы вполне уместен.



Под впечатлением порядочного негодования я выехал на Софийское шоссе, когда нечаянно встретился с возвращавшимся в главную квартиру приятелем моим генералом Струковым.

Я не утерпел, чтобы еще издали не крикнуть ему:

— Подумайте только, Александр Петрович, какую штуку сыграли турки с нашими егерями?

— Что такое?

— А вот поедем, увидите.

И я привел его к валявшимся головам. Мы обошли много насыпей и убедились, до какой степени тела были изувечены и изуродованы; некоторые, судя по видневшейся крови, еще живыми.

Струков со священником решили просить распоряжения, чтобы завтра же вырыть убитых из всех ямок, из-под всех насыпей и сложить вместе, а послезавтра, после панихиды, похоронить в общей братской могиле.

Когда на другой день я снова приехал на это печальное место, Струков был уже там, и процедура откапывания и сноса тел в одно место подходила к концу. На огромном пространстве лежали гвардейцы, тесно друг подле дружки; высокий, красивый народ, молодец к молодцу, все обобранные, голые, порозовевшие и посиневшие за эти несколько дней. Около 1500 трупов в разных позах, с разными выражениями на мертвых лицах, с закинутыми и склоненными головами, кое-где с поднятыми руками. Впереди лежавшие были хорошо видны, следующие закрывались более или менее стеблями травы, а дальних почти совсем не видно было из-за нее, так что получалось впечатление, как будто все громадное пространство до самого горизонта было устлано трупами.

Тут можно было видеть, с какою утонченною жестокостью потешались турки, кромсая тела на все лады: из спин и из бедер были вырезаны ремни, на ребрах вынуты целые куски кожи, а на груди тела были иногда обуглены от разведенного огня. Некоторые выдающиеся части тела были отрезаны и сунуты во рты, носы сбиты на сторону или сплющены, а у солдат, имевших на погонах отметку за хорошую стрельбу, были высечены крестообразные насечки на лбах.



Вырезанная турками часть из ноги.

Если прибавить, что у многих тел руки, ноги или головы были обгрызены собаками и шакалами, то представится довольно полная картина турецкого зверства, перед нами расстилавшаяся.

Мы написали протокол, подписали его, но толку вышло мало, и турки продолжали везде, где могли, резать и отрезать...

Я написал потом картину этой панихиды, каюсь, в значительно смягченных красках, — и чего-чего не переслышал за нее! И шарлатанство это, и самооплевание, и историческая неправда! Сантиментальные люди из общества, допуская даже правду изображения, упрекали художника за то, что в помощь склоненной над трупами фигуры священника не прибавлено хоть незначительного луча с неба из нависших туч.

Другие знатоки дела не допускали возможности панихиды без присутствия товарищей; но сам главнокомандующий оправдал отсутствие их тем, что оставшаяся в живых часть полка нарочно не была приведена на панихиду и погребение из-за общего нервного состояния людей.

Могу привести факт, что, когда уцелевшие егеря пришли за получением своих знамен, оставленных невдалеке под прикрытием полка лейб-гусар, солдаты с обеих сторон плакали.

Лучшим оправдателем моим явился священник, перед самой картиной сказавший смотревшей на нее публике:

— Господа, священник, отпевавший убитых егерей, — я, и позволяю себе сказать, что все было именно так, картина совершенно верна действительности.

Приходится еще раз вспомнить слова хорошего сердцеведа И.С. Тургенева: «Правда злее самой злой сатиры».



Отряд или, вернее, армия Гурко выступила по Софийскому шоссе по направлению к Балканам и шла не торопясь, с дневками, давая туркам время отступать и очищать путь до самого города Этрополя, так что войска спокойно останавливались в больших селениях, а в Яблонцах стояли даже несколько дней.

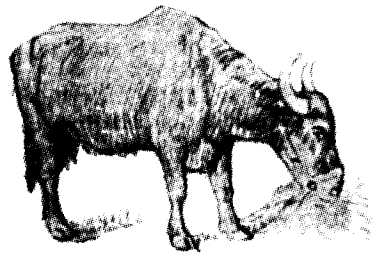
Впереди гвардии шла армейская бригада из Псковского и Великолуцкого полков под командой моего туркестанского знакомого генерала Д., давно уже из-за пустой сплетни оставившего важный пост начальника окружного штаба в Ташкенте и с тех пор, т.е. в продолжение восьми лет, бывшего не у дел. Теперь этот хороший офицер Генерального штаба, уже в чине генерал-лейтенанта, как милости добился командования армейской бригадой, и в конце концов военная фортуна снова улыбнулась ему.

К Этрополю мы свернули влево в ущелье, которое турки отстаивали не особенно настойчиво и, после большой демонстрации и изрядной стрельбы с нашей стороны, начали отступать.

Городок расположен очень живописно и прямо упирается в Балканы, переход через которые был защищен в этом месте очень сильными редутами Шандорника, командовавшего и подъемом со стороны Этрополя, и спуском на Софийское шоссе, упиравшееся в другое укрепление, Араб-Конак.

Мы, т.е. клуб, очень удобно устроились на дворике того же дома, где поместился генерал Гурко, только в другом флигеле. Кстати вспомню, что в этом помещении нашим милым ординарцам досталось как нигде: только бывало уляжемся спать, как потребуют одного, а то и двух из них, иногда для поездки за 10, 15, 20 верст, в непроглядную тьму, в дождь, по незнакомой дороге!

Все-таки турки отступили не сразу, пришлось их выживать и задействовать артиллерию. Командующий войсками приказал генералу Д. втащить на высоту, господствующую над городом, два орудия, но после многих усилий пришлось дать знать, что втащить нет никакой возможности. Генерал Гурко отве-



Болгарский буйвол.

тил на это извинение в невозможности исполнить приказание очень характерно: «Втащить зубами!» И действительно,

запрягши волов и буйволов, а также приставив несколько сот солдат, втащили-таки орудия, которые заставили турок очистить город.

Могут подумать, что донесение о невозможности втащить орудия было сделано налегке — как не втащить! А между тем те, кто не видел процедуры поднятия артиллерии на горы, по лесу, без дорог, в распутицу, по глубокой грязи, тот не может составить себе понятия о трудности этого дела: десятки волов и буйволов, целые роты солдат с пением «Дубинушки» и криками «ура!» иногда в продолжение целого дня, едва подымутся на одну-полторы версты, причем люди теряют облик человеческий, забрызгиваясь грязью.

Побродив по занятому городу Этрополю, я особенно залюбовался одной мечетью со стройным, красивым минаретом; но, войдя внутрь, ужаснулся: в разных углах здания сидели орлами наши солдатики, отчего воздух был ужасный... Пол был густо устлан листками из Коранов и других священных книг, чудесные, тисненные золотом переплеты которых валялись оторванными тут же. Интересно было то, что все книги были не попорчены, не надорваны, а прямо разорваны и разбросаны по листкам, что, конечно, потребовало много терпения и труда.



Турки отступили к помянутому укреплению Шандорник; при отступлении неприятеля и нашем преследовании его было захвачено несколько орудий, но генерал Гурко нашел, что при большей энергии можно было бы сделать больше, а именно — захватить всю артиллерию и попробовать следом за входившим в редут неприятелем ворваться в самое укрепление.

Авангардом нашим при преследовании турок был очень braveй донской генерал Х., конечно, первый раз в жизни имевший под своим непосредственным начальством таких фешенебельных гвардейских офицеров, как князь О., коман-

дир Преображенского полка. Преображенцы много работали за последние дни и теперь преследовали турок по пятам.

Генерал Гурко крепко выговаривал Х. за то, что он не рискнул проникнуть в редут на плечах отступавших турок:

— Что это, ваше превосходительство, не попробовали войти в Шандорник-то?!

— Хотел, ваше превосходительство, да князь О. говорит, что это не входит в нашу программу!

— Хоть бы вы попробовали узнать, умеют ли турки в Шандорнике стрелять!

— Хотел, ваше превосходительство, хотел, да князь О. говорит, что это не входит, говорит, в нашу программу!



Генерал Гурко и мы следом за ним ездили не раз для осмотра позиции как турок, так и наших. Один раз выехали прямо, должно быть, «в несчастный день, в бесталанный час», до того генерал сердился и выходил из себя. Погода была отвратительная, мокрота и слякоть сделали дорогу к главному хребту Балкан совсем труднопроходимой — колеи, выбоины, зазоры были невообразимые, и войска по ним все тянулись и тянулись, все портили и портили путь.

Уже близ города болгарин, взявшийся показать дорогу, потерял ее, — когда он объявил о своем затруднении генералу, тот громовым голосом закричал: «Голову сниму!», и этим вовсе смутил малого, в конце концов-таки выбравшегося на путь.

Далее попался генерал Д., чинно, аккуратно, на сытой лошадке ехавший во главе множества полковых повозок. Бывалый туркестанец не пренебрегал удобствами и всегда ездил с поваром, приготавливающим прекрасные щи и битки, которым отдавал справедливость сам Гурко. Не невозможно, однако, что практическое решение Д. ни при каких обстоятельствах не морить себя голодом действовало немного на нервы ригориста Гурко, сплошь и рядом обходившегося одними солдатскими сухарями, довольно часто без особых причин сердившегося



Генерал И. В. Гурко.

на своего подчиненного и здесь прямо обрушившегося на него:

— Ваше превосходительство, изволите по Тамбовской губернии прогуливаться?

— Никак нет, ваше высокопревосходительство, поднимаюсь на Балканы!

— Это в одно-конь-то поднимаетесь на Балканы! В кручу спущу все повозки в одну лошадь, извольте сейчас перепрячь их!

— Слушаю-с!

Дальше попался тяжело нагруженный воз парой, который

за недостатком лошадиной силы со всех сторон подталкивали солдаты — буквально по пояс в грязи, на «ура» вымогали они повозку из ям и колдобин, наполненных жидкою грязью.

— Чья повозка?

— Полкового командира, ваше превосходительство!

— Позвать сюда полкового командира!

Явился с дрожащей под козырьком рукою полковник Z.

— Вы полковой командир?

— Точно так, ваше высокопревосходительство!

— Вашу хурду-мурду тащит по грязи целая рота солдат — стыдитесь, полковник! В кручу спущу вашу повозку, извольте сейчас запрячь волов, а солдат отпустить!

— Слушаю-с!

Еще дальше Астраханский драгунский полк был расположен лагерем в беспорядке, палатки стояли невыровненные, дурно натянутые.

— Полкового командира сюда!.. Ваш табор?

— Мой полк, ваше высокопревосходительство!

— Какой полк, это табор, говорю вам! Извольте сейчас привести лагерь в порядок!..

— Слушаю-с!



Один раз, когда мы ездили за генералом к позициям отряда генерала Рауха, Гурко оставался там завтракать, а нам всем предложил ехать домой. Я уговорил драгуна Коссиковского подняться вместе к туркам на Шандорник, благо дорога туда пересекала наш путь; он согласился, и мы, свернув, стали подниматься прямо по направлению к неприятелю, рискуя ежеминутно быть встреченными пальбой.

Мы ехали молча, постоянно прислушиваясь и оглядываясь, — ничего не было легче, как очутиться отрезанными и взятыми в плен; с К. был драгун, со мной — мой кавказский казак.

Когда на снегу прекратились следы наших разъездов, приятель стал звать назад:

— Эй, поедем, Василий Васильевич! Смотрите, захватят нас!

— Не захватят, — отвечал я, двигаясь вперед и прислушиваясь, хотя, каюсь, на сердце было беспокойно.

Мы доехали до самой вершины Шандорника — совершенно голой площадки с какими-то двумя человеческими фигурами, одною сидящей, другою стоящей, — как мы решили, двумя чучелами, очевидно, поставленными для обмана — только для обмана кого, своих или наших?

— Поедем назад, — шепнул мне К., — укрепление здесь близко!

— Сейчас, сейчас, — отвечал я, осматривая в бинокль местность и странные фигуры...

Вдруг в нескольких шагах от нас, в лесу, раздались голоса турецких солдат, и я уже не заставил повторять себе предостережение: плеткой по лошади да марш-маршем, так что мы скрылись, прежде чем турки вышли на дорогу. Так как в лесу могла двигаться только пехота, то, конечно, хорошие гостинцы полетели бы нам вдогонку, если бы мы хоть немного замедлили еще.

Проскакавши по дороге с версту и не видя погони, мы остановились да давай хохотать!



Войска ходили занимать Златоустовский перевал, влево от Шандорника, и я, любопытствуя видеть, как будут выживать турок, поехал вместе с князем Шаховским следом за отрядом; однако экскурсия наша вышла неудачной в том смысле, что турки уступили перевал без боя, и мы не видели ничего интересного, если не считать за таковое ужасно проведенную ночь. Уже поздно вечером мы добрались до турецкого блокагауза, только что покинутого неприятелем и занятого нами, до того переполнившими все нутро здания, что с великим трудом удалось приютиться в одном углу, конечно, без всякого удобства, без огня и без пищи, даже без соломы.

Товарищ мой ухитрился заснуть, но я буквально не закрыл глаз из-за множества насекомых, не той «легкой кавалерии», которой так много на Востоке во всех скученных местах, но прямо «пехоты», перекочевавшей с соседних солдат и, видимо, заполнившей все складки моего белья.

Чуть забрезжил свет, мы поспешили спуститься, и, признаюсь, я не смог доехать до дому и, пользуясь тем, что светило солнышко и было нехолодно, расположился у речки и разделался с врагами.



Наши два армейских полка имели на Шандорнике дело с турками — увлеклись и полезли на укрепление, от которого их, однако, отбили. Когда началась пальба, мы из города ясно видели в бинокли, как по яркому снегу, покрывавшему хребты гор, двигались черные точки наших и турецких войск, сначала в одну сторону, потом в другую. Были, конечно, убитые и раненые, но большого значения это дело не имело.

Я поехал осмотреть место битвы, да кстати навестить моего туркестанского знакомого, вышепомянутого генерала Д., на которого у нас в штабе все нападали.

Дорога при подъеме на горы обратилась в сплошной кисель или месиво из снега, грязи, моха и листьев, — непонятно было, почему саперы не проложили хоть сколько-нибудь сносного пути, если не для прохода войск, то для провоза орудий!

Как я уже выше замечал, ничто из виденного на картинах и рисунках, включая сюда и известные изображения трудов кавказских войск Горшельта, не дает полного понятия о труде солдат при подъеме пушек: по пояс в грязи, сотнями толпятся и лепятся они около станка, колес и запряжки, выпевают «Дубинушку», кричат «ура!» — и часто не двигаются с места. Только огромное число пар волов и буйволов спасает обыкновенно положение, и орудие добирается до вершины.

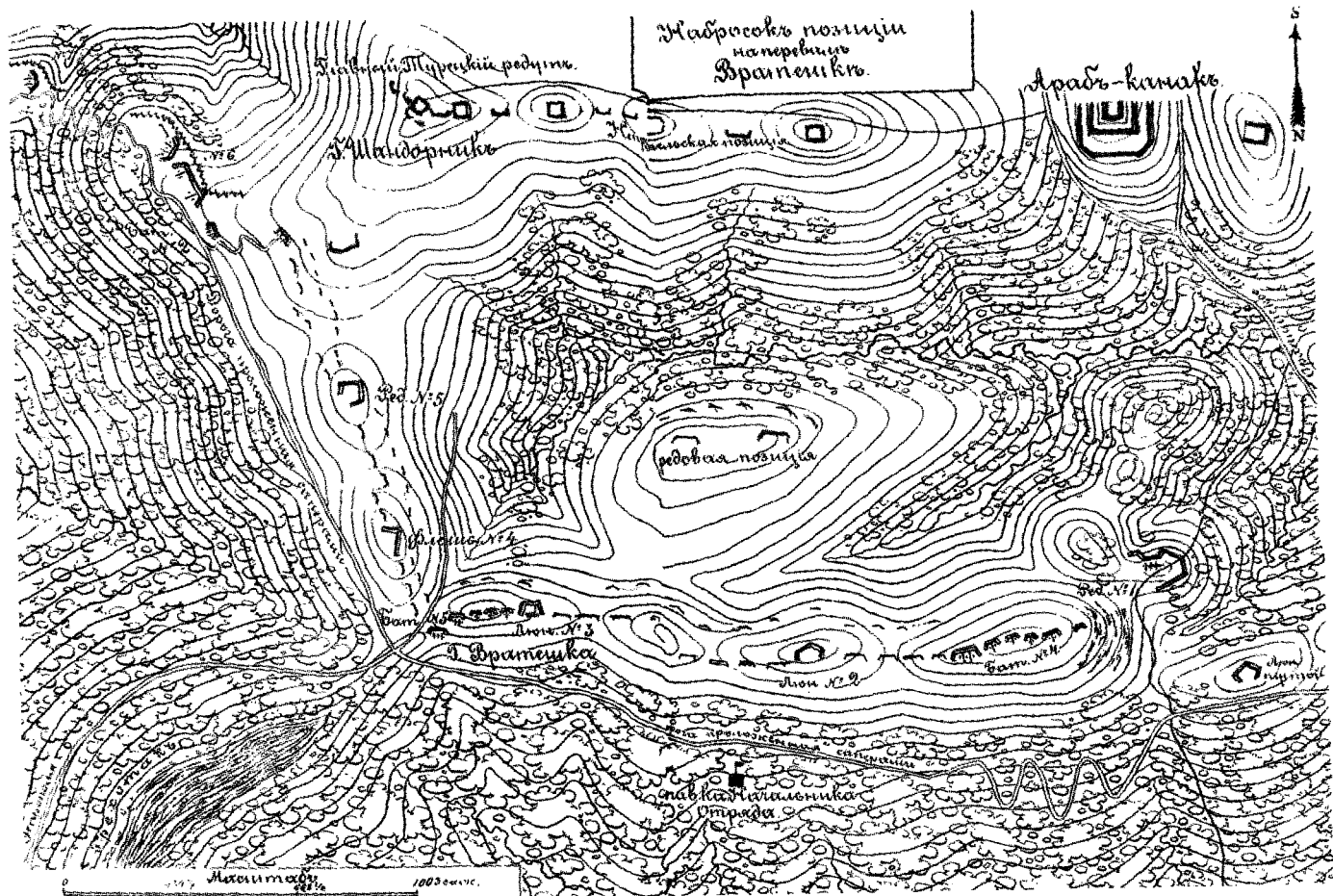
Одна смена солдат работает, другая отдыхает, но и отдых тут только сравнительный, потому что предполагает лишь меньшую ломку всех членов: нужно нести снаряды, ружья и т.п. От сапог до башлыка включительно весь солдат представляет одно сплошное грязное пятно, в котором лишь пара глаз не загрязнена, не теряется под серой корой.

Я поместился в палатке моего приятеля, откуда совершал экскурсии во все стороны расположения наших войск, причем перезнакомился со многими офицерами отряда.

Особенно оригинален и интересен был помянутый донской генерал Х., часто отводивший меня в сторону и интимно поведывавший свои соображения и планы: «Вон видите эту тропочку? Вот по ней бы я и прошел бы; пошел бы, пошел да и загнал бы!..»



В это время пришло из главной квартиры приказание пустить в дело введенную генералом Тотлебенем под Плевной систему стрельбы залпами: вместо того чтобы бить по укреплениям с небольшими перерывами постоянно, приказано было в известный, заранее назначенный момент стрелять всем батареям сразу.



План позиций при Шандорнике и Араб-Конাকে.

Мы смотрели в бинокли на всю цепь укреплений Шандорника, когда ранним утром был произведен первый залп: несколько фигур турок, вышедших за разными надобностями, склонились и остались там, где были.

В общем, однако, нужно было признать, что и стрельба залпами не оказала большого влияния на защиту; приходилось стрелять в длинную линию укреплений, да еще снизу вверх, так как место расположения наших войск было ниже турецкого. Другое дело было с укреплением Араб-Конак, на Софийском шоссе, в который посыпались залпами снаряды из всех орудий с места расположения Московского полка: должно быть, неприятелю стало невыносимо, потому что он полез выбивать москвичей из их позиций, а если возможно, то и отбирать у них орудия. Одновременно с этим нападением и Шандорник стал усиленно угощать нас гранатами, производившими адский шум между деревьями.

Как раз под этим адским гранатным треском, пробираясь на ровное, чистое место, с которого был виден бой москвичей, я встретил начальника штаба отряда Д. полковника Х., решительно не выносившего ни гула от полета снарядов, ни треска от разрыва их, — он как-то пригибался к седлу и издавал жалостный стон. Впоследствии Д. удалил его именно за эту нервность, дурно влиявшую на окружающих, особенно на солдат.

— Полковник, — говорю, — нужно послать москвичам подкрепления!

— Ну вот, а мы-то с чем останемся!

— Да ведь на нас не нападают, а там крепко теснят, смотрите, наши уже отходят!

— Нет, нам самим нужны войска!

Я, однако, не сдался и лишь только присоединился к сидевшему уже на пригорке с несколькими офицерами и в бинокль следившему за битвой Д., как обратился с той же просьбой послать нашим сикурсу.

— Вы думаете?

— Уверен, что это необходимо.

Был послан один батальон Семеновского полка.

Битва продолжалась, и нам ясно было видно, как наши орудийные и ружейные дымки стали отходить назад. Я стал просить послать еще.

— Довольно! Послан батальон.

— Мало, необходимо послать еще...

И я добился того, что был послан сначала еще батальон, а потом и еще один, всего три батальона.

Когда приказание о посылке последнего подкрепления было уже дано, прискакал от генерала Гурко ординарец ротмистр Клегельс с приказанием: «Послать подкрепление Московскому полку!»

— Скажите генералу, — ответил я ротмистру, — что до его приказания уже послано три батальона.

— Так до моего приезда уже было послано три батальона? — переспросил еще раз К., отъезжая с позиций для доклада Гурко.

— Да.

Справедливость требует сказать, что три батальона эти не успели к бою, тем не менее генерал Гурко был чрезвычайно доволен проявленными Д. самостоятельностью и инициативой — распорядился, не дожидаясь сакраментального «приказания»!



Позиция Шандорника была так сильна, что нечего было и думать о взятии ее открытым нападением. Главные силы наши направились на левый фланг турецких позиций, где под Правцем было дело, подобного которому я не видел по живописности, можно сказать, по фееричности обстановки!

Генерал Раух послан был в обход крайнего левого крыла турок, и в день битвы с горы, занятой генералом Гурко, ясно был виден турецкий отряд, поднявшийся для отражения наших.

Все бинокли были обращены на кряж, по которому должны были идти силы Рауха, — он что-то замешкался, и Гурко

начал уже выражать знаки нетерпения, когда на гребне показалась спрыгнувшая вниз фигура, за ней другая, третья... то были передовые теменовцы. Скоро число их увеличилось, и они лавой полились вниз по направлению к ожидавшим их туркам, открывшим сильный огонь. Дружное «ура!» семеновцев донеслось до нас, и мы увидели, что турки начали пятиться, дальше, дальше, и наконец побежали.

Для всех стало ясно, что если бы ударить гранатами по бежавшим туркам, то поражение их было бы полное. Раздался крик всех, начиная от самого Гурко и кончая тут бывшим солдатом: «Орудие! Орудие сюда!»

Орудие втащили, ударили, но... снаряд не долетел дальше половины расстояния до бежавшей колонны, и стрельбу пришлось прекратить. Неприятельские же гранаты и даже пули очень беспокоили нас, в такой мере, что, когда



Орудие в Правце, близ генерала Гурко.

прямо под нашей горой граната ударила по финским стрелкам, весь батальон бросился бежать. Уж и досталось же финнам от Гурко. «Стыдитесь, — кричал он им с высоты, своим громовым голосом, — срам!..» Шума около генерала было много, всякий кричал что хотел, и Г. ничего не говорил, не останавливал; он стоял, прислонясь спиной к одному из временных укреплений, с биноклем в руках и наблюдал за успехом операции Рауха.

Там в это время образовалась следующая, прямо театральная картина: надвинувшееся облако разделилось так, что место действия, по которому отступали турки и наступали наши, обвилось сплошным кольцом, которое заходящее солнце осветило вдобавок всеми цветами радуги, от красного в свету до зеленоватого и синеватого в тени.

Все прямо ахнули, и Гурко не вытерпел, обратился ко мне со словами: «Это уж по вашей части!» Я, действительно, сел впереди его и тут же под пулями набросил этот, никогда мною

прежде не виданный эффект, в намерении после передать на полотно всю картину боя со стоявшими на первом плане генералом и лицами его свиты.

Увы! И этот набросок вместе с целыми сорока другими был потерян доктором Стуковенко, взявшимся переслать их в Россию, как я расскажу ниже. Между прочим, у меня был прекрасный набросок покрытой снегом вершины Шандорника, который должен был служить этюдом для изображения атаки этого укрепления нашей армейской бригадой. Было много и других набросков, интересных для истории похода, но все так и пропали без следа.

Помню, что я никому не показывал своих заметок, хранившихся в особенном ящичке, припрятанном в большом болгарском шкафу нашего помещения. Только после я узнал, что мои милые товарищи, не подавая и вида нескромности, освидетельствовали мою сокровищницу и смотрели все этюды и наброски, по мере того как они производились.



После занятия Правецких высот и полного отступления турок Гурко занял город Орхание, важный продовольственный пункт, но грязный и неприятный до крайней степени.

Запасы турок, здесь захваченные, были очень велики, как по продовольствию, так и по медицинской части; одного хинина оказалось так много, что только не желавшие не запаслись целыми банками, — а у нас как раз чувствовался недостаток в нем.

Клуб жил здесь хуже, чем в других местах, и помещение было так тесно, что некоторые, как, например, Клегельс и Суханов, поместились отдельно. Все жили ожиданием вестей из-под Плевны, задерживавшей дальнейшее движение за Балканы.

И вдруг пришла весть, что Плевна пала! Сомневаться было нельзя, потому что имелось официальное уведомление, в ответ на которое помощник начальника штаба Нагловского

Н.Н. Сухотин был снаряжен в главную квартиру для сообщения плана дальнейших движений передовой армии.

Крайне интересуясь ознакомиться поближе с плевненскими событиями последнего времени, я сговорился с Сухотиным ехать вместе и, сказавшись в штабе, выехал налегке, намереваясь с ним же вскоре и возвратиться назад.

Наше «налегке» было полное: мы не захватили ни достаточно теплого платья, ни провизии в надежде на то, что скоро доедем; оказалось, однако, что лошади, не подкованные на острые шипы, при наступившей гололедке, не могли идти иначе как шагом, и мы плелись до главной квартиры вдвое дольше, чем предполагали.

Расчет на то, что в дороге раздобудем что поесть, не оправдался, и с этой стороны тоже пришлось бедствовать: у нас, вернее у Сухотина, были всего-навсего связка баранок и бутылка абсента, из которой мы временами и грелись, закусывая горечь сушками. С грехом пополам раздобылись горячей водой для чая и в конце концов таки доехали.



В главной квартире я провел ночь у милого, обязательного полковника Генерального штаба Фрезе и на другой день представился главнокомандующему, который на вопрос мой, с кем посоветует он мне идти отсюда, где как художнику, будет интереснее, подумав немного, ответил: «Со Скобелевым».

Я поехал в Плевну к назначенному комендантом в ней Михаилу Дмитриевичу и рассказал о совете главнокомандующего идти с его отрядом; он очень обрадовался, предложил остановиться, жить и харчеваться у него, а за моими вещами и лошадьми послал в Орхание урядника.

Скобелев занимал большой дом, на дворе которого в отдельных постройках помещались его начальник штаба подполковник Куропаткин и ординарцы. Вся эта обстрелянная молодежь теперь отдыхала сравнительно с прежнею каторжной работой в палатках и траншеях.



Празднование взятия Карса и Плевны солдатами и офицерами.

Заглянув раз в их помещение, которое Скобелев называл почему-то «вертепом», я нашел всю компанию поюще хохлом, причем запевалой и заправилою был сам К. Как сейчас вижу его без мундира, обернувшегося к кучке молодежи,

плавно махающего распростертыми руками и степенно легким басом запевающего: «Вниз по матушке по Волге!..»



Первая моя экскурсия по осмотру местности вокруг Плевны была к расположению нашего гренадерского корпуса, на место, где завершилась плевненская драма и последний отчаянный удар турок разбился о полки облежавших город с этой стороны гренадер.

Дорога от Плевны к мосту была завалена патронами и ружьями в невероятном количестве. Проезжавшие повозки, орудия и зарядные ящики давили первые целыми тысячами — как только не опасались последствий! Оказалось, что распорядиться этим наследством турок назначен был Скобелев-отец, но почтенный Дмитрий Иванович, видимо, не торопился, и десятки тысяч ружей, доставшихся нам в исправном виде, лежали вдоль всего пути к городу, под грудами снега, портились, ржавели.

Если бы не ложный стыд, конечно, следовало бы вооружить сколько можно большее число наших частей этими ружьями, вместо крынковских дубинок, имевших только половинную дальность полета, да еще вдвое более тяжелых и часто засорившихся, делавшихся негодными.

В домике около моста, как известно, ждал результата боя Осман-паша, из него же, раненный, он вышел, чтобы сдать. Все поле, дальше по шоссе, было усеяно опять-таки оружием и всякими принадлежностями солдатского снаряжения, а также телами людей и лошадей. Наши трупы были уже убраны, но турок из-за холодной погоды не торопились подбирать, и они валялись местами целыми грудами.

В одном месте мне бросилась в глаза группа очень красивого кавалериста, растянувшегося на спине во весь свой богатырский рост, правую рукой обхватившего шею своего коня; красавец-албанец, должно быть, был убит наповал, потому что широко открытые глаза смотрели в небо, глаза же лошади,

тоже открытые, были любовно устремлены на господина, как говорю, последним предсмертным движением успешного прижаться к своему верному другу-слуге.

На возвышении, на котором стояли наши батареи, обращенные к городу, солдат-артиллерист из участников боя дал очень интересный рассказ начала и завершения его.

Прежде всего оказалось, по его словам, что, когда турки ранним утром совершенно неожиданно и очень стремительно набежали на наши линии, около орудий не оказалось прикрытия... — так привыкли у нас к тому, что Плевна не сдастся и терпеливо отсиживается.

«Турки бежали шибко, — рассказывал артиллерист, — как теперь вижу бегущего впереди офицера с рыжей бородой — бегут да кричат: «Аллах! Аллах!» Прямо на наши орудия, защиты нам не было, мы побежали назад, а они схватились за орудия, повернули их да по нас же и давай жарить...»

Первую линию нашу турки прошибли насквозь всю, но потом были остановлены и повернули назад так же быстро, как набежали, устилая путь своими телами.

В этот день я видел по обеим сторонам дороги огромные толпы пленных турок, получавших, как мне говорили, в первый раз после сдачи города порцию сухарей — это до сих-то пор почтенный Д.И. Скобелев не собрался покормить оголодавших защитников Плевны, отчасти от этого, отчасти из-за нравственного потрясения начавших заболеть и падать сотнями, тысячами. Понятно, что за время осады натянутые нервы поддерживали и тело и дух турок, а со сдачею города и с открывшеюся перспективой долгого плена нервы сдали и силы разбились. (И то сказать, к сдаче Плевны совершенно не приготовились, хотя ожидать ее было в порядке вещей; в этих условиях «создать» провиант для прокормления 40 000 человек было очень трудно, если не невозможно.)

Когда через день я снова поехал по этой дороге к позициям гренадер, чтобы навестить моего родственника полковника Гадона, командовавшего Самогитским гренадерским полком, я нашел под самым городом громадные толпы пленных турок,

шедших по направлению к Дунаю, в Россию, в плен. Стояла стужа и вьюга, пронизывавшая заледенелое, изорванное платъишко турок, с мрачным, сосредоточенным взором, согнувшись под тяжестью навьюченных на себя мешков, проходивших мимо поворота к городу. Грудами налегали они на драгун, обегавших вход в улицы, и со слезами, прямо с рыданиями просили позволения только обсушиться и обогреться, — приказ был строг: «Не пускать никого!», и солдаты могли, конечно, только отбиваться и отнекиваться: «Айда! Айда! Проходи! Проходи дальше!»

Бравые казачки, не упускающие случая попринажаться, продавали голодным пленным каравай черного, полубелого и белого хлебов — первые, размером побольше, фунтов на десять, а последние, совсем миниатюрные, — по рублю за штуку. Около углового дома вижу: пожилой, степенный турок чуть не с ревом наступает на казака, держащегося в оборонительном положении, — видно, требует чего-то. Я разобрал в чем дело и говорю «донилычу»*: «Отдай, или я скажу офицеру!» Недовольный и, видимо, обиженный казак принял назад хлеб и выкинул из шапки турецкий золотой со словами: «На тебе, убирайся, *беспокойный!*» Это он хотел за один каравай черного хлеба прикарманить целый золотой, стоящий 11 рублей.



Нет сомненья, что все-таки тем или иным путем прорвалось в город немало пленного люда, потому что я нашел потом все мечети, обращенные в госпитали, совершенно полными не столько ранеными и больными, сколько усталыми, изможденными голодом и всяческими лишениями.

Я долго наблюдал за проходившими толпами пленных. Жутко было видеть, как многие, совершенно истомленные, начинали отставать от товарищей, все более и более слабея, начинали шататься и наконец падали на дорогу чуть не под

* Ироническое прозвище казаков, от слова Дон.

ноги других. Свалившийся пробует встать, умоляет других помочь ему, но где тут помогать в этой суеде и гибели, — все молча минуют, и несчастный мирится наконец со своей участью, сидит, ждет, лишь глазами и каким-то мычанием выражая желание подняться, идти за другими. Дальше та же участь постигла другого, потом еще двоих, и так далее, без конца, по всему пути.

Вот идет артиллерия, ряды пленных сторонятся, берут влево и вправо, но упавшие, не в силах будучи сдвинуться, попадают под колеса, которые вдавливают их в снег. Так как буря крутит и ветер навевает снег на все неподвижное, то скоро белое покрывало, постоянно уминаемое колесами, сглаживает неровности, образованные телом, и только верх головы здесь да концы ступней там указывают на то, что тут находится целый человек.

Вдавленная так фигура не теряет еще вполне чувств и сознания, и глядевшие из-под снега глаза дня по два красноречиво говорили своими двигавшимися зрачками, а губы что-то невнятно шептали — что?!

Я пробовал с моим казаком приподнимать некоторых упавших, но без всякого практического результата: замычит, замерзает ногами, но затем грохнется как парализованный...

В местах, где толпы пленников ночевали, лежали около дороги целые массы мертвых, в 200–300 человек, полузанесенных снегом. При мне кем-то посланные на повозках люди разрывали эти кучи и находили под слоем замерзших еще живых, с отмороженными, совершенно белыми лицами, руками, ногами. Физиономии этих людей, снова увидевших свет после двухдневного пребывания в снегу между мертвыми, не поддаются описанию.

Один старый, другой молодой турки сидели в стороне от дороги, наклонясь над подобием костра из нескольких лучинок и хворостинок, наполовину горевших, наполовину дымивших. Когда я подъехал к ним, старый солдат начал что-то говорить, на что-то жаловаться, чего-то просить...

Ничего не поняв, я мог только сказать, указывая на небо: «Аллах! Аллах!»

— Эффенди, эффенди! — раздался потом его голос, а затем и рыдания; но я поехал далее — что можно было сделать?

Когда через день, возвращаясь тою же дорогой назад, я подъехал к этой группе — и старик и молодой сидели все в тех же позах, только низко наклонившись над потухшими прутьями, — оба были мертвы.



Убитый турок.



Мне указали домишко на шоссе, в котором жил брат мой Гадон... Молодой офицер, как оказалось, полковой адъютант, встретил меня в воротах вопросом, не корреспондент ли я. И когда узнал, что я не корреспондирую в газеты — едва удостоил ответить, что Г. дома.

Я рассказал потом своему брату об этой погоне его подчиненного за корреспондентами, и он со смехом сознался, что молодой человек, обиженный малым официальным вниманием к их полку, хотя и имевшему только 70 человек убили, но фактически закончившему изменение турецкого наступления в отступление, решил разыскать какого-нибудь корреспондента и начинить его сведениями о геройстве самогитцев. Отсюда разочарование юного воина, когда он узнал, что подъехавшая штатская клеенка представляла из себя не желанного писаку, а только родственника его начальника.

Кстати, припомню, что, когда после дела московцев под Шандорником я спустился к месту расположения этого полка, а также рядом с ними дравшихся стрелков Императорской фамилии, меня забросали вопросами: не корреспондент ли я?! Совсем охрипшие после боя голоса на разные тона

выспрашивали и выкликали: «Господин корреспондент! Позвольте узнать, ведь вы корреспондент?!» И тут разочарование было велико, когда оказалось, что я не занимаюсь тем делом, за которое иногда очень строго осуждают, а иногда очень нежно ласкают, смотря по надобности.



Так как меня мучила неизвестность об участии трупа брата Сергея, погибшего около Скобелева в бою 30 августа под Плевной, то я поехал на место бывшего левого фланга с намерением поискать его кости, в случае если бы они, паче чаяния, остались непогребенными. Но намереваться было одно, а исполнить намерение — другое, и хотя один из ординарцев Скобелева хорошо рассказал о месте, где следовало искать, задача была не из легких; на беду еще люди с лопатами, любезно посланные одним из скобелевских полковых командиров, Панютиным, на случай если бы пришлось порыться в земле, направились не в то место, куда им было указано, и пришлось бродить и искать одному.

Между прочим, меня поразило громадное количество совершенно не разорванных гранат наших, покрывавших всю местность около редутов. Громоздкие снаряды осадной батареи, как говорили, стоившие по 300 руб. за штуку, избородив все кругом рвов, очевидно, не причинили никакого вреда неприятелю, — будто стоило в таких условиях стрелять! Выше я уже отмечал это странное явление и здесь снова упоминаю о нем, потому что помню о тех надеждах и упованиях, которые возлагались именно на осадную батарею и ее колоссальные, якобы всеокрушающие снаряды.

Спустившись, как мне было сказано, с редута и свернув от дороги по тропке, я вступил в целое море мертвых тел наших убитых. Они лежали тут во всех позах с 30 августа, совершенно сгнившие и полусгнившие, с обрывками белья и платья и голыми костяками. Я знал, что брат мой был в день смерти в

черкеске и ситцевой крапинками рубашке. Черкеска, конечно, была снята, но ситцевая рубашка должна была остаться, и с этими слабыми данными я разыскивал, всматривался в темные пятна глазных орбит, со всех сторон на меня вперенных. От долгой ходьбы между скелетами сделалось так горько и тоскливо, что я наконец судорожно разрыдался и, ничего не добившись, возвратился домой.

На следующий день с новыми сведениями и двумя людьми с лопатами я отыскал скромную могилку у тропинки, подходившую по указаниям к той, в которой, как на этот раз утвердительно сказали мне, были сложены кости моего братишки; я увеличил могильную насыпь, обрыл ее кругом и посадил по углам несколько кустов — только для успокоения совести, конечно, так как был уверен в том, что почтенные «братушки» все это западут и сровняют с землей... Впрочем, год спустя после войны я нашел устроенную мною могилу еще в порядке, но уже тогда видно было, что редкий пахарь-болгарин устаивал от искушения валить направо и налево своим глубоким плугом деревянные кресты, поставленные над нашими павшими воинами.



Я упоминаю дальше о том, что ездил с М.Д. Скобелевым на редут его имени, тот самый, что он взял во время штурма 30 августа и который должен был уступить на другой день, и говорю, что Михаил Дмитриевич горько плакал во все время панихиды, совершенной над той самой едва заметной канавкой, которую его люди успели горстями — за неимением инструментов — вырыть, желая защититься от налегших на них турецких сил. Скобелев ушел тогда с редута за помощью, взяв слово с бравого майора Горталова, что он не отступит, и вышло то, что Горталова с его горстью солдат подняли на штыки, а сам Скобелев, не получивший помощи, едва успел спасти остатки своих сил поспешным отступлением...



Геройская смерть майора Горталова.

Еще через день я проезжал дорогой, по которой прошла пленная турецкая армия, и был удивлен видом ее: по всему пути, на сколько хватал глаз, шоссе было точно вымощено турецкими телами, плотно вбитыми в снег и оставленными, видимо, для того, чтобы не портить дороги, по которой ежедневно проходило столько подкреплений для передовой армии в людях, снарядах и провианте. Солдатики наши шүти-ли, обращаясь к замерзшим и еще замерзавшим около дороги туркам: «Что, брат турка, плохо дело! Вот и знай, как воевать с нами, и другу и недругу закажи...»

Многие заледенелые лица казались прямо улыбающимися, но я хорошо присматривался и видел, что все выражали большее или меньшее страдание.

Жутко вспоминать то, что и между вдавленными в снег и между валявшимися по сторонам дороги было все еще немало живых, не совсем потерявших чувство, поворачивавших зрачками, открывавших и закрывавших рот и даже изредка издававших вздохи, — что должны были думать эти

несчастные, что могли бы порассказать, если бы были подобраны и приведены в чувство!



Александр II в Болгарии.

Скобелеву дали знать, что государь император посетит Плевну, для чего город живой рукой был немного подчищен и приведен в порядок — порядок, конечно, относительный, потому что для приведения этого логовища дикого зверя в сколько-нибудь приличный вид потребовались бы месяцы.

Мы выстроились в два ряда по дороге, ведущей к дому Скобелева, и государь, всех обойдя, нашел для всех милостивое слово. Поравнявшись со мной, он сказал:

- Здравствуй, Верещагин! Ты поправился?
- Поправился, ваше величество.
- Ты совсем поправился?
- Совсем поправился, ваше величество.

Вскоре после посещения Плевны его величество уехал в Россию.



Видевшие в это время город только снаружи не могли и понятия составить о том, сколько это, как я выразился, логовище дикого зверя заключало в себе смрада и костей!

Доктор Стуковенко предложил мне посмотреть плевненские турецкие госпитали. Я, конечно, согласился, и вместе с известным литератором, тогда корреспондентом одной из

больших газет, Немировичем-Данченко мы отправились в улицу, почти сплошь состоявшую из домов, наполненных больными и ранеными.

Входим в первый дом и спрашиваем у стоявшего в воротах хозяина его:

— Больные есть?

— Есть.

— Сколько?

— Было человек тридцать, но, должно быть, немало уже теперь померло.

Входим в дом — невыносимый смрад прямо отбрасывает нас назад: в темной, донельзя вонючей комнате все мертво! Тусклый свет, проходящий через оконце, оклеенное бумагой, дает возможность рассмотреть на широких лавках и на полу массу тряпья, из которого то тут то там торчат головы, руки, ноги. По тому, что где-то что-то шевелится, видно, что еще не все тут умерло, но в общем все-таки картина представляла настоящий мертвый дом, не в иносказательном, а в самом прямом смысле.

В следующем доме то же самое, только поднявшийся из массы лохмотьев при шуме наших шагов и говора какой-то едва державшийся на ногах воин, очевидно, уже не владевший языком, дал понять, что это еще не вполне кладбище, что найдутся еще живые...

В следующем доме то же, за ним то же, на другой стороне улицы во всех домах то же! Отовсюду доктора разбежались, оставив больных на произвол судьбы, так что с самого времени сдачи города, т.е. уже в продолжение десяти дней, никто к ним не заглядывал, никто не давал ни пить, ни есть, не говоря уже про подачу медицинской помощи, каковой и прежде не было.

Русские власти разыскивали турецких докторов, водворяли на места занятий в турецкие мечети, полные их страждущим людом, но они снова разбежались. После нашего осмотра и заявления приступлено было к очистке этих своеобразных «госпиталей», и лишь в немногих из них нашлись дышавшие, подававшие голос больные; большинство было сложено на телеги и арбы так, как в былые времена у нас складывали

битых телят — с торчащими в стороны головами и ногами, — и вывезены за город для погребения.

Меня много раз укоряли в подыскивании страшных, отталкивающих сюжетов для моих картин, — но я не решился изобразить и десятой доли виденных ужасов, часто просившихся на полотно и по сюжету, и по живописной, эффектной обстановке. Например, я несколько раз покушался представить вышеупомянутое поле мертвых под редутом; уже были наброшены кучи скелетов во всевозможных позах — некоторые с руками, указывавшими куда-то вдаль, — уже намечена была моя фигура, в недоумении присматривавшаяся ко всем глазным орбитам в чаянии распознать знакомые, дорогие черты, — когда волей-неволей приходилось оставлять работу, потому что слезы и нервные рыдания не давали продолжать ее.



Очистка Плевны.

Естественно запертым «у себя» не доверять нам, «видевшим и слышавшим», но не следует с легким сердцем укорять, памятуя уже прежде мною приведенные и теперь повторяемые слова Тургенева: «Правда злее самой злой сатиры».



Скобелев лихорадочно работал в Плевне, главным образом по приготовлениям к походу за Балканы, а также и по устройству города; в этом последнем ему должен был помогать его отец Дмитрий Иванович. Но он совсем почти не помогал и дал перепортиться массе ружей и другому боевому материалу, брошенному турками.

Отношения отца и сына были довольно дружественны и немного обострялись лишь в тех случаях, когда Михаил Дмитриевич просил денег. Скупой родитель обыкновенно начинал с того, что отказывал, и только после долгих пререканий уступал. Впрочем, средства, к которым М.Д. прибегал, были такого рода, что не уступить им не было никакой возможности:

— Не дашь денег? Не дашь?

— Миша, оставь! — вопил родитель.

— Говори, дашь денег? Отвечай сейчас, дашь?

— Оставь, Миша!!!

— Дашь денег?

— Дам, дам, только оставь!..



К Михаилу Дмитриевичу приезжало за время его комендантства в Плевне много народа всяких типов и положений, кто для дела, кто от безделья. Раз приехал редактор одной газеты, отставной военный, бывший деятелем в Сербии; мы проговорили весь вечер, и, когда я уже ушел, Х. остался еще продолжать беседу со Скобелевыми.

На другой день М.Д. приходит в мою комнату со словами:

— Я хочу выслать Х. из Плевны!

— ???

— Знаете, что он мне предлагал? Оставить комендантство Плевны и уйти в Сербию, с армией которой ударить на турок!..

— Ну что же с ним делать? Сербия его, так он уверен, что вне ее нам нет спасения!

— Да, но как сметь предлагать мне, русскому генералу, прямо дезертирство!

— Полно, перестаньте, — уговаривал я расходившегося М.Д., все твердившего: «Да как он смел предлагать мне это! Его нужно проучить!..»; насилу удалось успокоить героя и убедить не делать публичного скандала, дать Х. выехать собственной волей.



Как только пришли из Орхание мои вещи, так я распорядился переслать в Россию сделанные наброски, хранившиеся в небольшом деревянном ящичке. По уговору милая сестра милосердия Чернявская должна была доставить эти плоды моих трудов при армии в верные руки в Петербурге, а сестре милосердия в Систове должны были доставить верные руки в Плевне, каковыми назвали себя длани помянутого доктора Стуковенко, ручавшегося в том, что комиссия моя будет исполнена в скорости и точности.

Когда я передал С. дорогой мне ящичек, полковник Пуцин, командир одного из гренадерских полков, вызывался совершить эту передачу немедленно же.

— Я знаю, как вам дороги эти этюды, Василий Васильевич, — говорил он мне, — и сам понимаю цену их — будьте уверены, что я в точности исполню ваше поручение.

Но я поблагодарил и отказался, помня, что от добра добра не ищут.

Как же жестоко я ошибся! Доктор Стуковенко вскоре заболел, и ящичек мой бесследно пропал. Правда, доктор не сознавался, что утерял его, а, напротив, утверждал, что передал его

коменданту в Систове, но комендант только подивился бесцеремонности этого утверждения. Напрасно потом многие пробовали искать мои пропавшие этюды, а М.Д. Скобелев снарядил нескольких офицеров для специальных розысков, — толка не вышло никакого, наброски пропали бесследно.

Позже, во время выставок моих работ в Петербурге, генерал Гурко дружески выговорил мне за то, что я не нашел возможным представить ни Шандорника, ни Правца, но я мог только ответить, что горюю о потере моих документов, конечно, не меньше его.

Через Балканы со Скобелевым

— Да пустите же, Василий Васильевич!

— Нет, не пуццу!

— Пустите, я вам говорю! Мне крайне нужно.

— Не пуццу!

— Да пустите, черт побери! Ведь меня ожидает главнокомандующий, отряд дожидает!

— Не пуццу!

Это Михаил Дмитриевич Скобелев рвался к дверям своего кабинета в нашем доме в Плевне. Он заказал себе для перехода через Балканы какой-то необыкновенной длины и теплоты сюртук на черном бараньем меху; заказал его еврею-портному Владимирского полка, и тот опоздал, не доставил сюртука к сроку. Скобелев страшно сердился, кричал, звал своего денщика Курковского, грозил, что перепорет их всех, рвался в дверь, а я стоял у двери и не пускал, потому что он непременно кого-нибудь побил бы и вообще натворил бы того, о чем сам бы потом пожалел.

— Будьте уверены, — утешал я его, — что они изо всех сил теперь выбиваются докончить и принести вам сюртук, работают руками, глазами и зубами, и вы понапрасну только будете шуметь, а пожалуй, и драться.

— Где эта bestия запропастился! — кричал Скобелев через затворенную дверь. — Пустите же наконец, Василий Василье-

вич, мне только этого подлеца найти, я его... — И он бегал из угла в угол, как тигр в клетке.

— Не пуцу!.. Не шумите и не горячитесь понапрасну.

Я таки удержал дверь притворенною, несмотря на то что воин несколько раз покушался прорываться.

Всему, однако, есть конец — кончилось и мученье М.Д.: явился денщик с сюртуком, спшитым и сидевшим просто ужасно. Скобелев страшно бранился, одеваясь; опять грозился всех перепороть, сюртук бросить в печку и проч. Но главное все-таки было достигнуто — он никому не дал лизуна за горячее время ожидания.

— Ну что, Василий Васильевич, как сюртук: скверно, а? Да скажите же!.. Что за подлецы, что за мерзавцы, с... д...!

При всем моем желании успокоить и утешить его надобно было сознаться, что сюртук сидел дурно, но делать было нечего; его превосходительство напялил его и поехал к великому князю.

Я остался ожидать моих лошадей из Орхание, из отряда генерала Гурко, куда отправил за ними казака. Я написал с ним прощальное послание членам «английского клуба», который составляли все мы, бывшие в штабе Гурко: Георгий Скалон, Коссиковский, Суханов, Оболенский, Цертелев, Петлин, Шаховской, Казнаков, — просил возвратить с лошадьми оставшиеся вещи, которые и получил при прелестнейшем письме от милых товарищей по походу, укорявших дружески за измену им, за переход из отряда Гурко в отряд Скобелева. Злодеи оставили только у себя мои консервы, шоколад, кофе, сладкие сухари и прочую съедобность, добытую незадолго перед тем с немалым трудом от маркитанта, и вместо извинения



Генерал М.Д. Скобелев.

велели сказать, что, вероятно, мне это теперь не нужно, так как у «Скобелева все есть». А Скобелев, как назло, объявил, что «во время похода пусть всякий промышляет как знает — он будет заботиться только о своем желудке».

При выезде моем оказался сюрприз: хозяин дома, в котором я жил со Скобелевым, представил счет разным разностям, у него забранным... За такие вещи, как дрова, собиравшиеся из разбитых турецких домов, разумеется, дорого не пришлось платить, но оказалось, что не отдано, например, за двое саней... Нечего делать, пришлось поплатиться немалым количеством золотых.



Я рассчитывал догнать выступивший отряд в тот же день, но в Боготе, в главной квартире, замешкался. Великий князь был по обыкновению очень любезен. Когда приятель мой Дмитрий Скалон доложил и я вошел в юрту, его высочество был в сильном волнении, так как с минуты на минуту ожидал известия от Гурко, начавшего накануне свой знаменитый переход через Балканы по глубокому снегу.

— Ах, кабы ему удалось, кабы удалось благополучно спуститься, — говорил главнокомандующий, видимо весьма озабоченный...

Я говорил, что, по мнению моему, и сомневаться нельзя в успехе, и так как прибыл недавно оттуда, то рассказал и нарисовал ему наши и турецкие позиции около Шандорника, против Араб-Конака.

— Так до свидания, там! — сказал мне главнокомандующий на прощание, протягивая руку по направлению к Балканам.



Лошадь моя, которую я теперь первый раз обновил, оказалась никуда не годною; я купил ее у ***, для рекоменда-

* Здесь и далее астерисками отмечены места, изъятые цензурой.

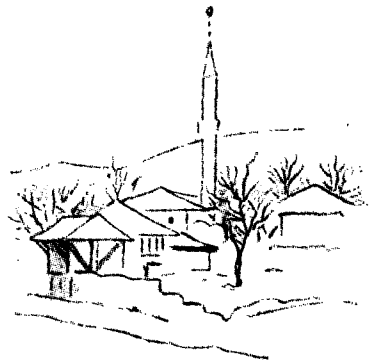
ции передавшего мне, что это бывший конь Скобелева, очень уставший под генералом и теперь поправившийся. Оказалось, что либо конь был вовсе загнан, либо Скобелев и бросил его за негодность: ни шагу, ни рыси, ни галопа. Чистое наказание езда на таком высоком меланхолическом одре.

К вечеру не успел добраться до Ловчи, пришлось заночевать в турецкой деревне. Только было я начал стучаться в первый попавшийся дом, бежит солдат:

— Ваше высокоблагородие, не извольте стучать, мы отведем квартиру, для этого здесь приставлены.

Оказывается, что к турецким деревням распорядились приставить охранную стражу для оберегания их от проходящих войск, и в результате было то, что турецкие деревушки до сих пор были полны всяким добром, тогда как болгарские пострадали, оглодались до костей.





Турецкая деревня.



Подъезжая на другой день к городу Ловче, я мог разобрать в общих чертах план бывшей здесь битвы, штурма высот Скобелевым. По рассказу последнего и многих других я знал,

что битва была очень кровопролитная и что в редутах мертвые лежали буквально один на другом, грудями. Правда, что перевес русских сил перед турецкими был значителен, 20 000 против 8000, но зато же и высоты приходилось занимать страшно крутые, да еще с земляными укреплениями, в постройке которых турки заявили себя такими мастерами.

Один из рассказывавших мне об этом сражении прехладнокровно говорил и о грудях тел, и о позах заколотых, и о зловонии, которое стояло кругом, но не вытерпел, вздрогнул всем телом, когда вспомнил, что на третий или четвертый день из-под кучи мертвых еще вытаскивали живых. Я искренно думаю, что кабы не доверили совершенно штурма укреплений Скобелеву, то они не были бы взяты.



Приехав в город Сельви, я пошел прямо к Михаилу Дмитриевичу, который был в это время в совете с начальником штаба полковником* Куропаткиным и начальниками частей. Я передал ему поклон главнокомандующего и не мог не заметить, что приятель мой был что-то очень нервен.

— Представьте, — сказал он мне, — Радецкий не хочет двигаться с места; говорит, что он не намерен пробивать лбом стену; пророчит, что нас занесет снегом и прочее. Ну да мы и одни пойдем и, если нужно, умрем...

Немало беспокоило его и то, что прошедший на днях городом отряд Святополк-Мирского, назначенный также к переходу через Балканы, по другую сторону Шипки, реквизировал часть вьючных животных, седел и всего, что предусмотрительный Скобелев заготовил давно уже для своего отряда (Скобелев и Куропаткин заготовили все для перехода через Балканы еще в октябре, когда они бедствовали под Плевною.) Нечего было делать, пришлось снова все заготавливать, не теряя ни часа времени. Куропаткин бросился в Тырново, где

* В то время подполковником.

с помощью губернатора, нашего общего туркестанского приятеля Щербинского, в три дня опять все достал и раздобыл.

В Габрове, куда мы затем перешли, стояло столпотворение вавилонское. Что случилось с этим миленьким, чистеньким городком! Все было наполнено больными, преимущественно обмороженными на Шипке. По улицам и дворам валялись дохлые лошади, бродили женщины и дети, вдовы и сироты забalkanских болгар, перерезанных турками... Зато торговля шла бойко: чаю, сахару, вина и прочего навезено было множество; сено же и ячмень продавались на вес серебра.

По улицам движение, суета, давка невообразимые. Удивительно, что в такой массе всякого сброда не нашлось шпионов, чтобы дать знать туркам о готовившемся обходе, — те и не думали о грозившей им опасности с флангов, так что оказались захваченными совершенно врасплох.

Скобелев хлопотал о лошади, так как его, уж и не знаю которая счетом, была замучена; хвалил очень моего иноходца.

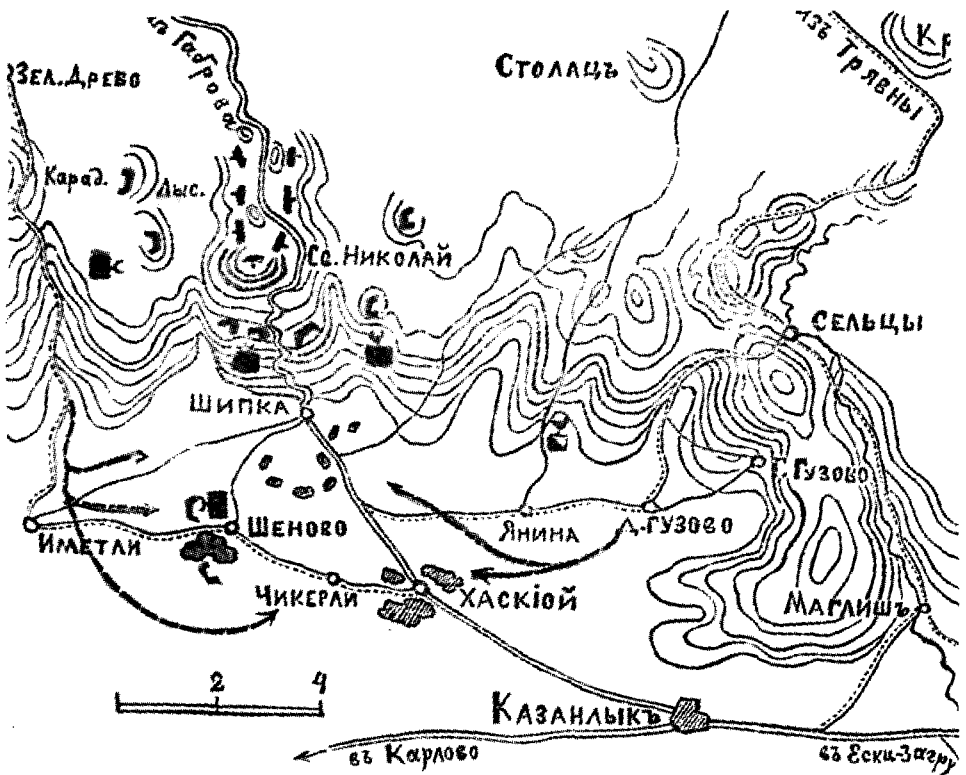
— Возьмите, говорю.

— Нет, благодарю, мне нужно белую, — нет ли белой?

— Есть, но вас не сдержит — мала.

Где-то, кажется у драгун, он достал наконец хорошего, высокого белого коня. Когда я поехал на Шипку, чтобы повидать там старых знакомых Петрушевского, Дмитровского и др., то встретил по дороге оттуда Скобелева, несущегося марш-маршем по глубокому снегу и грязи. Ну, думаю, не надолго хватит новой лошади! Он еще раз видел Радецкого на Шипке, принял от него приказания и выслушал опять твердо высказанное намерение не двигаться с занятых позиций. То же самое слышал я и от бравого генерала Дмитровского, старого же туркестанца, начальника штаба Радецкого, когда навестил его вечером в тот день: он был сильно возбужден, зимний поход через горы осуждал и пророчил нам смерть в снегу — ни более ни менее. (Теперь генерал Д. отрицает свою ошибку строгого осуждения зимнего похода, но я подтверждаю сказанное.)

План перехода Балкан в обход турецкой армии, расположенной под Шипкою, принадлежал Радецкому и его начальнику



План обхода Шипки.

штаба Дмитровскому, но они предлагали сделать это осенью, так что, когда главнокомандующий по взятии Плевны дал приказ исполнить этот план, Радецкий пришел в ужас, объявил, что это движение было задумано в расчете на осень, а не на зиму, и теперь за глубоким снегом неисполнимо.

Скобелев, однако, был совершенно уверен в успехе дела, и 26 декабря 1877 года выступил к деревне Топлиш, что в предгорьях, куда уже раньше двинулись войска его отряда.



Казак мой, кубанец Курбатов, несмотря на строгий наказ поспевать за мною, так-таки и не поспел; он уверял, что за ночь «беспременно справится» в Габрове, но, конечно, за ночь

просто кутнул с приятелями, так что за мою доверчивость я был наказан и не видел его и моих вещей в продолжение нескольких дней, во все время перехода через горы, где как раз не хватило мне для этюдов полотен и красок и пришлось написать этюды снежной траншеи и др. на дощечке сигарного ящика.

Я приехал в Топлиш ночью и, решительно не зная, куда приткнуться в этой деревеньке, битком набитой войсками, сунулся к Скобелеву, но оказалось, что он уже улегся и храпел тем богатырским сном, который всегда так подкреплял его перед серьезным делом; зная его за очень нервного человека, я, признаюсь, никогда не мог понять этой способности засыпать именно тогда, когда нужно. Уж и не знаю, как я попал в хату главного доктора отряда, очень милого человека, которого встречал на перевязочном пункте, но не знал лично; он напоил меня чаем, а в соседней избе вповалку с неизвестными мне господами я переспал. Из насекомых тут была одна «кавалерия», что еще хорошо, — кабы пришлось спать между солдатами, то не миновать бы и серенькой «пехоты».

На другой день ранним утром войска уже длиною, кривою линией тянулись к подъему, по подъему и по самому хребту. Скобелев был впереди, и догонять его было трудно по узкому проходу в снегу — того и смотри наткнешься на солдатский штык. Саперы прошли здесь накануне, разгребли снег, но его все-таки осталось столько, что лошадь оступалась и проваливалась, а главное, неудобно было то, что из разгребенного снега образовались по обеим сторонам дороги целые стены в рост человека, коли не выше; уступая место всаднику, солдаты не могли податься в сторону, они припадали к товарищу, конечно, не без смеха и шуток:

— Штык подними, прими! Смотри, сейчас глаз вон верховому выколешь!

Приходилось постоянно проделывать гимнастические упражнения на седле, чтобы кого-нибудь не ушибить, да и самому не наткнуться на штык или не удариться коленом о выюк с зарядами. Со штыками-то я разделался благополучно, но колена свои отколотил «в лучшем виде».

Труднее всего, конечно, было проходить сотне уральских казаков, шедшей впереди сапер с проводниками; они протапывали путь по совершенно занесенным снегом горам, ведя лошадей под уздцы и часто совершенно проваливаясь, увязая



Переход через Балканы у Шипки.

в снегу. Командовал уральцами тоже туркестанец, сотник Кирилин. За казаками рота сапер под командою Ласковского, адъютанта главнокомандующего, уже правильно расчищала намеченный путь.

В одном месте прежалкую картину представляли кучкою приютившиеся на бугре, около дороги, музыканты: в своих холодных шинелишках они сидели, тесно сжавшись от холода; музыкальные инструменты их в чехлах, некоторые огромных размеров, лежали около них; бедные артисты — им было далеко не до музыки тут.



Еще было довольно рано, когда мы остановились для привала на высокой равнине, против скалы Марковы Столбы. Под деревьями, справа, разрыли в снегу место для палатки Скобелева и Куропаткина; невдалеке расположились мы. Полукругом по всей опушке леса, окружавшего равнину, раскинулись войска.

Я написал этюд этого места и успел-таки согреться у Скобелева стаканом чаю; затем, однако, пришлось прибегнуть к небольшому запасу консервов, кофе и шоколада, бывшего только у меня и, конечно, сейчас же уничтоженного нашею проголодавшеюся молодежью. Лошадей мы пробовали кормить

конскими консервами, но они что-то отворачивали морды — не очень охотно жевали этот корм. Как я сказал, под деревьями, кругом снежной площади, расположились войска и везде запалили костры, благо весь лес был к услугам отряда. Хотя по зареву этих огней турки и могли открыть нас, но Скобелев разумно решил, что лучше иметь неприятелем людей, чем мороз, который был порядочный. Великое было счастье для отряда, что не только вьюги, но и просто ветра не было, в противном случае зловещие предсказания Дмитровского хоть частью оправдались бы, пожалуй. К тому же надобно сказать, что заботливостью Скобелева и Куропаткина все было предусмотрено: у всех солдат были набрюшники и на ногах просаленные портянки; у каждого был запас вареной говядины, сухарей и чаю. Кроме того, во избежание замораживания и отмораживания приказано было солдатам наблюдать друг за другом в эту ночь.

Я укрылся всем, что у меня было: полушубком, буркою и одеялом; лег около самого огня и все-таки чувствовал, что медленно замерзаю; как ни корчился, ни свертывался кренделем, ничего не помогало — пришлось оставить надежду на сон и, закулив сигару, ждать у костра рассвета, болтая с товарищами. Часть отряда поднялась и прошла вперед еще ночью, а под утро двинулись и мы.

Было уже замечено, что интендантство не успело заготовить солдатам полушубков, подоспевших лишь к тому времени, когда армия перешла Балканы и настала жара. Когда заботливый Панютин выпросил позволение раздать своему полку тулупы, оставшиеся от замерзшей дивизии Гершельмана, оказалось, что, несмотря на долгое лежание в складе, полушубки были полны насекомыми, и солдаты предпочли идти через горы в холодных шинелях.



Переход Скобелева через Балканы.

Я писал этюд траншеи, вырытой в снегу, к стороне турецких позиций (после была исполнена картина этой траншеи), когда Скобелев проехал вперед и тут, даже и по этой дороге, галопом; солдаты бодро и весело отвечали на его привет.

Надобно было видеть, как удивились турки, когда мы вышли из лесов на открытый склон горы, к ним обращенный. Они попробовали сделать несколько выстрелов из орудий, но без вреда нам — где попасть в растянутую линию! Пули же их вовсе не долетали до нас.

Все позиции турецкие, а за ними и наши, были отсюда как на ладони, и в бинокли мы хорошо видели все подробности их житья-бытья в землянках.

Вон гора Св. Николая, где наши солдатики с нетерпением следили теперь за нами, ждали результата нашего обхода, который должен был наконец освободить их от долгого, мучительного сидения в засыпанных снегом, совершенно обоживевших землянках Шипки.

Вон турецкие батареи на так называемой Лысой горе: турки большими группами рассуждают о том, что готовит им впереди «кизмет», т.е. судьба. Помешать нашему движению они теперь уже не в силах, надобно было подумать об этом раньше; нападение на нас с фланга, с места теперешнего их расположения, по глубокому снегу, было очень трудно — близок локоть, да не укусишь. Оставалось помешать нам спускаться, но мы уже и спускаться начали, — совсем опоздали наши враги!

У самого начала спуска две высокие горы, два пика расположены по обе стороны дороги. Как старый военный, я сейчас же заметил Куропаткину, что эти две возвышенности необходимо немедленно же и крепко занять.

— Что, что вы говорите, Василий Васильевич? — спросил ехавший впереди нас Скобелев, всегда чутко прислушивавшийся к тому, что говорили около него.

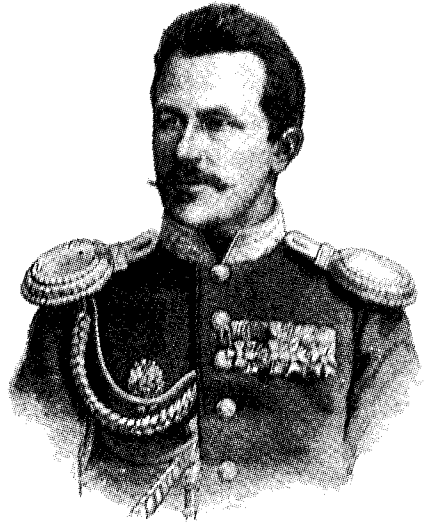
Я повторил, что эти высоты, как командующие спуском, необходимо на всякий случай занять...

— Да, Алексей Николаевич, — обратился он к Куропаткину, — это совершенно верно, прикажите сейчас все занять их и окопаться.

— Слушаю-с, — ответил К. неохотно; беда как не любят военные, даже развитые, советов статских, хотя, собственно говоря, я имел право считать себя более военным, чем большинство офицеров отряда.

Скобелев, впрочем, был выше этого и всегда был не прочь принять совет, если находил его разумным, откуда бы он ни шел.

Полковник Куропаткин, начальник штаба Скобелева, был бесспорно один из самых лучших офицеров нашей армии; невысокого роста, не особенно представительной красоты, но храбрый, разумный и хладнокровный, он был многими чертами характера противоположен Скобелеву, который давно уже был с ним дружен, уважал и ценил его, хотя часто с ним спорил; и надобно сказать, что в спорах этих рассудительный начальник штаба оказывался по большей части более правым, чем блистательный, увлекавшийся генерал. Нельзя, однако, сказать, чтобы кругозор Куропаткина был шире, чем Скобелева, — часто бывало наоборот: например, в вопросе возможности зимнего перехода через Балканы, в вопросе громадной важности для исхода всей кампании, К. держался мнения Радецкого и Дмитровского, т.е. был абсолютно против этого перехода... Скобелев же, напротив, был душою и телом за поход и совершенно уверен в счастливом исходе его. «Перейдем! А не перейдем, так умрем со славою», — повторял он мне свою любимую фразу.



Подполковник А.Н. Куропаткин.

— Он только и знает, что умрем да умрем, — говорил со мной об этом К. еще в Плевне, — умереть-то куда как не трудно, надобно знать, стоит ли умирать...

К. не был так щегольски и в то же время так дерзко храбр, как Скобелев, но и он тоже был замечательной храбрости; и лошадей-то под ним убивало, и зарядные-то ящики у него перед носом взрывало, и самого-то его много раз ранило, а он все жив да жив, и теперь так же неисправим по части измышления всякой пагубы на неприятелей России, как и прежде — коли не больше.



Скоро пришло из передового отряда сапер донесение о том, что турки наступают. Я видел, что краска бросилась в лицо Скобелеву при этом известии; он тотчас же обратился к солдатам:

— Поздравляю вас, братцы, с началом дела, турки наступают!

Солдаты дружно ответили обычное: «Рады стараться, ваше превосходительство!»

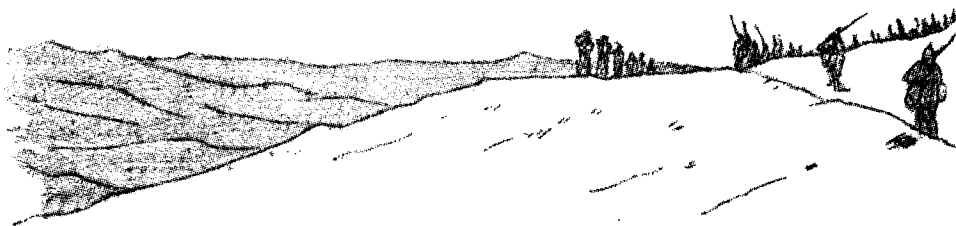
Послан был ординарец Дукмасов с двумя ротами на помощь саперам. Скобелев, знавший статут Георгиевского креста наизусть, заранее сказал ему, что он получит Георгия за это дело: «Выбить их! Молодцом у меня, смотрите!»

Спуск был едва ли не труднее подъема: местами лошадь уходила в снег по шею, и я был искренно благодарен моему рыжему иноходцу за отчаянные усилия, с которыми он выносил из сугробов, ни разу не ткнувши меня носом в них. Местами, однако, ехать верхом не было никакой возможности, надобно было скользить вниз. Солдаты устроили праздничные игры и скатывались кто благополучно, кто кувырком, со смехом и шутками. Самому-то, впрочем, съехать было нетрудно — куда ни шло, но заставить съехать на том же инструменте лошадь было не так удобно. Уж не помню, как свел я своего коня с одного крутого места, настоящего обрыва, — кажется, мы вместе скатились!

Разработка этого места, конечно, потребовала бы очень много времени, почему, вероятно, наши саперы и отступились от него, но, с другой стороны, и оставлять такие места для спуска по ним кавалерии, и особенно артиллерии, — очень и очень рискованно (считая, что невозможного на свете нет).



Мы были уже на южном склоне Балкан. Скобелев остановился на одной из крайних возвышенностей и долго, подробно осматривал в бинокль долину Тунджи и турецкие позиции, расстилавшиеся перед нами.



Скобелев и Куропаткин смотрят в бинокли в долину Тунджи, откуда ждут подхода турецкой армии Сулеймана.

Налево гора Св. Николая с Шипкою. Расположение наших полков резко обозначалось черными, грязными линиями по белой массе снега. В бинокли мы видели все подробности: вон, на самой скале Св. Николая, батарея Мещерского.

Помню, за мой первый приезд на Шипку я рисовал эту батарею, но огонь был так силен, что, каюсь, я поминутно кивал и отклонялся головою от свистевших пуль, гранат, а временами и бомб, летавших с турецких батарей из-за горы. Пули на этом пункте летели буквально дождем, и оберегаться от них было, впрочем, просто ребячество.

Бомбы назывались на Шипке «воронами», — эти «вороны» даже землянки прошибали! В одной, рассказывали мне, офицеры играли в карты, когда ударила такая «ворона» и всех поубивала, поранила.



Насветевич на Шипке.

Вон развалина турецкого блокгауза, в окне которого я было расположился раз писать долину Тунджи, видневшуюся тогда в каком-то чудесном фиолетовом тумане. Хоть у меня и был складной стул, но, чтоб не сидеть на открытом месте, я свернул под закрытие этого домика и расположился на подоконнике — авось под крышею не заденет пуля! Не тут-то было: турки, хорошо наблюдавшие все, что делалось у нас, с их очень близких позиций, конечно, сейчас же заметили хромого любителя видов — это было в сентябре, когда рана моя еще только слегка затянулась, — и угостили меня раз за разом тремя гранатами: первая ударила в стену без большого вреда, вторая — в крышу, хотя и не в то место, где я сидел, но, однако, забросала весь блокгауз обломками и засыпала пылью мои краски; третья, наконец, с адским шумом и треском пробила крышу совсем рядом с моим подоконником, взрыла и набросала на меня и мое писание такую массу земли, камней и всякой дряни, что я решился уйти, не кончивши этюда, — от греха!

Еще далее по горе «центральная» и «круглая» батареи и между ними землянки Минского полка, в одной из которых у приятеля моего Насветевича я провел несколько дней. Далее тоже все знакомые места: вон, по ту сторону Св. Николая, турецкие батареи — «Девятиглазка», «Воронье гнездо», «Сахарная голова». Вон та часть дороги, по которой в последнее время никто уже не ездил — пробирались объездом, по-за горою, потому что она вся была на виду у турок, — и с которой, несмотря на то что ее обыкновенно проскакивали марш-маршем, и всадники, и телеги с лошадьми часто сбрасывались в кручу гранатами и бомбами, — недаром она называлась «Райскою долиной».

Вниз от русских позиций турецкие землянки и батареи, а совсем внизу, в долине, от развалин деревни Шипки до деревни Шейново, — укрепленные курганы, центр турецкой позиции, за которыми начинается густая дубовая Шейновская роща. Вдали, прямо под нашим спуском, кряж Малых Балкай, направо — деревня Иметли, по имени которой назывался и наш перевал; туда, и далее направо, в Тунджинскую долину, Скобелев и Куропаткин смотрели особенно пытливо, так как, по слухам, оттуда двигались турецкие войска Сулеймана-паши, на помощь шипкинской армии.



Передовые войска остановились на привал в ущелье, а Скобелев пошел по обыкновению рекогносцировать дорогу. Он поехал было верхом, но турки, засевшие внизу за скалами, открыли такую пальбу, что пришлось сойти с лошади. С ним был начальник штаба Куропаткин, помощник его граф Келлер, я и несколько казаков, не помню — был ли кто еще из офицеров, кажется, был ординарец Марков. Турки буквально осыпали нас свинцом, и выжить их оттуда не было возможности, так как ружья Крынка не доносили наших пуль до них.

Я начал набрасывать в альбом открывшуюся перед нами часть долины, а Скобелев прошел еще вперед. Смотрю, уж тащат назад под руки Куропаткина, бледного как полотно. Он остановился перевести дух за тем же обломком скалы, за которым я рисовал, — пуля ударила его в левую лопатку, скользнула по кости и вышла через спину.

Бедняга страшно осунулся и все просил посмотреть рану и сказать ему по правде, не смертельна ли она. Скоро пришел Скобелев, и мы все двинулись назад. К., разумеется, тащили под руки, так как он с трудом передвигал ноги.

Мне случалось быть в очень сильном огне, но в таком дьявольском, признаюсь, еще не доводилось. Даже на Дунае при нашей минной атаке, когда нас осыпали и с берега, и с турецкого судна, кажется, огонь не был так силен.

Здесь турки стреляли на самом близком расстоянии и лепили пуля в пулю, мимо самых наших ног, рук, голов. Так и свистел свинец, то с писком, то с припевом и, шлепнувшись в скалу, либо падал к ногам, либо рикошетировал. Не то чтобы следовал выстрел за выстрелом, нет, то была сплошная барабанная дробь выстрелов, направленных на нашу группу, — свист назойливый, надоедливый, хуже комариного.

Моя лошадь и лошадь Скобелева, которых вели за нами в поводу, остались целы, но у болгарина моего убили коня, так же как и вообще убили немало людей и животных.

Я шел с левой стороны Скобелева и, признаюсь, не совсем хладнокровно слушал эту трескотню.

«Вот, — думалось, сейчас тебя, брат, прихлопнут, откроют тебе секрет того, что ты так хотел знать: что такое война!..»

Помню, однако, что я наблюдал еще Скобелева. Смотрю на него и замечаю, не наклоняется ли он, хоть немного, хоть невольно, под впечатлением свиста пуль? Нет, не наклоняется нисколько! Нет ли какого-нибудь невольного движения мускулов в лице или руках? Нет, лицо, по-видимому, спокойно, и руки, как всегда, засунуты в карманы пальто. Нет ли выражения беспокойства в глазах, — я разглядел бы его, даже если бы оно было хорошо, глубоко скрыто, — кажется, нет, разве только бесстрастность взгляда указывала на внутреннюю тревогу, далеко-далеко запрятанную от посторонних. Идет себе мой Михаил Дмитриевич своею обыкновенною походкой с развальцем, склонивши голову немного набок.

«Черт побери, — думал я, — да он все тише и тише идет, нарочно, что ли?»

Пальба просто безобразная, то и дело валяются с дороги в кручу люди и лошади. Бравый, многоопытный Куропаткин, влекомый сзади под руки, кричит оттуда:

— Бегите кто цел — всех перебьют!

Граф Келлер и еще некоторые вприпрыжку бросились вперед; я, как более обстрелянный, остался со Скобелевым.

— Ну, Василий Васильевич, — говорил он мне после, когда поворот дороги закрыл нас наконец от турецких пуль, — мы сегодня прошли сквозь строй!



Мне интересно было узнать внутреннее чувство Скобелева во время сильной опасности, и я спрашивал его потом:

— Скажите мне откровенно, неужели это правда, что вы приучили себя к опасности и уже не боитесь ничего?

— Что за вздор, — ответил он, — меня считают храбрецом и думают, что я ничего не боюсь, но я признаю, что я трус. Каждый раз, что начинается перестрелка и я иду в огонь, я говорю себе, что в этот раз, верно, худо кончится... Когда на Зеленых горах меня задела пуля и я упал, моя первая мысль была: «Ну, брат, твоя песня спета!..»

Признаюсь, мне приятно было слышать это от Скобелева, потому что после того моя собственная личность казалась мне менее трусливою. Не то чтобы я особенно преклонялся перед храбростью, но трусость-то, нервность, с которой так часто приходилось встречаться, была уж очень противна. Сознывая, что под сильным огнем я чувствовал себя не совсем спокойным и боялся, что вот-вот меня прихлопнет и начатые картины останутся не оконченными, я доволен был, что Скобелев смотрел в глаза смерти далеко не хладнокровно, только хорошо скрывал свои чувства, — значит, и я не вполне трус!

— Я взял себе за правило никогда не кланяться под огнем, — говорил он мне, — раз что позволишь себе делать это — зайдешь дальше, чем следует...

Теперь после этого ответа я искренно думаю, что нет такого человека, который был бы спокоен под огнем, как бы ни старался он казаться им.



Гвардейские могилы.



Куропаткину наскоро перевязали рану и потащили на носилках, под надзором ординарца Скобелева, в Габровский госпиталь, назад через Балканы. Он сказал перед уходом:

— Вот вам мой последний совет: выбейте поскорее этих турок во что бы то ни стало, иначе они перегубят много народа.

Мы попрощались с Алексеем Николаевичем, Скобелев чуть-чуть всплакнул даже, но, впрочем, быстро отерши слезы, оправился.

— Полковник*, граф Келлер! Вы вступите в должность начальника штаба.

— Слушаю, ваше превосходительство!

— Вот и производство вышло, — сострил удалявшийся Куропаткин.

Крепко чувствовали все в отряде его потерю; Скобелев сказал мне, что он был ему *незаменим*.

Генерал приказал штурмовать турок, но полковник Панютин, которому дано было это приказание, просил дозволения сначала попробовать выжить их огнем.

У него был один батальон, вооруженный ружьями Пибоди, взятыми при сдаче Плевны, и две роты с этими ружьями буквально засыпали турок свинцом, так что не далее как через несколько минут ни одного выстрела не было более оттуда, ни одного неприятеля там не осталось, все утекли. Более поразительный пример того, что значит хорошее вооружение, мне редко случалось видеть. *****

Конечно, Панютин спас тут много солдатских жизней, потому что штурм засевших за камнями турок не обошелся бы без потерь. Сколько же всего наших жизней было бы спасено, если бы ружьями, взятыми при сдаче Плевны, вооружили

* Тогда подполковник.

часть отряда; ружей этих было несколько десятков тысяч с миллионами зарядов. *****

Все эти десятки тысяч ружей Пибоди, взятые у турок, пролежали грудями под снегом за все время, что я пробыл в Плевне, т.е. около двух недель, так же как и ящики с зарядами; эти последние валялись в великом множестве и по самой дороге, и по сторонам ее на нескольких верстах расстояния, а так как никто не прибирал их, то проходившие повозки давили и взрывали их сотнями, тысячами.



Скобелев как будто был выбит из своей колеи раною Куропаткина. Более обыкновенного он был нервен и беспокоен и все отводил меня в сторону:

— Василий Васильевич, как вы думаете, ладно у меня идет? Как на ваш взгляд, нет беспорядка? Граф Келлер хороший офицер, но он неопытен, — боюсь не вышло бы путаницы!

Я успокаивал его, говорил, что покамест, как мне кажется, все идет как следует.

— Заняли вы высоты, командующие перевалом?

— Да, люди уже посланы туда!

— Приказали им окопаться?

— Приказал.

— Удостоверьтесь, исполнено ли приказание!

Удостовериться послан был Х., и мне смешно вспомнить, как этот бравый офицер, увидя на упомянутых высотах людей, принял их за турок. Скобелев не унимался, все беспокоился:

— Василий Васильевич, вы были у Гурко, скажите по правде, больше у него порядка, чем у меня?

— Порядка не больше, но он меньше вашего горячится.

— Да разве я горячусь?

— Есть немножко, вон в одно и то же место послали третьего ординарца...

Помнится, в Плевне, когда я только что воротился из гвардейского отряда, мне случалось в приятельской беседе с обоими Скобелевыми и еще одним генералом защищать Гурко от некоторых несправедливых нападок, рассказней, повторяемых обыкновенно из двадцатых уст. Михаил Дмитриевич, равнодушно относившийся к положению Гурко как начальника стотысячной армии, заподозрил меня в пристрастии и рассердился...

Дали знать, что ранен адъютант главнокомандующего Ласковский; хотя рану его называли легкой, жаль было отряду потерять этого хорошего, хладнокровного офицера.

Генерал приказал, между тем, полковнику Панютину выбить турок из траншей под самым спуском, откуда они портили опять немало нашего народа.

Генерал Столетов, один из моих стариннейших знакомых еще по Кавказу, послан был занять деревню Иметли. Надобно заметить, что С. был уже полковником, когда М.Д. Скобелев надевал еще только эполеты: теперь первый, в чине генерал-майора, был под командою у второго, генерал-лейтенанта и командира отдельного отряда, и в оправдание свое говорил:

— За такими рысаками, как Скобелев, не угоняешься.

Мы провели эту ночь на снегу, в нашем ущелье, кругом костра, который с трудом поддерживали сырыми прутьями, да и те-то раздобывали с трудом: казаки и вообще нижние чины кругом Скобелева были такая вольница, что нимало не заботились о нем, так что только когда, теряя терпение, он пускал в ход брань и угрозы, они бросались исполнять требуемое. «Черт вас побери, я вас всех перепорю!», — кричал он обыкновенно в таких случаях, и только после этого денщик его вяло, громко ворча, а другие, как будто и всерьез боясь угрозы, исполняли что нужно. Угрозы, впрочем, не всегда оставались только угрозами, случалось, переходили и в дело: С. давал иногда страшные затрецины, а денщику Курковскому за грубость ординарцу Х. было в Плевне сыпано столько горячих, что несколько дней он буквально едва бродил. Это не помешало С. сейчас же вслед за экзекуциею на-

чать снова заигрывать со своим драбантом, принимавшим, однако, тогда шутки патрона очень мрачно, сдержанно.

Кругом костра кроме Скобелева было несколько человек офицеров, но Немировича-Данченко, нашего бравого и всюду поспевавшего корреспондента, что-то не было видно, верно, он находился в Иметли. Не знаю, спал ли Скобелев, пожалуй, он и тут сумел заснуть, но я только забывался. Голова была тяжела, на желудке пусто — мы ничего не ели и выпили лишь по стакану чая. Особенно тяжело должно было быть раненому Ласковскому, тут же, на снегу, валявшемуся в коротеньком полушубке. Рана его была, что называется, очень счастливая: пуля ударила под мышку, не попортив груди; он отправился было даже наутро с нами осматривать неприятельскую позицию, не слушая советов беречься, но я силою воротил его, заставил уехать назад в Габрово, в госпиталь, к великому удовольствию и счастью его преданного денщика.



Утро было прекрасное. Небольшой турецкий отряд стоял у нас под горою, как будто с намерением помешать спуску, но вскоре, не попробовав счастья, отошел — кажется, неприятель не блистал ни распорядительностью, ни решительностью.

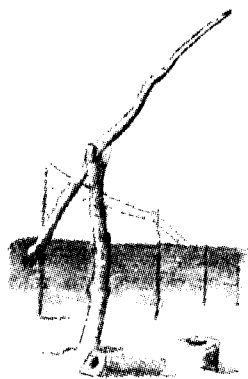
С шейновских батарей открыли орудийный огонь, а с нашей стороны нечем было отвечать, поэтому, когда Скобелеву дали знать, что по такой дороге невозможно провезти артиллерию, я настоял, чтобы хоть несколько орудий было протасщено. Генерал так и приказал. Покамест пробовали отвечать с дороги из наших горных пушчонок: снаряды далеко не долетали, но шум выстрелов производил известный эффект, давая знать неприятелю, что и мы с артиллериею, и ободряя своих солдатиков, с удовольствием замечавших:

— Вона! Наша пошла на ответ, — вали!

Скобелев просил меня сделать набросок местности с расположением турецких войск, чтобы приобщить его к своему донесению. Так как сверху, с дороги, многое было не видно,

то я спустился пониже, да и не рад был: пуль летало там такое множество, что, признаюсь, только стыд не позволил задать сейчас же тягу, и я лишь наскоро, с грехом пополам, набросил план. При этом случае я хватился моего альбома с рисунками — его не было! А альбом-то был с заметками от Плевны и Горного Дубняка до самых последних дней. Перебирая в памяти, где бы я мог потерять эту дорогую для меня вещь, я вспомнил, что последний раз держал ее в руках, когда бросился обнимать раненого Куропаткина, — выходило, что так нежничать вдвойне не следовало: во-первых, потому, что К. проворчал: «Что вы целуете-то меня, посмотрите лучше рану», во-вторых, потому, что за эту нежностью я выпустил из рук и оставил на снегу альбом свой. Скорей бросился я туда искать, но ничего не нашел; оно было и понятно, потому что множество народа конного и пешего прошло уже по этому пути, и коли не сбили, не сбросили, то, конечно, замяли мою бедную книжку.

При поисках моих увидел я, какое множество солдат, казачков и лошадей было вчера перебито, главным образом во время памятной рекогносцировки Скобелева. У одного вышиблены были буквально целиком вся грудь и живот — хоть бы что в середине осталось!



Колодец.

Нет как нет моего альбома; плакал он вместе со всеми заметками, так мне нужными для будущих работ, решил я мысленно, — и в это время встретил знакомого офицера Владимирского полка.

— Знаете ли, — говорит он, — ведь нашли альбом вашего покойного брата; должно быть, турки вынули у него, у мертвого, и занесли сюда, в Иметли.

— Да это, должно быть, мой альбом, который я разыскиваю; у кого вы его видели?

Он назвал фамилию офицера Донского казачьего полка, и я поскакал его искать. Полк этот спустился в полном составе, и Скобелев лично расставлял его в долине.

Наконец-то я добрался до моей дорогой тетради; оказалось, что солдатик поднял ее на дороге, на том месте, где я рисовал и где отдыхал раненый Куропаткин, взял ее с собою и в Иметли, в тесноте около колодца, снова обронил; поднял казак, передал офицеру, а офицер передал мне!



Я воротился на место нашего бивуака; снег везде таял, было очень жарко, меня томила жажда. Остановившиеся на роздых солдаты пили чай; я присоединился к одному, любезно предложившему мне не чашку, а крышку походного котелка с чем-то, похожим на чай, но крепко отдававшим похлебкою.

В разговоре с солдатом я узнал, что их скупо наделяли чаем, а особенно сахаром; этого последнего выдавали, правда, положенное число кусочков, но до того микроскопических, что чай приходилось пить буквально в наглядку.



Солдат.

Хотя у Скобелева, вообще говоря, все, касающееся продовольствия солдат, велось порядочно, ибо он строго смотрел за этим и взыскивал, но тем не менее я сожалею, что забыл сказать ему об этих кусочках сахара, — я уверен, что за все остальное время кампании они были бы тогда не так микроскопичны в его отряде.



Я нашел Скобелева на спуске разговаривающим с князем Вяземским, начальником бригады болгарского ополчения, если не ошибаюсь, приехавшим донести о том, что невозможно протащить по этой адской дороге даже и одного орудия.

Скобелев не настаивал более, но я пожалел; будь это у Гурко, тот приказал бы провезти «во что бы то ни стало», и наверное были бы протащены хоть два орудия.

Князь В. в беседе со Скобелевым доложил также, что с псевала давно уже были на виду, а теперь стали видны и со спуска передовые части отряда князя Мирского, спустившегося в долину с другой стороны Шейнова. Действительно, хотя с трудом, но можно было рассмотреть вдали, на белой массе снега, небольшие темные черточки — полки, двигавшиеся по направлению к Шейнову, т.е. уже наступавшие на турок; даже слышна была трескотня выстрелов. Скобелев расспрашивал В. о том, какие части он встретил на пути: спустились из 16-й пехотной дивизии два полка и спускался третий; кавалерия еще вся была на пути, кроме одного полка казаков — очевидно, отряду никак было не собраться за сегодняшний день.

— Как вы думаете, Василий Васильевич, — спросил меня Скобелев, указывая на тот отряд, — скоро ли они дойдут до Шейнова?

— Коли турки не задержат, часа через два — два с половиной.

— Так, пожалуйста, скажите Панютину, чтобы выступал в траншеи!

Я поскакал так, что мой бедный рыжий иноходец подумал, вероятно, что я с ума сошел — скакать, да еще по такой дороге, когда он заведомо уморился и насилу волочил ноги! Приказание было слишком давно ожидавшееся, так что, еще не доскакав до П., я крикнул ему сверху:

— Полковник Панютин, извольте выступать!

Тот в свою очередь обрадовался, не заставил повторять себе это два раза, а, ответив только: «Слава Богу!», сняв фуражку, перекрестился и двинулся вперед так быстро, что, когда, обогнув большую извилину дороги, я подскакал к нему — он уже миновал траншеи.

— Генерал велел выступить покамест только до траншей, — говорю.

— Мы миновали их уже, что же вы раньше не сказали!

— Кто же знал, что вы так зацагаете...

Смотрю, марш-маршем не-сется Скобелев прямо к нам.

— Василий Васильевич! Вы двинули войска за траншеи?

— Я!

— Прикажете остановиться, ваше превосходительство? — спросил Панютин.

— Нет-нет, я только что хотел двинуть вас дальше; ступайте вперед, остановлю вас после, когда будет нужно.

У меня как гора с плеч свалилась!

Выстрелы со стороны отряда Мирского учащались, стреляли уже залпами, слышалось «ура! ура!» наших и «Аллах!» турок. Очевидно, с той стороны разгорелся уже бой, и нам следовало идти им на помощь, но с чем? Спустившиеся силы были совсем ничтожны, а остальная часть двигалась по перевалу очень медленно, на что Скобелев страшно бесился. Несмотря на то что он посылал ординарца за ординарцем торопить, кавалерия шла убийственно тихо и совсем загородила путь остальной пехоте.

Предполагая, что хоть что-нибудь надобно было бы оставить в резерве, на случай встречи со слишком неравными силами турок, у которых, по сведениям, войска было немало, пришлось бы начинать бой с одним полком, что, очевидно, было просто неразумно. Чтобы тем не менее отвлечь часть сил неприятеля на себя, генерал демонстрировал, построил батальоны к атаке и выдвинул вперед горную артиллерию. Так как пушчонки наши продолжали «не хватать», то подрыли им передки, еще и еще, и добились наконец того, что они стали махать прямо в середку неприятеля. Там крепко зашевелились, очевидно, стали готовиться к встрече нас, особенно когда я уговорил Панютина дать два залпа и прокричать полком «ура!».



В траншеях у Скобелева.

Три турецких орудия отвечали нам; вдоль всей деревни выдвинулась сплошной линией конная цепь, по-видимому черкесов.

Мы стояли совсем близко к неприятелю и, конечно, не только заставили его отвлечь часть сил на нас, но и удержали в бездействии немало их резервов.

Скобелев решил, собрав за ночь все свои силы, нанести завтра туркам решительный удар. Он несколько раз говорил об этом, и я лично крепко одобрял это решение... Когда Михаил Дмитриевич подошел к Панютину, стоявшему с полком в передней линии, и сказал, что атакует завтра, бравый полковник ответил:

— Что, ваше превосходительство, теперь Алексея Николаевича (Куропаткина) нет — и толку, кажется, у нас не будет.

Несмотря на то что это было сказано громко, милейший М.Д. только ответил:

— Каково он мне льстит! Подождите, успеете еще!

У Панютина, очевидно, руки неудержимо чесались; что касается меня, как ни ничтожно и мало авторитетно могло быть мое мнение, я так-таки полагал, что следовало воздержаться от атаки с нашими ничтожными силами. Конечно, все мы чувствовали, что следовало «идти на выстрелы», и Скобелев мучился более, чем кто-нибудь другой, но невозможно было сделать это теперь, с расчетом на успех — войска не успели сойти с гор.



Уже темнело. Генерал велел с наступлением ночи отвести войска назад; я посоветовал ему приказать разложить огни по всей линии прежнего расположения войск, с тем чтобы продолжать отвлекать в нашу сторону внимание турок. Скобелев так и сделал.

Со стороны другого отряда давно уже стало затихать, и теперь все смолкло. После мы узнали, что он имел тут жаркое дело.

Чего стоило чуткой, нервной, подвижной натуре Скобелева удержаться от атаки в этот день — я это знаю, так как все время был с ним. По большей части мы были одни, потому что он постоянно отходил в сторону, с желанием высказать то, что у него было на душе, то, что его, видимо, беспокоило, душило:

— Как вы думаете, Василий Васильевич, хорошо я сделал, что не штурмовал сегодня? Я знаю, скажут, что я сделал это нарочно, будут упрекать меня в том, что я с умыслом не атаковал, что не хотел помочь; ну что ж! Я подам в отставку!!

— О какой отставке вы говорите? — успокаивал я его, — вы сделали то, что должны были сделать, то, что могли. Вы отвлекли на себя часть турецких сил, но штурмовать с одним полком было невысказано...

К нам подошел тут Столетов; я взял его в свидетели, просил его сказать свое откровенное мнение: он без обиняков высказался, что с такими ничтожными силами идти на крепкую позицию было крайне рискованно, если не невозможно.

Скобелев как будто немного успокоился, но он был вполне военный человек, и его чутье подсказывало ему, что вышло что-то неладное; что он опоздал спуститься с гор и не поспел на подмогу своим.

Он много раз еще возвращался к тому же:

— Василий Васильевич, подите сюда на минуточку; ведь я не мог иначе сделать? Ну что же, ну оставлю службу, ну подам в отставку, коли будут упрекать!..

Душевно было жаль слушать его оправдания, этот плач воина, не поспевшего на выручку своих!

Он обошел войска, везде велел окопаться, и окопаться так, как если бы предстояло серьезное нападение неприятеля, причем беседовал с солдатами, вспоминая случаи, где они пренебрегали окапываться и страдали через это.

Признаюсь, я до сих пор не знаю — была назначена Радецким общая атака обоих отрядов на этот день или нет? Если да, то, конечно, на Михаиле Дмитриевиче лежала известная доля ответственности за то, что он не спустил с гор весь отряд к назначенному времени, хотя это и оказалось материально

невозможным; коли же нет, то, напротив, ответственность на том отряде, который атаковал, не будучи уверенным в том, что Скобелев в состоянии поддержать их, что он уже успел спуститься.

Видя крайнюю нервность Скобелева, я предложил ему послать сейчас же одного из ординарцев к Радецкому с донесением о том, что сделано и что предстояло сделать завтра, а также для испрошения инструкций, если бы таковые имелись, — это должно было хоть занять, успокоить его.

— Да невозможно съездить теперь к Радецкому и воротиться до утра, — ответил он.

— Напротив, я уверен, что возможно; пошлите Дукмасова, он бравый малый; скажите ему, что к утру завтрашнего дня он должен воротиться. Исполнит — дайте ему крест; не исполнит — под арест.

Скобелев согласился.

Я отыскал Дукмасова, сказал ему, чтобы он приготовился немедленно ехать через горы, и этот донец-молодец не моргнув пошел «справляться». Сказать правду, в 16–17 часов два раза переехать через Балканы, да еще подняться на Шипку к Радецкому и спуститься оттуда, и все это по ужасной дороге, сплошь запруженной войсками, — была шутка не легкая, однако Дукмасов исполнил это.



Ночевать мы воротились в Иметли. Вдоль линии неприятельских позиций, на местах бывшего расположения наших войск, ярко горели костры, держа в беспокойстве турок.

В деревне оказалось много сена, но жилыми помещениями она была не богата, так как большая часть домов была разрушена. На беду мою, конный болгарин, которого мне дали и у которого убили на рекогносцировке лошадь, наскучив, вероятно, таскать мои вещи, либо продал, либо бросил их и пропал сам; у него были мой бинокль, револьвер и другие нужные походные принадлежности. Особенно жалко мне было револь-

вера как одной из немногих вещей, доставшихся мне после убитого под Плевною брата моего Сергея.

Долго бродил я по деревне, между кострами, в поисках за болгаринном — аж измучился. Усталый и голодный, пошел в избу, отведенную для Скобелева.

— Нет дома.

Побродив еще, снова зашел.

— Все еще не приходил.

Ну, думаю, дождусь, иначе совсем плохо, есть нечего.

— Теперь, должно быть, скоро будет, — говорил казак его, — ужин готов.

У меня слюнки текли.

Вот, должно быть, и он; слышны у калитки шаги; в страшной темноте Скобелев наткнулся на казака и, должно быть, под влиянием недовольства сегодняшним днем, ударил его так сильно, что тот с ног слетел.

— Что ты мне под ноги лезешь, скотина!

— Потом, разглядевши меня:

— Это кто тут такой? Ах, это вы, Василий Васильевич!

Ну, извини, голубчик, — продолжал Михаил Дмитриевич, обращаясь к казаку, — поцелуй меня, не сердись!.. Пойдемте, Василий Васильевич, поболтаем за ужином. Эй! Дайте бутылку шампанского!

Пьяницей Скобелев никогда не был, но шампанское очень любил, пожалуй, даже слишком, и дядя его, всеильный тогда граф А., снабжал его иногда ящиками такого хорошего вина, о каком мы могли только мечтать и грезить. В Плевне, помню, он уверял, что уже допиваем последние бутылки, что через горы он не потащит ни одной, но, очевидно, это была только военная хитрость — так как нашлась еще заветная бутылочка, а завтра, если турки будут основательно побиты, найдется, вероятно, и еще одна. Собеседник мой был, однако, смущен, во-первых, думаю, неотвязною мыслью о том, что он не успел атаковать сегодня турок и что его обвинят в намерении провалить Мирского, а во-вторых, и тем отчасти, что я был невольным свидетелем того, как ни за что ни про что полетел

с ног бедный казак. Так разговор наш и вертелся опять более на неразумности атаки с малыми силами, на предположениях о том, что было сегодня в другом отряде и проч.

Я не знал, где приютиться в эту ночь, и очень обрадовался, когда нечаянно набрел на избушку, занятую ординарцами Скобелева. У них был разведен огромный огонь в камине; на полу, вповалку, мы отлично выпались.

Вся молодежь, окружавшая Скобелева, была далеко не модная, но она была хорошо обстреляна, невзыскательна и ежедневно поржала и летала через всевозможные опасности — истинно, боевая молодежь.



На следующий день я встал до света и сейчас же поехал на передовую линию в сопровождении казака, которого по распоряжению Скобелева дали мне из Донского полка, так как мой кубанец все еще «справлялся» и не являлся. Было сыро, стоял туман, кругом догорали солдатские костры. Скобелев что-то не торопился начинать дела, может быть, дожидался Дукмасова с Шипки от Радецкого. Уже совсем рассветало, когда я въехал на один из курганов вместе с Харановым, ординарцем Скобелева, для наблюдения за неприятелем. Бравый товарищ мой, осетинский офицер, не был расположен к писанию, почему я доносил генералу время от времени на лоскутках записной книжки о том, что мы перед собою замечали в движениях неприятеля.

Снизу мгла поднялась уже, и деревня Шейново с турецкими редутами и траншеями ясно открылась, но Шипка и все горы были все еще наполовину в облаках. В это время, как и всю ночь, у нас в долине и наверху на Шипке то и дело раздавались одиночные выстрелы, когда чаще, когда реже, но вяло, нехотя, без увлечения, — очевидно, с обеих сторон ждали, готовились.

Скоро с другой стороны деревни Шейново перестрелка стала усиливаться, — у того отряда, должно быть, снова завязывалось дело; у нас все еще было смирно.

Немало посмеялись мы с Харановым над нашим страхом быть отрезанными от отряда, а пожалуй, и захваченными в плен. Нас было только 3—4 человека, и мы были очень далеко впереди своих. Когда туман еще не поднялся, мы заметили 10 или 12 черных предметов, выделившихся из линии турецкой кавалерии и приблизившихся к нам; вот они остановились, по-видимому, осмотрелись и затем дружно, шеренгою направились далее на перерез нашему сообщению с отрядом; мы уже приготовились отступить, чтобы не дать себя отрезать, когда туман рассеялся и оказалось, что предполагаемые враги, казавшиеся во мгле внушительными, большущими, были здоровенные собаки, рыскавшие за остатками солдатских ужинов. Хорошо, что я не приписал Скобелеву в записке: партия черкесов отделилась от цепи и направилась... и проч.: вот бы засмеял он нас после; а смеялся он звонко, громко, с каким-то прихрипом: кхе-кхе-кхе-кхе!

В том отряде перестрелка очень усилилась — очевидно, опять разгоралась сильная битва. Я только что написал и послал генералу предложение сделать поиск к стороне Шейнова, для отвлечения сил неприятеля, как показался вдали генеральский значок, а вскоре прискакал казак от Скобелева: он приказал нам отойти, — и начал бой.



Из больших орудий так-таки и не притащили ни одного. Говорят, болгарское ополчение, перетаскивавшее их, выбилось из сил, но ничего не могло поделать. Я продолжаю думать, однако, что оно боялось за этую неблагодарною для него работою опоздать к решительному бою, почему и не довершило начатого дела, и что у Гурко, ногтями ли, зубами ли, орудия были бы доставлены. Пришлось опять ограничиться горными пушчонками. Зато кавалерия спустилась вся, т.е. полк московских драгун, полк петербургских улан и два полка донцов; из пехоты — стрелковая бригада, болгарское ополчение и все полки 16-й дивизии: Углицкий, Казанский,

Суздальский, Владимирский, — хорошие полки, знакомые Скобелеву по плевненским битвам.

Два последних, как особенно пострадавшие под Плевною, отдыхали, стояли в резерве.

Теперь отряд был в сборе; сегодня была уверенность в силе, а следовательно, и в успехе — сегодня разговор начался иной.



Первые пошли в атаку стрелковая бригада и болгарское ополчение, на правое крыло турок. Поднялась страшная трескотня: ура! ура! ура! Аллах! Аллах!..

В это время подъехал Дукмасов, подбоченясь, с улыбкою, но с сильно подбитою, почерневшею физиономиею — это он с размаха треснулся на перевале о дерево.

— Радецкий совершенно одобряет все, что я сделал, — сказал мне Скобелев, показывая только что полученную записку.

Лицо его при этом сияло искренним удовольствием.

— Вот видите! — ответил я ему. *****

Пока шла атака правого фланга турок, кавалерия наша была отправлена в обход левого, наперерез их сообщению с Казанлыком. Тут прежде всего сказались выгода того, что в дело были пущены все силы отряда; даже в лучшем случае, накануне, турки только отступили бы, так как не было кавалерии, чтобы отрезать им путь. Сегодня же им предстояло или разбить, отогнать нас, или сдаться, потому что идти назад было нельзя: там были наши драгуны, уланы и казаки.

Тем временем масса раненых тянулась от нашего левого крыла, пошедшего в атаку; число их делалось все больше и больше; вот уже отходят целыми кучками... Что это? Смотрю и глазам своим не верю: вон десятки, сотни сначала пятятся, потом поворачиваются... отступают... Весь отряд отступает — нет сомнения, наши отбиты!

— Михаил Дмитриевич! — говорю, — ведь наши отбиты начисто!

Не отводя глаз от бинокля, Скобелев так и впился в место битвы.

— Это бывает, — ответил он как-то странно шутливо.

Он вызвал немедленно Панютина с Углицким полком.

— С Богом, проходите вперед, я дам знать, когда начинать.

— Слушаюсь, — ответил тот, молча снял шапку, перекрестился; молча снял шапки и перекрестился следом за командиром весь полк.

Как я заметил уже раньше, у Панютина давно чесались руки, поэтому опять он не заставил два раза повторять приказание — так и зашагал.

— Жидов сюда, — скомандовал Скобелев.

Это значило: «музыку сюда», так как большинство музыкантов обыкновенно из евреев.

Под музыку, равняясь, как на ученье, с развернутыми знаменами, прошли вперед углицкие батальоны, весело отвечая на приветствие генерала.

— Если отобьют Панютина, я сам поведу войска, — сказал Скобелев, снова занявшийся биноклем.

Мне приходилось быть во многих сражениях, но, признаюсь, никогда еще не доводилось видеть такой стройной, правильной атаки: «Долина Роз» приняла вид «Царицына луга» в день смотра. Наступавшие шли под звуки маршей, в резервных полках играли «Боже, царя храни» и «Коль славен». Только один батальон из резервов, шедших занять место атаковавших, нес знамя в чехле, — я подъехал и приказал «развернуть знамя».

— По чьему приказанию? — спросил адъютант.

— Генерала Скобелева.

Михаил Дмитриевич уверял потом, что он был умница в этот день, держался вне огня, но, очевидно, это надобно было понимать относительно: нас просто обсыпало гранатами. Турки стреляли сначала по резервам, но потом заметили нашу

группу, и с полдюжины гранат ударилось так близко от Скобелева, что он потерял терпение и сердито закричал на столпившихся около него казаков с лошадьми:

— Да разойдитесь вы, черт бы вас побрал, перебьют вас всех, дураков!

Неутомимый граф Келлер, уехавший куда-то распоряжаться, долго не возвращался, и мне пришлось написать несколько приказаний Скобелева — чистое наказание. Помню, что он велел переменить заключительную фразу записки, посланной начальнику кавалерии генералу Дохтурову, написанную в смысле совета действовать решительнее. Побудило меня написать эту фразу то, что на наших глазах одна из кавалерийских колонн от удара в середину ее гранаты шарахнулась в сторону и затем приуменьшила шаг.

— Это старый генерал, — сказал мне Скобелев, — я не могу так писать ему.

Еще помню, что в записке к генералу Мирскому я забыл выставить число и час, за что хозяин рассердился на меня. Кстати подъехал граф Келлер.

— Что это вас никогда нет! — обрушился на него С., — пишите скорее...

Я рад был, что дешево отделался, и принялся рисовать — это было мне сподручнее.

Панютин был уже впереди, но еще не начинал решительной атаки, и Скобелев послал ординарца П. с приказанием начать штурм.

Стоя в это время близко, я прибавил: «Да скажите, чтобы резервы держал недалеко!» Генерал опять осерчал:

— Да Василий Васильевич, ведь не учить же людей, когда они идут в огонь!

А почему бы и нет, думалось мне, учить не учить, а посоветовать...

Много позже, год спустя, когда я ездил снова в Болгарию, встретился мне в Шейнове стрелковый офицер, капитан Кашталинский, имевший репутацию очень храброго и распорядительного. Я спросил его, почему они были отбиты, — он

отвечал буквально: «Потому что резервы были далеко; солдаты пошли очень хорошо, но, встретив сильный отпор, оглянулись, видят, поддержка далеко, — и пошатнулись».

Панютин пошел храбро; сохраняя порядок, подошел он к турецким траншеям на близкое расстояние, не стреляя, только по временам приказывая своим людям ложиться.

— Смотрите на Панютина! Михаил Дмитриевич, — говорю Скобелеву, — как славно он идет, он совсем молодцом!

— Я вам скажу, — ответил Скобелев, отнявши на минуту бинокль от глаз и поворачиваясь, — «Панютин — это бурная душа!»

Так и вижу милого Скобелева в сюртуке и пальто нараспашку, как он, широко расставив ноги, — сабля, отброшенная наотмах, — следит в бинокль за ходом битвы. По временам, не переменяя позы, отдает приказания или, когда делается очень жарко, т.е. по нем начинают крепко стрелять, снова посылает «к черту» жмущихся в кучку казаков с лошадьми; значок его крепко привлекает выстрелы — и значок послан «к черту».



Перед нами синею полосою рисовалась дубовая роща, в которой расположена деревня Шейново; оттуда поминутно показывались отдельные дымки орудийных выстрелов и стлался сплошной дым ружейных. Налево тяжелые белесоватые тучи застилали верхнюю половину всех гор, в том числе и Шипки; с той стороны тоже слышался теперь гул орудий и трескотня ружей: очевидно, Радецкий решил-таки атаковать с фронта.

Я сделал набросок поля битвы, наметил места турецких орудий, место штаба Скобелева и проч. Пока я писал, помню, осколок гранаты, уже потерявший отчасти силу, но еще способный перебить ногу, катился по направлению к моему стулу: я смотрел на него и загадывал, докатится или не докатится? Докатился и остановился у самых ног — любезно! Осколок этот хранится у меня.

В поддержку угличанам Скобелев послал казанцев, которые должны были ударить левее Панютина в центр турок.

— С Богом, братцы, да пленных не брать!

— Рады стараться, ваше превосходительство.

«Пленных не брать» в переводе на обыкновенный язык значит «колоть всех без пощады». Я напомнил Скобелеву эту фразу на другой день.

— Зачем вы это сказали?

— Да будто я это сказал? —

спросил он с удивлением. Очевидно, фраза эта просто сорвалась у него с языка, но туркам от нее не поздоровилось.

Угличане, а за ними казанцы совершенно выбили неприятеля из траншей и редутов, — казанцы довершили работу первых. Панютин, взяв в руки знамя, сам вел солдат, и, конечно, он своей отвагой в значительной мере решил участь сражения.

Замечательно, что тот же самый полк, здесь ни на минуту не замывшийся, шедший вперед, ложившийся, снова шедший вперед, снова ложившийся, как на ученье, — под Плевною, предводительствуемый N.N., как засел в виноградниках, так и не вышел из них — до такой степени храбрость солдат зависит от храбрости командира.

Было очевидно, что битва выиграна. Скобелев сделался менее нервен, смеялся, шутил. Когда подошел Столетов, я шепнул Скобелеву, чтобы он помирился с ним, и Михаил Дмитриевич протянул руку: «Ну, помиримся, ну, не сердитесь»... Хотя старик и упирался сначала, но в конце концов «превосходительства» обнялись и поцеловались.

Дело в том, что еще во время атаки болгар Столетов, подошедший к Скобелеву с каким-то замечанием, услышал от



Генерал Н.Г. Столетов.

него вместо ответа: «Подите прочь от меня!» Я совсем поражен был такою необычайною резкостью и спросил, что это значит, за что это?

— А за то, — отвечал Скобелев, — что он не на месте: коли его часть идет в атаку, так его место там, а не здесь, около меня; я этого не люблю...

Но более всего попало за время этого сражения от скобелевского сердца приятелю моему Немировичу-Данченко. Воротившись от атакующих, не успел он обратиться с чем-то к генералу, как тот освирепел:

— Василий Иванович, пожалуйста, уйдите прочь!

Н.-Д. отъехал в сторону.

— Нет, совсем, совсем прочь!

Н.-Д., впрочем, был и после приятелем Скобелева, не любившего терять дружбу талантливых людей.



Было уже, кажется, около двух часов, когда привели или, вернее, приволокли к Скобелеву пленного пехотного турецкого офицера, на лошади, сообщившего, что их дело окончательно проиграно, — все бежит, спасается от погрома, полного, решительного.

С офицером этим хорошо обошлись, и он потом несколько дней ездил в свите Скобелева, где ему понравилось; он сдан был под покровительство Х., с которым вместе ел, пил, спал и галопировал за «белым генералом». После главнокомандующий, заметивший в свите Скобелева этого странного ординарца, сказал М.Д.:

— Смотри, он у тебя не сбежал бы?

— Нет, ваше высочество, не сбежит, — отвечал Скобелев. И точно, пленный так привязался к генералу, что его потом насилу могли отослать.

Вскоре вслед за тем во весь опор прискакал казак:

— Ваше превосходительство! Турки выкинули белый флаг!..

Генерал тотчас же сел на лошадь и поскакал в Шейново. Мы летели стремглав через множество убитых; чем ближе к деревне, тем более попадалось тел, сначала наших, а потом и турок, которые грудami наполняли траншеи и батареи; оруди́нная прислуга и защищавшая ее пехота, очевидно, остались при местах и были переколоты — солдаты наши буквально исполнили приказание Скобелева. Проскакав часть Шейнова, мы поворотили налево, несясь наудачу, не зная, где турецкий главнокомандующий и его белый флаг. Немирович-Данченко, помню, зацепился за дерево и чуть не вылетел из седла; тем не менее он был, видимо, счастлив и цвел удовольствием. Очень талантливый литератор и на диво сколоченный натурою человек, он был один из самых неутомимых корреспондентов, каких только мне случалось встречать, и решительно всюду попевал на своей маленькой, юркой лошадке, имевшей, по его словам, какие-то особенные качества — непоследним из них, конечно, была выносливость, способность таскать на таких тщедушных четырех ногах такую плотную, вескую фигуру.

Нам попались толпы пленных, и, кроме того, Скобелеву донесли, что кавалерия отрезала дорогу 6000 турок, отступивших было к Казанлыку. Попались наши солдаты в таком беспорядочном виде, такими толпами, что начальству их тут же крепко досталось от генерала. Встретился и Панютин, совершенно охрипший, но, несмотря на это, шумевший еще более обыкновенного; это, впрочем, легко объяснялось возбуждением дня, — от старших офицеров до солдат все, участвовавшие в деле, как будто сговорились охрипнуть сегодня. Панютин потерял за штурм много народа; когда ему говорили потом об убыли из полка полутора или двухсот человек, он презрительно махал рукою, дескать, «не стоит с вами и разговаривать, у меня вышло 350!».

Масса трупов валялась кругом, так же как и всякого оружия. Долго ли, коротко ли носились мы в пространстве — то направо, то налево — в поисках за турецким главнокомандующим; наконец выбежал навстречу Скобелеву стрелковый полковник Z. с саблею Весселя-паши.

— Где же он сам?

— Вон, под большим курганом, в маленьком бараке!

Этот большой курган был сверху донизу покрыт турецкими солдатами, побросавшими свои ружья

и амуницию и апатично ожидавшими своей участи, — на всех лицах было как бы написано: «Хуже того, что было, не будет». Под курганом крошечный деревянный барак, перед дверями которого стоял пожилой турецкий генерал, брюнет с сильною проседью, с суровым, нахмуренным лицом, что называется, туча тучею, — это и был Вессель-паша, главнокомандующий шипкинскую турецкою армией. Сзади и кругом него было множество офицеров, человек пятьдесят, я думаю, и между ними четверо пашей.

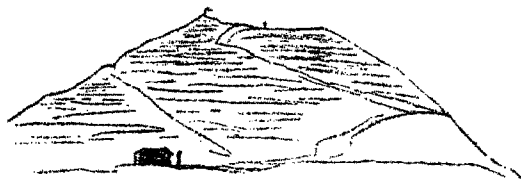
Немного не доезжая до турок, Скобелев круто остановил коня и послал им сказать, «чтобы подошли к нему». Еще более нахмуренный, двинулся Вессель-паша, за ним паши и все офицеры.

Михаил Дмитриевич начал говорить очень любезно, попробовал, для позолоты пилюли, хвалить храбрость его войск, но ни одна морщина не разгладилась на челе побежденного воина; он молчал и злобно глядел на Скобелева; так же неприветливо смотрели и все офицеры. Тогда Скобелев переменил тон разговора.

Прежде всего он обратился ко мне и тихо сказал:

— Поезжайте скорей к генералу Томиловскому, скажите, чтобы он, нимало не медля, отвел пленных от ружей. Я имею сведение, что Сулейман-паша идет сюда из Филиппополя, и боюсь, что при первом известии об этом турки снова схватятся за оружие. Чтобы он сделал это быстро и толково, слышите!

Я поскакал, передал приказ с пояснением и на возвратном пути, въехав на большой курган, снял себе на память развевавшийся на нем белый флаг; это был большой кусок белой



Главный турецкий редут под Шейновом с белым флагом. Внизу землянка Весселя-паши, занятая Скобелевым.

полушерстяной, полуселковой материи с полосами, как раз пригодный для украшения моей мастерской, — но, увы, не будучи в состоянии таскать его с собою, покамест с дозволения Харанова я передал эту «находку» его денщику, а тот, конечно, с дозволения же своего барина потерял его.

Турки с великою боязнью следили за тем, как я снимал флаг, представлявший наглядный конец их теперешних бедствий, и думали, может быть, что за сим последует избиение их.

Скобелев резко обратился к Весселю, все еще имевшему сердитую гримасу на лице.

— Сдается ли Шипка?

— Этого я не знаю!

— Как не знаете? Да ведь вы главнокомандующий!

— Да! Я главнокомандующий, но не знаю, послушают ли они меня.

— А если так, то я сейчас же атакую Шипку, — и, чтобы подтвердить угрозу делом, он приказал двинуть по направлению к перевалу резервную бригаду, Суздальский и Владимирский полки.

Сказать правду, угроза атаковать Шипку, эти страшные снежные громады, высившиеся над нами, да еще одною бригадою, была просто смешна, и турки должны были быть очень удручены, коли приняли ее всерьез; тем не менее между турецкими офицерами произошло движение, они перебросились несколькими фразами и Вессель заговорил уже помягче:

— Пойдите, пойдите, я пошлю туда моего начальника штаба.

Этот начальник штаба, полковник, вместе с нашим генералом Столетовым, говорившим по-турецки, отправились на перевал. Впрочем, еще ранее бравый Харанов вызвался слезть туда и сообщить Радецкому о результате битвы.

В ожидании ответа бригада все-таки двинулась к горам, под музыку, церемониально, на больших дистанциях, чтобы войска казалось больше! Мы, а за нами и турецкие офицеры с Весселем во главе, тронулись туда же. По дороге я сказал Скобелеву:

— Помните, вы сомневались, не дурно ли вы делаете, собирая все силы для удара? Смотрите, какой результат, какой разгром!.. — Он молча слушал с довольным видом. — А все-таки вы еще горячились...

— Будто я горячился?

— Положительно, хотя и меньше, чем прежде... — Опять он смотрел довольно, спокойно, нервность уменьшилась.

Генерал опять поразослал своих ординарцев, а некоторые и сами куда-то улетучились, так что мне опять пришлось развозить его приказания. Когда мы двигались к горам за Скобелевым, были только Немирович-Данченко, казак со значком и я, что, вероятно, немало смущало пашей, видевших русско-



Верещагин зимой 1877—1878 гг.

го героя, перед которым они положили оружие, в таком мизере, почти без свиты. Они, кажется, сомневались уж, настоящий ли это Скобелев, по крайней мере один из пашей допрашивал меня о чинах и отличиях нашего генерала, причем, по-видимому, его смутило то, что победитель их только генерал-лейтенант, а не полный генерал. Я не мог не улыбнуться тому, что, когда я передал их начальнику штаба какое-то приказание по-французски, он, оглядев мой полувоенный, полуштатский наряд, спросил:

— Позвольте узнать, вы кто такой?

— Я — секретарь генерала!

На мне была короткая румынская шуба на длинном белом бараньем меху, большая казачья папаха и шашка через плечо. Только офицерский Георгиевский крест сглаживал немного излишнюю живописность этого костюма.

Скобелев серьезно побаивался, как бы шипкинский турецкий генерал не заупрямился, особенно ввиду настойчивых слухов, сообщаемых со всех сторон болгарами, о движении сюда Сулеймана-паши, — слухов, вероятно, дошедших и до турок и оказавшихся верными лишь наполовину: Сулейман действительно двигался со стороны Филиппополя, но не победоносно, а отступая, разбитый генералом Гурко.



Очевидно, ответа с Шипки нельзя было ждать скоро, и мы поместились на перерезе дороги туда.

Скобелев объехал ряды и везде говорил с солдатами, больше приятельски, чем начальнически:

— Вот, видите, братцы, я всегда говорил вам: слушайте своих начальников; сегодня вы исправно исполнили приказание и сделали дело как следует — то же самое будет впереди...

Шипка сдалась в конце концов без протеста, но известие об этом получено было поздно, мы не дождались его и уехали за Скобелевым домой. Дорогой наткнулись на смешную сцену: милейший Дукмасов, так исправно исполнивший трудное дело поездки через Балканы и обратно, не утерпел, чтобы не проявить свою казацкую сноровку также и здесь: куда-то запропастившийся, он вдруг оказался на дороге, и не один, а тянул за уздцы двух больших, красивых, серой шерсти коней, взятых из турецкого артиллерийского парка. Увидев Скобелева, он очень сконфузился, стал дергать лошадей изо всей силы, а те, испуганные нашим приближением, как нарочно, уперлись и загородили дорогу — картина! Скобелев отвернулся и объехал злополучную группу; мы посмеялись от души.

Из отряда Мирского приехал С. и стал горячо уговаривать Скобелева съездить к князю, как к более старшему годами. После некоторого колебания Михаил Дмитриевич согласился, и мы поскакали на ту сторону деревни Шейново, где среди поля сидел перед столом, скрестив на груди руки, генерал Мирский. Когда Скобелев подскакал и, сойдя с лошади, подошел к столу, генералы обнялись *****

Михаил Дмитриевич занял маленький деревянный барак Весселя-паши. Я уехал ночевать в Иметли, так как он просил навестить от его имени раненого генерала Z., командира 1-й бригады 16-й дивизии, перешедшей теперь временно в команду Панютину. Ранен был также в руку граф Толстой, помощник Столетова по командованию болгарским ополчением. Вяземский, кажется, остался цел. Вообще говоря, потери наши были значительные. У болгар, дравшихся отчаянно, много выбыло из строя; Панютин, как уже сказано, потерял свыше



Генерал Н.И. Святополк-Мирский.

300 человек. Стрелки потеряли еще больше, — и их brave начальник Меллер-Закомельский не мог нахвалиться ими.

По поводу стрелков я скажу здесь несколько слов: они образуют отдельные батальоны, идущие впереди других пехотных частей при начале дела, а затем обыкновенно и при самой атаке; вследствие этого и потери их бывают значительнее, чем в других частях. В гвардейском отряде эти сравнительно большие потери стрелков вызвали неудовольствие высших начальников, и решено было поберечь стрелков. Каким образом? Вести их впереди при начале дела, но пускать в атаку лишь в случае нужды, по возможности после других частей, что я нахожу непрактичным: момент атаки не всегда может быть с точностью определен вперед, часто начальник выбирает удобную минуту, зависящую как от состояния неприятеля, так и от настроения своих солдат; воротить передовую часть, когда она только что вошла в задор, разошлась, когда у нее раззудились руки, кажется мне невыгодным для дела. Говорят, стрелки дороги, их надобно беречь, потому что обучение их труднее, чем других частей пехоты, — правда, но

зато и обескураживать солдат в решительную минуту — опасно! Лучше всего, конечно, вовсе не воевать, но уж если драться, так ничего не жалеть.



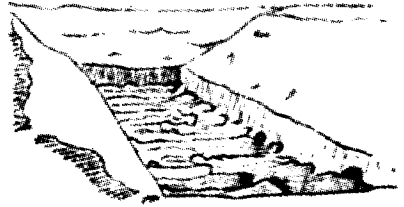
По дороге в Иметли я побродил еще по полю битвы. Удивительно было, что траншейные рвы оказались заваленными убитыми: я объяснил себе это тем, что укрепления были не готовы, турки только еще работали над ними, когда наши пошли в атаку, поэтому, не рассчитывая на защиту таких ничтожных работ, они встретили наших не за укреплениями, а впереди их.

В одном месте, смотрю, возьтятся солдаттики около огромного турка: он еще не умер, о чем дает знать тяжелыми вздохами и мычанием, но воины наши не обращают на это ни малейшего внимания, выворачивают ему все карманы, подпарывают куртку и все складки; поднимают его, снова бросают наземь и ворочают, как куль с мукою; бедняга не то стонет, не то рычит! А какой здоровенный детина этот турок, кабы ему да силы — как бы он сумел расправиться с искателями сокровищ!

Батарей правого неприятельского фланга буквально наполнены мертвыми телами; лошадь моя шарахнулась, отказалась войти в середину этого мертвого круга; внутри одни турки, их тут просто кололи; вне — попеременно наши и турки, здесь еще дрались.

Один труп невольно привлекал внимание: молодой человек, что называется зеленый юноша, из вольноопределяющихся, лежал поодаль от других, навзничь, руки и ноги широко раскинуты, глаза широко открыты и смотрят на небо, — видно, убит наповал. Сапоги, как самая нужная в походе вещь, сняты, карманы выворочены, и письма в огромном количестве разбросаны вокруг — искали, очевидно, не корреспонденцию его. Впрочем, золотой крестик и образок на золотой же цепочке были не тронуты — доказательство того, что ограбившие труп были не турки.

Я подобрал все эти письма, заглянул в них и узнал, что это юноша из дворянской семьи с Юга России, собиравшийся было служить в акцизном ведомстве, но по объявлении войны возгоревший желанием послужить Родине на поле брани. Вся нежность матери сказалась в этих письмах: она благословляла его несчетное число раз, умоляла беречь себя, извещала о посылке ему с оказиею любимого им варенья и проч. Пробегая эти письма, я стоял около молодого человека и по временам взглядывал на него; можно было подумать, что он прислушивается к моему чтению вестей с родины, так пытливо смотрели вверх его широко раскрытые, хотя и помутневшие глаза, такое удивление, вместе с глубоко затаенною печалью, сказывалось на его хорошеньком личике нежного цвета, с едва пробивающимися усиками. Я отослал эти письма матери убитого и сколько же благословений получил от нее — слезы набегают при одном воспоминании.



Братская могила.



До поздних сумерек бродил я по полю битвы, присматриваясь к физиономиям и позам убитых. Особенно поразительны из них фигуры убитых наповал: некоторые еще держат ружья, а руки по большей части у всех так и остаются застывшими в том положении, как застала смерть, причем глаза открыты, зубы стиснуты.

Фигура какого-то пехотного солдатика несколько раз мелькала мимо меня; я думал, он тоже ищет денег на убитых или подыскивает себе подходящие сапоги, — нет, он подходит только к офицерам, наклоняется, заглядывает в лицо и спокойно, не торопясь, идет к другому. Я стал следить за ним: вижу, наклонился... да так и приник к труп; нежно, отечески поцеловал его, потом начал оправлять одежду, очищать ее от снега,

голову положил попрямее, сдвинул веки насколько мог, сложил закостеневшие руки на груди и, еще раз бережно опавнув платье и земным поклоном попрощавшись с телом, отошел. Это денщик, не отыскавши барина между здоровыми и ранеными, пришел разыскивать между мертвыми — опять слезы душат при воспоминании: спасибо тебе, добрый, верный драбант, спасибо за этого незнакомого мне, но, верно, хорошего барина твоего.



Приехав в Иметли, я навестил прежде всего раненого Z., командира бригады, и передал ему любезное приветствие его начальника, а также осведомился о состоянии раны его, — она оказалась не тяжелая, и была полная надежда на излечение.

В избе наших молодых людей я просто ахнул от удивления: добрая часть ее, от пола до потолка, была наполнена лошадиною упряжью, раздобытой запасливым Дукмасовым вместе с тройкою отличных лошадей, стоявших около хаты; после победы парень опять куда-то пропал, но времени, очевидно, не потерял.

— Куда вы это все денете? — спрашиваю.

— На Дон отошлю, — отвечал казачок, видимо, удивленный моим наивным вопросом.

Грешным делом и я раздобыл маленькую турецкую лошаденку, но я выменял ее у турка, дав ему 10 рублей придачи, на бывшего у меня одра, загнанного еще покойным братом моим Сергеем. Добытый серенький, маленький чертенок, постоянно носившийся марш-маршем, сменил моего рыжего иноходца, совершенно замученного за эти дни. Однако от этих невинных соображений и мен с придачею было далеко до гениальной донской смекалки, очевидно, руководившейся и оправдывавшейся одиннадцатою заповедью: «Не зевай!».



Когда я воротился на другой день в Шейново, мне сказали, что Скобелев давно уже спрашивал, хотел видеть меня. Я нашел его садящимся на лошадь для осмотра войск. Мы поехали потихоньку, шажком, и он начал с того, что сказал:

— Дайте мне, Василий Васильевич, слово, что вы исполните то, о чем я вас попрошу.

— Извольте.

— С. начинает интриговать... * * * * * Съездите в главную квартиру, расскажите его высочеству, как дело было; он знает, что вы не скажете неправды, что вы ничего не ищете, и поверит вам более, чем кому-либо другому.

— Признаюсь, Михаил Дмитриевич, такое поручение крайне мне неприятно; я всегда осторожно держался в главной квартире, и хотя великий князь всегда был добр ко мне, но ведь он может просто сказать мне, что это не мое дело...

— Нет, не скажет, поезжайте, сделайте это для меня, вы обещали!

— Хорошо, поеду!

Однако с официальным донесением я посоветовал послать офицера главной квартиры Чайковского, бывшего все эти дни при отряде Скобелева, которого я знал за хорошего малого, не способного сочинять небылицы.

Тем временем мы выехали из дубовой рощи, закрывавшей деревню. Войска стояли левым флангом к горе Св. Николая, фронтом к Шейнову.

Скобелев вдруг дал шпоры лошади и понесся так, что мы едва могли поспевать за ним. Высоко поднявши над головою фуражку, он закричал солдатам своим звонким голосом:

— Именем Отечества, именем государя, спасибо, братцы! Слезы были у него на глазах.

Трудно передать словами восторг солдат: все шапки полетели вверх, и опять, и опять, все выше и выше. «Ура! Ура! Ура! Ура!» — без конца. Я написал потом эту картину * * * * *

* * * * *

Увидев после Весселя-пашу, я предложил ему отправить через меня из главной квартиры телеграмму в Константинополь, на что он согласился и приказал об этом своему начальнику штаба; тот написал мне на клочке бумаги по-французски:

«После многих кровопролитных усилий спасти армию, я и паши такие-то (следуют имена четырех пашей) сдались с армиею в плен. Вессель».

Также старшие офицеры наши просили отправить депеши своим родным, товарищам: Столетов, граф Толстой, Панютин и др. К телеграмме последнего, извещавшего семью и бывших офицеров его полка о том, что «Бог сподобил его поколотить турок», я прибавил еще свою телеграмму с уведомлением о том, что «полковник Панютин за свою блистательную атаку может быть назван героем дня шейновского боя». П. бросился целовать меня, когда узнал об этом.



Сейчас же я и поехал с моим экстренным поручением через горы в Сельви, где должна была теперь находиться главная квартира. Вместе со мною собрался ехать и Немирович-Данченко, желавший побывать на Шипке, чтобы дать отчет в газете о тамошних делах и деятелях.

Редко случалось мне смеяться так, как я смеялся тут при выезде благодаря приятелю, который был уже не на куцей, крохотной лошаденке своей, получившей роздых, — и не напрасно, — а на высоком, худощавом россинанте, одолженном ему Дукмасовым, запасшимся теперь новенькими, свеженькими лошадками и, очевидно, бывшим не прочь сбыть «по случаю» старый, залежавшийся товар.

— Где вы достали этого одра? — спрашиваю.

— Хочу попробовать: Дукмасов продает ее, это настоящий донец, кровный донец, — прибавил он, садясь в седло.

С первых же шагов, однако, в кровном донце оказались качества, недостойные его репутации: он зашагал невозможно

медленно и, лишь только Н.-Д. вздумал заставить его прибавить шагу, начал брыкаться, что дальше, то больше; тот ударил плеткою, этот брыкнул; тот опять — и этот опять: Н.-Д. стал бить не переставая; донец стал брыкаться не переставая.

Я хохочу до слез, а Немирович-Данченко сердится и не только бьет своего коня, но еще приговаривает:

— Постой, подлец, я тебя проучу, я тебя убью. Экая свинья этот Дукмасов, еще продать хотел мне эту дрянь. Я тебя куплю, постой!.. Прежде пойдешь у меня, погоди!

Его обыкновенно доброе, довольное лицо совсем исказилось от гнева; а лошадь под ударами плетки, без перерыва хлопавшей по ее худощавым бокам, начала просто кружиться, кружиться, опустив голову, вскидывать хвост и брыкаться!.. Я думал, заболею от смеха.



В деревне Шипке мы нашли все разрушенным: кроме церкви, не уцелело ни одного дома.

Мы стали подниматься на гору по шоссе. Турецкие солдаты копались везде по землянкам, укладывали свое жалкое добро в мешки и приготавливались шагать по горькому пути плена.

У самой верхней траншеи, сильно укрепленной, против нашего последнего пункта, скалы, я был поражен страшною массою русских мертвых, валявшихся тут чуть не один на другом.

Замечательно много убитых было наповал, это видно было по странности поз — кто с руками, поднятыми для стрельбы, кто лягушкою, на карачках и т.п. Около самого турецкого бруствера тел вовсе не было — доказательство, что на штурм самих турецких укреплений наши не ходили, а лишь дошли до широкой канавы, прорытой в некотором расстоянии от траншеи, да там и засели; по месту нахождения и расположению тел в этом нельзя было ошибиться.

Я отправил отсюда свою лошадь окружным путем, по шоссе, а сам начал подниматься к скале напрямик, по тем самым

местам, по которым Сулейман-паша вел свою бешеную атаку на Шипку. Скоро стали попадаться тела турок, оставшиеся еще от этих штурмов, в платях, с кожей, прилипшею к костям на оконечностях, а внутри, под одеждами, представлявшие нечто сильно разложившееся... Скоро пришлось ступать по этим размягченным трупам — так густо вся местность была устлана ими. Местами тела лежали в два ряда, один на другом, и нога просто уходила в эти жидкие массы, едва прикрытые снегом, как в болото. Запах был невыносим, меня тошнило: однако так как возвращаться назад не хотелось, то и надобно было идти вперед, поминутно окунаясь руками и ногами в мертвечину.

Правду сказать, восход тут так труден, что я дивился храбрости турок, сумевших не только просто карабкаться, как то с трудом делал я, а атаковать по такой крутизне.



Последняя турецкая атака на Шипке.

«Тьфу ты, черт! — думалось, — вот сейчас упадешь от этого убийственного запаха, и никто даже знать не будет, что живой человек валяется между трупами. По счастью, на скале, наверху, показался солдат.

— Братец мой! — кричу ему, — выручай!

Он спустился, дал мне руку и вытащил на скалу, где можно было вздохнуть свободнее — точно поднялся из Дантова ада.



В старознакомой мне, еще по сентябрю, землянке я нашел генерала Мольского, с которым мы распили по случаю победы бутылку шампанского.

Насветевича не было — он пошел принимать от турок оружие и знамена.

Вечером я пошел в землянку старого моего туркестанского знакомого генерала Петрушевского.

Я застал в ней целую компанию — самого Петрушевского, затем начальника штаба Радецкого Дмитровского, командира бригады Бискупского и помянутого уже полковника С., офицера Генерального штаба, бывшего теперь при Мирском.

Шел горячий разговор, утихший при мне, но смысл которого потом выяснился: винули Скобелева за то, что он не поддержал атаку третьего дня и, не спросив позволения, дождался, пока собрал все силы, ударил на турок и заставил их положить оружие — только вчера!

Много раз уже мне случалось видеть, как после битвы даже лучшие приятели начинают подставлять друг другу ногу. Тут дело осложнялось еще тем, что М.Д. Скобелев давно провинился перед своими приятелями, крепко обогнав их, — естественно, что ему нечего было ждать пощады. Подвиг Скобелева уменьшал заслугу шипкинцев в этот день и крепко умалял результат спешной атаки другого отряда... Рассудительный и вообще довольно справедливый Петрушевский больше помалчивал, когда на Скобелева нападали,

а я его защищал; мне казалось, что и у П. симпатии были на противоположной стороне.

— Что вы думаете, Василий Васильевич, что все дело сделал один Скобелев и что, например, наша атака ни к чему не повела? — спросил меня Дмитровский.

— Нет, я никоим образом не думаю этого. Ваша атака должна была страшно напугать турок и заставить их решиться положить оружие. Очень естественно, что, атакованный с обоих флангов, Вессель окончательно потерял голову, когда услышал, что и вы с фронта двинулись. Я искренно полагаю, что каждый сделал свое дело, но все-таки не могу не думать, что главная роль дня выпала на долю Скобелева... *****



Я не имел времени заехать к генералу Радецкому, за что он после крепко пенял, и добрался до Габрова в санках Бискупского.

Только что выехавши из Габрова по направлению к Сельви, я встретил человека из главной квартиры, удостоверившего, что его высочество главнокомандующий уже едет сюда; поэтому я воротился и переночевал в Габрове у брата моего, жившего здесь для окончательного заживления своей раны. Он проживал вместе с родственником нашим Дубасовым, братом известного моряка, бравым шипкинским артиллеристом, тоже лечившимся.

Мы больше проболтали, чем проспали эту ночь, и наутро, в ожидании приезда великого князя, я пошел в помещение бывшего женского монастыря, обращенного в госпиталь, — навестил Куропаткина и Ласковского, там лечившихся. Последний оказался «в лучшем виде», и была основательная надежда на его скорое и полное выздоровление. Но К. смотрел плохо: был нервен и вдобавок в сильнейшем жару, — жутко было смотреть на его красное, воспаленное, прямо лоснившееся-

ся лицо. Я позволил себе распорядиться без церемоний: приказал настлать везде войлока, войлоком же обтянуть дверь, которая поминутно стучала и, видимо, беспокоила больного, а турок, наполнявших двор и галдевших под самыми окнами, просто вытурил вон, за ограду госпиталя. Кроме того, отозвав в сторону милую сестрицу милосердия, наказал ей соблюдать полную тишину и беречь К. как зеницу ока, хоть бы по той причине, что другого такого Куропаткина нет — он представляет-де некоторым образом уника.



Как только великий князь приехал, я отправился в занятый его высочеством дом. Первые, кого я встретил здесь, были Скалон и Скобелев-отец.

— Вы из отряда?

— Вы от Миши? — И сейчас же г-звели меня к его высочеству.

Я рассказал, что я знал и как я знал, по совести, не вдаваясь в технические подробности, ни в похвалы или порицания, которые, конечно, не были бы приняты. Чтобы видеть, какое впечатление произвел мой рассказ, я сказал:

— Упрекают Скобелева за то, что он не атаковал турок днем раньше, но это было материально невозможно; отряд его еще не спустился, и нападать с ничтожными силами было крайне рискованно; даже в счастливом случае большая часть неприятеля ушла бы, так как у нас не было кавалерии, чтобы перегородить неприятелю дорогу...

— Ну разумеется, так, — ответил мне главнокомандующий.

Я сказал потом старику Скобелеву, что приехал по просьбе сына его.

— Да вы бы сказали его высочеству, сколько взято орудий, знамен, а то вы только и говорили, что атаковали стройно да с музыкой...

— Ну, рассказывал, что знал, — об орудиях и прочем узнает великий князь и без меня.

Потом из разговора со Скалоном я узнал, что есть намерение заключить мир теперь же.

— Не может быть! — заметил я, — сейчас скажу ему это.

— Скажите! Вы можете...

Я воротился:

— Ваше высочество, я имею сказать вам несколько слов.

— Пожалуйста!

Князь Черкасский, тем временем вошедший к главнокомандующему, любезно уступив место, вышел.

Великий князь велел было подать себе лошадь, чтобы навестить раненых офицеров, но так как на дворе стояла гололедица, а до госпиталя было рукой подать, то я предложил пройтись лучше пешком. Народ приветствовал его восторженно.

Необходимо сказать, что великий князь — главнокомандующий был очень популярен; его доброта, доступность, простота обращения были хорошо известны, и везде, где показывалась его стройная, чрезвычайно красивая фигура, встречали и провожали его искренними приветствиями.

Я сказал его высочеству, что распорядился вывести турок из этого госпиталя, так как они слишком беспокоили наших офицеров, что он одобрил. Он долго беседовал с Куропаткиным и Ласковским, а затем обошел других раненых.

На следующий день главная квартира должна была перевалить через горы и расположиться в Казанлыке, а по дороге его высочество должен был осмотреть войска *Радецкого*, *Скобелева* и *Мирского*.



Я поехал назад, чтобы отдать приятелю отчет в данном им поручении, — худо ли, хорошо ли — исполненном.

На Шипке была такая вьюга, что сильнее ее, кажется, трудно себе и представить, — даже те, что в Сибири, бывало, заставляли кружить целую ночь около станции, не были так ужасны. Петрушевский крепко настаивал на том, чтобы я остался у них переночевать, но я не послушался, напился чаю и поехал дальше. «Василий Васильевич сделался дипломатом», — заметил милейший П., понявший, что я недаром ездил навстречу главной квартиры. Однако, признаюсь, потом я раскаялся: снежная буря была до того сильна, что не только верхом, но и пешком двигаться было невозможно. Ветер дул с такою силой и по дороге стояла такая гололедица, что и меня с казаком, и наших лошадей все время сбивало с ног.

Уже и вспомнил же я «дворец-землянку» П. и кипящий самовар, и борщ, и котлеты, и горячее красное вино, и шампанское, которое там выпивалось дюжинами... Тьфу-тьфу! Хуже всего было то, что при одном из своих пируэтов казак разбил мой ящичек с красками так-таки вдребезги — где-то его починить в этой общей суматохе...

Даже вошки, которыми кишели землянка и самый «дворец» Петрушевского, казались из-за вьюги не так страшными, хотя они залезали «под пуговицы»!

Скользя, падая, снова скользя, даже теряя дорогу, пропускаясь мы целую ночь и только ранним утром добрались до Шейнова.

Скобелева я нашел занятым приготовлениями к встрече главнокомандующего. Расспросив меня подробно о разговоре моем с его высочеством, он в свою очередь рассказал о беседе своей с Радецким. «Ну охота вам заниматься такими глупостями», — заметил ему добрейший Федор Федорович, и тем дело кончилось... *****

Несколько раз мы отходили в сторону, Скобелев переспрашивал о том, насколько внимательно выслушан был мой рассказ, что именно ответил великий князь и проч., видно было, что высокоталантливый и беззаветно храбрый человек весь погружен был в заботы обо всех этих подробностях и их возможных последствиях.



...Я видел приготовление Михаила Дмитриевича к приему великого князя, боязнь его упустить что-нибудь регламентарное при этой встрече. Он понятия не имел о тонкостях разводов и парадных учений и, боясь, что главнокомандующий захочет пропустить мимо себя войска церемониальным маршем, старался подучиться, куда надобно встать, как командовать и т.п.

Единственный источник его мудрости по этой части был ординарец Хомичевский, который и столом у генерала заведовал, и приказания его развозил, и парадным тонкостям своего патрона учил.

— Да говорите же скорее, Хомичевский, где должны стать саперы?

— Непременно впереди, ваше превосходительство.

— Ну, как же я должен командовать?

— Ваше превосходительство должны выехать и скомандовать, — и т.д.

Глядя на то, с какою серьезною, сосредоточенною физиономиею он расспрашивал и выслушивал, как задалбливал то, что ему «надо скомандовать», я расхохотался.

— Что вы, Василий Васильевич, смеетесь, однако? — спросил Скобелев, как обиженный ребенок.

— Да как же не смеяться: генерал, перед которым турецкая армия положила оружие, как школьник заучивает разные слова, приемы, уловки...



Вот высоко, на Шипкинском перевале, показались несколько точек, а за ними целая линия, спускавшаяся к нам, — то был главнокомандующий со свитой.

Смущение Скобелева делалось все более и более заметным; он как-то съезжился, принял беспокойный, несчастный вид. Я всегда замечал у него жалостную физиономию, когда ему приходилось встречать высокопоставленных лиц; очевидно, ему было очень тяжело в это время, он мучился о том, что ему скажут, как его примут...

Вот великий князь спустился уже к подножию горы, где дождался его генерал Радецкий. Еще издали его высочество, махая фуражкой, закричал:

— Федору Федоровичу ура!!!

Подъехав, он обнял, поцеловал Радецкого, поздравил его генералом от инфантерии и повесил ему на шею большой крест Георгия 2-го класса.

Я сидел верхом и по дороге приветствовал великого князя, который еще не доезжая весело крикнул: «Базиль Базилич, здравствуйте!»

Затем главнокомандующий подъехал к Скобелеву, дождавшемуся перед самым фронтом войск, и едва кивнул ему головой, — Михаил Дмитриевич поцеловал его высочество в плечо и как-то замер от холодного приема, — очевидно С., дождавшийся великого князя на перевале, успел сделать свой «доклад»



Генерал Ф.Ф. Радецкий.

Великий князь объехал ряды и вскоре уехал в Казанлык. Провожая, Скобелев несколько времени поговорил с его высочеством и сделался спокойнее. *****

На Адрианополь

Когда в Габрове я говорил великому князю о необходимости движения на Адрианополь, он между причинами невозможности этого приводил ту, что «интендантство ничего нам не заготовило — сухарей нет». Из ума у меня вышло сказать тогда, что М.Д. Скобелев захватил 12 000 пудов отличных турецких сухарей, белых, прекрасно выпеченных, не чета нашим, и что следует поскорее наложить на них руку, так как Скобелев дозволил всем частям своего отряда брать кто сколько захочет и их уже расхватывали возами. Теперь я вспомнил о сухарях и сказал начальнику главного штаба Непокойчицкому. Он до того обрадовался, что не хотел верить, заторопился, стал шпорить своего буцефала и разузнавать; когда это подтвердилось, немедленно же доложил главнокомандующему, — и решено было движение вперед.

Вечером я обедал у Михаила Дмитриевича; были старик Скобелев и генерал Струков; последний, между прочим, спрашивал меня, не хочу ли я пойти с ним, так как великий князь посылает его на кавалерийский поиск к Германлы. Я согласился, но, к сожалению, не мог выехать вместе с ним, т.е. на другой же день утром, так как в прошлую ночь на Шипкинском перевале во время бури, которая столько раз сбивала нас с ног, казак мой совсем разбил об лед мой ящичек с красками — я уже поминал об этом — и был послан теперь в Габрово чинить — надобно было подождать.



Я съездил в главную квартиру, которая расположилась в Казанлыке, и нашел ее в самом бедственном положении:

хотя большая часть города была выжжена, но квартиры кое-какие нашлись, зато пищи не было никакой. Я вспомнил тогда об излишке, который был у нас в отряде Скобелева, особенно по части сладостей, и сказал коменданту генералу Штейну, что надеюсь прислать кое-что уцелевшее.

— Да может ли быть? — говорил в восторге почтенный блюститель благочиния и желудков главной квартиры, — нельзя ли поскорее, я дам вам казаков из конвоя.

С двумя казаками я поехал назад в деревню и передал им целое ведро яблочного варенья, горшок вишневого и полмешка грецких орехов. За эти последние на меня дулся ординарец Скобелева Баранок, так как он был большой любитель их; зато главная квартира кушала в этот день. За обедом, как мне говорили, блинчики с вареньем произвели большой эффект.

Я побывал у доброго приятеля моего Скалона, управлявшего канцеляриею главнокомандующего, и попросил, чтобы брата моего Александра, раненного 30 августа и еще не совсем поправившегося, не отсылали в полк. Великий князь очень любезно приказал оставить его временно при главной квартире как ординарца.

Пока я был у Скалона, он занят был отправкою курьера к государю с донесением о последних военных действиях, пленении турецкой армии и проч. Скобелеву очень хотелось, и он предлагал, послать своего бравого начальника штаба графа Келлера, но, кажется, боялись, что этот офицер всю честь дела припишет Скобелеву, и выбрали С., офицера Генерального штаба, состоявшего при отряде Мирского и, как уже помянуто, более других восставшего против Скобелева... Я указал Скалону на то, что доклад государю выйдет слишком пристрастен, и тот, хотя сам, кажется, недолюбливал Скобелева, как человек справедливый, сказал, однако, С. (в противность уверению генерала С., утверждаю, что буквально эти слова были сказаны ему):

— Смотрите, батюшка, помните, что каждое слово вашего доклада будет известно великому князю и за вами поедет

другой курьер, который может сказать государю противоположное вашему, если вы увлечетесь.

С. горячо протестовал против подозрения в пристрастии к своему отряду и своему начальнику, но я уверен, он так именно и поступил, т.е. представил все дело шиворот-навыворот; доказательством этому служит то, что Скобелев получил за эту блистательную победу ничтожную сравнительно награду, долго спустя, наряду со многими другими офицерами, и, по страстности, нервности своей натуры очень огорчился этим.



По известию о том, что Сулейман-паша, разбитый генералом Гурко, отступает к Адрианополю, Скобелеву приказано было идти наперерез дороги ему форсированным маршем. Отряд его проходил в Казанлыке мимо великого князя церемониально, гигантскими шагами... Я велел вьючным животным тоже следовать за солдатами; из-за этого задние ряды растянулись, и Михаил Дмитриевич с сердцем выговорил мне — ему таки хотелось пройти мимо всей главной квартиры постройнее.

Слышу, великий князь спрашивает Скобелева:

— А Верещагин идет с тобою?

— Надеюсь, ваше высочество, — отвечал тот.

Вскоре я откланялся главнокомандующему и на его «до свидания» прибавил: «в Адрианополе», — так оно потом и вышло.



Мы шли очень торопливо, но на перевале через Малые Балканы — с великим трудом, так как дорога в ущелье очень узка и малейшая остановка одной какой-нибудь повозки задерживала всю часть отряда, следовавшую сзади. Кажется, впрочем, перевал сошел благополучно, никто и ничто не свалилось в кручу.

К вечеру пришли в Эски-Загру, стоящую на выходе из ущелья и так разгромленную турками после отступления отряда Гурко, что едва осталось от целого города несколько жилых домов. Было уже почти темно, когда я въехал в улицы, обозначенные двумя рядами самых печальных развалин. Где примоститься, пристроиться на ночь, я не знал, где пообедать — еще того менее. Заглянул было на двор к Скобелеву, но увидел через освещенное окно, что он, как тигр, ходит по комнатке из угла в угол, вероятно, бесится на что-нибудь, да к тому же у него полковник А. — всезнающий, самодовольный офицер. На счастье встретил генерала N., очень милого человека... * * * * * В настоящую минуту важно было лишь то, что у него была лавка для спанья, туземное вино и кое-какой ужин. Вдобавок и смеялся же я в этот вечер.

Бригада N. должна была выступить в этот вечер немедленно за кавалерию, но офицеры как-то прозевали минуту, и оказалось, что кавалерия прошла, а пехота, не выйдя сейчас же за нею, потеряла ее — так-таки просто и потеряла, потому что настала страшная темнота. Было несколько дорог, и по всем прошло в продолжение дня немало лошадей, так что нелегко было добиться толку. Бедный N. страшно перепугался, когда доложили ему, что давно пора выступить, но не могут найти дорогу, по которой прошла кавалерия. Не дожидаясь куска, он оделся, опоясал саблю и бросился на поиски, в страшную, непроглядную темноту. Сказать об этом Скобелеву, спросить его — и думать было нечего: за такой недосмотр он сейчас же отнял бы бригаду. Через полчаса N. возвратился, торжественно, молчаливо разоружился и сел доедать баранину.

— Ну что, нашли?

— Нашел!

— Как же вы нашли?

Он посмотрел на меня снисходительно и, показав указательным перстом на свой лоб, сказал:

— *Quand ceci appelle tête — tout faire**.

* Когда это зовут голова — всё делать (фр. искаж.).

Я, конечно, не спорил. N. очень охотно и очень скверно говорил по-французски, и приведенная фраза была далеко не из худших изречений его на этом языке — охота пуще неволи.

N. считали в отряде не из храбрецов, что, кажется, было верно. Под Плевною он командовал Угличским полком, который на штурме как засел в виноградниках, так и не вышел оттуда, конечно, благодаря недостаточной храбрости командира, потому что тот же самый Угличский полк под Шейновом геройски шел в атаку под предводительством бравого Панютина. Наглотавшись разных страхов во время этого штурма, N. сказался больным и выздоровел только тогда, когда Плевна пала. Скобелев не щадил трусов вообще и, конечно, сменил бы N., если бы тот искренно или притворно не льстил своему начальнику в глаза и за глаза, не называл его всегда и везде бесстрашнейшим из людей, небывалым героем и проч., так что Михаил Дмитриевич не имел силы долго и сильно на него сердиться.

— Что за трус этот N., как он мне надоел, — говорил он иногда, но все-таки терпел его и даже представлял к наградам, а тому только того и нужно было.

Рано утром на другой день, выходя с N. из дому, я встретил генерала Дохтурова, начальника кавалерии отряда, с которым тут только познакомился. Он показал мне известие из передового отряда от приятеля моего Струкова, доносившего, что захвачен мост через Марицу и несколько орудий, его защищавших, а табор (батальон) турок, при этом бывший, прогнан. Генерал был недоволен тем, что донесение было от Струкова, офицера, посланного главнокомандующим, а не от командира полка драгун, действовавшего впереди.

— Посмотрите, пожалуйста, на этого Струкова, — жаловался он мне с первого же знакомства, — куда только он не примажется, ведь вот, победу одержал.

Мне показалось это мелочным, так как С. был правильно командирован главнокомандующим, да к тому же я знал его за исправного офицера.



Теперь днем еще лучше было видно, как страшно город Эски-Загра был разорен: если бы не дымовые трубы, там и сям торчавшие, то можно было бы видеть человека с одного конца города на другом. Страшно распорядились здесь турки с болгарами за оказанный отряду генерала Гурко сердечный прием, по-турецки...

Дорога отсюда к Германлы была вся усеяна нашими отставшими солдатами; так как гнать силою было не велено и желавшим отдохнуть не воспрещалось отставать, то многие прекомфортабельно расположились на снегу парами и вели душеспасительные разговоры. Расчет Скобелева оказался верен: все подошли к вечеру и на другой день утром и благодаря тому, что отдых не возбранялся, больных почти не было.

Я ехал совершенно один, казак мой отстал. Кругом было еще немало снега, из-под которого там и сям вырывали травку бараны. Так как пропитание наше было до сих пор весьма скудное и я не знал, каково оно будет впереди, то слез с лошади, привязал за седло барашка пожирнее и затем продолжал путь, поддерживая свою добычу то с той, то с другой стороны.

Скоро нагнал и перегнал меня Скобелев.

— Что это у вас?

— Как видите, баран. Боюсь, что нечего будет есть.

— Пустяки, бросьте — впереди будет много всего.

Я, однако, не поверил, не бросил, хотя, действительно, впереди оказалось довольно мяса.

— Знаете, Василий Васильевич, — сказал мне Скобелев, — Сулейман-паша идет к нам навстречу.

— Откуда вы знаете это?

— Я верные известия получил, скоро пойдем в битву, не отставайте! — И, поболтав еще, он проехал далее.

Зная, что Скобелев часто принимает свое желание за факт, я не очень-то поверил подходу Сулеймана и ехал не торопясь, поддерживая своего барашка, который постоянно съезжал набок, до того, что стаскивал седло и не давал лошади идти.

Я не терял надежды приятно удивить всю компанию мою жирною находкой, но, подъезжая к месту остановки, увидел кругом такое множество баранов, что бросил немедленно моего — после стольких потраченных трудов! Остановка была на железнодорожной станции Трново-Семенли. Сюрприз, который меня здесь ожидал, разве во сне мог пригрезиться: на вопрос о генерале меня ввели в *salle d'attente**, где больш

шой стол, прекрасно сервированный, был занят всеми нашими, окончившими отличный обед с кофе и сигарами!

— Вы не ели? Хотите обедать? Садитесь...

— Хочу, хочу.

Я ел как волк. Генерал Струков очень был рад, что я догнал его наконец, угощал, потчевал и взял слово, что отсюда далее мы пойдем вместе.

Он рассказал мне после обеда, что у него тут было. Когда он подошел с драгунами, турки зажгли мост, но солдаты потушили и

заняли его, обеспечив, таким образом, переправу на другую сторону Марицы. (Несмотря на возражение генерала Панютин, утверждаю, что Марицкий мост был занят кавалерией Струкова, а не пехотой Панютин.) Это было очень важно для беспрепятственного движения нашей армии. Укрепление, обстреливавшее мост, не отличилось: турки просто убежали оттуда, заклепав оба своих орудия. Таким образом, батальон пехоты утек перед двумя эскадронами кавалерии, да вдобавок не взорвал и не испортил громадного моста, вверенного его охране. Сожги они этот мост, мы были бы задержаны устройством переправы через реку, покрытую плавучим льдом,



Генерал А. П. Струков.

* Зал ожидания (фр.).

и Сулейман-паша имел бы время отступить к Адрианополю по железной дороге, через Германлы. Конечно, быстрому налету сначала драгун Струкова, а потом пехоты Скобелева обязана армия захватом этого важного пункта.

Как потом оказалось, Сулейман присылал телеграмму за телеграммой о заготовке вагонов для немедленной доставки его разбитой армии в Адрианополь. Его депеши достались Струкову в руки, и можно было видеть по ним, что турки, гонимые Гурко от Филиппополя, ждали нас и с этой стороны, но, конечно, не воображали, что мы предупредим их, перерезем им дорогу. Да и надобно сказать, что Скобелев прошел в сутки с пехотой 80 верст; почти то же сделал днем ранее Струков с московскими драгунами.

В продолжение этого дня отдыха все отсталые подтянулись и присоединились к частям; больных, как я сказал, почти не оказалось. Скобелев был в хорошем расположении духа, потребовал к мосту жидов, т.е. музыкантов. Все были сыты, потому что провизии оказалось довольно. Некоторые — как наш приятель Дукмасов, ординарец Скобелева из донских казачков, — даже слишком отпраздновали занятие моста: тот просто-напросто так нализался, что его пришлось силою уложить спать.

Не обошлось и без недоразумений: хозяйка ресторана и станционного дома жаловалась на пропажу гусей, у меня утащили отличную кавказскую шашку мою — хорошо, если на погибель неприятеля, но боюсь, что для перепродажи, за несколько рублей, какому-нибудь интендантскому чиновнику. Пришлось занять лишнюю шашку у Х., далеко не такую щегольскую, какая была у меня, памятная еще тем, что за время моей болезни от раны она служила моему покойному брату Сергею, убитому под Плевною, зарубившему ею нескольких турок. Комната, в которой я сложил свои вещи, с намерением в ней расположиться, была потом занята вещами генерала Д., и моя бурка с шашкою были унесены и так старательно припрятаны, что я едва отыскал первую, вторая же так и ухнула, вероятно, уж очень понравилась кому-нибудь из денщиков.



На другой день мы выступили рано с генералом Струковым; Скобелев остался назади. Скоро с возвышенности нам открылся городок Германлы, в который с вечера еще был послан, если не ошибаюсь, эскадрон или два драгун, принятый очень дурно башибузуками и в свою очередь распорядившийся нецеремонно с ними.

Пришло важное известие, что в Германлы приехали турецкие уполномоченные для заключения перемирия и просят дозволения на дальнейший проезд в главную квартиру. Генерал Струков дал знать об этом немедленно Скобелеву и просил поскорее двинуть вперед часть пехоты, послам же ответ несколько задержать, пока пехота не дошла до городка. И хорошо она сделала, что поспешила, потому что драгунам нашим было там довольно жарко перед огромным числом неприятеля, между которым было немало редифов из разгромленной Гурко армии Сулеймана-паши.

Когда мы приехали, битва уже затихала, неприятель отошел, и нас тотчас провели к железнодорожной станции, где, закупоренные в своих вагонах и немало, вероятно, беспокоившиеся всю ночь криками и выстрелами, ожидали почтенные турецкие уполномоченные Намик- и Сервер-паши (на локомотиве их поезда развевался белый флаг). Первый был старый знакомец русских, так как приезжал к нам еще при императоре Николае. Он был не только испытанный дипломат, но в то же время, как министр двора, и самый близкий к султану человек. Второй, министр иностранных дел, — сравнительно молодой, видимо, нервный человек. Намик, сухощавый, очень пожилой, с острым носом, несколько потухшим взором, клинообразною бородой и полными достоинства манерами, был одет в длинную, широкую турецкую одежду, с неизбежной феской на голове. Сервер, с широким, живым лицом, несколько раскосыми глазами, в каком-то доморощенном и поношенном черном пальто-сак и резиновых галошах, часто вскакивал и, засунувши руки в карманы, либо шагал по

вагону, либо, останавливаясь, упирался в нас глазами, нервно перебирал скулами, обличая немалое волнение.

Им доложили о приезде русского генерала — приказали просить. Мы вошли в вагон-зал, где Струков представился как начальник авангардного отряда, а меня представил как своего секретаря. Мы оба были в бурках и, надобно думать, смотрели порядочно дико, несмотря на французский язык, на котором вели беседу. Генерал Струков с большим тактом заговорил о стойкости турок, не упоминая ни словом о наших победах, и высказал совершенно верную мысль, что чем больше мы знакомимся с личным характером турок, тем более уважаем их. Намик, умница-старик, перешел к последней решительной для турецкой армии битве под Шейновом и обратился ко мне с расспросами, когда генерал Струков указал на меня как на участника этого сражения.

— Скажите, — перебил Сервер-паша, останавливаясь перед нами с видом человека, не имеющего более сил владеть собою, — скажите мне откровенно, дружески, неужели Вессель не мог долее держаться?

— Не мог, паша, уверяю вас, — отвечал я и, вынув мою записную книжку, начертил план деревни Шейново и позиций Весселя, а также позиций Радецкого, Скобелева и Мирского; указал, как двое последних обошли, атаковали турок и заставили положить оружие (чертеж этот до сих пор хранится в моей записной книжке). Какой-то стон вырвался у Сервера, он отвернулся, чтобы скрыть слезы.

Посланники выразили желание продолжать путь в главную квартиру.

— Поезд, с которым мы приехали, вы, надеюсь, сейчас же отправите назад? — сказал Намик-паша.

— Я испрошу на этот счет приказания моего начальника генерала Скобелева, — отвечал Струков.

— Зачем вам спрашивать разрешения, поезд подошел и стоит под парламентарским флагом и не может, не должен быть захвачен для военных целей!

— Я испрошу приказания, — был ответ.

— Что же это такое? — взмолился паша. — Но ведь сейчас придет еще поезд с нашими экипажами и лошадьми для его высочества главнокомандующего от его величества султана, неужели вы и его задержите?

— Я обязан испросить приказания.

Мельком, тихо я напомнил генералу Струкову, что «поезд действительно под белым флагом, нельзя его не отдать».

— Нам вагоны не нужны — есть, но локомотивов нет, — тихо, быстро ответил Струков, — временно я, во всяком случае, должен задержать их, а потом — что прикажут.

Это последнее он произнес громко, уверив пашей, что по получении распоряжения не задержит поезда ни на минуту. Увы! От Скобелева пришел приказ ни под каким видом не отдавать поездов, которые, надо в этом сознаться, преисправно перевозили потом наши войска. Но паши уже не знали этого, так как раньше уехали в главную квартиру нашей армии в Казанлык. Вечером я еще зашел к ним в вагон сказать, чтобы они приказали хорошенько присматривать ночью за всеми своими вещами; кругом было немало мародеров, не только из болгар, но и из башибузуков.

На следующий день мы выехали проводить их. Паши отправились в карете, к которой мы подошли попрощаться, пожелать хорошего успеха в переговорах.

— Будем надеяться, что результатом вашей поездки будет скорый мир, — сказал им Струков, отвечая на их дружеские и печальные пожатия рук. — Не забывайте, что у нас есть общий враг, тот, который обещаниями довел вас до теперешнего положения и бросил на произвол судьбы.

— Это верно, — отвечал Сервер, — у него опять были слезы на глазах.

Паши поехали между двух рядов выстроенных войск нашего небольшого отряда, во все горло оравшего песни, с криками, присвистами, — бедные паши!

Скалон рассказывал мне потом, что когда пришло известие о занятии Струковым Адрианополя, то, несмотря на очень поздний час, они поспешили известить пашей.

— Часто в переговорах о перемирии, — говорил Скалон, — эти почтенные люди, с которыми все мы были в самых лучших отношениях, преважно настаивали на том, что Адрианополь еще не взят, да и нелегко возьмется, поэтому было понятно наше желание поскорее преподнести им этот сюрприз; сейчас же разбудили их, те вскочили.

— Что, что такое?

— Имеем честь поздравить с занятием Адрианополя!

Они чуть не заплакали.

Бедные паши!



Мне оказалось немало дела. Генерал Струков был назначен начальником небольшого отряда, составлявшего авангард всего большого скобелевского отряда. Так как это назначение было частное, самого Скобелева, то никакого офицера Генерального штаба не было дано, и приятель просил меня заняться то тем, то другим делом, смотря по надобности, — я был волонтером, начальником штаба его. Я собирал, между прочим, слухи и сведения от туземцев, о чем докладывал потом Александру Петровичу. Для этого у нас был болгарин Христо, с огромными усами, как у кота, толстый, красивый, в расшитой, покрытой галунами куртке, широчайших штанах, с большою, богатою саблею, к несчастью, не видевшей неприятеля. Он служил прежде кавасом* в константинопольском посольстве при генерале Игнатеве, потом, во время войны, был при главнокомандующем и теперь выпросился идти переводчиком при Струкове.



Переводчик Христо.

* Полицейским (тур.).

Мы узнали, что армия Сулеймана-паши, разбитая Гурко, видя невозможность попасть в Адрианополь прямым железнодорожным путем, бросилась в горы и отступает теперь безостановочно небольшими партиями в 5, 10, 20 человек, т.е. в полном расстройстве. Попади энергичный Сулейман со своими еще по меньшей мере 30 тысячами в Германлы раньше нас и успеет он пробраться в Адрианополь, уничтожив мосты в Трново-Семенли, Мустафа-паша и в других, менее значительных местах, — наше шествие к Константинополю не походило бы на военную прогулку, как это вышло теперь, и с этой стороны заслуга быстрого, энергического налета Струкова, его образцового кавалерийского рейда не оценена по достоинству у нас, как мне кажется.

Мне самому, например, доводилось слышать от офицеров армии Гурко, что «полдела было Струкову и за ним Скобелеву идти вперед триумфаторами, когда уже серьезное сопротивление было сломлено»; но они забывали, что, во-первых, серьезное сопротивление впереди было предупреждено и, во-вторых, что Струков шел почти до самого Константинополя с тремя неполными полками кавалерии и одною батареей и что по дороге его в одном-двух переходах почти постоянно находилась турецкая пехота. Теперь, когда дело это уже прошлое, мне просто смешно думать, что бы вышло из нашего триумфального шествия, если бы мы наткнулись хоть на два батальона турецких редифов!



Так или иначе, в ожидании Скобелева и скорого выступления мы прекрасно поместились в Германлы: дров, провизии было не занимать и стол наш был хорош, т.е. щи или суп вкусны и горячи — чего же больше.

Я был занят по просьбе Струкова двумя вещами: удержанием солдат от грабежа и разоружением жителей. На беду, одному из наших драгун посчастливилось найти 500 турецких золотых; как только узнали об этом в отряде, каждому

захотелось найти тоже 500 золотых. Хотя отряд стоял вне города, но солдаты под всякими предложениями шлялись по домам, искали и даже вымогали денег, выпускали пух из перин и подушек, разграбили несколько погребов. Было заявлено много жалоб, о которых сообщено было в части, но некоторые начальники смотрели на такие проделки сквозь пальцы — если не потакали, то и не взыскивали строго. Тогда я пошел по улицам и принялся за дело. Входишь в дом: несколько солдат бродят из угла в угол, осматривают, шарят среди терроризованных жителей.

— Зачем вы здесь?

— Квартиры смотреть посланы, ваше высокоблагородие.

Сначала я думал, что это правда, но, узнав, что все вздор, предлог для выглядывания денег или ценностей, стал без церемонии выгонять вон, самыми энергичными средствами, вашей.

Что найдут и унесут или выпьют вино — это еще понятно, но, например, вижу: у дверей подвала толпятся солдаты. Подхожу — уксусный погреб, в котором уксус, выпущенный из нескольких бочек, уже стоит на четверть аршина от полу. Босой, завернув штанишки, солдат стоит в этом озере, в руках затычка, вынутая из последней бочки, и из нее уксус бьет огромною струею.

— Зачем ты это делаешь?

— А так. Вишь, как бежит!

По жалобам жителей я ходил в разные части города, останавливал бесчинства, соединенные иногда уже с криком женщин и детей, бил по зубам, прогонял, но снова то же самое начиналось в другом месте. Женщин, впрочем, нигде не трогали — в известном смысле; на одной площади я застал штук 50–60 турчанок, старых и малых, собравшихся, как цыплята, в кучу, головами вместе, и, очевидно, творивших молитву. Струков велел отвести им особенное помещение и приставить караул.

Что касается разоружения жителей, то дело шло хорошо и с меньшими хлопотами, чем можно было бы ожидать. Боясь

ответственности за удержание оружия, жители сносили довольно исправно свою защиту. Какого только оружия тут не было! И арабские ружья, с тонкими металлическими прикладами, и чисто турецкие, выложенные перламутром и слоновой костью; пистолеты, шашки, ятаганы; из последних некоторые были очень характерны, — и я отобрал себе немало экземпляров как материал для будущих картин, назначив некоторые для Струкова, обещавшего привезти, что высмотрит интересного по этой части, кое-кому из своих знакомых. Увы! С тою же легкостью, с которою эти вещи приобредлись, были они и утеряны: телега, нагруженная нашими трофеями, на следующей же станции была разграблена ночью, и так чисто, что ни самой телеги, ни волов, ее везших, не оказалось. Кому-то, верно, было нужнее, чем нам. Однако при сваливании этого снесенного со всего города оружия не обошлось без греха: казак, бросавший ружья слишком неосторожно, получил пулю в живот.



Скобелев тем временем, приняв и отправив далее посланников, приехал в Германлы. Очевидно, ему не давала покоя мысль окончательно раздавить, а если можно, то и взять в плен армию Сулеймана-паши, т.е. довершить то, что не окончил Гурко, который, разбив Сулеймана в нескольких сражениях, гнал турок перед собою. Но Скобелев обманулся в том смысле, что в действительности Гурко разгромил Сулеймана сильнее, чем слухи передавали, и турецкая армия, т.е. остатки ее, как мы уже и знали по нашим сведениям, узнав о перерезе ей дороги со стороны Германлы, отступила, бежала врассыпную, горами.

Скобелев пресерьезно собирался идти к Хаскёю, навстречу Сулейману.

Михаил Дмитриевич говорил мне:

— Василий Васильевич, что вы, со Струковым идете?..

— Да, иду.

— Пойдемте лучше со мной. Вы знаете, Сулейман подходит, будем драться!

— Уверяю вас, что вы ошибаетесь — Сулейман идет горами.

— Ну что же вы спорите, когда я имею самые положительные сведения! Панютин доносит, что уже завязал дело с несколькими передовыми таборами!..

Я несколько смутился этою подробностью, но все-таки отвечал, что пойду со Струковым к Адрианополю.

— Как знаете, — ответил милейший Михаил Дмитриевич, надувши губы.

Я не знал еще тогда вполне, до какой степени я был прав и Скобелев ошибался; он совершил здесь одну из величайших ошибок, которую только может сделать командующий генерал, — принял за регулярное войско и атаковал обоз турецких поселян, покинувших свои жилища и двигавшихся к Константинополю, как то приказал им бешеный Сулейман. Ошибке этой помогло кроме помянутой и уже давней ревности Скобелева к Гурко еще то обстоятельство, что к громадному обозу выселявшихся турецких семейств присоединились мужья, братья и прочие родичи из отступавшей армии, захотевшие, весьма естественно, оказать защиту своим и при появлении русских соединившиеся в колонны. Эти колонны и были те таборы, которые высчитывал Панютин и казацкие начальники в своих донесениях генералу и против которых он выступил.

Я еще был у Скобелева, когда командир одного из донских казачьих полков доносил ему, что «наступают».

— Хорошо, принимайте бой, принимайте бой!

— Есть убитые, тридцать лошадей ранено и убито!

— Хорошо, пусть будет триста.

— Слушаю-с, — отвечал полковник и вышел.

Не любят практические казаки терять не только людей, но и лошадей. Вспоминаются по этому поводу резоны командира Кубанского казачьего полка К., жаловавшегося мне под Плевною на легкость, с которою Скобелев относится к потере людей.

— Ведь когда я вернусь домой с полком, жена убитого потребует у меня ответа за мужа: куда ты, скажет, девал его, отчего не поберег?.. А он требует: «Стой в колонне, не рассыпайся, импонируй!» — хорошо импонировать, да коли народ валится!..

На дороге к Хаскёю разгоралось дело; после горячей перестрелки пехота и кавалерия бросились на «ура!». И тут совершилось, надобно сказать, дело, которое Скобелев уже застал конченным и останавливать которое было поздно. Бравый Пянютин плохо разобрал своего неприятеля и поднял на штык весь громадный обоз: на расстоянии многих верст дорога покрылась мертвыми и ранеными, не столько мужчин, сколько женщин и детей. Солдаты сбрасывали с повозок людей, разрывали, разбрасывали имущество, ища денег. Когда Скобелев подъехал — он ужаснулся сделанной ошибке. Но, пожалуй, довольно об этом. Мне возражали, говорили, что это неправда, но я повторяю то же самое, потому что считаю это правдою.



Скобелев вышел на улицу провожать наш отряд к Адрианополю. Отводя меня в сторону, он сказал:

— Смотрите же, Василий Васильевич, чтобы отряд шел вперед.

— Будьте спокойны, — отвечал я ему, — зашагаем.

Здесь кстати сказать, что я не знаю офицера более исполнительного, дисциплинированного, чем Струков. Это тип образцового, методичного кавалериста: с маленькою головой, сухощавый, так что кожа обтягивает прямо кости и мускулы, он, по словам одного своего приятеля, желавшего сделать ему комплимент, «точно арабская лошадь». С огромными усами, меланхолическим взором, он постоянно нервно подергивается, но хорошо владеет собою и почти никогда не теряет ровного расположения духа, что весьма важно в командующем офицере. В армии подсмеивались над тем, что он всегда был на виду, всегда всюду поспевал; остряки говорили, что «где ни

плюнь — там Струков», но сила этой остроты значительно умерялась тем обстоятельством, что то же говорили, вероятно, и отступавшие пред нами турки: как они не отходили, Струков с кавалерией был тут как тут.

Я положительно дивился выносливости и подвижности этого человека, у которого на взгляд «еле-еле душа в теле». Вставал он очень рано, сам стлал свою постель, сам ее и собирал, вина не пил, табаку не курил, не только за людьми, но и за лошадьми смотрел, как за детьми: по ночам вскакивал по нескольку раз, чтобы лично выслушивать все донесения, причем для офицера всегда находилось у него любезное слово, а для нижнего чина — «на водку» из своего кошелька. Так и вижу моего милого, brave сотоварища, как он, закутанный в бурку и башлык, едет на сухопарой английской кобыле (под ним в походе были две кровные английские лошади); его профиль на полусвете холодного воздуха, 4—5 часов утра, начинает сгибаться, башлык опускается все ниже, ниже, пока наконец клюкает о гриву лошади. Иногда я не утерплю, расхожусь над этою процедурою засыпания; тогда он вытаращит на меня сонные глаза.

— Что, что случилось? А? — И снова начинает клюкать.



Передовой отряд наш состоял почти из трех полков кавалерии: полка московских драгун, петербургских улан и неполного полка донцов, при одной конной батарее, которая постоянно завязала в грязи и замедляла наше шествие, хотя в то же время придавала нам авторитета.

Драгунами командовал полковник Языков, добродушнейший воин, какого только можно себе представить, передвигавший свою тучную фигуру, как на кресле, на своем белом иноходце, в коем души не чаял. Языков был много старше по службе Скобелева, бывшего у него в эскадроне юнкером; теперь Я. командовал полком, а прежний его юнкер — всем авангардом армии. Отношения их остались дружеские, и, конечно,

Я. все готов был сделать для Михаила Дмитриевича, только иноходца своего не согласился уступить. Скобелев, равнодушный к белым лошадям, скоро заметил чудесного коня и закинул удочку через Струкова.

— Михаил Дмитриевич говорил, что ты мог бы одолжить его.

— Чем только могу, очень буду рад.

— Твой белый иноходец...

— Ни за что — не стоит и говорить об этом!

Командиром улан был Балк, когда-то, говорят, блестящий светский офицер, теперь опустившийся, меланхоличный, недоверчивый. Недавняя, перед самым уходом в поход, случившаяся трагическая смерть его красавицы-жены была, гово-

рят, причиной этой разительной перемены. Я. держался с нами, т.е. со мною и Струковым; Б. — чаще один, иногда с некоторыми из своих офицеров.

Командир донцов Л., хотя и флигель-адъютант, был похож на всех донских командиров, берег лошадок; ловко добывал фураж и дисциплину понимал, очевидно, по-своему, потому что казачки его постоянно попадались в вымогательствах, что, впрочем, не мешало им хорошо нести разъездную службу.

Командира батареи что-то плохо помню, — почтенных лет офицер, честно служивший своей Родине, т.е. в данном случае, за отсутствием более боевой службы, с утра до вечера вытаскивавший свои орудия из страшной грязи.

У Струкова был еще, т.е. часто приходил к нам из полка, драгунский офицер В., милый и покладистый товарищ, писавший приказы и распоряжения по отряду Струкова и иногда донесения его высочеству под мою диктовку. Наконец, для полноты описания всего начальства нашего крылатого отряда надобно сказать и о помянутом уже болгарине Христо, одном из тех усатых, раззолоченных кавасов, которыми так



Офицеры-кавалеристы.

щеголяют все восточные посольства и консульства. Теми же невозможными усами и золотом на одежде внушал он страх и почтение и во время нашего похода, и частица этого уважения, естественно, отражалась на нас, придавая важности и значения отряду, заключавшему в себе светило такой величины и такого блеска.



Лишь только пришли мы после благополучного дневного перехода с одним роздыхом к городу Мустафа-паша и перед конаком* сошли с лошадей, — Струкова известили о прибытии посланных из Адрианополя; он велел немедленно ввести их. Это были грек и болгарин; оба, от имени жителей своих национальностей, звали занимать город; турки-де, узнав о приближении русских, взорвали загородный дворец, служивший арсеналом. (У нас в отряде слышали этот взрыв. Как я после узнал, в этом дворце погибло много чудесных памятников старого искусства, между прочим, знаменитые залы, убранные сплошь лазуревыми изразцами.) Черкесы, по словам их, рыщут в окрестностях, того и смотри — ворвутся в город и ограбят его. Что касается больших, великолепных фортов над городом, стоивших туркам стольких трудов и издержек, то они оставлены за неготовностью некоторых и за недостатком людей для защиты их.

В большом зале конака Струков собрал военный совет из трех полковых командиров и меня. Он изложил вкратце суть дела: не было сомнения, что жители города, боясь грабежей, желают нашего прихода — и мы можем, пользуясь паникой, занять Адрианополь; но, с другой стороны, паника может быть вызвана и после: пехоты у нас совсем нет, и появление одного-двух, а тем более нескольких таборов может быть очень опасно, особенно для наших орудий. По сведениям от болгар, как раз в это время находился вблизи города — проходом —

* Домом для ночлега, постоялым двором (*тур.*).



Бегство турок из-под Адрианополя.

египетский принц с 2000 черной африканской пехоты, хорошо вооруженной. Кроме того, из остатков сулеймановской армии набралось в окрестностях или шло к Константинополю немало небольших отрядов. Объяснив это, Струков предложил подать мнение. Мне первому, как младшему чином — художнику, предложено подать голос: «Наступать!» Языков не нашел возможным высказаться решительно, говорил за и против, но больше за наступление. Балк был положительно против.

— Хорошо вам советовать наступать, не неся ответственности! — выговаривал он мне. — Что мы сделаем, если будет засада? Если мы наткнемся на пехоту? Если, раз занявши город, снова придется покинуть его? Необходимо подождать генерала Скобелева. Я подаю голос за ожидание подхода главного отряда!

Командир казаков не решался сказать ни да ни нет.

Я все-таки повторял, что надобно наступать, и высказал резни: необходимость предохранить город от беспорядков и вероятного грабежа черкесов и мародеров.

Струков не высказал пока никакого мнения, и совет разошелся, ничего не решив окончательно. Но мне сдавалось, что генерал наш был тоже за наступление.

Скоро прибыл из Адрианополя еще гонец — пребуыйный грек, вооруженный до зубов и чуть ли не под хмельком; он объявил, что послан новым губернатором предложить русскому отряду занять город.

— Какой такой новый губернатор? — спросил Струков.

— Ну, когда военный губернатор взорвал замок и ушел с гарнизоном, султан приказал Фассу быть губернатором, — кого же еще вам нужно!

Этот посланный своего губернатора держался так дерзко, что я попросил у Струкова позволения переговорить с ним постороже.

— Пожалуйста, — отвечал он.

Во весь размах руки я вытянул буяна нагайкою — он ошалел и впервые встал смирно и почтительно.

— Как ты смеешь так говорить с русским генералом, а? Поди скажи твоему новому губернатору, что генерал его не признает и придет сам назначить губернатора. Марш!

— Однако строги же вы, — сказали мне Струков и офицеры.

— Попробуйте говорить с этими головорезами иначе, — отвечал я, — разве вы не видите, что это рассчитанная дерзость!

На другое утро просыпаюсь — Струков сидит на моей постели; видно было, что он давно уже встал и ждал моего пробуждения.

— Я решился, — сказал он, — идем занимать город.

— Bravo!

Вчерашние посланные еще не уехали. Генерал послал их вперед объявить о нашем движении и, отведя в сторону, потребовал, чтобы в знак изъявления покорности Адрианополя

были поднесены ключи его, которые он должен переслать к его высочеству главнокомандующему.

— Да ключей нет у города, — отвечали сконфуженные посланцы, — где же мы их возьмем!

— Чтобы были, знать ничего не хочу! — решил Александр Петрович.

Они уехали, но вчерашний грубиян не решился отправиться днем, из боязни быть на дороге побитым — храбрость его была, очевидно, относительная.



Был прекрасный солнечный день, когда мы подходили к Адрианополю. Навстречу выехало несколько всадников и между ними два армянина, братья Абдулла, известной фирмы фотографов султана в Адрианополе и Константинополе. Перед самым городом показалась густая толпа двигавшегося нам навстречу народа, одушевление которого росло по мере нашего приближения; наконец передовые не выдержали — бросились к нам бегом! Невозможно, немислимо описать их энтузиазм и сцену, затем последовавшую: с криками и воем бросались люди перед нами на колена, целовали землю, крестясь, прикладывались, как к образам, не только к нашим рукам, но и коленам, сапогам, стремянам. Не даваться, не допускать их до этого не было никакой возможности, приходилось подчиняться. Признаюсь, не могу без улыбки вспомнить фигуру Языкова с умиленною физиономией и расставленными для поцелуев руками — что твоя мадонна, — буквально залитыми слезами восторженного народа. Струкова рвали на части; кабы не высота его английской кобылы, ему бы, кажется, несдобровать.

Дали знать, что навстречу идет духовенство с крестами и хоругвями, и мы уже совсем готовились вступить в улицы Адрианополя, когда я остановил Струкова.

— Александр Петрович, нам немислимо входить в город.

— Отчего?

— Посмотрите на эти узкие улицы: всякий трусливый крик, всякий выстрел произведет панику; мы-то еще ничего, а орудия совсем застрянут, и не поворотишь ни одно!

— Так что же делать?

— Не входить в город, остановиться где-нибудь здесь.

— Нельзя уж — духовенство идет навстречу.

— Бог с ним, с духовенством, оно пойдет и с другой стороны.

Струков колебался.

— Да где же встать?

Я осмотрелся кругом.

— Вот, налево гора, свернем туда.

Мы повернули круто налево, на высокую гору, отряд и народ последовали сзади. Когда мы въехали на гору, то невольно ахнули от удивления: позиция идеальная! Ровная площадь, господствующая над всем городом, расстилавшимся внизу как на ладони; не только положение наше здесь было почти неприступное, но мы своею батареею могли угрожать целому городу.

Только лишь въехали мы и осмотрелись, как навстречу из примыкавшего болгарского квартала вышла огромная процессия из представителей разных церквей и религий. Впереди был греческий митрополит (Дионисий), затем армянский архиепископ, болгарский священник, еврейские раввины, турецкие муллы и с ними громадная толпа народа, — вся площадь покрылась людьми; я думаю, было тысяч 30—40. Масса эта облегла и стеснила нас так, что, пока мы слезали с лошадей, меня успели отделить от Струкова. Слышу крик его: «Василий Васильевич, проходите же скорей», — он протянул мне руку, и с помощью нескольких услужливых соседей я продрался до генерала. Мы приложились к крестам и поцеловали пухлую, мягкую руку митрополита, видимо, оставшегося довольным таким знаком почтения. Он был тем более доволен, что считался открытым недоброжелателем России и, конечно, не ожидал от русских большой вежливости.

Тут вскочил на какую-то приступку тот самый новый губернатор, о котором была речь выше, толстый грек со звездой

«Меджидие» на груди. В высокопарной французской речи он сказал нам приветствие, в которой не забыл упомянуть о том, что назначен охранять порядок, и, закончив свой спич словами: «Vive la Russie!* Ура!» — «ура!» подхватила вся толпа, — поднес Струкову на блюде ключи города (числом три, очень большого размера). Я спрашивал потом, где они достали эти ключи, и получил ответ: «Купили на базаре». Надобно думать, что не без иронии к трем большим ключам были приброшены еще две связки маленьких. Кстати скажу здесь два слова о дальнейшей судьбе этих ключей: самый большой из них я взял себе для разбивания миндальных орехов, которые подавались у нас каждый день после обеда, так как они были очень вкусны и дешевы; два других были отправлены сначала главнокомандующему, а потом в Петербург. Перед посылкою в Петербург Струков просил меня отдать третий, самый большой и внушительный, но я не отдал, и он висит у меня в мастерской, рядом со значком Скобелева.

Возвращаюсь, однако, к Адрианополю. Я посоветовал Струкову объявить самозваному губернатору, что он его полномочий не признает и покамест сам будет управлять городом до будущего распоряжения высшего русского начальства, что Александр Петрович и сделал. Грек сконфузился, но сейчас же нашелся, поблагодарил и опять прокричал «ура!» в честь русских. Затем я высказался генералу, и он тут же громко передал мои слова народу касательно способа, каким мы можем первое время доволествовать отряд, охраняя неприкосновенность жилищ. «Пусть, — объявил генерал, — всякая народность выберет по два представителя, пусть собрание этих представителей под председательством греческого митрополита озаботится своевременным доставлением людям и лошадям корма; на этом, и только на этом, условии не будет делаться реквизиций и солдаты не будут посылаться в город; если же все нужное не будет доставлено, солдаты будут сами доставать то, что им нужно, а им известно, что это значит! За все принесенное будет заплачено

* Да здравствует Россия (фр.)

главную квартиру». Все были, видимо, довольны, пропал их страх иметь дело с солдатами — страх, совершенно понятный. Грек Фасс и за ним вся толпа закричали «ура царю Александру!» и на этот раз кричали, должно быть, вполне искренно — так громко, что просто оглушили.

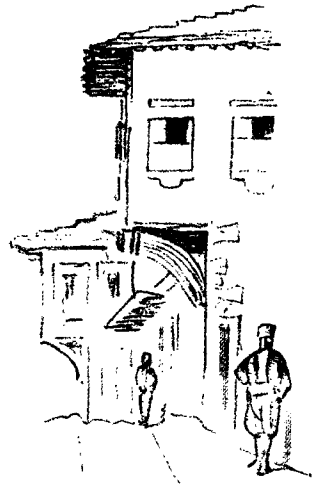
Когда духовенство ушло, мы направились в церковь болгарского квартала, которая, разумеется, была полна-полнехонька народом. Началась служба с ужасным греческим напевом, представляющим противоположность с нашим обыкновенно более или менее гармоническим напевом: я слыхивал его и прежде, но такого невозможно гнусливого завыванья, как здесь, еще не слышал и, признаюсь, как это ни глупо, но мною овладел дурацкий, беспричинный смех, который трудно было скрыть. На беду, еще Струков, рядом стоявший, обратился ко мне с лаконической замечкой: «Каково поют, а?» Должно быть, он сам потерял терпенье, потому что, когда священнослужители, кончив часы, стали облачаться для обедни, он подозвал Христо:

— Поди, скажи священнику, что мне некогда сегодня — пусть оканчивает.

Положение неудобное — они только собирались начинать, откашливались и обдергивались!

Приложившись ко кресту, мы вышли из церкви, сели на лошадей и возвратились на площадь. Здесь Струков поставил отряд свой в каре; объехал его, поблагодарил за службу и поздравил с занятием второй столицы Турции, знаменитого города Адрианополя.

Солдаты расположились бивуаком, а мы заняли угловой дом на площади. Скоро пришло известие, что черкесы грабят дальние кварталы города. Струков дал мне пол-эскадрона драгун и велел проехать по улицам, успокоить жителей, да



В Адрианополе.



Вступление русских войск в Адрианополь.

кстати разузнать на месте, сколько правды в известии, что бесчинствуют черкесы. Я захватил старикашку-болгарина или грека, хорошо говорившего по-турецки и порядочно понимавшего по-русски, и, проезжая по всем главным улицам, заставил его громко объявлять, чтобы ничего не боялись, так как русская власть сумеет всех защитить. Шум подков наших лошадей на мостовой города производил сначала чуть не панику, но, уверившись, что мы «спасители», женщины из домов протягивали руки с плачем, а те, что были внизу, просто бросались под ноги лошадей с криком:

- Нас грабят, грабят!
- Где, кто вас грабит?
- Там, там, черкесы!

Я не мог себе представить, чтобы возможен был такой сильный и совершенно неосновательный перепуг! Объехав город в разных направлениях, я проехал до самых тех мест, где, по

словам многих встречных, были беспорядки, — нигде ничего, полное спокойствие везде, повсюду глупые уверения, что там дальше грабят, — что значит паника!

Полковые командиры очень были недовольны тем, что довели доставку провианта и фуража самим жителям; так как я был виновник этого способа, то на меня преимущественно и шли нарекания. Кроме того, я рассердил их тем, что поймал и привел к Струкову несколько человек драгун, пробовавших мародерствовать по ближайшим болгарским домам, и генерал приказал наказать их, в пример другим, перед фронтом. Наказание было горячее. Мне казалось, что даже добрейший Языков, как только я выходил из комнаты, начинал пугать Струкова тем, что нам ничего не доставят, и люди и лошади останутся голодные; я видел, что Струков начал сдаваться, беспокоиться и, вероятно, сожалеть, что, послушав меня, распорядился так гуманно. Наступил вечер; мы посылали сказать, чтобы поторопились, — один ответ: «Все будет, все будет!» — но ничего не было. Видно было, что только из боязни генерала меня не бранят в глаза, а главное, я начинал чувствовать себя действительно виновным в общем голодании. Наконец, когда уже смеркалось, явились громадные корзины со всем, решительно всем: хлеб, суп, говядина, вино, даже табак не был забыт — полная корзина прекрасного турецкого табаку! Все оживились и повеселели; только сена лошадам было мало, пришлось пробавляться главным образом ячменем и овсом. Сено, которое я высмотрел в ближнем здании, госпитале, Струков справедливо признал опасным для раздачи, как могущее занести болезни.

Это распоряжение — доставление пищи на первых порах самими жителями — многие находили все-таки непрактичным; но я и теперь искренно думаю, что оно было наиболее подходящее к обстоятельствам: пусть тогда генерал своих солдат по домам разыскивать сено, ячмень, хлеб, куриц и т.п., нет сомнения, что богатый город был бы сгоряча порядочно ощипан, а сам отряд деморализован, — и я очень рад, что рассудительный Струков не дал сбить себя с толку; не только город не был ограблен, но и сохранены с жителями лучшие

отношения, т.е. у нас дело шло совершенно противоположно тому, что было после, когда подошли войска: начались беспорядки, ссоры, даже убийства наших солдат жителями.



В тот же день после полудня к нам явился австрийский консул в полном облачении и с ним старый знакомый, грек Фасс. Этого последнего попросили подождать в другой комнате, так как не имелось в виду входить с ним в какие бы то ни было сношения, а консулу предложили сесть. Он прямо приступил к делу.

— Вы сменили, — сказал он Струкову по-французски, — единственную власть, бывшую в городе, губернатора Фасса; теперь готовится возмущение, вся вина которого естественно падет на вас.

Генерал немножко замялся, как будто не сейчас сообразил, что ответить...

Мне со стороны виднее была игра австрийца, и я сказал Струкову:

— Ваше превосходительство, позвольте мне от вашего имени ответить господину консулу.

— Пожалуйста, — сказал он.

— Генерал очень благодарен вам, господин генеральный консул, за ваш совет, который он принимает как совет истинной дружбы. Как уже сказано г-ну Фассу, генерал сам временно будет смотреть за городом, до приезда генерала Скобелева, от которого будет зависеть дальнейшее распоряжение. Что же касается возвещенного вами возмущения, то командующий отрядом просит вас верить, что это вздорные выдумки. Он отвечает за порядок и порубит всех, кто посмеет нарушить его. Еще раз примите большое спасибо за вашу предупредительность.

По известному дипломатическому правилу *faire bonne mine au mauvais jeu**, консул показал вид, что очень доволен

* Делать хорошую мину при плохой игре (фр.).

этим сообщением, и ушел несолоно похлебавши, уведя с собой не принятого проходимца Фасса. Струков и Языков горячо благодарили меня за эту отповедь, — мыслимо ли было позволять соваться в военное управление консулам, которые, конечно, добивались этого.



Струков просил меня съездить осмотреть склады городские. Везде я застал страшное безурядье: все, кто мог, тащили охапками и возами запасы платья, полотен, хлеба. Я вытолкал воров, несмотря на их протесты, что «они охраняют», запер двери на ключи и приставил караулы... Но, разумеется, грабеж продолжался.

Склады, впрочем, были так велики, что осмотреть, а тем более проверить их, не было возможности в такое короткое время. Как после оказалось, в одном из складов нашлось множество прекрасных бамбуковых тростей для пик, которые главнокомандующий подарил лейб-уланскому полку; добрейшему Александру Петровичу было, кажется, досадно, что я просмотрел эти дротики и не дал ему возможности преподнести этот подарок своим однополчанам.



Мечеть под Адрианополем.

Вместе со складами я осмотрел и многие мечети, из них главная — забыл ее имя — великолепна, величественна!

Только что воротился я с этого осмотра, как у нас случился пожар, что, впрочем, было неудивительно, потому что казаки, благо в сухих дровах недостатка не было, развели ужасный огонь на кухне, — хорошо, что сгорел один только дом, нами занимаемый, а соседние отстояли.

Струков известился, что протеже австрийского консула грек Фасс, смещенный с губернаторства, интригует, старается

вызвать недоразумения и беспорядки, и хотел арестовать его, но, передумав, решил только сделать ему внушение. Рано утром я поехал к грекосу на дом с несколькими драгунами, которые оцепили дом; я вошел в комнаты, где из всех дверей и щелей торчали испуганные физиономии. Хозяин вышел бледнее смерти, с каким-то оловянным взором, — очевидно, он ожидал, судя по турецким порядкам, что пришел его последний час. Я собрал всю мою дипломатию и, осведомившись о его здоровье, количестве детей и проч., навел речь на необходимость для него воздержаться от всяких тайных происков, которые могут навлечь на него большие неприятности; в заключение прибавил, что генерал поручил это передать ему и выразить от его имени уверенность, что не придется прибегнуть к крайним мерам, — Фасс чуть не одурел от радости: как-то подпрыгивая, он начал уверять в преданности, желании быть полезным и прочая и прочая.

Привели к Струкову двух албанцев, отчаянных разбойников, по уверению болгар, вырезывавших младенцев из утроб матерей. Генерал приказал связать их покрепче, и драгуны, поставив ребят спинами вместе, стянули локти так, что они совсем побагровели и двинуться потом не могли. Брошенные на землю, они, как два тигра, мрачно смотрели исподлобья на окружавшую их толпу болгар, преимущественно женщин и детей, бранившихся, плевавших им в глаза, бросавших комьями и грязью. Приставленный к ним часовым драгун, конечно, не мешал этому ляганью и заушенью.

Ввиду тяжести обвинений я предложил Струкову повесить их, но он не согласился, сказав, что не любит расстреливать и вешать в военное время и не возьмет этих двух молодцов на свою совесть, а передаст их Скобелеву — пускай тот делает что хочет.

— Хорошо, — отвечал я. — Попрошу Михаила Дмитриевича: от него задержки, вероятно, не будет.

— Что это вы, Василий Васильевич, сделали таким кровожадным? — заметил Струков. — Я не знал этого за вами.

Тогда я признался, что еще не видал повешения и очень интересуюсь процедурой, которая, конечно, будет совершена над этими разбойниками. Мне в голову не приходило, чтобы их можно было «простить», — до такой степени ясно были они обвинены населением, с показаниями свидетелей и проч.

Когда на другой день я пришел взглянуть на двух албанцев, жалость меня взяла — напрасно их сейчас же не расстреляли. Совершенно опухшие, посинелые от перевязки, они припали к земле, глухо выговаривая: «Аман, аман!» Чалмы и фески были сбиты, лица и головы разбиты, окровавлены комьями и камнями, которые густая толпа народа не переставала швырять в них. Часовой продолжал бесстрастно ходить около, не видя надобности мешать потехе.

Скобелев приехал к вечеру. Мы выехали встречать его на железную дорогу и потом большою, нарядною кавалькадой проводили до конака, где он поместился. По дороге все население вышло приветствовать храброго генерала; повторилась сцена энтузиазма нашего въезда, хотя уже гораздо менее восторженная, — такие сцены, как та, не могут повторяться. Из всех домов выглядывали лица гречанок, некоторые поразительной красоты; я ехал за Михаилом Дмитриевичем и командовал время от времени:

— Глаза направо, глаза налево, выше!

Ярый поклонник женской красоты, он так и впивался глазами в красавиц, да, кажется, и те со своей стороны особенно старательно провожали его взорами. Смотрим, наш приятель Фасс тут как тут! Едет за генералом, чтобы показать, что и он в милости. Его попросили убираться, тогда он поехал впереди и стал кричать направо и налево:

— Кланяйтесь генералу, приветствуйте генерала!

Ему послали сказать, чтобы он убрался совсем вон, — тогда только он скрылся.

Я попросил Скобелева повесить помянутых двух разбойников, он ответил: «Это можно», — и, позвав командира стрелкового батальона полковника К., приказал нарядить полевой суд над обоими схваченными албанцами и прибавил:

— Да, пожалуйста, чтобы их повесить.

— Слушаю, ваше превосходительство, — был ответ.

Я считал, что дело в шляпе, т.е. что до выхода нашего из Адрианополя я еще увижу эту экзекуцию и после передам ее на полотне. Не тут-то было: незадолго перед уходом, найдя обоих приятелей все в том же незавидном положении и осведомившись: «Разве их не будут казнить?» — я получил в ответ: «Нет».

Узнав о назначении полевого суда, Струков просил Михаила Дмитриевича, «для него», не убивать этих двух кавалеров, и очень вероятно, что они и по сию пору здравствуют, похваляют милосердное русское начальство... и распарывают чьи-нибудь животы... Я написал их связанными, так и не поняв, какое сантиментальное чувство побудило миловать албанских разбойников, без зазрения совести губивших болгар, когда жизни наших жертвовались за тех же болгар тысячами.



К ночи, на третий день пребывания в Адрианополе, мы выступили по дороге к Константинополю.

Было так темно, что отряд разорвался, потеряв след впереди шедших коней; вот был хороший случай неприятелю порубить нас или захватить в плен: рыскавшие в окрестностях черкесы могли бы это сделать, если бы они не выродились и из диких, неукротимых горных пантер не обратились в степных шакалов, годных только для грабежа. Мы остановились посреди дороги, около каких-то домишек, развели большой огонь и, дремля близ пылавших бревен, дождались утра, когда догнали полки.

Остановка и отдых были в селении-городке Хавса, где мы нашли в конаке полный тюремный аппарат для пыток и для заковывания преступников в кандалы.

Маленькую коллекцию этих турецких игрушек, как то: шейные, ручные и ножные кандалы весьма почтенного веса и еще более увесистую цепь — я взял себе на память;

на эту цепь нанизывались преступники, болгары преимущественно, когда их скованными отправляли в Адрианополь.

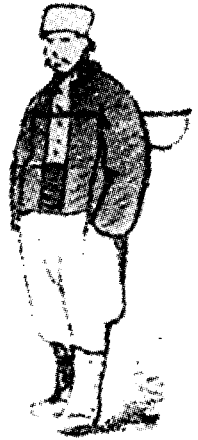
Здесь выбежали к нам болгары с соседнего чифлика (т.е. фермы) сказать, что несколько турок ночевали там эту ночь и произвели страшные дебоширства, даже трогали женщин. Струков дал мне Христо и нескольких улан и велел, если возможно, накрыть злодеев. Когда, проехав на рысях пять верст расстояния до чифлика, мы прибыли туда, нам только показали далеко впереди, между пригорками и кустами, три фигуры турок, улепетывавших во все лопатки; как я мог рассмотреть, это были пехотные солдаты. Христо, охваченный воинственным жаром, просил позволить ему хоть с одним солдатом догнать беглецов, но это было, очевидно, нелепо, так как до них было не менее двух верст и они, конечно, всегда могли если не убежать, то хоть спрятаться от преследования. Я предпочел воротиться без победы, но Христо мой, понимавший храбрость только в самом бурном смысле, решил вложить в ножны свою саблю, которую он уже извлек, не прежде, чем отсеки ей голову хоть гусю, пасшемуся в небольшом стаде около фермы. Обезглавленный потомок спасителей Рима вместе с другим, живым, был взят нами с собою, так же как запас кислого молока и кислой капусты, несколько напомнивших за обедом далекую родину. Мне указали на женщин, потерпевших от турок.

— С вами дурно обошлись?

— Да, — отвечала одна, конфузясь и закрывая лицо руками, — очевидно, расспрашивать их о подробностях не приходилось.

По дороге отсюда, из Хавсы, еще более, чем около Адрианополя, выбегало к нам навстречу жителей, покинувших дома и спасавшихся в окрестных лесах и кустарниках. Сначала мы приняли их издали за неприятельских мародеров, да и они, очевидно, не сразу решились выходить к нам из своих засад, не будучи совершенно уверены, что это точно православное русское войско, о приближении которого они, конечно, хорошо знали; зато, раз уверившись в этом, высказывали свою

радость самым искренним образом, бросались перед нами на колени, целовали полы платья, когда им удавалось поймать их; большинство плакало и кричало: «Да живей, да живей, царь Александр!» Все они жаловались не только на турецкие войска, но и на турецких поселян, ушедших к Константинополю и перед своим отходом ограбивших односельчан-болгар дочиста: отнявших с помощью местных турецких властей не только всю одежду, посуду, ценные вещи, у кого были, но и лошадей, волов, телеги; по словам их, эмигранты эти выступили недавно и не должны были быть еще далеко впереди нас: они умоляли воротить им хоть что-нибудь из ограбленного добра!



Болгарский погонщик.

С приближением нашим к Баба-Эски следы поголовного разбоя и грабежа делались все сильнее и сильнее; раздавались

плач, вой, причитанья женщин: видно было, что грабеж совершен был очень недавно. При входе в местечко бросился в глаза труп болгарского священника, уже старика, лежавшего под забором с глубоко перерезанным горлом. Соседи рассказывали, что злодеи пристали к покойному с требованием указать, где у него скрыты деньги, также где спрятаны молодые девушки местечка, и, когда он ответил, что денег нет, а где женская молодежь, он не знает, — убили его. Там и сям по



Цыганка.

домам раздавался жалобный женский плач. Последние турки ушли только накануне и, двигаясь на волах, очевидно, должны были быть еще недалеко.

Здесь, как в Хавсе, была наша дневка. Струков шел разумно, не застаиваясь нигде, отдыхая каждый третий день. Мы выступали очень рано, еще в темноте, делали привал для роздыха и еды, потом до вечера опять шли и останавливались на ночь; затем шли также с роздыхом весь следующий день,

а все последующие сутки отдыхали. Генерал обращал особенное внимание на лошадей, которые были свежи, бодры и в хорошем теле; про людей и говорить нечего — все смотрели гоголем.



Не доходя Люле-Бургаса, мы начали догонять последние возы турецких беглецов. Боясь обыска и ответственности за грабеж, они бросали по дороге разные болгарские узоры и прошивки, отодранные от украденного добра, — я подбирал и составил себе интересную коллекцию; бросали сабли, ружья, предварительно изломанные и разбитые. Струков дал им приказание остановиться, для чего пришлось посылать далеко вперед, так как возы растянулись на огромном пространстве. Часть была собрана перед мостом, ведущим в город, другие стояли на дороге, третьи стояли еще по другой дороге, и, наконец, еще возы двигались по третьему пути, по другой стороне реки, но тех мы уже не могли остановить. Число возов было громадно. Помню, Струкову был печатный укор за превышение числа эмигрантов; несмотря на просьбу его, я не хотел вмешиваться в то время в газетный спор, но теперь кстати замечая, что факт отступления турок по нескольким дорогам разбивает помянутые нападки. Донесение главнокомандующему о деле турецких беженцев писано мною, а все цифры, приблизительно разумеется, верны.

Так как этот народ сам не знал, зачем он двигается к Константинополю, где их ожидало разорение, голод, болезни, то я предложил генералу дозволить вернуться назад тем, которые бы этого пожелали; он согласился. Взяв Христо и велел собраться старшинам эмигрантов, я объявил им, что «в Руме, куда они идут, уже теперь голод, они проживутся там, разорятся и переболеют, поэтому не лучше ли им теперь же вернуться назад, — русский генерал не только не будет препятствовать возвращению, но, желая им добра, даже советует это». Много было у них толков по этому поводу. Очевидно было,

что некоторые, на совести которых, вероятно, было менее грехов и несправедливостей против болгар, хотели вернуться; другим самая мысль об этом была противна. Им дали подумать на свободе и в назначенный час велели дать ответ.

Тем временем, объехав все кварталы этого подвижного городка переселявшихся, я объявил, чтобы все оружие было снесено на площадь, — за утайку будет строго взыскано. Скоро целая гора разного оружия была снесена в кучу, из которой я опять выбрал себе несколько хороших экземпляров; кое-что взяли офицеры, а прочее было снесено под караул на хранение.

Часть турок решила возвратиться, если им дадут конвой для защиты от болгар, — им обещали, и они скоро действительно выступили в обратный путь под прикрытием нескольких улан. Болгары, чувствуя теперь свою силу, как шакалы, рыскали в окрестностях, и некоторые имели смелость даже на наших глазах стащить кое-что с турецких возов, утверждая, что это их же. Я отогнал многих ударами нагайки, но, в сущности, был бы в затруднении решить, кто тут грабит и кто ограбленный: не разберешь.

Проезжая в толпах турок и их повозок, я заметил, что большинство женщин были очень красивы собою, встречались просто красавицы. Помню, Струков разговорился с некоторыми из них, обратившимися к нему с какою-то просьбой, и одна еще очень красивая молодая бабенка так бойко болтала, так настаивала на том, что у нее муж убит и она теперь свободна делать что хочет, что добрейший Александр Петрович не утерпел, заметил:

— А ведь баба-то... шалит.

Большая часть повозок решила все-таки продолжать путь далее, и им в этом не препятствовали. Когда передовые телеги, перейдя вброд протекающую тут реку, выступили, я поехал посмотреть, насколько там соблюдается порядок, и еще у самой реки услышал раздирающие женские крики. Я поскакал к тому месту, откуда они доносились, и что же увидел:

казаки остановили повозку, двое из них вскочили туда — один держит женщину, другой обыскивает ее, обыскивает мастерски, точно на фортепьяно играет! Бросить свою жертву и скрыться не хуже любой кошки было для казачков делом минуты; тем не менее их разыскали, и на другой день посреди отряда, построенного в каре, была совершена экзекуция розгами в пример всем — «имеяй очи видети да видит». Струков сказал мне спасибо, но полковой командир казаков был недоволен.

Вечером, в день выступления всей этой массы турецких эмигрантов, я написал по просьбе Струкова донесение главнокомандующему, где выставил на вид необходимость дать понять константинопольскому правительству весь вред таких насильных выселений, более разорительных и для края, и для самих выселявшихся, чем самая война, и бывших следствием только фанатизма и сумасбродства Сулеймана-паши.



На дороге отсюда случилась ложная тревога у нас, т.е. у Струкова и ехавших с ним вместе не по той дороге, по которой шел отряд, чтобы избежать пыли и встреч с повозками, а по другой, ближе к протекающей тут реке. По той стороне реки шло также немало повозок и всякого сброда; мы заметили, что большая группа этих людей, оглядев нас, бросилась к лодкам и начала переправляться на нашу сторону... По правде сказать, все, начиная со Струкова, немножко струхнули — конечно, не опасности быть убитыми или ранеными, а возможности попасться в плен: нас могли захватить, как полдюжины баранов, потому что мы были очень далеко от своих и совершенно безоружны, если не считать револьвера у меня и ружья у моего казака. Оказалось, что у людей этих были мирные намерения: это были болгары, явившиеся донести о движениях турок, принести жалобы и проч., и мы сами посмеялись над нашим переполохом.



Мы приближались к городу Чорлу, в котором, по сведениям, добытым от туземцев, находились турецкие войска. Для разведки послан был князь Д. с полуэскадроном драгун, участью которого генерал стал скоро беспокоиться, так как болгары по дороге утверждали, что турки имеют пехоту и орудия. На последнем привале перед самым выходом Струков, не получая вести от князя Д., тоскливо спросил меня, как я думаю, хорошо ли будет идти всем отрядом, не разузнав о силе неприятеля? Я отвечал, что, конечно, неблагоприятно, и предложил поехать вперед на рысях с сотнею казаков, осмотреть позицию турок, вызвать огонь из орудий, если таковые есть, и прислать ему набросок места расположения неприятеля. Струков так и сделал: призвал одного из сотенных командиров и сказал ему:

— Вы поедете вот за ними, они будут снимать турецкую позицию, потрудитесь прикрывать и защищать их.

Как потом оказалось, это спасло драгун и даже избавило бы их вовсе от потерь, если бы не лукавство и «себе на уме» казачков. Получив приказание оберегать меня, ввиду турецких позиций, т.е. подвергать и себя, и своих лошадок опасности, почтенные «дониличи» (с Дону) очень не торопились исполнить его: я поехал рысцою — они шажком; я прибавил рыси и послал к ним одного из бывших при мне двух казаков с предложением поторопиться — они ответили, что лошади очень устали и, переходя от слов к делу, сошли с коней и повели их в поводу — дескать, успеешь.

Подъезжаю к Чорлу, слышу выстрелы, чаще, чаще — горячая перестрелка! Тогда я послал казака уже с приказанием сотенному командиру — поспевать марш-маршем под страхом строжайшей ответственности. Сам остановился, жду, каюсь, далеко не хладнокровно. Передо мною спуск в глубокую ложбину реки, за которою виден город; выстрелы и крики все приближаются, приближаются; наконец из-за горы показывается всадник, другой, третий — это наши драгуны, во весь опор

утекающие от преследующих их турок. Кровь бросилась мне в голову — вот, думалось, неприятель сейчас налетит и порубит.

— Стой, стой! — закричал я, бросаясь наперерез. — Стой, такие-сякие! — И уже поднял нагайку на одного солдата, но, взглянув на его лицо, опустил руку.

— Я ранен, — промычали его позеленевшие губы, и дети на пронесся, не в силах будучи сдержать лошадь. В это время прискакали казаки, и турки, с высоты города видевшие их подход, дали знать своим остановить преследование.

У драгун кавардак был полный; они собрались на возвышенном берегу лощины, и люди, в первый раз бывшие в огне, насилу, очевидно, опомнились от сюрприза. Я заметил Д.:

— Как вам не стыдно так отступить?

— Что же вы хотите, — ответил он, — люди молодые, не слушают команды — потом, немного погодя, подумав, рассердился и прибавил: — Да вам-то что за дело?

— Стыдно только за вас, больше ничего.

Однако и вправду, при нечаянном нападении на людей, не слыхавших еще огня, офицерам оставалось только одно — спастись следом за ними, что они и сделали, отстреливаясь револьверами от нападавших на них турок.

Все дело происходило так: Д. благополучно дошел до Чорлу, не обратив достаточно внимания на то обстоятельство, что болгары не вышли к нему навстречу перед городом, что служило уже верным знаком присутствия турок. Спустившись к реке, в ложбину, на которой идет полотно железной дороги и находится железнодорожная станция, он стал допрашивать, есть ли в городе турки.

— Нет, — отвечал помощник смотрителя, — они ушли все (и это была правда).

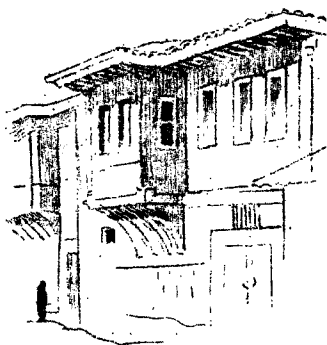
Д. велел слезать с лошадей и пошел осматривать станционные здания.

Между тем турки, которых было до двух тысяч, действительно выступили из города, и передние их части были уже далеко, но арьергард, состоявший из кавалерии личного конвоя

султана, прекрасно одетого и вооруженного скорострельными ружьями Пибоди, только что оставил город; услышав, что «москов» пришли в небольшом числе и расположились на станции по-домашнему, они повернули назад и в числе двух-трех сотен ударили на наших! Драгуны едва успели вскочить на лошадей и собраться на мост, где стали отстреливаться; турки засыпали их свинцом, и наши, чтобы не отстать, отвечали по возможности тем же; но так как у них было всего по 20 патрон на человека, то они в несколько минут расстреляли все, а затем, видя, что неприятель стал переходить речку вброд с намерением обойти и окружить их ударились наутек; турки за ними, порубили 15 человек и, конечно, истребили бы всех, если бы не показалась следовавшая за мною сотня казаков.



Я встал с казаками на самый край холма, облежавшего ложбину речки. Перед нами был весь живописно раскинувшийся на противоположной возвышенности город; внизу — железнодорожная станция и мост, по которому лениво отходил неприятель, оглядываясь как бы с сожалением, что пришлось выпустить из рук добычу; перейдя мост, они присоединились к своим, выжидая, очевидно, что мы предпримем. Зная, что Струков, которого должен был известить тот же самый казак мой, что вызвал сотню, не оставит прислать подкрепление, я предложил сотенному командиру начать тихонько спускаться, а Д. крикнул, чтобы в случае нужды он поддержал нас.



Дом в Чорлу.

— Не ходите, — вопил издали Д., — я вам говорю, не ходите — их много!

Сотенный командир объявил, что он не берет на себя повести людей в таком малом числе — «разве что вы прикажете...».

— Я не имею права вам приказывать, но если вы не решаетесь, хорошо, приказываю — вперед, дружно, теснее!

Тихо стали мы спускаться, драгуны пошли за нами, тихо же стали отходить турки. Они были от нас в расстоянии 400—500 шагов, так что мы могли рассмотреть каждого всадника отдельно: все как на подбор щегольски одеты, с полулуниями на шапках и все на славных, маленьких, крепких конях.

В донесении, посланном Струкову, я предложил кроме подмоги лично нам послать еще по отряду в обход, что он и исполнил: лишь только мы перешли мост, пришел к нам на рысях эскадрон улан с адъютантом этого полка, милейшим офицером, имя которого забыл; мы были торжественно встречены как избавители (чему мы немало смеялись) вышедшими греками и болгарами, причем дело не обошлось без целования наших рук и ног.

Страшный вой огласил в то же время окрестность: это Д. наказывал железнодорожного чиновника, будто солгавшего ему, что турки уже ушли, в сущности, сказавшего правду, — но за правду ведь бьют! Так как экзекуцию производили потерпевшие драгуны, то легко было понять, что она была нешуточная и что кричавший не притворялся.

От генерала пришло приказание не входить в самый город, ожидать его. Скоро приехал Струков и с ним ротмистр князь Васильчиков, привезший известие о заключении перемирия! Отряд был остановлен, подошедшие болгарские священники отслужили молебен, после чего князь Васильчиков, передав солдатикам благодарность его высочества главнокомандующего за службу, объявил о заключении перемирия и вероятности скорого заключения мира. Ему, как и Струкову, со своей стороны благодарившему за только что кончившееся дело, отвечали дружным, громким «ура!».



Мы расположились в конаке, и общество наше увеличилось теперь князем Васильчиковым, простым, покладистым

малым. Мясо и овощи были недурны, масло, сливки очень хороши, а изюм и миндаль так дешевы и вкусны, что мой адрианопольский трофей — ключ, по всей вероятности от какого-нибудь амбара, безустанно работал, разбивая орехи. Казак мой, кубанец Курбатов, вороватый, но незлой малый, прежде бывший в должности и драбанта и повара, теперь не был допускаем к варке щей, борщу и т. п., хотя он ссорился с людьми Струкова из-за этого и уверял, что сварил бы не хуже других; ему было поручено приготовление только кофе, потреблявшегося в огромном количестве и поэтому варивше-



Денщики.

гося в колоссальном медном чайнике. Потому ли, что кофе был действительно хорош, или потому, что при постоянном движении желудка наши были невзыскательны, мы очень хвалили его, чем Курбатов мой так возгордился, что, когда кто-то другой позволил себе приготовить этот напиток, он полез в драку. Интересно то, что главным образом приготовлению этого кофе казак мой обязан был полученною им наградю.

— Почему вы, Василий Васильевич, не представите вашего казака (к награде)? — спросил меня Струков.

— Да за что же ему давать крест, ведь он в огне со мною ни разу не был.

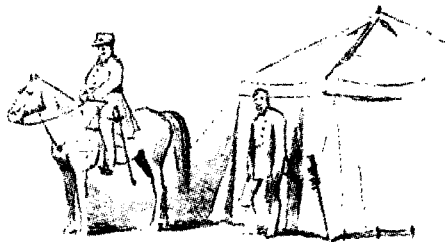
— Что ж такое, это не его вина, не случилось; я уверен, что при случае он не отстал бы от вас.

— Так-то так; пожалуй, представьте.

Таким образом Курбатов украсился знаком отличия.

Здесь кстати сказать, что легкость, с которою даются солдатские кресты, удивительна; еще в частях соблюдается кое-какая справедливость, потому что данные знаки отличия, столько-то на роту, распределяются большею частью самими же солдатами, которые хотя и присуждают их не действительно отличившимся, а фельдфебелю и унтерам, но все-таки

вопиющих несправедливостей избегают. Но почему, например, юнкера и разжалованные из офицеров всегда все увешиваются одним, двумя, тремя и четырьмя (четвертый — золотой с бантом) Георгиевскими крестами, даже если они только просто участвовали в деле? Разжалованный офицер может быть уверен, что на него навесят так себе, ни за что, из одного уважения к несчастью, два-три креста, за которые солдату надо крепко отличаться или принять несколько ран. Денщики в штабах и главных квартирах всех людей, мало-мальски влиятельных или имеющих доступ к влиятельным лицам, непременно украшаются крестами, даже если они ни разу не слышали свиста пули, а только пе-



Офицер и денщик.

ревозили господскую хурду-мурду в обозе армии. У Струкова денщик, казак Паршин, получил два креста и в благодарность перед уходом домой на Дон стянул у барина скорострельное ружье. Наш Христо, носивший один крест, но имевший непреодолимое желание навесить несколько, просил меня в конце похода замолвить за него Струкову, причем, разумеется, высчитал все свои права и заслуги. Увы, надобно сознаться, что я обещал замолвить, и действительно замолвил. Во время коронации я видел Христо, с важностью ученого пуделя ходившего за болгарским князем, с тремя крестами в петлицах, — утешаюсь тем, что не по одной моей вине, что тут был грех и Струкова, и разных благодетелей главной квартиры, перед которыми бравый Христо, конечно, не преминул повторить счет своих прав и заслуг.

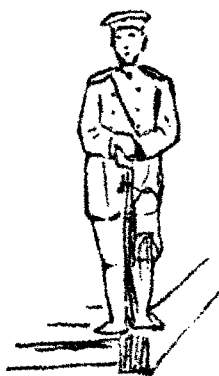
Казакки наши, должно быть, обрадовались перемирию: запалили такой огонь, что, проходя мимо их помещения, я невольно подумал: «Не было бы, однако, опять пожара!» Так и есть, скоро запылал весь дом, и я едва успел сам вывести моих лошадей. Никто, впрочем, не сгорел, хотя дело было к ночи, и никто ничего не потерял в огне, зато прекрасный конак сгорел

дотла — второй дом счетом из приютивших нас и наших героев-денщиков! Была уже темная ночь, когда мы, стоя на другой стороне площади, наблюдали за тушением огня и отстаиванием соседних зданий, а потом перебрались в одну из недалёких улиц, в дом какого-то грекоса, — и поместились недурно.

Немало тут было хлопот с жителями, жаловавшимися на обиды и несправедливости не только турецкие, но и наших солдатиков, нет-нет да и покушавшихся искать счастья в чужих домах. Один раз я ходил ловить мародеров вместе со Струковым, который, потеряв терпение, пошел ночью проверить справедливость жалоб жителей на обиды; больше же я ходил один с казаком: что ветра в поле искать этих ловкачей, искателей кладов, — шмыгают через заборы и крыши, да и баста! Хоть и то ладно, что спугнешь их.



У Струкова здесь была масса дел; днем я помогал ему чем мог, так же как и помянутый драгунский офицер, переписывавший бумаги; но ночью я преисправно спал и только спроне, одним глазком, видал иногда, как он строчит донесение или принимает его от одного из многих маленьких отрядов, разсланных в разные стороны: там захватили железнодорожную станцию с правительственной корреспонденцией, там



Офицер.

напали на шайку грабивших черкесов или на возу захватили турецкое знамя, снятое с древка с целью половчее скрыть его, и т. п. Как в известном французском водевиле «Угольщики», где полицейскому комиссару не везет с завтраком: только что он вытащит его и соберется закусывать — стучатся просители и жалобщики, только что мой Александр Петрович прочитает депешу, даст ответ, отпустит вестника и, затушив свечу, собирается всхрапнуть — опять в темноте: стук, стук! «Ваше превосходительство!»



Скобелев приехал на третий день вечером на железнодорожной дрезине; мы его ждали очень долго, не дождалось, воротились назад на станцию и готовились уехать домой, когда он подкатил. Оказалось, что милейший Михаил Дмитриевич выбрил себе голову, что, по правде сказать, очень не шло к нему, тем более что картуз, сделавшись слишком широким, сидел совсем на ушах. Скобелев всегда страшно боялся потерять волосы, облысеть, как отец его, и достаточно было сказать ему: «А ведь волосы-то у вас скоро вылезут, Михаил Дмитриевич», — чтобы он, посулив типуна на язык, на другой же день не выстригся под гребенку. В данном случае надобно думать, что «белый папа» не прочь был популярничать немного между мусульманами своею выбритою головою, и только выражение невольного изумления всех русских перед его бритым черепом, видимо, его стесняло и раздражало.



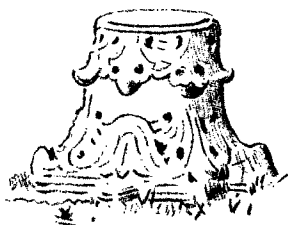
Вскоре же, по приезде начальника авангарда армии, мы выступили по направлению к Чаталдже, где, по условию с турецким правительством, должны были остановиться.

Это были уже последние наши походы. И офицеры и солдаты были рады перемирию и скорому, вероятно, заключению мира, о котором жены и семьи на далекой Родине давно уже молили Бога; только мысль о возможности «оккупации» смущала несколько общую радость.

Что за чудесные развалины встретились здесь по дороге! Влево от нашего пути виден был холм с разбросанными по нем остатками построек, — я свернул туда и очутился среди торчавших из земли витых колонн, капителей, баз и прочего, прекрасной работы греческо-византийского периода, из чистого белого мрамора; с холма были видны, направо и налево, два моря. Пастух сидел на этом холме, как на подушке, набитой этими чудесными остатками былого величия края,

и наблюдал за пасшимися кругом баранами; очевидно было, что никто никогда и не думал интересоваться здесь этими мраморами. К несчастью, и у нас оказалось мало сочувствия к ним; я говорил после Скалону, что недурно было бы взять несколько хороших образцов этой архитектуры и переслать в Россию, но получил ответ: «Где с этим возиться, не на чем перевозить».

Вообще, по всему краю здесь разбросаны остатки древности, преимущественно византийского периода греческого величия; почти все мечети заключают в себе много материала, взятого из разрушенных церквей. Базы колонн в мечетях всегда не что иное, как перевернутые капители из храмов, часто удивительной работы, и со стороны входа всегда обитые, обтертые очищаемою о них обувью правоверных.



Капитель.

Встретился нам здесь чиновник телеграфного ведомства из Константинополя; он был послан осмотреть телеграфные проволоки, от исправности которых зависела теперь в значительной степени быстрота мирных переговоров; Струков пропустил его беспрепятственно, хотя с ним не было правильного вида.



Силиври — прелестное местечко, на самом морском берегу, в небольшом заливе. Ни одного болгарина или грека не вышло к нам навстречу — верный признак того, что в городе турецкие войска; так и было в действительности. Я ехал один, далеко впереди отряда. В улицах толпа народа и войска кавалерии — те самые молодцы, с которыми мы столкнулись под Чорлу, — все так и уперлись в меня глазами: народ — с видимым сочувствием, которого, однако, не смел выражать, солдаты — враждебно. Меня провели в конак к Идеат-паше, командовавшему этим передовым отрядом кавалерии.

Представившись ему как секретарь русского генерала, я заявил о необходимости немедленно же очистить город для наших солдат.

Он отвечал, что не получил еще приказания, но послал уже запрос и ждет ответа, причем выразил уверенность, что ему дадут возможность дождаться этого ответа.

— Генерал согласится, вероятно, на самый короткий срок — не более.

Струков скоро подъехал, и я объяснил ему положение: очевидно, паша хитрил, хотел фактически установить границу между их и нашими войсками в Силиври, а не в Чаталдже. Струков потребовал немедленного очищения города.

— Да разве не можем мы вместе поместиться: вы займете один конец города, я другой?..

— Нет, не можем, — отвечал Струков, начинавший терять терпение, и повторил свое требование.

— Да ваш секретарь дал нам право подождать здесь ответа.

— Нет, он говорил вам лишь о времени, необходимом для сбора к выходу.

— Но не можем же мы отступить, не получив приказания.

— Так я вас заставляю!

— Не прикажете ли, ваше превосходительство, вызвать орудия? — обратился я к Струкову.

— Сейчас, подождите, — может быть, он уберется и так.

Приказав нашим войскам не занимать весь город, чтобы не войти в соприкосновение с турками, генерал прождал несколько минут, в продолжение которых мы выпили по чашке кофе, но, не получая никакого ответа и не видя приготовления к выходу, так как войска их продолжали стоять на улице и глазеть на наших, спросил еще раз и решительно, очистят они город или нет?

— До получения ответа из Константинополя нельзя, — был ответ.

Струков вышел в прихожую и голосом, который сделал бы честь и не такой тщедушной груди, как его, закричал:

— Батарею сюда!

Несколько человек бросились исполнять приказание, слышалось:

— Батарею, батарею!

Что сделалось с Идеатом-пашою, как он засуетился!

— Сейчас придет ответ!

— Знать ничего не хочу! — отвечал Струков.

— Получен, получен ответ, — сейчас выступаем!

Действительно, турки сели на коней и выступили, а мы заняли конак, донельзя загрязненный и полный насекомых. Смотрим, вечером опять является Идеат, в самом веселом настроении, очевидно, хочет уверить, что мы можем жить вблизи друг от друга не ссорясь. Меня он дружески, как бы старинного знакомого, хлопнул по плечу, на что я со своей стороны ответил здоровеннейшим, приятельским же хлопком по его загорбку, зная, что на Востоке наружные формы, особенно при людях, считаются более чем где-либо.

Струков и слышать не хотел о новых турецких хитростях.

— Из Константинополя получено приказание город очистить, но далее не отходить, так как по новому условию с нашею главною квартирою наши войска не должны двигаться далее Силиври.

— Мне лучше известно распоряжение главной квартиры, — отвечал генерал, — я пойду дальше и, если вы не отступите, атакую вас.

— Хорошо, атакуйте, ответственность за это несправедливое нападение будет на вас.

— После разберут, на ком ответственность; не была бы она, смотрите, на вас.

— Каким же образом на нас, когда у нас получены самые положительные приказания, не далее как сейчас; не хотите ли взглянуть на депешу?

— Нет надобности, мои приказания при мне, и я их исполню.

Насилу спровадили пашу, уверявшего в дружбе вообще турок к русским и его лично к нам, в несправедливости дальнейшего наступления и т.п.

Так и представлялись мне польские и русские люди, съехавшиеся для переговоров о мире: одни ставят непременно условием уступку Смоленска, другие в ответ на это требуют отдачи всего, вплоть до Варшавы; и в конце концов после многого потения, споров и криков до хрипоты проводят черту, удовлетворительную для более сильной и настойчивой стороны.



Выступив на другой день, увидели, что вместе с нами же, не ранее, выступили из-под города и турки; причем шли они так тихо, что нам поминутно приходилось останавливаться, утыкаясь в хвосты их лошадей. Струков после нескольких замечаний стал обходить турок, аррьергард которых остался далеко позади нас, а когда и это не помогло, опять рассердился и приказал батарее нашей выехать на позицию. Турки зашевелились немного, но генерал не удовольствовался этим и, въехав на возвышенность около дороги, тем же припасаемым им, очевидно, для самых экстренных случаев громовым голосом закричал:

— Марш-маршем!

Вся неприятельская кавалерия, большинство которой были арабы, вероятно, не поняла эту команду, но некоторые, должно быть, поняли и поскакали, за ними встрепенулись и поскакали все, — можно сказать, была потеха! Точно церемониальным маршем мимо русского генерала скакали арабы с развевающимися бурнусами, шелковыми платками с кисточками и длиннейшими своими копьями; седла некоторых всадников, не рассчитывавших, может быть, на такую бешеную скачку, свернулись, — арабы кубарем через голову, а потом, как кошки, галопом на своих на двоих, вдогонку за лошадьми, и все это при дружном, искреннем смехе наших солдатиков, буквально державшихся за бока от хохота!

На привале в этот день мы наткнулись опять на эту кавалерию. На подмогу ей явился полковник турецкого генерального штаба от Мухтара-паши, командовавшего остатками турецкой армии. Надобно думать, что полковник переговорил

уже с оказавшимися тут же австрийским и американским военными агентами при нашей главной квартире; вероятно, он разжалобил и уговорил их помочь ему, так как при входе в дом, где Струков его принял, этот офицер (воспитывавшийся в Англии) довольно резко спросил:

— Кто здесь говорит по-английски, я не говорю по-французски?

— Я готов перевести, что вам угодно, — ответил американец Грин.

— Very well*, — обрадовался турок и начал было разводить туры на колесах, когда Струков остановил его.

— Позвольте, позвольте, я не понимаю по-английски, не угодно ли вам прислать офицера, который говорит по-французски или по-немецки, или отправьтесь к генералу Скобелеву.

Рассуждений и возражений не допускалось никаких.

Скобелев решил послать офицера к «гази» (непобедимому) Мухтару, а мы тем временем передвинулись к Чаталдже, где стало понятным старание турок задержать нас возможно дольше и дальше от этих мест: на линии фортов, составлявших знаменитые чекменджинские укрепления, прикрывавшие Константинополь с сухого пути, деятельно работали; на некоторых холмах даже и земляные работы были не готовы; другие же смотрели грозно издали, но на них не было еще орудий. Видно, турки, под влиянием своих временных успехов в Европе и Азии, поздно взялись за оборону подступов к столице или, вернее, к столицам, так как оба города — Адрианополь и Константинополь — в последнюю минуту оказались незащищенными.

Я ездил с несколькими драгунами по дороге к фортам, верст за пять от Чаталджи, посмотреть местность, и вынес убеждение, что проход по этой местности в это время года крайне затруднителен для лошадей, для оружия же — почти невозможен: вся дорога представляла одну сплошную трясиину, в которой завязнуть и умереть без покаяния, казалось, было самым простым, естественным делом.

* Очень хорошо (англ.).



Полковник наш, посланный Скобелевым к Мухтару-паше, возвратился, оговорив что следовало. Я пришел в ужас от рассказанного бывшими при нем офицерами: якобы для шутки Мухтар в разговоре с нашим полковником тронул его за бороду, одна половинка которой разнилась цветом волос от другой, и умный, храбрый, утонченно вежливый приятель наш не только не дал лизуна непобедимому Мухтару, но и не сморгнул, — у меня вчуже руки чесались. По мусульманскому обычаю нет большей обиды, как дернуть за бороду противника, — воображаю, как турки потешались рассказами об этом.

Скобелев приехал немного пасмурный, грустный. Когда мы остались одни, он спросил меня:

— Что вы думаете, Василий Васильевич, кончились военные действия?

— Кончились, — отвечал я.

— Вы думаете, будет заключен мир?

— Думаю, что будет заключен мир, и немедленно же утекаю.

— Подождите, может быть, еще не заключат мира, пойдем на Константинополь.

— Нет! Заключат мир; уеду писать картины.

— Счастливцев вы!



Михаил Дмитриевич рассказывал мне и Струкову за завтраком, что, когда отряд нашей гвардейской кавалерии под начальством генерала Э. входил в Родосто, жители под разными предлогами задержали его некоторое время вне города, и когда наконец он вошел, — судно с городской казною, состоявшей из очень значительной суммы, вышло в море, к Константинополю. Надобно сказать, что я неоднократно просил Струкова послать меня хоть с небольшим отрядом в богатейший Родосто, налететь, взять контрибуцию в миллион рублей и уйти назад.



Верещагин в 1878 г.

Струкову нравилась эта мысль, но, как человек осторожный, он боялся, с одной стороны, послать слишком слабый отряд, с другой — обессилить наше движение отделением более или менее значительного отряда. Потом, когда сделалось официально известно о заключении перемирия, пришлось оставить попечение об этом. Зато, услышав о том, что в казне Родосто, действительно хранились большие деньги, я просто подскочил на стуле.

— Скажите, Александр Петрович, — вскричал я, — не советовал ли я вам набежать на Родосто и сорвать с них здоровый выкуп?!

Скобелев засмеялся:

— Вы настоящий воин, Василий Васильевич!



Я возвратился в Адрианополь, где главнокомандующий чрезвычайно любезно принял меня:

— Спасибо, молодец, на все руки мастер!

— Рад стараться.

Я объяснил его высочеству, между прочим, соображения, понудившие нас дозволить повернуть назад части турецких переселенцев: нет сомнения, что турки не найдут себе места в Константинополе и принуждены будут возвратиться голодные, разоренные; гораздо же лучше принять теперь зажиточный народ со всем его добром, чем после толпу нищих! Бывший при этом дипломатический чиновник (теперешний посол) Нелидов не принял этой точки зрения. «Вы сделали политическую ошибку», — повторил он несколько раз. Последствия, однако, совершенно оправдали нас: все турки, уцелевшие от голода и болезней, в силу трактата воротились на старые места, но

предварительно все распродал и вконец обнищав в константинопольских предместьях и улицах, где толпы этого недавно еще исправного рабочего народа долго были пугалом населения.



Главная квартира в Адрианополе была очень оживлена теперь: масса народа понаехала туда, словно на пир, кто (немного поздновато!) отличаться, кто дела делать, для чего было самое время; военные агенты также были все в сборе, так что прежнее, веселое, но скромное общество походило теперь на шумный двор; как ни громаден был стол в зале конака, места приходилось брать чуть не с бою. Улицы города представляли сплошной базар: от генерала Игнатьева, пожимавшего руки направо и налево, сумевшего и здесь сделаться популярным, до последнего прапорщика, нашедшего наконец канал для спуска накопившихся рублей, — все жило и праздновало победу.

Мне понадобилось съездить в Чорлу, чтобы сделать там несколько набросков, которых, за разными прежними малохудожественными занятиями, не удалось исполнить во время похода. Железная дорога была в наших руках, и желавшим не возбранялось переезжать по ней. И в Чорлу все оказалось порядочно изменившимся: в кабачке на станции была такая масса народа, что я отчаялся было что-либо получить, когда неожиданно хозяин разлетелся со всевозможными знаками почтения и благодарности: оказалось, как я и вспомнил, что он приходил к нам, во время нашего всемогущества, просить защиты от башибузуков, хотевших якобы увести его коров и баранов, и с дозволения Струкова я дал ему драгуна для прикрытия отступления стада; очень может быть, что с этою охраною он не только защитился, но и прихватил себе малую толику лишнего из многого множества стад, оставшихся за уходом турок без владельцев; если так, то понятно, что он чувствовал потребность выразить свою благодарность и лучшим куском подошвы, именуемой бифштексом, и лучшею красною бурдою доморощенного «лафита».

Поезда назад не было, и так как правильное сообщение еще не наладилось, то даже и не знали, когда таковой будет, — пришлось приказать, чтобы был поезд; я приказал, и действительно, поезд снарядили. При отходе со станции вышел такой казус: мы уже двинулись, когда подбежал запыхавшийся болгарин, махавший каким-то письмом и кричавший: «Князь, князь, Адрианополь, Рейс!..» Я знал Рейса, немецкого посла в Константинополе, и понял, что болгарин вез что-либо от этого дипломата в нашу главную квартиру. Я велел остановить поезд, посадил болгарина и взял от него письмо, запретив ему говорить что-либо с кем бы то ни было, так как железнодорожные служащие, преимущественно австрийцы, уже, видимо, заинтересовались тем, что слышали. Когда мы поздно вечером приехали в Адрианополь, я велел болгарину идти в конак, а письмо передал генералу Игнатьеву, как раз входившему с Нелидовым во двор; подошедшего вскоре болгарина рекомендовал попечению Скалона, накормившего, напоившего его и представившего главнокомандующему.

Письмо оказалось большой важности: князь Рейс уведомлял конфиденциально нашу главную квартиру о вступлении в пролив английских броненосцев... У нас немедленно же решено было движение вперед к Сан-Стефано, а если англичане не остановятся, то и к Константинополю...

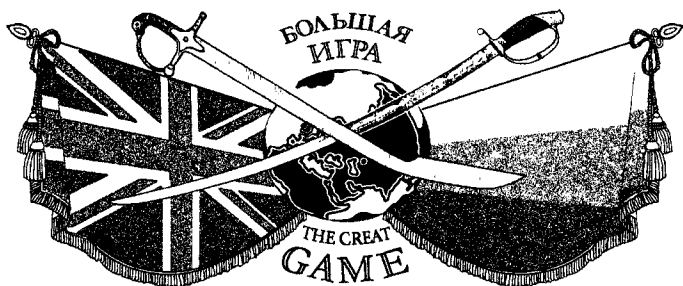


Прятели мои Струков и Кладищев все выпытывали, какую награду, какой орден я желаю получить... «Конечно, никакого», — был мой ответ.

Когда я собрался ехать на следующий день, милейший Скалон передал, что его высочество желает, чтоб я принял «на память золотую шпагу», но я поблагодарил и задал тягу... на железнодорожную станцию.

Honny soit qui mal y pense*.

* Да устыдится тот, кто сочтет это дурным (*старофр.*) — девиз английского ордена Подвязки.



МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ СКОБЕЛЕВ, 1870—1882 гг.

Скобелев был годом моложе меня. Он перешел на службу в Туркестан в бытность мою там, но, в каком именно месяце, не помню. Много слышав о его известном деде, я ничего не знал ни о его отце, ни о нем самом, пока не потряслась над ним история, наделавшая в свое время немало шума в кругу офицеров Туркестанского края. Как теперь помню первое знакомство с ним в это время, в 1870 году, в единственном ресторане города Ташкента: некто Жирарде, очень милый француз, учивший детей тогдашнего генерал-губернатора Кауфмана, подвел ко мне юного, стройного гусарского штабс-ротмистра.

— Позвольте вам представить моего бывшего воспитанника Скобелева.

Я пожал руку офицерику, почтительно поклонившегося и в самых любезных выражениях рассыпавшегося в чувствах уважения и проч.

Фигура юного Скобелева была так привлекательна, что нельзя было отнестись к нему без симпатии, несмотря на то что история, висевшая на его шее, была самого некрасивого свойства. Дело в том, что, возвратившись из рекогносцировки по бухарской границе, он донес о разбитых, преследованных и убитых бухарских разбойниках, которых в действительности

не существовало, как оказалось, и которые были им просто сочинены для реляции.

Дело разыгралось бы, пожалуй, «вничью», как множество подобных дутых донесений, если бы не замешалась личная месть: Скобелев в запальчивости ударил одного из бывших с ним уральских казаков, и хотя после представил его в урядники, но уралец, «дворянин», как они себя величают, на этом не помирился, а стал громко говорить, что «офицер сочинил от начала до конца всю историю о разбойниках, во все и не виденных ими».

Вышел великий скандал, не только для высших, но и для низших слоев общества офицеров; выразителем первых явился генерал-губернатор, вторых — двое офицеров из золотой молодежи Ташкента: кирасир Г., сын известного генерала Г. (окончившего жизнь в Варшаве всем известною трагическою смертью), и П., адъютант генерал-губернатора, — оба вызвали Скобелева на дуэль за вранье и недостойное офицера поведение.

Я готовился в это время ехать в Коканд и, живя временно в гостинице, видел все совещания и приготовления к поединкам, разумеется, не имея права вмешиваться в них: мне жаль было юношу, увлекшегося в погоне за отличием до такой некрасивой проделки, и я говорил П.:

— Да перестаньте вы конспирировать, пощадите малого-то!

П. рассказывал после, что Скобелев держал себя с большим достоинством во время дуэли, так что по окончании ее они пожали друг другу руки. Г. получил рану, кажется, бывшую впоследствии причиною смерти этого милого, симпатичного юноши. Принуждены были, как говорю, отозваться на этот шум и сверху: генерал-губернатор, он же и командующий войсками Туркестанского края, экстренно созвал офицеров в большой зал своего дома и сурово, жестоко распек Скобелева.

— Вы наврали, вы налгали, вы осрамили себя, — громко, рассчитанно жестоко сказал ему генерал Кауфман в зале, полном офицеров...

После этого Скобелев должен был оставить Туркестан, где его положение сделалось со всех сторон невыносимо. Перед отъездом он был до того жалок, что, признаюсь, я не утерпел, чтобы не сказать ему:

— Да плюньте вы, все перемелется...

Десять лет спустя этот осрамленный, опельмованный штабс-ротмистр был генералом от инфантерии, командиром передовой, отдельно оперировавшей армии и — необходимо сейчас же добавить — отличия свои взял не по протекции, а с бою, грудью; только один раз, не утерпев, сделал опять промах — не такой, правда, большой, как в 1870 году, но, однако, и не малый: повел солдат на штурм города Хивы с одной стороны в то самое время, как с другой — городская депутация выходила с хлебом-солью для выражения командующему войсками полной и безусловной покорности.

Генерал Кауфман рассказывал мне, что, зная уже о сдаче города и готовясь въехать в него, он был поражен и возмущен, услышав ружейные залпы и крики «ура!», — словом, настоящий штурм, затеянный Скобелевым и Ш. (Оставляю в стороне как дурачество поездку Скобелева в Испанию, где он дрался за претендента Дон-Карлоса.)



Справедливо сказать, что в этом же самом хивинском походе Скобелев действительно отличился, выдвинулся из ряда товарищей дерзки-молодецким поступком. Как не посмеивались потом П. и другие над тем, что он все-таки не докончил, не довел до конца предпринятого, я считаю, что Михаил Дмитриевич выкинул такую лихую штуку, за которую Георгиевский крест был только справедливою наградой. Не верю, чтобы, как утверждали досужие люди, он хлопотал только об этом кресте, который ему не давал покоя и статут которого, по его собственным словам, он знал наизусть еще с юных лет. Скобелев был весьма лихой офицер, и я думаю, что в поступке его было немало «искусства для искусства».

Вот что он сделал. Из трех отрядов, посланных на Хиву, один кавказский, под начальством полковника М., не дошел до места назначения, — слишком торопясь прийти раньше других, они измучили лошадей и заморили вьючных животных, так что в конце концов должны были во избежание гибели в степи, воротиться не дойдя до Хивы 70 верст. Это пространство в 70 верст осталось, таким образом, не исследованным, а для пополнения пробела в сведениях имелось в виду снарядить небольшой отряд пехоты, кавалерии и артиллерии.

Скобелев вызвался сделать один эту поездку, так же как и глазомерную съемку всего пути, — конечно, он знал, что по статуту Георгиевского креста он должен получить его за это дело...

Генерал Кауфман согласился.

Переодевшись в туркменское платье, Михаил Дмитриевич поехал с двумя джигитами и действительно исследовал путь и набросил расспросную карту, не дойдя лишь 15–17 верст до тех колодцев, от которых кавказцы повернули назад и у которых в это время, по сведениям, был расположен сильный туркменский отряд в 15 000 человек.

— Неужели вы никого не встретили на пути, кто бы признал в вас русского? — спрашивал я Скобелева.

— Конечно, встречался народ, но я всегда высылал вперед моих джигитов; они заводили разговоры о том о сем, главным образом, разумеется, об урусах, рассказывали при нужде и небылицы, чем отвлекали их внимание, а я тем временем проскальзывал вперед...

Действительно, за эту рекогносцировку Михаил Дмитриевич прямо по статуту получил давно желанный им Георгиевский крест. Генерал Кауфман рассказывал мне в 1874 году в Петербурге, что, поздравляя Скобелева с крестом, он прибавил:

— Вы исправили в моих глазах ваши прежние ошибки, но уважения моего еще не заслужили.

Жестко!



Это уважение почтенного Константина Петровича Кауфмана Скобелев заслужил не далее как в следующем же кокандском походе, во время которого он окончательно выдвинулся как боевой офицер, отлично подготовленный, разумный, храбрый и предприимчивый.

Будучи в Коканде во время вспыхнувшего там мятежа против хана, он, начальствуя конвоем русской миссии, отступил от города Коканда к русской границе, охраняя русских чиновников и самого хана со свитой, не потеряв ни одного человека. Одной неловкости, одного выстрела со стороны горсти отступавших было бы достаточно, чтобы вызвать резню; Скобелев понимал, что десятки тысяч наступавших со всех сторон узбеков, конечно, раздавили бы его ничтожную силу, если бы дело дошло до кровопролития, почему предпочел действовать на неприятеля страхом, им! онировать дисциплиною, и совершил отступление с полным успехом.

Конечно, не трусость, как некоторые говорили, и недостаток охоты подрасться побудили его к этому миролюбию, — открывшаяся затем кампания против восставшего Коканда служит тому лучшим доказательством.



Скобелев, занимая в этом походе должность начальника кавалерии, поспевал всюду и рубил, рубил, рубил с азартом, с упоением, рубил без усталости, без конца...

В битве под Махрамом он сделал такое кровопускание кокандцам, что К. П. Кауфман, любивший иногда щеголять словами, выразился в донесении государю: «Дело сделано чисто!»

Во время этой кампании Скобелев повторил маневр, прославивший многих кавалеристов, включая израильянина Гедсона и великого могола Индии Акбара: известясь о том, что поблизости расположилось большое скопище кокандской конницы, рассчитывавшей ударить на нас врасплох, он

с отборною сотнею оренбургских казаков под начальством лихого офицера Машина подкрался ночью к неприятельскому стану и без факелов и криков: «Меч Бога и Кауфмана!», с одним «ура!» так налетел на крепко спавших неприятелей, что они в панике, давя и убивая друг друга, разбежались во все стороны, не проявив ни малейшего сопротивления.

По словам Скобелева, на другой день было собрано на поле битвы 2000 чалм. Даже если и 1000 только, то дело сделано было недурно, т.е. опять-таки «чисто».

Мне понравилась в рассказе Скобелева об этой лихой атаке (рассказывал он мне, Струкову, Языкову и Васильчикову во время Последней турецкой кампании, когда мы стояли в городе Чорлу) черта искренности, не часто у него встречавшаяся: он откровенно сознавался, что в темноте потерял Машина из виду и только услышал шум пронесшейся сотни, как бы шум вихря, так что попал на поле битвы, уже когда все дрогнуло и побежало. Это признание было, очевидно, следствием той относительной военной честности, которую Михаил Дмитриевич стал в последнее время все более и более усваивать. Конечно, и под Геок-Тепе цифры сил и потерь неприятеля не свободны еще от преувеличений, но уже переход к ним от бухарских разбойников разителен; к тому же надо сказать, что военные всех народов и времен прибавляли, прибавляют и будут прибавлять, т.е. подвирали, подвирают и будут подвирать. По пословице: «Сухая ложка рот дерет», и офицеры и солдаты любят начальника, который прикрашивает реляции, потому что тогда выходит больше наград и отличий, и, в конце концов, вряд ли кто из военных будет вправе в этом отношении бросить камнем в Скобелева последних годов, т.е. Скобелева, строгим присмотром за собою значительно исправившегося.

Можно сказать, что завоевание Коканда совершено столько же Кауфманом, сколько и Скобелевым, который остался потом в области военным губернатором ее.

Не мешает прибавить, что К.П. Кауфман был после в самых лучших отношениях со Скобелевым, и письма покойного начальника Туркестанского края, полученные Михаи-

лом Дмитриевичем во время турецкой кампании, — некоторые мне доводилось читать — дышали все искренним расположением и дружбою.

Мимоходом сказать, одно из этих писем, написанное до начала наших плевненских неудач, было чисто пророческим: Кауфман находил линию наших сил слишком растянутою, не довольно сильною и высказывал опасение за необеспеченность флангов, особенно правого, который вскоре действительно и наткнулся на Плевну.



На поле Русско-турецкой войны Скобелев явился генерал-майором, уже с Георгием на шее, и, хотя вначале над туркестанскою его славою смеялись, говорили, что он еще должен заслужить эти кресты, что, пожалуй, и роту солдат опасно доверить этому мальчишке, — он взял свое и кончил войну с репутациею первого боевого офицера, храброго из храбрых, народного героя-воина! (Некоторые из приведенных здесь замечаний были высказаны раньше, но я позволяю себе не опускать их в этой маленькой характеристике покойного русского богатыря.)

Помню, как неловко было положение его до перехода наших войск через Дунай и некоторое время после того. Как мучился он тем, что оставил Туркестан, и снова хотел проситься туда. Сколько раз слушал я его горькие жалобы, утешал и обнадеживал, советовал подождать.

— Буду ждать, Василий Васильевич, я ждать умею, — отвечал он.

Посланный, в явную немилость, начальником штаба к своему отцу Дмитрию Ивановичу Скобелеву, командовавшему казачьею дивизией, он спустил всю работу очень разумному офицеру, капитану Генерального штаба Сахарову, а сам проводил большую часть времени или в составлении разных проектов военных действий, чем немало надоедал многим, или пребывал в Бухаресте, где веселился потоплику, поколику

позволяли ему скудные средства, доставляемые расчетливым отцом, и на деньги, перехватываемые направо и налево, с отдачей и без отдачи — больше последнее.

И то сказать, генерал-майору, бывшему начальником огромной области и командовавшему войсками в ней, командировать над штабом дивизии было далеко не привлекательно; необходимость же как бы оправдывать ношение Георгия на шее, пока только словами, заставляла М.Д. искать популярности в сближении решительно со всеми, — с кем только он не был *на ты!*

От бездействия Скобелев выкинул было опять штуку, которая могла стоить многих сотен жизней, если бы не здравый смысл казачьих командиров. Он стал уверять своего отца в возможности переправить казачьи полки через Дунай... вплавь. Положим, цель была резонная: кавалерия на той стороне была крайне нужна, но ведь река-то была в разливе — около трех верст в ширину!

Осторожный Дмитрий Иванович Скобелев, «паша», как его называли у нас, собрал на совет полковых командиров, прося высказаться по этому вопросу. Приятель мой Кухаренко, командир Кубанского полка, первый объявил со своим обычным заиканием: «Не-е-е-возмо-о-ожно! Все перето-о-о-нем!» Бравый Левис, командир владикавказцев, сказал, что «попробовать можно, но, вероятно, большая часть людей перетонет». В том же смысле высказались Орлов и Панкратьев.

Тогда Михаил Скобелев вызвал охотников — явилось несколько офицеров и казаков. Все воротились или только окупнувшись в глубь, или проплыв около полу версты до настоящего левого берега Дуная, начавшего показываться из воды и образовавшего в это время длинный островок.

Михаил Дмитриевич один поплыл далее, хорошо понимая, что кому другому, а ему повернуть назад немислимо — засмеют.

Скобелев-отец все время стоял на берегу и, пока голос его мог быть слышен, кричал: «Воротись, Миша, утонешь! Миша воротись!» Но тот не дослушал, не вернулся и почти доплыл

до противоположного берега, недалеко от которого его, уже совсем измучившегося, приняла лодка; лошадь же, освободившись от всадника, сначала державшегося за гриву, а потом за хвост, благополучно добралась, хотя лошадь эта была не из особенно замечательных ни по силе, ни по красоте.

Нет сомнения, что казаки на своих тяжелых, пузатых лошаденках не отделались бы так благополучно и, по всей вероятности, как говорил Кухаренко, «пе-р-е-е-тону-ули бы».

Для Скобелева лично этот опыт переправы был не первый — он делал его, хотя и не в таком крупном, рискованном виде, и прежде и после.

Как я слышал, незадолго перед смертью, управляя маневрами своего корпуса, он приказал одному кавалерийскому полку переправиться через реку.

Люди замялись, полковой командир позволил себе выразить боязнь: «Не перетонули бы!» Тогда Скобелев взял из строя первую попавшуюся лошадь, сел на нее и, как та ни бросалась, ни фыркала, заставил ее переплыть на тот берег и назад.

— Вы видите, братцы, как это делается, — сказал он людям, — теперь сделайте то же самое.

Полк переплыл туда, переплыл обратно и не потерял ни людей, ни лошадей. Правда, что река была не в три версты шириною.



Перед переправой за Дунай Скобелев-отец лишен был командования дивизиею, так что сын остался решительно ни при чем, между небом и землею. Во время переправы он, на свой страх, пристроился к генералу Драгомирову как ординарец и тут буквально поразил всех своим хладнокровием и бесстрашием; гуляя в огне как на бульваре, разнося приказанья, присматривая за ходом битвы, ободряя молодых офицеров и солдат, он вел себя поистине блистательно, как вполне опытный боевой офицер, и это — по отзыву самого генерала Драгомирова, репутация которого у нас была и есть очень высока.

Умный, правдивый генерал этот сознавался, что успехом переправы много был обязан Михаилу Дмитриевичу, ободрившему его в то время, когда он начинал уже сомневаться в успехе.

Какой же нагоняй был потом Скобелеву от высшего начальства за то, что он суется туда, «куда его не спрашивают».

Потом ему приказано было сделать рекогносцировку в сторону Рущука, но так как не дали в его распоряжение никаких сил, то он уклонился от доли простого «соглядатая обетованной земли» и за это обрушил на себя целую бурю гнева...

Во время второй атаки на Плевну Скобелеву решились доверить кроме казаков еще батальон пехоты, и с этим батальоном он положительно спас наши отбитые, разбитые войска: князь Шаховской официально донес, как мне говорили, что корпус его отошел сравнительно благополучно только благодаря своевременной, энергической диверсии, произведенной Скобелевым.

С горстью людей он дошел до самой Плевны и крепко нажал на турок, никак не полагавших, что они имеют дело лишь с несколькими сотнями людей, никем не поддерживаемых.

Отвлекая на себя внимание неприятеля, М.Д., конечно, отступил, когда расстроенные полки корпуса Шаховского отошли.

Здесь кстати привести рыцарскую черту характера Скобелева: он призвал покойного брата моего Сергея, которому обыкновенно доверял самые опасные поручения, и сказал:

— Уберите всех раненых; я не отступлю, пока не получу от вас извещения, что все подобраны.

Уже поздно было, когда брат мой, с одной стороны, и сотник Ш. — с другой, явились к Скобелеву и донесли, что «ни одного раненого не осталось на поле битвы».

— Я вам верю, — ответил Скобелев и только тогда приказал отступить.

Брат мой, убитый потом 30 августа 1877 г., состоял при М.Д. волонтером; он был с ним во все время этой дерзкой атаки, и Скобелев рассказывал, что, когда под ним убили лошадь, юный художник соскочил с седла и расшаркнулся: «Ваше превосходительство, не угодно ли взять мою?»

— Смотрю, — говорит Скобелев, — дрянная гнедая с...ва! — Не хочу, нет ли белой?

Однако пули и гранаты сыпались в таком количестве, а турки напирали так сильно, что пришлось-таки сесть и на гнедую с...ву, которая в конце концов вынесла из огня не хуже белой.



Битва под Ловчею была первой, в которой Михаил Скобелев, 34-летний генерал, самостоятельно распоряжался отрядом в 20 000 человек. Он был под началом князя Имеретинского, благоразумного генерала, не стеснявшего Скобелева в его распоряжениях и совершенно вверившего ему все силы.

Когда форты, которые, пожалуй, никто другой из русских генералов не осилил бы, были-таки взяты после самого кровопролитного боя, князь Имеретинский в своем донесении главнокомандующему назвал Скобелева «героем дня».

Справедливо прибавить, что у Михаила Дмитриевича был в свою очередь неоцененный помощник в лице умницы-офицера капитана Куропаткина, почти такого же неустрашимого, как он сам, с прибавкой хладнокровия.

Для меня лично, может быть, я и ошибаюсь, нет сомнения в том, что Скобелев взял бы Плевну 30 августа. Но что было делать? Когда с ничтожными сравнительно силами он занял после трехдневной битвы турецкий редут, буквально висевший над городом, орудия которого до того беспокоили Плевну, что Осман-паша решил отступить, если не удастся отобрать его, когда М.Д. умолял о посылке подкреплений, — ему не дали их, а прислали лишь небольшую поддержку из одного разбитого накануне полка! Разумеется, Осман-паша, никем не беспокоимый с других сторон, с огромными силами напал на бедного «белого» генерала, в продолжение многих дней без усталости и победоносно водившего солдат на штурмы, разбил, выбил и прогнал его даже за старые позиции...

Офицеры Генерального штаба говорили, что Скобелев занял не тот редут, который следовало, — что его во всяком случае выжили бы оттуда огнем с соседнего, более возвышенного и более сильного укрепления, — но я не вижу беды в том, что Скобелев схватил покамест меньший редут: вовремя подкрепленный, он взял бы и соседний.

...По печальной необходимости разыскать тело моего убитого брата я проезжал 31 августа местами расположения наших войск. На другой день третьей атаки плевненских редутов, узнав от адъютанта главнокомандующего Дерфельдена, воротившегося с левого фланга, что один брат мой ранен, другой убит, сам еще безногий, я бросился в отряд Скобелева, чтобы привезти первого и отыскать, коли возможно, тело второго.

Проезжая мимо всех наших позиций, я видел массу войска — ружья в козлы, — прислушивавшегося к трескотне на левом фланге...

Нечасто случалось мне слушать такую непрерывную дробь выстрелов, приправленных отчаянными воплями: «Ура! ура!» «Алла! Алла! Алла!»

Приехав на Зеленые горы, я нашел князя Имеретинского с Паренцовым, Грековым и несколькими другими офицерами, лежавшими, сидевшими и прогуливавшимися. Генерал, как раз закусывавший, предложил мне остаток бывшей перед ним вареной курицы и стакан красного вина, причем спросил: не знаю ли я, намерены им сегодня помогать или нет?

Я не отказался съесть курицу и выпить вино, но на вопрос мог только ответить, что в главной квартире о распоряжении помогать им не слыхал, да и по дороге, хотя совершенно готового войска видел немало, кажется, расположения идти к ним на помощь не заметил.

— Ну, так нам будет плохо, очень плохо! — сказал генерал.

У Скобелева в это время было что-то невозможное: слышалось только: р, р, р, р, р, р, р, р, р!!! *****

За душу щемила меня эта полная беспомощность бравого левого фланга, точно забытого, брошенного под впечатлением вчерашних неудач и потерь. Страдая сильно от раны, еще не затянувшейся, я ездил в колясочке, нанятой в Бухаресте, и поэтому двигался только по дорогам, т.е. медленно, — иначе, конечно, я бросился бы к главнокомандующему, может быть, и не знавшему об истинном положении дела...

Я настаиваю, как многим ни покажется смело и безавторитетно мое настаивание, на том, что подкрепленный Скобелев взял бы и соседний редут, после чего туркам не оставалось бы ничего иного, как очистить город, расположенный прямо под нашими выстрелами.

Три с половиною месяца спустя, когда Плевна пала, я ездил со Скобелевым на панихиду, заказанную им по защитникам несчастного «Скобелевского» редута. Тяжелые воспоминания передал мне тогда Михаил Дмитриевич. Чтобы легче было идти на штурм, взбираться на высоты, солдаты побросали шанцевые инструменты, так что когда пришлось после рыть траншею со стороны наступавших турок, они пустили в дело штыки и свои пятерни: конечно, не успели вырыть и ничтожного прикрытия, как турки набежали, навалились и кучку наших храбрых, сжавшихся для последней защиты за траверсом, в углу редута, подняли на штыки.

Указывая мне эту канавку, рытую пальцами, Скобелев буквально залился слезами и потом, во время панихиды, опять горько плакал. Признаюсь, всплакнул и я вместе с большею частью присутствовавших.

В жар, в лихорадку бросало меня, когда я смотрел на все это и когда писал потом мои картины; слезы набегают и теперь, когда вспоминаю эти сцены, — а умные люди уверяют, что я «холодным умом сочиняю небылицы»... Подожду и искренно порадуюсь, когда другой даст более правдивые картины великой несправедливости, именуемой войною.



В конце 1878 года в Петербурге брат мой как-то пришел сказать, что Скобелев очень, очень просит прийти к нему — что-то нужно.

Прихожу.

— Что такое?

— Очень, очень нужно, увидите!

Затворяет двери кабинета и таинственно:

— Дайте мне дружеский совет, Василий Васильевич, вот в чем дело: князь Болгарский (Баттенберг) предлагает мне пойти к нему военным министром; он дает слово, что, как только поставит солдат на ноги, не позже чем через два года затеет драку с турками, втянет Россию, будет снова большая война, — принять или не принять?

Я расхохотался.

— Признайтесь, — говорю, — что вы равнодушны к белому перу, что болгарские генералы носят на шапках, вам оно было бы к лицу!

— Черт знает, что вы говорите! Я у вас серьезно спрашиваю совета, а вы смеетесь, толкуете о каком-то пере, — ведь это не шутка.

— Знаю, что не шутка, — отвечал я и серьезно напал на него за безнравственную легкость, с которой они с каким-то там князем Болгарским рассчитывают втянуть Россию в новую войну.

— Что Баттенберг это затекает, оно понятно: он авантюрист, которому нечего терять; но что вы, Скобелев, такими страшными усилиями добившийся теперешнего вашего положения, поддаетесь на эту интригу — это мне непонятно. Плюньте на это предложение, бросьте и думать о нем!

— Да что же делать, ведь я уже дал почти свое согласие!

— Откажитесь под каким бы то ни было предлогом, скажите, что вас не отпускает начальство...

— Он обещал говорить об этом с государем...

— Ну вот и попросите, чтобы государь отказал ему.

В конце концов Баттенбергу было сказано сверху, что Скобелев нужен здесь; на этом дело кончилось. Военным министром в Болгарию был назначен другой генерал.



Что мне случалось слышать от Скобелева в дружеских беседах, то теперь, конечно, не приходится рассказывать. Довольно заметить, что он был сторонником развития России и движения ее вперед, а не назад... — повторяю, что распространяться об этом неудобно.

Скобелев очень много занимался, много читал, еще более писал. Писал кудряво, не совсем кругло и складно, но весьма убедительно. Кладищев, бывший начальником наградного отделения во время турецкой кампании, говорил мне, что нет возможности отказать в награде по представлению Скобелева: так наглядно излагал он заслуги своих подчиненных и так хорошо подгонял их под статуты орденов, которые отлично знал.

Записки, поданные Михаилом Дмитриевичем во время этой войны главнокомандующему, о положении офицеров и солдат и вероятной причине наших временных неудач полны наблюдательности, верных, метких замечаний. Живя вместе со Скобелевым в Плевне, я читал некоторые из этих записок, по словам его, очень не понравившихся.

Скобелев прекрасно владел французским, немецким и английским языками и литературу этих стран, в особенности военную, знал отлично. Иногда вдруг обратится со словами:

— А помните, Василий Васильевич, выражение Наполеона I?

В середине шейновского боя, например, он таким образом цитировал что-то из Наполеона, и, не желая обескураживать его, я ответил:

— Да, помню что-то в этом роде.

Но когда он вскоре опять спросил, помню ли я, что Наполеон сказал перед такой-то атакой, я уж положительно ответил:

— Не помню, не знаю, Бог с ним, с Наполеоном!

Надобно сказать, что он особенно высоко ценил военный талант Наполеона I, а из современных — Мольтке, который со своей стороны, по-видимому, был равнодушен к юному, бурному, многоталантливому собрату по оружию; по крайней мере, когда я говорил с Мольтке о Скобелеве после смерти последнего, в голосе «великого молчальника» слышалась нежная, отеческая нота, которой я не ожидал от прусского генерала-истребителя.

О большинстве наших деятелей во время турецкой войны Скобелев отзывался неважно — по меньшей мере. *****



Генерал М.Д. Скобелев.
 Фото (с дарственной подписью Верещагину).



Скобелев очень любил меняться Георгиевскими крестами: это — род военного братства, практикуемого обыкновенно с выбором, им же — направо и налево, со всеми. Когда он приехал к армии, в Румынии еще, то предложил мне поме-

няться крестиками, я согласился, но с тем, чтобы сделать это после первого дела, в котором оба будем участвовать. Много спустя, кажется в Плевне, мы разменялись-таки; но так как на другой же или на третий день он уже решил опять с кем-то побрататься, то я вытеревил мой крестишко назад под предлогом, что он мне дорог как подаренный Кауфманом. Всученный им мне был прескверный — казенный, а мой прекрасный, хорошей эмали, чуть ли не «из французского магазина»... (Когда генерал Кауфман был пожалован орденом Св. Георгия II класса, этот крест был подарен ему покойным великим князем Николаем Николаевичем, и никто ничего не заметил неладного в кресте, очень изящно исполненном; но, когда генерал представлялся государю Александру II, его величество, зоркий на самые малейшие неправильности формы, заметил: «А ты крест, Кауфман, верно, купил во французском магазине — Егорий-то не в ту сторону скачет!»)

В последнее время, впрочем, он перестал практиковать это военное братство со всеми, стал более ценить себя.

Надобно сказать, что Скобелев положительно совершенствовал свой нравственный характер. Вот, например, образчик военной порядочности из его деятельности последних лет: на второй день после шейновской битвы я застал его за письмом.

— Что это вы пишете?

— Извинительное послание: я при фронте распек бедного Х., как вижу, совершенно напрасно, поэтому хочу, чтобы мое извинение было так же гласно и публично, как и выговор...

Начальник большого отряда, извиняющийся перед неважным офицером (майор Владимирского полка), да еще письменно, — это такой факт, который, конечно, не часто встретишь в какой бы то ни было армии.



Отец Скобелева Дмитрий Иванович не проживал, а увеличивал свое состояние и был скуповат, но сам Михаил Дмитриевич скупым никогда не был — скорее, напротив, мог быть

назван слишком тароватым. Однако в денежных делах, по славянской натуре, у него был всегда великий беспорядок, в особенности при жизни отца, когда ему никогда не хватало денег и когда забывать отдать небольшие долги случалось ему частенько-таки. При встрече с нищим он иногда приказывал кому-либо из бывших с ним молодых людей «дать золотой», и так как эти подачки обыкновенно забывались, то выходило, что встречи с нищими для бравых ординарцев его были страшнее столкновений с неприятелем.

Встречает раз Скобелев младшего брата моего на Невском проспекте.

— Верещагин, пойдем вместе стричься.

Тот очень доволен честью проделать эту операцию вместе с генералом, который ведет его к своему знакомому парикмахеру, что ни на есть фешенебельному. Около них суетятся, ухаживают, а они сидят себе рядком, шутят, смеются. При выходе М.Д. спрашивает счет, старый и новый, — оказывается 30 рублей.

— Верещагин, заплатите, пожалуйста.

Тот поморщился, но заплатил, да, конечно, только и видел свои денежки.

Помню, раз в Париже, в гарготке, где мы завтракали, Скобелев разменял ассигнацию в 1000 франков и, вероятно по этому случаю, вздумал оставить девушке, нам прислуживавшей, 100 франков. Лишь после самого энергичного вмешательства моего он положил только 20 франков. Зато же и целовал он руку этой молодой девушки, с наслаждением, со всех сторон!

Мне известно, что немало народу обращалось к Скобелеву за помощью и что он многим помогал. Затем говорили, что он хотел завещать капитал на устройство богадельни, но намерению этому не суждено было осуществиться — ему будто бы помешали...



Перед началом Туркменской экспедиции я застал раз Михаила Дмитриевича в беседе с полковником Гродековым; он про-

чил его себе тогда в начальники штаба, как хорошо изучившего местности, по которым и близ которых предстояло действовать нашим войскам: Гродеков — один из хороших знатоков Средней Азии, ибо ездил даже по Афганистану и смежным с ним степям. Они обсуждали права, которые им следовало выговорить для себя у Министерства иностранных дел на случай возможных переговоров с индийским правительством.

— Что такое, что такое? — сказал я Скобелеву, — о каких это переговорах с индийским правительством толкуете вы? Ничего этого вам не нужно...

— Как не нужно? А если мы дойдем...

— Ничего не нужно; вам надобно вздуть хорошенько туркмен, сломить их сопротивление и больше ничего. Хотите слышать мой совет?

— Пожалуйста, — ответил Скобелев. — Потрудись, — обратился он к Гродекову, — вынуть записную книжку, занеси то, что он будет говорить, — наверное, все будет практично.

Гродеков благополучно здравствует, сколько я знаю, и, вероятно, имеет еще в своей памятной книжке заметку эту, весьма, впрочем, недлинную.

— Во-первых, вам нужны верблюды, во-вторых, верблюды и, в-третьих, еще верблюды. Будут у вас верблюды, т.е. перевозочные средства, — вы победите; не будут — вас прогонят, несмотря на всю вашу храбрость, как гоняли прежде посылаемые отряды, — храбрость тут не поможет. Не жалейте денег на верблюдов; достаньте их сколько нужно, во что бы то ни стало.

При этом я сообщил главную, по моему мнению, причину недоверия населения при поставке вьючных животных. В начале открывающейся кампании объявляют обыкновенно, что нужно столько-то вьючных животных за такую-то цену. По окончании войны, во время которой, разумеется, большинство верблюдов падает, уплату оттягивают до тех пор, пока не удастся внушить старшинам и беям, т.е. почетным людям, что было бы актом хорошего подданничества ударить Ак-падишаху челом — суммою в 300 или 400 000 рублей, причитающихся за

верблюдов. Тем что? Верблюды не их, а бедных людей; они получают награды и отличия, а байгуши плачут и, уж конечно, когда снова понадобится сгонять животных, уходят, откочевывают в степь или, силою заставленные, разбегаются при первом же удобном случае, с первых же привалов войск.

— Не доверяйте ни подрядов, ни денег интендантским чиновникам, — говорил я Скобелеву, — распоряжайтесь и платите деньги или сами вы, или через начальника штаба, чтоб они не прилипали к пальцам.

Мне приятно было слышать потом от брата моего, которого Скобелев взял по моей просьбе в поход, что именно так и было сделано, что даже осуждали Скобелева за излишнее бросание денег на верблюдов. Поставщик вьючных животных, лихой купец Громов (бывший приказчик архилихого Хлудова), призвав владельцев верблюдов, объявил им, что к такому-то сроку ему нужно столько-то животных, и, лишь только те начали чесать затылки, прибавил:

— Заплачено вам будет сейчас же по доставке, а покамест вот вам на чай.

При этом высыпал к их ногам мешок золота.

Через короткий срок верблюды были доставлены.

Для заказа и закупки провианта, как я слышал, ездил в Персию сам Гродеков. Встретившись с ним в самый день отъезда его из Петербурга, я прощаясь шепнул-таки еще на ухо:

— Не давайте воровать!

— Не дадим, будьте покойны, — ответил он.

Возможно, что настояния мои были не лишни, не бесполезны. Хвалю, во всяком случае, Скобелева и Гродекова за то, что они не отвергали бескорыстного, конечно, не лишнего совета и не отвечали: «Из-за чего вы-то стараетесь, какая вам-то польза?» — как ответила бы высокомерная бездарность.



Скобелев подарил мне на память свой боевой значок, бывший с ним в 22 сражениях, с приложением списка этих сра-

жений, им самим обстоятельно составленного. Значок этот висит теперь у меня в мастерской. Это большой кусок двойной красной шелковой материи, с желтым шелковым же крестом, набитый на казацкую пику, — порядочно истрепанный пулями и непогодами. Уехав в последний свой туркменский поход, он хватился значка и просил или отдать старый, или прислать взамен новый.

Старый я положительно отказался отдать, но и новый не решался послать — вдруг не понравится и он отдаст его солдатам на портянки! Однако послал-таки наконец, и очень нарядную штуку: с одной стороны индийская шаль, купленная мною в Кашмире, в самом Шринагуре, с другой — красная атласная китайская материя, перерезанная голубым Андреевским крестом, буквами М.С. и годами 1875—1878. Я сам кроил и налаживал значок; жена моя шила его.

Узнаю от брата моего, бывшего ординарцем у Скобелева, что значок очень понравился всем: и генерал, и мирные туркмены не наглядятся на него.

Но тут беда — неудача: из Геок-Тепе делают вылазку, убивают у нас много народа, захватывают много ружей, пушку, знамя!

Скобелев в отчаянии: отдай ему старый значок — новый приносит несчастья!.. Я не отдаю.

Новая вылазка, новый урон и потери с нашей стороны, новые требования отдать счастливый значок и взять назад несчастливый!

— Не отдам! — отвечаю.

Наконец Скобелев берет штурмом Геок-Тепе, в свою очередь убивает, крошит множество народа, берет массу оружия и всякого добра — одним словом, торжествует, и значок мой снова входит в милость; снова и генерал и туркмены любят-ся нарядным подарком моим, — теперь осеняющим гробницу Скобелева в селе Спасском Рязанской губернии.

Очень интересна также, как рисующая Скобелева, присланная им мне в подарок карта — план атаки французами Оporto, препровожденный Михаилом Дмитриевичем начальнику

инженеров под Геок-Тепе для изучения и руководства. На полях им изложены мотивы, заставившие его приложить этот чертеж к руководству нашим войскам, а в правом углу надпись:

«Глубокоуважаемому, сердцу русскому, дорогому Василью Васильевичу, к сведению, не без известной гордости моей. Скобелев. 4 августа, 1881 г. Село Спасское».

Как человек, искренно любящий свое дело, он рассказывал мне потом о причине, побудившей прислать мне этот документ, — желании показать приятелю, что он помнит примеры и уроки истории (о чем у нас был разговор ранее).



Суеверие этого милого, симпатичного человека было очень велико. Он верил в счастливые и несчастливые дни, счастливые встречи и предзнаменования. Он ни за что не стал бы сидеть за столом в числе тринадцати человек, не допустил бы трех свечей на стол, а просыпанную соль, перебежавших дорогу кошку или зайца считал всегда за дурное предзнаменование.

Он верил, что будет более невредим на белой, чем на другой масти лошади, хотя в то же время верил, что от судьбы не уйдешь. Говорят, какая-то цыганка предсказала ему, «что он будет ездить на белом коне», — но я не расспрашивал его об этом.

Никогда не расспрашивал также Скобелева о его женитьбе, так как понял из некоторых замечаний, что это его большое место. Но я положительно подметил у него стремление к семейной жизни, и, когда он раз горячо стал оспаривать это, я прибавил:

— Необходимо только, чтобы жена ваша была очень умна и сумела бы взять вас в руки.

— Это, пожалуй, верно, — согласился он.

Другой раз, помню, в Плевне я смеялся, что мы еще увидим маленьких «скобелят», которые будут ползать по его коленам и таскать его за бакенбарды. М.Д. хоть и проворчал:

«Что за чушь вы говорите, Василий Васильевич», — однако предобродушно смеялся над моею картиной. Немало смеялись, помню, тогда Хомичевский и другие ординарцы, при этом бывшие.

Незадолго перед смертью Скобелев хотел, как я слышал, жениться на бедной, но образованной девушке, чему помешал, однако, его развод, — известно, что он разъехался со своею женою и во что бы то ни стало настоял на разводе, так что ему пришлось принять на себя грех дела со всеми его стеснительными последствиями. Я говорю об этом потому, что Скобелев считался, да и любил, чтобы считали его, отчаянным противником не только женитьбы, но и всякой прочной связи с женщиною.



Я не могу распространяться о том, как Скобелев умер. Очень ему хотелось умереть на поле чести, на поле настоящей битвы! Что делать, «повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить». Не мог помириться Михаил Дмитриевич с фактом, что ему уже не двадцать лет, и все порывался соперничать в любовных похождениях со своею молодежью, ординарцами.

Он был ребячески наивен в этих похождениях, на которые обыкновенно настойчиво зазывал и последствий которых крепко боялся. В Петербурге, перед самым отъездом в Туркменский поход, встречаю Скобелева на Невском проспекте. Я утаптываю тротуар, он едет на паре серых.

— Стой, стой!.. Василий Васильевич, поедем ко мне!

— Зачем?

— Поедем, сам Бог вас послал.

— Да что такое?

— Увидите; сам Бог посылает вас.

Приезжаем. М.Д. насилу выходит из экипажа, едва переставляет ноги, брюзжит на прислугу, грозит прогнать всех, распекает адъютанта и ординарца, — как страшно попало бедному Баранку — я должен был вступиться, — запирает двери.

— Василий Васильевич, голубчик, я болен... Посмотрите, что у меня? Если это... Я пуцу себе пулю в лоб.

— Показывайте!

Я взглянул и ужаснулся. Расспросил его, он, как младенец невинный, подробно рассказал все, видимо, ничего не скрывая.

— Сколько я понимаю, это не то... — сказал я ему и потребовал, чтобы по крайней мере на три дня он лег в постель.

— Не могу, — забушевал Скобелев, — что вы говорите! Я каждый день должен ездить на работу с военным министром и начальником штаба, — и думать об этом нечего! Не требуйте от меня невозможного.

— Знать ничего не хочу, — отвечал я, — на три дня в постель, без рассуждений! — И представил ему серьезно подумать о том, какой будет результат его деятельности на войне, если он принужден будет уехать не выздоровев.

Это подействовало, и он, ворча и капризничая, улегся.

Я сейчас же поехал к моему приятелю профессору Чудновскому; тот сначала не хотел ехать под предлогом, что он «не специалист», но наконец решился. Я почти силою схватил его и привел к герою. Тот, еще раз выслушав, что опасного ничего нет, но что покой в несколько дней абсолютно необходим, недовольный, остался в постели и, чтобы не терять золотого времени, принялся читать «Нана», известив, разумеется, начальство о внезапном нездоровье своем.

(Можно без натяжки сказать, что ближайшею причиною смерти М.Д. Скобелева была рана, полученная им на Зеленых горах. Пожалуй, это не рана, а царапина, ушиб, но пришедший против сердца. У меня хранится мундир покойного с маленькой заплаткой на месте поранения — как раз против самого сердца! И так как Скобелев упал от этого удара, то, конечно, удар не прошел бесследно.

Кстати скажу, что у меня кроме скобелевского значка и помянутого мундира хранится еще как память складной стул, который всегда возился за ним казаком и на котором покойный генерал часто сиживал во время рекогносцировок

и битв; когда на переходе через Балканы казак разбил мой складной стулик, Скобелев ссудил мне свой, так и оставшийся у меня, а я потом отдал ему мой.)



Кто не был в огне со Скобелевым, тот положительно не может себе понятия составить о его спокойствии и хладнокровии среди пуль и гранат — хладнокровии, тем более замечательном, что, как он сознавался мне, равнодушия к смерти у него не было; напротив, он всегда, в каждом деле, боялся, что его прихлопнут, и, следовательно, ежеминутно ждал смерти. Какова же должна была быть сила воли, какое беспрестанное напряжение нервов, чтобы побороть страх и не выказать его!

Благоразумные люди ставили в упрек Скобелеву его безоглядную храбрость; они говорили, что «он ведет себя как мальчишка», что «он рвется вперед, как прапорщик», что, наконец, рискуя «без нужды», он подвергает солдат опасности остаться без высшего командования и т.д. Надобно сказать, что это все речи людей, которые заботятся прежде всего о сбережении своей драгоценной жизни, — а там что Бог даст; пойдет солдат без начальства вперед — хорошо, не пойдет — что тут поделаешь: не для того же дослужился человек до генеральских эполет, чтоб жертвовать жизнью за трусов.

— А почему бы и нет! — рассуждал Скобелев. — Понятие о трусости и храбрости относительное; тот же самый солдат в большинстве случаев может быть и трусом, и храбрым смотря по тому, в каких он руках. Одно верно, что солдат обыкновенно не дурак: увлечь его можно, но заставить идти, не показав примера, трудно.

Этот-то пример и солдатам и офицерам Скобелев и считал себя обязанным показывать.

Я видел немало умников, уговаривавших солдат идти вперед, указывавших путь к славе и прочая и прочая, — ничего не берет! Пройдет или пробежит отряд несколько шагов, да и засядет в канаве, а в реляции напишут: «Атаковали в штыки,

но были отбиты, не совладали с численным превосходством», — благо численное-то превосходство неприятеля может проверить один Бог.

Никогда не рисковал Скобелев жизнью попусту, всегда он показывал пример бесстрашия и презрения к жизни, и пример этот никогда не пропадал даром: одних приводил в со-весть, других учил, увлекал, перерождал!



Всегда толковый, разумный, увлекательный на поле битвы, Скобелев в частной жизни был хотя и симпатичен, но нервен, капризен. При разговоре он редко сидел — это, видимо, стесняло его: он шагал, как зверь в клетке, как бы мала ни была комната, даже тогда, когда, как в Париже, кабинет его действительно уподоблялся клетушке. Когда же он сидел, то непременно вертел что-нибудь в руках, что попадалось; за обедом всегда усиленно мял хлебный мякиш. Случалось, видя эту нервную, непрерывную работу пальцев, взять его за руку и остановить со словами: «Хоть теперь-то успокойтесь!» Но приостановка всегда была не надолго, через несколько секунд уж опять пальцы мнут, лепят, из сил выбиваются.

Так, чертовски храбрый на поле битвы, Скобелев был порядочный трус перед очень высокопоставленными лицами — он как будто съеживался в их присутствии, принимал жалостливый вид. Всегда заново одетый и надушенный перед солдатами, под пулями, в главной квартире он ходил каким-то отчаянным: шинель на боку, фуражка на затылке — точно он боялся, чтоб не засмеяли, не поставили ему в вину щегольство одеждою, как ставили в вину храбрость.

Когда после короткого пребывания в Париже я, снова возвращаясь на Дунай, зашел к матери Михаила Дмитриевича — мимоходом сказать, весьма милой и умной женщине, — она просила доставить сыну ящичек, очень нужный. На границе вскрыли ящик, и он оказался битком набитый склянками духов.



Выходки Скобелева против австрийцев и немцев не были так неосновательны, как многие думали и у нас, и особенно за границу. Никто, конечно, так крепко, как я, не журил Скобелева за эти речи, но надобно сознаться, что, с его точки зрения, он имел основание «кликнуть клич славянам». Я положительно не соглашался с ним, не разделял его уверенности в том, что вот-вот на носу у нас война с немцами, которые будто бы перестали уже церемониться, скрываться и прямо угрожают нам. Но Скобелев возвратился с маневров германской армии совершенно проникнутой уверенностью, что столкновение наше с немцами близко.

В Париже, в своем крошечном кабинете, он с возбуждением рассказывал мне, как отпускал его в прощальной аудиенции старый император германский. Рассказывая, М.Д., как тигр, бродил из угла в угол, останавливаясь по временам, чтобы представить сидящего на лошади покойного Вильгельма или некоторых лиц свиты его.

Его германское величество сидел-де подбоченившись на коне, и от него в обе стороны тупым углом стояла громадная, бесконечная свита из немецких офицеров всех рангов и военных агентов всех государств. Когда Скобелев выехал, чтобы откланяться, Василий Федорович (как называли русские престарелого императора) сказал ему:

— Vous venez de m'examiner jusqu'aux mes boyaux. Vous venez de voir deux corps, mais dites a Sa Majesté, que tout les 15 sauront au besoin faire leurs devoir aussi bien, que ces deux la... (Вы меня проэкзаменовали до моих внутренностей. Вы видели два корпуса, но скажите его величеству, что все 15 сумеют в случае надобности исполнить свой долг так же хорошо, как эти двое.)

Может быть, я ошибаюсь в одном или нескольких словах, но смысл речи был таков, — Скобелев тогда же занес эти слова в свою записную книжку, откуда и читал их мне. Этот смысл, признаюсь, казался мне очень простым и натуральным

в устах старого монарха, но Михаил Дмитриевич думал иначе: по его убеждению, и самые слова, и интонация их, особенно ввиду обстановки, т.е. множества иностранных, по большей части далеко не дружественно расположенных к нам офицеров, указывали на враждебный умысел.

Еще более усилил в Скобелеве уверенность в том, что нам не избежать в близком будущем разрыва с немцами из-за австрийцев, покойный принц Фридрих Карл; должно быть, на правах лихого кавалериста, считавшего возможным говорить то, о чем дипломаты помалчивали, дружески ударив Скобелева по плечу, принц вдруг выпалил:

— *Lieber Freund! Macht was ihr wolt — Oesterreich muss nach Saloniki gehen.* (Любезный друг, делайте что хотите, — Австрия должна занять Салоники.)

— Так так-то! — говорил мой Михаил Дмитриевич, бешено шагая по своей клетушке, — так это, значит, уже решенное дело, что австрийцы возьмут Салоники, — они будут действовать, а мы будем смотреть, — нет, врешь, мы этого не допустим!..

Интересно, что только в последние годы своей жизни Скобелев всецело отдался славянской идее, вытеснившей в его уме мысль о необходимости исключительной заботы о развитии нашего могущества в Азии, походе в Индию и проч. Мне довелось повлиять в значительной степени на эту перемену в его мыслях.

Несколько раз случалось охлаждать его «туркестанский» пыл, и раз я прямо высказал, верно ли, нет ли, что в настоящую минуту среднеазиатские наши владения важны для нас политически постольку, поскольку они дают возможность угрожать из них нашим европейским врагам, сеющим славянскую рознь; иначе, прибавил я, игра не стоила бы свечей. Скобелев внимательно отнесся к этим доводам, хотя не вязавшимся с тем значением, которое он придавал Туркестану, но, видимо, поразившим его.

— Может быть, вы и правы, — сказал он мне тогда.

Впоследствии же он настолько усвоил эту мысль, что в известном письме к Каткову целиком повторил ее, только

вместо слов: «Игра не стоила бы свечей», — сказал: «Овчинка не стоила бы выделки».

Я говорил об этом М.Н. Каткову, когда толковал с ним о Скобелеве.



В последний раз виделся я с дорогим Михаилом Дмитриевичем в Берлине, куда он приехал после своей известной речи в защиту братьев босняков-герцеговинцев, сказанной в Петербурге. Мы стояли в одной гостинице, хозяин которой сбился с ног, доставляя ему различные газеты с отзывами. Кроме переборки газет у Скобелева была еще другая забота: надобно было купить готовое пальто, так как он приехал в военном, а заказывать не было времени. Масса этого добра была принесена из магазина, и приходилось выбирать по росту, виду и цвету.

— Да посмотрите же, Василий Васильевич! — говорил он, поворачиваясь перед зеркалом. — Ну как? Какая это все дрянь, черт знает!

С грехом пополам остановился он — с одобрения моего и старого приятеля его Жирарде, который с ним вместе приехал, — на каком-то гороховом облачении; признаюсь, однако, после, на улице, я покаялся — до того несчастно выглядела в нем красивая и представительная фигура Скобелева: он был точно облизанный! После камешка, брошенного им вскоре в огород немцев, некоторые берлинцы, видевшие нас вместе, спрашивали меня потом:

— Так это-то и был Скобелев?!

Во время этого последнего свидания я крепко журил его за несвоевременный, по мнению моему, вызов австрийцам; он защищался так и сяк и наконец, — как теперь помню, это было в здании Панорамы, что около главного штаба, — осмотревшись и уверившись, что кругом нет «любопытных», выговорил:

— Ну так я тебе скажу, Василий Васильевич, правду — они меня заставили. Кто «они» — я, конечно, промолчу.

Во всяком случае он дал мне честное слово, что более таких речей не будет говорить; но вслед за тем, попав в средину французов, m-me Adan и др., увлекся и снова заговорил...

— Бога ради, Василий Васильевич, — говорили мне в нашем берлинском посольстве, — поезжайте скорее в Париж, остановите его, — нам хоть выезжать отсюда от его речей...

Я не застал уже Скобелева в Париже — его вызвали для головомойки в Петербург.

Прощай, милый, симпатичный человек, высокоталантливый воин, прощай, до скорого свидания — там?!



У меня много «сувениров» М.Д. Скобелева. Кроме упомянутого его боевого значка, бывшего с ним по восточному обычаю, во всех сражениях в Средней Азии, сшитого его матерью, истерзанного и истрепанного на носившей его казацкой пике, есть складной стул, на котором он сидел иногда в сражениях, данный мне под Шейновом, когда мой стул сломался. Есть мундир со вставленною, как сказано, заплаткой в том месте, где его ранило, на спине против сердца.

Есть карта штурма города Опорто войсками маршала Сульта с надписями, целыми тремя, очень характерными для памяти покойного М.Д.

Первая надпись:

«Португальцы вели себя, как в подобных обстоятельствах должна себя вести недисциплинированная полупьяная толпа. Решение маршала Сульта атаковать оба противоположных фланга города, рассчитывая на впечатлительные, вооруженные, но малодисциплинированные массы, весьма поучительно.

Думаю, что под Махрамом (?) 22-го августа 75 г. результат был бы еще полнее, если бы мы сильнее и раньше демонстрировали нашим правым флангом и, выждав результат, стремительно атаковали бы центр. Штурм Опорто не следует терять из виду при составлении предположений атак открытую силу наших среднеазиатских городов и укрепленных аулов.

Стремительная атака главного резерва дивизии Мериме в центре позиции и, *когда успех окончательно обрисовался*, молодецкий натиск *двух* полков через весь город *к стратегическому ключу* — мосту на Дуро да послужат указанием, какими способами *организованное* и *дисциплинированное* войско должно обеспечивать за собою успех.

Надо помнить, что мы, войска, понимаем по-своему победу и поражение и что в нашей оценке этих явлений всегда присутствует известная доля поклонения преданию и искусству; в борьбе же с вооруженными массами надо кровью нагонять страх, нанести материальный ущерб. Последнее особенно важно в борьбе с азиатскими народами. С ними эти соображения составляют краеугольные основания при выборе того или другого способа действий.

Скобелев.

18-го июня 1880 г.»

Вторая надпись, наверху же, по другой стороне карты:

«Препровождаю штурм г. Опорто для прочтения начальнику инженеров вверенных мне войск. Действие двух полков дивизии Мериме могло бы быть применено к Янгикала (?), если драгун и 2 спешенные сотни пустить с юга вдоль всего кишлака, когда обрисуетя штурм северной окраины.

Ген.-ад. Скобелев.

1880 г. 11-го декабря. Самурское».

Третья надпись, внизу:

«*Секретно*. Глубокоуважаемому, сердцу русскому, дорогому Василью Васильевичу, к сведению, не без известной гордости моей.

Скобелев.

4-го августа 1881 г. Село Спасское».

Еще письмо Скобелева, 1879 г., 18-го ноября:

«Дорогой Василий Васильевич, посылаю вам портрет коня *Шейново*, на котором я был, когда мы вместе переходили Балканы и брали Весселя-пашу. Матушка едет в Филиппополь и привезет старых турецких мундиров несколько штук (для моей картины Шипка — Шейново. — В.В.). Донская

безобразная шинель, мундир солдатский и кепи 16-й дивизии вам высылаются. Еду на георгиевский праздник сегодня, а оттуда в Белосток, на смотр драгунского Екатеринославского полка, 4 корпуса. Около 5-го декабря н.с. думаю опять попасть в Париж, и, если вы, дорогой Василий Васильевич, мне позволите, буду у вас и даже не лишаю себя удовольствия надеяться опять провести с вами часть дня. У нас все по-старому — хоть без порток, а в шляпе; что-то скажет весна; братушки в южной Румелии справляются молодцами. Бог даст, не видать туркам Балканов... Ахалтекинская экспедиция кончилась небывалою в Азии неудачею. В наш век разным дилетантам петербургского яхт-клуба не впору воевать даже и с халатниками.

Жаль обаяния нашего в Азии. Вы знаете, как оно дорого, и хотя «на Руси мужика и очень много», но зачем же ими плотину прудить. Hélas, nous paraissions n'avoir rien oublié et rien appris!*

Крепко-накрепко жму вашу руку. Вас искренно уважающий

Михаил Скобелев.

г. Минск, 18-го ноября 1879 г.»

Еще характерное письмо:

«Дорогой Василий Васильевич!

Сердцем вздыхаю, что не поближе к вам, и желаю вам быть в менее печальном настроении, чем я сам. У нас здесь как-то очень грустно. Сердце не на месте. Сильные люди у нас ныне надломлены и смотрят грустно кругом себя, подавленные тупым равнодушием. Благодаря Бога, что урожай повсеместно очень хорош, это дает время, авось перемелется, будет мука.

Я получил Высочайшее повеление вступить в командование Виленским округом, впредь до возвращения генерала Тотлебена. Будут большие маневры между Могилевом и Бобруйском; надо хоть этим заняться толково и с сердцем. Неровен

* Увы, мы оказываемся ничего не забывшими и ничему не научившимися!
(фр.)

час, может невзначай опять заговорить картечь. Породнясь со штыком-молодцом, трудно расставаться с раздольным весельем!.. На войне, на кровавых полях чести, красна жизнь солдата. Там добро, весело, известно, славно... Мой покойный дед говаривал своим рязанцам, что русскому солдату присяга и честь важны, а труд, нужда, смерть — трын-трава. Вижу, вы уже ворчите, — но ведь лучше быть *чем-нибудь* на этом белом свете, а на другое чувствую, что не гожусь.

Есть слухи, что меня назначают командовать одною из формирующихся армий. Если это окажется так, Александру Васильевичу (брат мой. — *В.В.*) шататься на Амур не представляется необходимости; здесь его пристроим; по крайней мере, в случае войны будет иметь счастье участвовать во всех сражениях сначала.

Если бы вы, дорогой Василий Васильевич, собрались бы в Россию, не забудьте меня известить своевременно.

Дружески, сердечно жму вам руку. Вас уважающий

М. Скобелев.

По нашему последнему разговору пока все хорошо идет.

Село Спасское. 4-го августа 1881 года».

Очень меланхолический сувенир представляет записочка известной в свое время французской актрисы Д. к покойному воину-богатырю, тогда еще совсем юному. Вот она:

« — 10 rue Prony

Parc Monceau.

«Mille souvenirs au porte-enseigne Skobeleff! Souhails les plus sincères pour vous et la vaillante armée Russe*.

Augustine D...a.

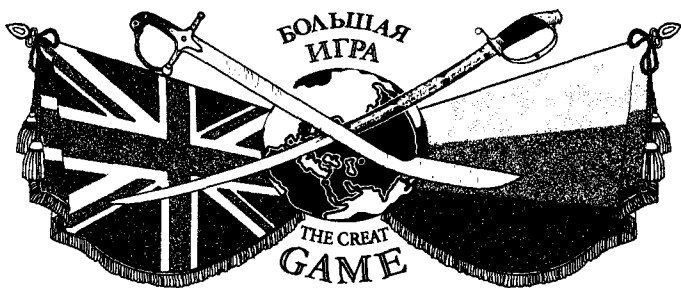
Bains de mer de Luc (Calvenis)».

Сбоку приколоты несколько фиалок с подписью:

«Premières violettes d'automne** . A.D.».

* Тысяча памятных приветов знаменосцу Скобелеву! Самые искренние пожелания Вам и доблестной Русской армии (*фр.*).

** Первые осенние фиалки (*фр.*).



САМАРКАНД, 1868 ГОД*

О Туркестанской войне**

Оглядываясь на свое прошлое, спрашиваю себя иногда: уж полно я ли все это пережил и перечувствовал — так много в нем всех родов впечатлений и тревожностей. Весьма возможно, что посторонние отнесутся с недоверием к этому бурному прошлому, особенно к деятельному участию, которое я принимал в различных кампаниях.

Вспоминаю по этому поводу следующее: после утомительного дела под Самаркандом, рассказ о котором следует далее, лихорадка принудила меня уехать из отряда и через месяц с небольшим после самаркандского сидения я очутился в Париже, в кругу оставленных там товарищей, художников.

Разумеется, пошли вопросы о Туркестане как новой стране, — я рассказал, что видел и слышал, рассказал, что «даже участвовал в битве!» «Может ли быть?» — «Да, случилось водить солдат на штурм». — «???» Я откровенно описал мои впечатления, ощущения и события: «Георгиевская дума мне первому присудила крест, но, как носящий статское платье,

* Оборона крепости Самарканда от войск бухарского эмира 2–8 июня 1868 г.

** Текст приводится по книге: На войне в Азии и Европе: Воспоминания художника В.В. Верещагина. М., 1894. С. 1–100.

я просил генерала Кауфмана просить государя перенести эту милость на другого». — «?!!»

На следующий день после этой беседы покойный профессор Гун, прекрасный товарищ, говорит мне:

— Ты помнишь инженера К., который вместе с нами слушал вчера твой рассказ?

— Помню.

— Когда ты ушел, он говорил, что ты все врал...

— Как врал?

— Так! Все, говорит, от первого до последнего слова, все вранье — что ты водил солдат на штурм, что тебе присудили Георгиевский крест, но ты отказался от него, — все это, говорит, невозможные вещи и тебе это, верно, померещилось...

— Ну что ж, пусть его, — ответил я, немного сконфузившись. Как, чем мог я доказать, что ничего не солгал?

Через месяц прихожу в трактирчик, в котором собирались обыкновенно наши к обеду, — встречают восклицаниями: К. виновато жмет руку, а архитектор В., с русской газетой в руках, читает, что государь император «за блистательные мужество и храбрость» жалует мне Георгиевский крест. Я был отомщен!

Четверть века спустя я получил от военного губернатора Самаркандской области графа Ростовцева следующую телеграмму:

«Войска, служащие и население, празднуя двадцатипятилетие занятия Самарканда, вспоминают славные дела старых туркестанцев и поднимают бокалы за ваше здоровье».

Спасибо, от души спасибо — за память.

В.В.



В 1868 году я ездил по Туркестану, смотрел, рисовал, но открывшаяся кампания против бухарского эмира заставила изменить маршрут, и я присоединился к действовавшему отряду в надежде поближе посмотреть на войну. Самарканд был уже занят, когда я догнал войска, так что пока не удалось видеть сражения.

Все мы, «завоеватели» Самарканда, следом за командиром отряда генералом Кауфманом расположились во дворце эмира; генерал — в главном помещении, состоявшем из немногих, но очень высоких и просторных комнат, а мы, штаб его, — в саклях окружающих дворов, причем приятелю моему генералу Головачеву пришлось занять бывшее помещение гарема эмира, о котором тучный, но храбрый воин мог, впрочем, только мечтать, так как все пташки успели, разумеется, до нашего прихода улететь из клеток.

Комнаты генерала Кауфмана и наш дворик сообщались со знаменитым тронным залом Тамерлана двором, обнесенным высокою прохладною галереей, в глубине которой стоял и самый трон Кок-таш, большой кусок белого мрамора с прекрасным рельефным орнаментом. Сюда, на этот двор, стекались государи и послы всей Азии и части Европы для поклона, заверений в покорности и принесения даров; на этом камнетроне восседавая, и принимал своих многочисленных вассалов Тимур-Лянг (в буквальном переводе — Хромое Железо). Часто я хаживал по этой галерее с генералом Кауфманом, толкуя о местах, нами теперь занимаемых, о путешественниках, их посетивших, о книгах, о них написанных, и т.п. Мы дивились неверностям, встречающимся у известного Вамбери, утверждающего, например, что трон Кок-таш *зеленый*, что за тронном надпись на *железной доске*, тогда как трон белый или, вернее, сероватый, надпись на камне, а не на железе и т.д. Генерал Кауфман, ввиду таких вопиющих несообразностей, выражал предположение, что Вамбери просто не был в Самарканде.

Я ежедневно ездил в город и за город, осматривал мечети, базар, училища, особенно старые мечети, между которыми уцелело еще немало чудных образцов; материала для изучения и рисования было столько, что буквально трудно было решить, за что ранее приняться: природа, постройки, костюмы, обычаи — все было ново, оригинально, интересно.

Были слухи, что бухарский эмир собирается отвоевать город и с армиею в 30–40 тысяч двигается на нас. Кауфман собирался выступить против него, а покамест посылал отряды

по сторонам, чтобы успокоить и обезопасить население окрестностей новозавоеванного города — города, прославленного древними и новыми поэтами Востока, «пышного, несравненно-го, божественного» Самарканда, каковые метафоры, разумеется, надобно понимать относительно, потому что Самарканд, подобно всем азиатским городам, порядочно грязен и вонюч.



Генерал Головачев ходил занимать крепость Каты-Курган; я сделал с ним этот маленький поход в надежде увидеть хотя бы теперь битву вблизи, но, кроме пыли ничего не видел — крепость сдалась без боя, к великому огорчению офицеров отряда. Начальник кавалерии Штрандман так рассердился на мирный оборот дела, что просил генерала передать ему послов, пришедших с известием о сдаче крепости и изъявлением покорности, — для внушения им храбрости. Дело, которого так пламенно желал отряд, ускользнуло из рук, а с ним и награды, отличия, повышения — грустно!

Мы немало смеялись над способом, которым помянутый начальник кавалерии раздобыл мяса для своих казаков. Так как жители угнали весь скот со всех мест нашего пути и ничего нельзя было достать, то полковник решился на энергическое средство: призвал вахмистра.

— Отчего наши быки так далеко пасутся?

Тот ошалел.

— Какие быки, ваше высокоблагородие?

— Наши быки, я тебе говорю, разве не видишь? — И он указал на быков, пасшихся на расстилавшейся перед нами богатейшей Зарявшанской долине.

— Никак нет...

— Не разговаривать! Сейчас пригнать их сюда!

Несколько быков были пригнаны к отряду и съедены так быстро и чисто, что, когда жители явились к генералу жаловаться, нельзя было отыскать ни костей, ни шкур. Генерал понял фокус казаков и заплатил.



Пистолькорс, braveй кавказский офицер, послан был с отрядом поколотить массы узбекского войска Шахрисябза и Китаба, придвигавшихся с юго-восточной стороны. Побить-то он их побил и по праву всех победителей даже ночевал на поле битвы, но... когда двинулся назад, неприятель снова насел на него и, как говорится, на его плечах подошел к Самарканду. Генерал Кауфман и мы за ним выехали навстречу возвращавшемуся отряду, но уже в предместье города нас встретили выстрелами, а в окружающих садах завязалась такая живая перестрелка, что пришлось часть бывших с нами казаков тут же послать в атаку, чтобы отвратить опасность от самого командующего войсками; мы с некоторым конфузом воротились. Многие из офицеров отряда выражали неудовольствие на эту победу, смахивавшую на отступление, и я слышал, что полковник Назаров, храбрый офицер и большой кутила, громко называвший последнее движение к Самарканду бегством, вдобавок ослушавшийся Пистолькорса, был посажен Кауфманом под арест с воспрещением участвовать в будущих военных действиях.

Туземцы ободрились этою как бы удачею, в сущности, сводившеюся к тому, что неприятель, не будучи разбит наголову, а только поколочен, немедленно же снова собрался и заявил о себе, как это всегда на Востоке бывает. Как бы то ни было, стали действительно ходить слухи о том, что город окружен неприятелем. Мы, молодежь, впрочем, были совершенно без забот; мне и в голову не приходила мысль как о более или менее отдаленной опасности для всего отряда, так и о немедленной опасности для себя лично. Каждый день я ездил с одним казакom по базару и по всем городским переулкам и закоулкам и только долго спустя понял, какой опасности ежедневно и ежечасно подвергался. Еще до выхода командующего войсками, при проезде городом, невольно бросались в глаза по улицам кружки народа, преимущественно нестарого, жадно слушавшего проповедовавших среди них мулл; в день воз-

вращения отряда Пистолькорса проповеди эти были особенно оживленны, явно было, что народ призывался на священную войну с неверными. Когда мне вздумалось раз, для сокращения пути к цитадели, свернуть с большой базарной дороги и проехать узенькими, кривыми улицами, на одном из поворотов открылся большой двор мечети, полный народа, между которым ораторствовал человек в красной одежде — очевидно, посланец бухарского эмира. В довершение всего я встретил моего приятеля, старшего муллу мечети Ширдари, идущего по базару и жестами и голосом возбуждавшего народ. «Здравствуй, мулла!» — сказал я ему; он очень сконфузился, но вежливо ответил и волею-неволею перед всеми должен был пожать протянутую ему руку.



Как только генерал Кауфман выступил из города, стали говорить, что жители замышляют восстание. Но я уже давно с таким полным доверием вращался между туземцами во всякое время дня и ночи, что самая мысль о том, что это может измениться, не умещалась в моем понятии. В это время я ездил за город, по дороге к Шах-Зинде, так называемому летнему дворцу Тамерлана, где писал этюд одной из мечетей с остатками чудесных изразцов, когда-то ее покрывавших.

Так надоели песок, пыль и пыль, которые я видел везде вместо сражений, что я решил уехать из Самарканда с первою оказиею и направиться в путешествие по Коканду, почему и распрощался с генералом Кауфманом. Однако на следующий же день по уходе его объявлено было, что оказия не скоро представится, так как из опасения окружавших город шахриязбцев пришлось бы посылать целый отряд прикрытия, а у нас всего-навсего в крепости для защиты стен, тянувшихся на три версты, было 500 человек гарнизона.

Еще через день, рано утром, забежал в каморку, которую я занимал во дворе самаркандского дворца, уральский казак, майор Серов, оставленный заведовать туземным населением.

Он упрашивал не ходить более в город, кишаций будто бы вооруженным народом, уже открыто враждебным нам. Шахрисябзцы-де подходят к городу, надобно ждать бунта и, вероятно, нападения на цитадель.

— Бога ради, не выходите за крепостную стену, — уговаривал он меня, — вас наверное убьют, вы пропадете бесследно, нельзя будет и доискаться, кто именно убил.

Признаюсь, я все-таки и на этот раз не поверил существованию опасности и поехал бы опять в город, если бы не этюд с одного персиянина из нашего афганского отряда, за который только что накануне принялся и который надобно было кончить.

Предсказания относительно подхода неприятеля со стороны ханств сбылись не далее как на следующий же день: выйдя рано утром из моей сакли, я увидел все наше крепостное начальство с биноклями и подзорными трубами в руках на крыше эмирова дворца.

— Что такое?

— А вот посмотрите сюда!

И в бинокль, и без бинокля ясно было видно, что вся возвышенность Чопан-Ата, господствующая над городом, покрыта войсками, очевидно, довольно правильно вооруженными, так как блестящие ружья, составленные в козлы. По фронту ездил конные начальники, рассылались гонцы. Некоторые из бывших в нашей группе офицеров выражали уверенность, что будут скоро штурмовать крепость, другие не верили в возможность этого — я был в числе последних. Между говорившими были комендант крепости майор Штемпель, помянутый Серов, а также оставленный, как сказано, в Самарканде, в наказание за злой язык, полковник Назаров, которого я в то время вовсе еще не знал.

В этот день я почти кончил моего афганца, оставалось дописать ноги, но этому не суждено было случиться. К вечеру я пошел, помню, по приглашению сапера Б. посмотреть, как они обрывают вал крепостной стены, обращенной к городу. Перед уходом генерал Кауфман поручил этому офицеру исправить

все те места, где старая, ветхая стена, обвалившись, сделала возможным доступ в крепость; но надобно думать, что и инженеры не очень-то верили в возможность серьезной атаки, так как работали вяло и только в виду неприятеля, собравшегося на Чопал-Ата, принялись поживее за работу. Спасибо им и за то, что хоть самый главный пролом к стороне города исправили до начала дела: кабы он остался — чрез полчаса вся цитадель могла бы быть занята.

Только что, на другой день, я сел пить чай, поданный мне моим казаком, собираясь идти дописывать своего афганца, как раздался страшный бесконечный вой: «ур! ур!» — вместе с перестрелкой, все более и более усиливавшейся. Я понял серьезность дела — штурмуют крепость! — схватил мой револьвер и бегом, бегом по направленно выстрелов, к Бухарским воротам! Вижу, Серов, бледный, стоит у ворот занимаемого им дома и нервно крутит ус — обыкновенный жест этого бравого и бывалого казака в затруднительных случаях.

— Вот так штука, вот так штука! — твердит он.

— Что, разве плохо?

— Покамест еще ничего, что дальше будет: у нас, знаете, всего-навсего пятьсот человек гарнизона, а у них, по моим сведениям, свыше двадцати тысяч.

Я побежал дальше. Вот и Бухарские ворота. На площадке над ними солдатики, перебегая в дыму, живо перестреливаются с неприятелем; я вбежал туда и, видя малочисленность наших защитников, взял ружье от первого убитого около меня солдата, наполнил карманы патронами от убитых же и восемь дней оборонял крепость вместе со всеми военными товарищами — и это, кстати сказать, не по какому-либо особенному геройству, а просто потому, что гарнизон наш был уж очень малочислен, так что даже все выздоравливающие из госпиталя, малосильные, были выведены на службу для увеличения числа штыков — тут здоровому человеку оставаться праздным было грешно, просто невысказанно.

При первом же натиске ворота наскоро заперли, так что неприятель отхлынул от стен и, засевши в прилежавших к ней

почти вплоть саклях, открыл по нам убийственный огонь; ружья у них, очевидно, были дурные, пули большие, но стрельба очень меткая, на которую к тому же отвечать успешно было трудно, так как производилась она в маленькие амбразуры, пробитые в саклях. У нас таких амбразур не было — приходилось стрелять из-за полуобвалившихся гребней стены, где люди были более или менее на виду, и потеря в них поэтому была порядочная. Вот один солдатик, ловко выбиравший моменты для стрельбы, уложил уже на моих глазах неосторожно показавшегося у сакли узбека, да кроме того, ухитрился еще влепить пулю в одну из амбразур, так ловко, что, очевидно, повредил ружье, а может быть, и нос стрелявшего, потому что огонь оттуда на время вовсе прекратился. Очень потешает солдатика такая удача, он работает с усмешкою, шутит — и вдруг падает как подкошенный: пуля ударила его прямо в лоб; его недострелянные патроны достались мне в наследство. Другого пуля ударила в ребра, он выпустил из рук ружье, схватился за грудь и побежал по площадке вкруговую, крича:

— Ой, братцы, убили, ой, убили! Ой, смерть моя пришла!

— Что ты кричишь-то, сердечный, ты ляг, — говорит ему ближний товарищ, но бедняк ничего уже не слышал, он описал еще круг, пошатнулся, упал навзничь и умер — и его патроны пошли в мой запас.

Скоро пришел майор Альбедиль и принял команду от своего младшего офицера, осмотрел занятую неприятелем позицию, сделал кое-какие распоряжения, но прокомандовал недолго: помнится, я говорил с ним о чем-то, когда он вдруг присел и сказал: «Я ранен». Приняв его на мое плечо, я кликнул солдатика и стащил его сначала вниз, а потом и далее, до перевязки, которая была во дворце эмира, за целую версту от ворот. Альбедиль браво отдал последние приказания, убеждал своих смутившихся солдат держаться крепко, не робеть и затем так ослаб, так беспомощно повис, что у меня не хватило духа сдать его солдатам — пришлось дотащить до квартиры. Дорогою раненый страшно устал, но носилок под руками не оказалось, пришлось идти.

— Чувствую, — говорил он, — что рана смертельна, не жить мне более!

Я уговаривал, конечно, ободрял: рана в мягкую часть ноги, пройдет, заживет, еще танцевать будете! И, действительно, прошла, зажила и Альбедиль даже танцевал; но все-таки проказница-пуля бухарская наделала больше вреда, чем я полагал: не перебила, но задела кость и на многие месяцы, если не на годы, задала страданий и забот.

Сдав Альбедилья доктору, я побежал назад к воротам, где перестрелка и рев снова разгорались. Не доходя немного, влево, у поворота стены, вижу группу солдат: сжавшись в кучку, они нерешительно кричат «ура!» и беспорядочно стреляют по направлению гребня стен, где показываются поминутно головы атакующих.

«Всем нам тут помирать», — угрюмо толкуют солдаты. «О Господи, наказал за грехи! Как живые выйдем? Спасибо Кауфману, крепость не устроил, ушел, нас бросил...»

Я ободрял как мог: «Не стыдно ли так унывать, мы отстоимся, неужели дадимся живые?» Очень пугали солдат какие-то огненные массы вроде греческого огня, которые перебрасывали к нам через стены, — они падали иногда прямо на головы солдат и многих обжигали.

Несколько далее подошел к стене небольшой отрядец солдат с офицером — это был помянутый полковник Назаров, который ввиду беды, стряхнувшей над крепостью, благоразумно забыл о своем аресте, собрал в госпитале всех слабых своего батальона, бывших в состоянии держать ружье, и явился на самый опасный пункт. К нему бегут солдаты, совсем растерянные.

— Ваше высокоблагородие, врываются, врываются!

— Не бойся, братцы, я с вами, — ответил он с такою уверенностью и спокойствием, что сразу успокоил солдат, очень было упавших духом от этих непрерывных штурмов, сопровождаемых таким ревом.

С этой минуты мы были неразлучны, за все время нашего восьмидневного сиденья, хорошо памятного в летописях среднеазиатских военных действий.

Снова крики «ур! ур!» все ближе, ближе, и над нами на стенах показались несколько голов из числа штурмующих, готовившихся, очевидно, сойти в крепость. Солдаты, не ожидая команды, дали залп, головы попрыгали, и все замолкло, толпа, очевидно, отхлынула от стен, встретив пули там, где она надеялась войти безнаказанно, врасплох. Дело в том, что к этому месту снаружи стены вела тропинка, которую вместе со многими другими не успели обрыть, а с обрушенного гребня по внутренней стороне тоже спускалась дорожка; жители знали все эти неофициальные входы в крепость и водили по ним штурмующих.

Пришлось, оставив здесь часть команды, идти в другую сторону, откуда прибежали к Назарову один за другим несколько запыхавшихся, бледных солдат.

— Там, там врываются, ваше высокоблагородие! — кричали они еще издали.

Мы бросились направо от ворот, где как раз накрыли в большом проломе стены нескольких дюжих, загорелых узбеков, работавших над разбором плохонького заграждения из небольших деревьев, — эти не дождались не только штыков, но даже и пуль и побежали при одном нашем приближении.

Проклятая эта крепость, в три версты в окружности, везде обваливалась, везде можно было пройти в нее, и так как внутри прилегалo к стенам бесчисленное множество саклей, то вошедшую партию неприятеля, даже и малочисленную, стоило бы большого труда перебить.

И жутко, и смешно отчасти вспомнить: только что вернулись отсюда, и Николай Николаевич Назаров стал уже поговаривать о том, что не худо бы поесть борщу, как бегут опять, разыскивая его, с нашего старого места:

— Ваше высокоблагородие, пожалуйте, наступают!

Мы опять бегом. Сильный шум, но ничего еще нет, шум все увеличивается, слышны уже крики отдельных голосов: очевидно, они направляются к пролому невдалеке от нас; мы перешли туда, притаились у стены, ждем.

— Пойдем на стену, встретим их там, — шепчу я Назарову, наскучив ожиданием.

— Тсс, — отвечает он мне, — пусть войдут.

Этот момент послужил мне для одной из моих картин. Вот крики над самыми нашими головами, смельчаки показываются на гребне — грянуло «ура!» с нашей стороны и такая пальба открылась, что снова для штыков работы не осталось, все отхлынуло от пуль.

Эти непрерывные нападения действовали, видимо, удручающим образом на солдат, тут и там повторявших, что, «видно, всем тут лечь». Нужна была энергия и шутки Назарова, чтобы заставлять время от времени смеяться людей. Вообще, мне бросилась в глаза серьезность настроения духа солдат во время дела. Атакующие часто беспокоили нас и в перерывах между штурмами: подкрадутся к гребню стены в числе нескольких человек, быстро свесят ружья и прежде, чем захваченные врасплох солдатики наши успеют выстрелить, опять спрячутся, так что их выстрелы нет-нет да и портили у нас людей, а наши почти всегда опаздывали и взрывали только землю стены. Меня это очень злило, я подолгу стаивал с ружьем наготове, ожидая загорелой башки, и раз не удержался, чтобы не прибавить крепкое словцо — сейчас же солдаты остановили меня!

— Нехорошо теперь браниться, не такое время.

Сначала солдаты называли меня «ваше степенство», но когда Назаров стал называть «Василий Васильевич», то все подхватили это и скоро весь гарнизон до последнего больного в госпитале знал «Василья Васильевича».

В это время начальник крепостной артиллерии, бравый капитан Михневич, всюду поспевавший, роздал нам ручные гранаты для бросания через стены в неприятельские толпы. Между тем шум что-то затих, так что мы не знали, куда бросать их, да к тому же подозревали, не затевают ли какой особой каверзы; надобно было посмотреть через стену, где неприятель и что он делает. Офицеры посылали нескольких солдат, но те отнекивались, один толкал вперед другого — смерть почти верная.

— Постойте, я учился гимнастике, — и прежде, чем Назаров успел закричать: «Что вы, Василий Васильевич, перестаньте, не делайте этого!» — я уже был высоко.

— Сойдите, сойдите, — шептал Назаров, но я не сошел, стыдно было, хотя, признаюсь, и жутко. Стою там, согнувшись под самым гребнем, да и думаю: «Как же это я, однако, перегнусь туда, ведь убьют!» Думал, думал — все эти думы в такие минуты быстро пробегают в голове, в одну-две секунды, — да и выпрямился во весь рост! Передо мной открылась у стен и между саклями страшная масса народа, а в стороне кучка в больших чалмах, должно быть на совещании. Все это подняло головы и в первую минуту точно замерло от удивления, что и спасло меня: когда они опомнились и заревели: «Мана! Мана!», т.е. «Вот! Вот!» — я уже успел спрятаться — десятки пуль вlepились в стену над этим местом, аж пыль пошла.

— Сходите, Бога ради, скорее! — вопил снизу милейший Назаров, и, конечно, повторять этого не нужно было; я указал место, где были массы народа, и наши гранатки скоро подняли страшный переполох и гвалт, т.е. достигли цели.

Так как Назаров был сам себе начальник и мог переходить с места на место по усмотрению, то мы переместились на угол крепости, откуда на далекое пространство видны были обе линии стен. Кстати сказать, стены самаркандской цитадели были очень высоки и массивны, так что если бы годы, столетия не поразрушили их, то за такую охраной можно бы отставаться: беда была та, что при существовавших везде проломах приходилось защищать это решето в одно и то же время сразу в нескольких местах, а защитников было мало, около пятисот человек без больных и слабых, которых по возможности всех подняли на ноги. Многие были так слабы, что даже «ура!» не могли кричать, а ружье насилу держали в руках; бывало, убьют или ранят соседа, крикнешь сердито:

— Чего ты стоишь, смотришь-то, приди: помоги поднять!

— Я не могу-у, — отвечает, — я из слабы-ых.

— Зачем же ты пришел, коли двигаться не можешь!

— Не можем знать, приказали, всех к стенам согнали.

На новом нашем обсервационном пункте мы расположились отлично. Казак мой, разыскавший меня и не захотевший

отстать «от барина», был послан за бывшими у меня сигарами, а Назаров велел принести хлеба и водки. Закусили и закурили по сигаре — что за роскошь! Сигары произвели такой живительный эффект, что я купил еще ящик и роздал по всем ближним постам — везде задымили. Тут принесли всем нам щей, и мы подкрепились; это после утреннего стакана чая, да еще и недопитого, было мне на руку. Назаров со всею своею командой расположился в тени саклей, а я с охотниками держался больше на стене, где тешился стрельбою — нет-нет да и имеешь удовольствие видеть, как упадет подстреленный зайчик.

Одного, помню, уложил сосед мой, но не насмерть: упавший стал шевелиться; солдатик хотел прикончить его, но товарищи не дали.

— Не тронь, не замай, Серега!

— Да ведь он уйдет.

— А пускай уйдет, он уж не воин!

И точно, тот ушел, но с хитростью и, вероятно, в полной уверенности, что перехитрил-таки нас: упав на перекрестке улиц, близ стены, он стал медленно переваливаться с боку на бок, чтобы не возбудить нашего внимания сильным движением, и так, переваливаясь понемножку, докатился до закрытия, где приняли его несколько рук, вполне, вероятно, уверенных, что уруса надули, и никому, разумеется, в голову не пришло, что урус Серега и многие другие урусы могли бы добить, но не захотели по правилу «лежачего не бьют».

Исключая, впрочем, такие отдельные случаи маленькой сентиментальности, наши спуску не давали; но и они угощали нас! Выстрелы все шли из саклей, откуда ружья были через маленькие отверстия постоянно нацелены по известным пунктам цитадели, где показывались наши. Очень часто пули их метко ударялись в самые амбразуры, только что понаделанные нам в этом месте саперами. Раз, помню, ударило в песок амбразуры именно в тот момент, как я готовился спустить курок, — всю голову мне так и засыпало песком и камешками. Я не утерпел, схватился за лицо руками.

— Снимайте его! — закричал Назаров снизу, думавший, что я ранен.

Другой раз, нацеливаясь, я переговаривался с одним из соседей — слышу удар во что-то мягкое, оглядываюсь — мой сосед роняет ружье, пускает пузыри и потом кубарем летит со стены...

Назаров с двумя молодыми офицерами, имена которых я забыл, расположился совсем по-домашнему. После одной чарки он велел обнести солдатам по другой, по обыкновению смеялся, забавлялся с ними, причем шутки его были часто очень скоромного свойства, если судить по тем непечатным выражениям, которые иногда долетали до наших амбразур, и громкому хохоту солдат. Можно было подумать, что опасность миновала.

Впрочем, эта крепостная идиллия продолжалась недолго. Скоро по направлению Бухарских ворот раздались и знакомые штурмовые крики, и перестрелка, а затем прибежал и солдат с просьбой о помощи: «Очень уж наседают». Назаров, оставив на этой угловой квартире наблюдательный пост, сам беглым шагом направился к воротам; начальствовавший там офицер добровольно передал ему команду, точно так же как и саперный штабс-капитан Черкасов со своими саперами.

Штурм опять отбили. Стало вечереть. Поставили медный чайник; мы расположились пить чай... Не тут-то было — опять нападение! Мне невольно вспомнился утренний чай, стоявший еще, вероятно, недопитым в моей комнате, вспомнился и афганец, которому не пришлось дописать ноги и, по всей вероятности, и не придется. Этот афганец находится у И.Л. Терещенко — без ног). Этот раз враги наши отошли что-то очень скоро, но вслед за их уходом показался за воротами дымок. «Ах, подлецы, они зажгли их!» Так и есть. Скоро сильное пламя обрисовалось на потемневшем уже воздухе. Как только ворота рухнули, новое сильнейшее нападение, на этот раз долгое, настойчивое. Стреляли чуть не в упор. Шум и гвалт были отчаянные; в этом гаме я кричу солдатам, без толку стреляющим на воздух.

— Да не стреляйте в небо, в кого вы там метите!

— Пужаем, Василий Васильевич, — отвечает один пресе-
рьезно.

Помню, я застрелил тут двоих из нападавших, если мож-
но так выразиться, по-профессорски.

— Не торопись стрелять, — говорил я, — вот положи сю-
да ствол и жди.

Я положил ружье на выступ стены; как раз в это время ту-
земец, ружье наперевес, перебежал дорогу, перед самыми во-
ротами; я выстрелил, и тот упал, убитый наповал. Выстрел был
на таком близком расстоянии, что ватный халат на моей зло-
получной жертве загорелся, и она, т.е. жертва, медленно го-
рев в продолжение целых суток, совсем обуглилась, причем ру-
ка, поднесенная в последнюю минуту ко рту, так и осталась,
застыла; эта черная масса валялась тут целую неделю до са-
мого возвращения нашего отряда, который весь прошел через
нее, т.е. мою злополучную жертву. Другой упал при тех же
условиях и тоже наповал.

— Ай да Василий Васильевич, — говорили солдаты, — вот
так старается за нас.

Нет худа без добра: как только ворота прогорели, Черка-
сов устроил отличный, совершенно правильный бруствер из
мешков, к которому поставили орудие, заряженное карте-
чью. Тут разговор пошел у нас несколько иной...

Было уже темно, упавшие бревна и доски ворот еще ярко
пылали. Назаров разместил солдат так, чтобы их не было
видно, лишь штыки блестели в темноте. На виду в середине
было только орудие с прислугою и офицером, белые рубашки
и китель которых ярко блестели, освещенные пламенем. Вот
приближается шум ближе, ближе, обращается в какой-то
хриплый рев многих тысяч голосов с возгласами: «Аллах!
Аллах!» Вот показались передовые фигуры, они зовут дру-
гих; никто из них не стреляет, в руках шашки и батики*; как
бараны с опущенными головами, бросаются они на ворота и

* Палка с железным зубчатым шаром, род булавы.

орудие... «Первая!» — раздается звонкий голос поручика Служенко. Ужасный гром орудия, слышно, как хлестнула картечь, затем молчание — ничего не видно, дым все застлал — и через минуту или две далеко вдаль начинают раздаваться голоса: отхлынули, начинают, вероятно, сводить счеты, браниться, попрекать друг друга, а мы-то рады! Долго продолжались эти нападения, каждый раз с новым азартом; очевидно было, что они во что бы то ни стало хотели овладеть крепостью, но недисциплинированная масса каждый раз не выдерживала картечи на близком расстоянии и отступала. Впрочем, и было отчего отступать: хотя нам иногда и видно было, как они сразу подхватывали и подбирали своих убитых, но одних павших около самых стен — которых подобрать было невозможно — оказалось на другой день такое множество и на сильном солнце они подняли такое зловоние, что надобно удивляться, как у нас не завелось какой-нибудь заразной болезни.

Как поутихло, мы сделали вылазку, главной целью которой была невдалеке находившаяся мечеть; из нее, как из твердыни, направлялись все нападения на нас. Удостоверившись, что неприятель отошел, мы тихо вышли ночью прямо к этой негодной мечети; живо собрали сухого дерева, разложили костры и запалили. То же самое сделали мы и с несколькими близ самых ворот стоявшими саклями, наиболее нас душившими. В одной из них нашли рыжую туркменскую лошадь; решили подарить ее мне, но я отклонил эту честь, отдал лошадь артели, а у артели купил за 40 рублей. Здесь мы тоже живо запалили все, что могло гореть. Говорили шепотом, в темноте только и слышно было: «Николай Николаевич! Василий Васильевич! Вот сюда петушка живо, живо!» Замечательно, что Назаров был на вылазке в туфлях, и не столько, думаю, из забывчивости, сколько из полного равнодушия к опасности — стоит ли беспокоиться надевать сапоги, раз что вечером снял уже их.

Когда огненные языки взвились, мы наутек, да и пора была: пожар заметили и стали приближаться голоса. Видно, пробо-

вали тушить, но не могли одолеть огня, который разгорался все пуще и пуще. Опять стали нападать на нас, но с еще меньшим успехом, так как теперь вся местность была освещена.

Поработали за эту ночь наша пушка и ее милый командир Служенко. Под звонкие выкрикивания его: «Первая! Первая!» — я так и заснул. Раздобыв досок, мы расположились вповалку на песке на улице, под самыми стенами, с готовым ружьем при бедре; несмотря на жесткость импровизированного ложа и великое множество солдатских блох, я заснул как праведник.



Далеко за полночь сильный непривычный шум разбудил меня — это рухнула подожженная нами мечеть. Мы взошли на стену полюбоваться на дело наших рук: ночь была прелестная, воздух тихий, небо звездное; так как часовые все были на своих местах и зорко смотрели кругом, то мы, потолковавши, снова заснули.

С раннего утра начались приступы то у нас, то далее, где мы были вчера, а то и еще далее, у главного выхода в город. Тут в воротах тоже стояло орудие, но в несравненно выгоднейшем против нашего положении: так как нельзя было войти в крепость иначе как по мосту, переброшенному через ров, значит, сюрприза не могло быть. Эти ворота назывались Джузакскими, начальствовал тут капитан Шеметилло, чистокровный хохол и прекрасный человек. В оба эти места Назаров послал раз подкрепление, когда им пришлось туго; хорошо было видно, как на наше вчерашнее местопребывание велась атака: масса атакующих бегом с криком «ур!» поднялась до гребня и, потеряв несколько убитых и раненых, стремительно же уткнула назад, вперегонку.

Стало и у нас, и везде затихать. Николай Николаевич сманил меня пойти поесть кисленького, как он называл борщ и щи, к знакомым купцам, давно уже давшим знать, что во всякое время кушанье будет готово, и велел немедленно дать знать ему, если будет хоть малейшая опасность. Купцы, наши

русские, приехавшие в Самарканд для начала торговых сношений, не рады, конечно, были, что попали в такую передрагу. Один из них, Трубчанинов, доверенный известного Немчанинова по торговле чаем, был храбрее прочих, он приходил даже со своим охотничьим ружьем, в красной рубашке к нам на стены; но другие страшно перетрусили и, как только начиналась пальба, зажигали свечи перед иконами и начинали на коленях молиться Богу. Так как пули стали залетать в двери, то они должны были перенести место моления в другой угол, а когда некоторые большие фальконетные пули, калибра маленьких ядер, пробили крышу, то пришлось и еще раз переносить моление в третье место.

Они накормили и напоили нас, послали водки для солдат, также как и несколько ящичков сигар, с которыми я после обошел вдоль стен и оделил всех желавших. Они признались нам, что пальба и крики их страшно пугают и заставляют постоянно ждать, что вот-вот пожалуют гости и, конечно, всех пере режут.

Больные и раненые наши помещались на тронном дворе, но навесные пули из города попортили многих раненых и чуть не убили доктора, так что часть их перевели в сакли, как раз около купцов, чем окончательно лишили тех покоя: стоны их и день и ночь надрывали душу, как говорил мне Трубчанинов.

На самом троне Тамерлана я нашел целую семью жидов и сказал Назарову, не переместить ли их с такого освященного историюю предмета?

— Зачем, — отвечал тот, — еще и велю!

Жидов оказалось у нас множество, разумеется, с чадами и домочадцами; почувствовав свободу с приходом русских, они по-своему заважничали, стали носить кушаки вместо веревок, стали ездить на лошадях, что им строжайше было запрещено, и, конечно, были бы все перебиты, если бы остались в городе. Как мне рассказывали, при сильной пальбе у нас они поднимали страшный вой, молились, били себя по щекам, трепали за пейсы! Кроме жидов были персы, индийцы, татары. Все это

при нашем входе бросилось спрашивать, что и как, благодарили, целовали полы платьев, плача от умиления.

Назарову дали знать, что снова собираются отряды, чуть ли не для нападения, и мы поспешно воротились к стенам, но атаки были слабые, мы успокоились. Так как солдаты не раздевались, валялись всю ночь по большей части в песке и насекомые заедали их, то Назаров, отделив часть, приказал им идти к пруду ближайшей мечети мыться, причем прибавил:

— Мойтесь, смотрите, так, чтобы каждого из вас — Тут следовала такая фраза, которую ни на каком языке нельзя передать. Солдаты захохотали: «Рады стараться, ваше высокоблагородие!»

Отряд наш теперь значительно увеличился, так как к этим воротам, как к самому опасному пункту, комендант послал все, что наскреб: кроме выздоравливающих тут были и казаки, и другие разночинцы, которые «ура»-то, пожалуй, кричали, но держались больше вдали, под крышами саклей. Кроме двух-трех батальонных офицеров у Назарова были два саперных офицера: помянутый Черкасов и Воронеж, последний совсем зеленый, пухленький юноша, недавно окончивший инженерное училище. Так как народ был больше молодой, то все время проходило в смехе и шутках, прерывавшихся иногда лишь известием, что такого-то убили или ранили. Между прочим, ранили смертельно нашего милейшего артиллериста Служенко. Меня не было в это время, но Воронеж рассказывал, что этот brave офицер ехал вдоль стен в белом кителе на вороной лошади, представляя, таким образом, слишком хорошую мету, что ему и замечали. «Я вижу, что он что-то склонился над седлом, — рассказывал Воронеж, — и спрашиваю: «Служенко, что с вами?» Ничего не отвечает. Сняли с лошади — пуля в животе».

Я воспользовался маленьким затишьем, чтобы попробовать объехать мое новое приобретение — рыжего туркмена, захваченного на вылазке. Но не успел отъехать и ста сажен, как разразился целый ад — сильнейший из всех бывших приступов к крепости.



Передав лошадь на руки первому казаку, я бросился к битве. Узбеки, должно быть, давно уже прокрались к стенам через сакли, которые к ней в этом месте, т.е. у самых ворот, примыкали, разобрали стену так тихо, что решительно никакого шума мы не слышали, и через постройки, выходившие на эту сторону, ринулись на наше орудие. При этом кроме пуль посыпался через кровли саклей целый град, очевидно, заранее приготовленных камней. Первое приветствие, полученное мною, был страшный удар камня в левую ногу — я взвыл от боли! Думал, нога переломлена, — нет, ничего. Все кричат «ура!», но вперед не идет никто. Вижу, в самой середине Назаров, раскрасневшийся от злости, бьет солдат наотмах шашкою по затылкам, понуждая идти вперед, но те только пятятся.

— Черкасов! — раздается его голос, — лупите вы этих подлецов!..

Мысли буквально с быстротою молнии мелькают в такие минуты: моя первая мысль была — не идут, надо пойти впереди; вторая — вот хороший случай показать, как надобно идти вперед; третья — да ведь убьют наверно; четвертая — авось не убьют! Двух секунд не заняли все эти мысли; впереди лежали наваленные какие-то бревна, — в моем очень не представительном костюме, сером пальто нараспашку, в серой же пуховой шляпе на голове, с ружьем в руке, я вскочил на эти бревна, оборотился к солдатам и, крикнув: «Братцы, за мной!» — бросился в саклю на неприятельскую толпу, которая сдала и отступила. Я хорошо помню все мои действия и побуждения и сознательно разбираю их: первое мое движение, прибежав благополучно в саклю, было встать в простенок между окнами, в которые убежавший неприятель крепко стрелял, и таким образом сохраниться от пуль; то же сделал убежавший за мною Назаров, благополучно миновавший фатальное пространство, но многие из следовавших за нами солдат попались; немало убито наповал, много ранено, а некоторых, увлекшихся преследованием, неприятель захватил в

плен и, отрезав им головы, унес. Один солдатик чуть не сшиб меня с ног: раненный в голову, он так чубурахнулся об меня, что совсем закровянил пальто мое. Он хрипел еще, я вынес его, но он скоро умер, бросив на меня жалкий взгляд, в котором мне виделся укор: зачем ты завлек меня туда? Эти взгляды умирающих остаются памятными на всю жизнь!

Как теперь помню, когда генерал Кауфман посетил раненых после дела под Чопан-Ата 1 мая, т.е. после первой битвы под Самаркандом, имевшей результатом занятие города, он подошел к одному молодому офицеру, раненному в голову, который по приговору врачей должен был умереть. Я стоял около и слышал, что на ласковый и сочувственный опрос генерала раненый отвечал тихо, толково и вежливо. Но, когда Кауфман стал говорить ему, что *главное* сделано, неприятель разбит и город занят, больной ничего не ответил, лишь взглянул, но как взглянул — сердито, зло! *Главное* для него, очевидно, была его рана...



Неприятель отошел, но не ушел и так беспокоил нас своею стрельбою, что я уговорил Назарова перейти в наступление: мы перепрыгнули через бруствер и со здоровым «ура!» атаковали врагов с фланга. Я бежал впереди и, на счастье, мое оглянулся — никого за мною не было; все солдаты, как бараны, сбились в кучу, кричат «ура!», стреляют, но не двигаются. Тщетно опять Назаров лупил их, называл подлецами, трусами, тщетно на этот раз и я взывал: «За мной, братцы, за мной!» — за мной никто не шел; совершенно охрипши и истощив весь запас терпения, я обратился к Назарову:

— Велите ударить отбой, Николай Николаевич, не пойдут!

Барабанщик ударил отбой, и мы воротились. Отчего не пошли солдаты? Нас было совсем не мало, человек полтора, а неприятеля совсем не очень много, может быть, несколько сотен, и рассыпанного, видимо отступавшего; тем не менее я живо помню, как передние пятились на задних, какой ужас написан был на всех лицах; я объясняю это, хотя и не уверенно

и, во всяком случае, не вполне, тем, что солдаты боялись, выйдя за крепость, быть отрезанными, потеряться в бесконечном числе улиц, переулков. Так или иначе неприятель был совершенно отогнан, и даже наша последняя вылазка была не бесполезна, так как после нее перестали так крепко стрелять в нас.

Кстати замечу здесь, что, по мнению моему, так называемое предчувствие — не что иное, как маленькая трусость, весьма понятная и извинительная в серьезной опасности, которая заставляет нас ожидать всего худшего. Случится так, как боялся, что случится, — говоришь: я предчувствовал это; не случится — все сейчас же и забыл. Один юный офицерик при начале этого дела с видимым страхом смотрел на свалку, укрываясь от пуль и камней под крышей ближней сакли, и, когда я поравнялся, шепнул мне:

— Я чувствую, что буду сегодня убит.

— Что за вздор, — успел я ответить ему.

— Вы не верите! Вот увидите...

Я не имел времени рассуждать более, но помню, что меня поразила уверенность, с которою он произнес последние слова.

«Бедняга, — мелькнуло у меня в уме, — какое сильное предчувствие, в самом деле не ухлопали бы его!» И что же? Не только малого не убили, но и не ранили. Когда я напомнил ему после, он ответил с неудовольствием: «Ну, пустяки!»



В этом деле мы потеряли сравнительно много народа. Я наложил потом стогом две арбы тел. Некоторые были мертвы уже, другие еще пускали дух или пузырьки — последние преимущественно из тех, что выпили лишнюю рюмку водки перед делом. Все мы заметили, что орудие наше что-то не стреляло. Назаров стал допрашивать: оказалось, что фейерверкер, так bravо служивший все время свою службу, преждевременно отпраздновал победу, тоже, вероятно, лишнюю рюмкою, и с пьяных глаз не так всунул гранату, которая засела трубкою

и ни тпру ни ну! Счастливы мы отделались. Все до того устали, что никто не хотел приняться за уборку убитых и раненых — одних убитых оказалось сорок человек.

Ужасны были тела тех нескольких солдат, которые зарвались и головы которых, как я сказал, были глубоко вырезаны из плеч, чтобы ничего, вероятно, не потерять из доставшегося трофея. Солдаты кучкою стояли кругом этих тел и решали, кто бы это мог быть — «Сидороу или Федороу», и только по некоторым интимным знакам на теле земляки признали одного из них. Известно, что за каждую доставленную голову убитого неприятеля выдается награда, преимущественно одеждою, и это не в одной Средней Азии, но и в Европе — у турок, у албанцев, черногорцев и других. Этот случай дал мне также тему для небольшой картины, представляющей собиране в мешок голов убитых неприятелей.

У меня за этот штурм одна пуля сбила шапку с головы, другая перебила ствол ружья, как раз на высоте груди — значит, отделался дешево. Я надел на голову и носил следующие дни белый чехол с офицерской фуражки, и теперь еще где-то сохраняющийся у меня. Назаров вышел целешенек. Этот человек был храбр какою-то особенною, солдат выразился бы, залихватскою храбростью. Атаковавшие зашли так далеко, что воткнули и даже привязали к саклям у воротной стены большое, красное, с буквами, вероятно именем Аллаха, знамя; снять его было трудно, потому что, заняв дома противоположной улицы, они продолжали бить по нашим. Я решился отвязать этот позорный для крепости нашей флаг и, как Николай Николаевич ни отговаривал, благополучно исполнил работу, хотя пульки в продолжение ее так и ударялись подле. С торжеством вынес я мой трофей на его высочайшем шесте и вручил отцу-командиру, т.е. Назарову. Что же он сделал? Передал командующему войсками? Поставил в походную церковь? Нет! К ужасу моему, он отдал это знамя солдатам на портянки. После, глядя на значки и знамена, стоявшие кругом палатки Кауфмана, я сравнивал их со взятым мною и находил, что последнее было и выше и красивее. Больше же всего

было обидно то, что, когда я разыскал моего коня, он оказался привязанным веревочкою, а это значило, что в то время, как я некоторым образом проливал кровь за Отечество, кто-то, вероятно из пригнанных нам на помощь казачков, утащил уздечку. Признаюсь, я этого не ожидал!

— Василий Васильевич, — позвал меня Назаров, когда все успокоилось, — пойдем поесть кисленького.

Когда мы вошли в помещение дворца, все бросилось благодарить: не говоря про евреев, татар, персиян, даже наши раненые повывлезли приветствовать Назарова. Воображаю, каково им было слышать отсюда эту отчаянную пальбу и непрерывные крики и понимать, что каждую минуту плотины может сдать и поток затопит их. Конечно, им вдали было страшнее, чем нам вблизи.

Прятели-купцы просто упали нам на шею; они признались, что такой пальбы и шума еще не было прежде и они все время творили молитву.

— Вы ранены, — говорят мне, глядя на кровавые пятна моего пальто. Пришлось объяснить, как сосед-солдат наградил меня этими пятнами.

Осмотрев мою аварию на ноге, я нашел, что из маленькой ранки на кости вытекло немало крови. Милейший Трубчанинов даже в ужас пришел и советовал обратиться к доктору, но так как ни платье, ни белье не были разорваны, то ясно было, что это простой ушиб, и я стыдился показать себя раненым камнем. Мы зашли к Служенко. Кажется, он признал нас, но говорить не мог. По словам его окружающих, он страшно мучился. Через день слышим — умер.

Возвратившись к воротам, мы застали несколько офицеров, пришедших разузнать о подробностях дела; они слышались о том, как я воевал не щадя живота, и горячо поздравляли меня.

— Вам первый крест, Василий Васильевич, — сказал Б., думая, конечно, сделать мне приятное; но я энергично протестовал против этого, потому что, признаюсь, к некоторому чувству тщеславия, возбужденному такими словами, приме-

шивалось и порядочное чувство гадливости: едва ли не лучшие часы моей жизни были эти два дня, проведенные в самой высокой дружбе, в самом искреннем братстве, устремленных к одной общей цели, всеми хорошо сознаваемой, всем одинаково близкой, — обороне крепости. Я хорошо помню и искренно говорю, что ни разу мысль о какой бы то ни было награде не приходила мне в голову, и вдруг стали считать заслуги, кто что совершил, кто что может получить, получит ли и проч. Батюшки! Пощадите... С горя я взял ружье и ушел в нашу башню при воротах — стрелять зайцев, нет-нет да и подвертывавшихся под выстрелы.

Под вечер пришли еще два офицера от других ворот узнать, как дела идут. Так как было совсем спокойно, то я пригласил их прогуляться по нашему «бульвару», т.е. по выжженной улице, между трупами. Взявши под ручки, я вывел их за бруствер; Назаров, Черкасов и другие офицеры последовали за нами. Правду сказать, глубокая тишина была несколько тосклива; где-то недалеко выла собака, трещал огонь кое-где догоравших домов; шипенье пули, ударившейся в песок в аршине от меня, дало знать, что за нами следят, а приближающиеся голоса и совсем убедили убраться подобру-поздорову восвояси — мы даже не были вооружены.

Когда совсем стемнело, Назаров повел нас опять на вылазку: мы выжгли все дома вдоль стен еще на большее расстояние, вплоть до самого угла, места нашей прежней стоянки, и опять, как только зарево пожара обратило на наши подвиги внимание осаждавших, благоразумно ретировались, не потеряв ни одного человека.

Назаров был опять в туфлях и едва не обжег себе ноги, что, впрочем, не исправило его — покой дорожке всего!



На следующий, третий день осады приступы были легче, хотя перестрелка не умолкала, то разгораясь, то затихая. Полковник наш предпринял вылазку подалее в город, чтобы

выжечь всю вторую улицу вдоль стен — элементарная предосторожность, которую должен был бы исполнить еще много ранее сам командующий войсками, очевидно, по доброте душевной не решившийся наносить жителям изъяна, — результат был тот, что перебили у нас много народа, да вдобавок чуть не отобрали крепость, падение которой было бы, бесспорно, сигналом для общего восстания Средней Азии. Будь очищена кругом крепости правильная зона, нападение на нее если бы не было вполне невозможно, то во всяком случае в пять раз труднее.

Отряд наш, назначенный для вылазки, оставив часть солдат с офицером у Бухарских ворот, направился к Джужакским, где после выстрела из орудия и дружного «ура!» Назаров, как кошка, бросился за стену. Я скоро обогнал его, побежал впереди и на повороте в первую уже улицу лавок приостановился, подзывая товарищей: передо мной врассыпную бежало множество народа; некоторые, оборачиваясь, стреляли; большинство без ружей, с батиками и саблями, спасалось. Здесь случился со мной такой казус: с криками «ура!» мы бежим по улице; я валяю впереди и, увлекшись преследованием двух сартов*, забегаю в улицу направо; они — еще направо, я — за ними. Передний успел шмыгнуть в ворота, а заднего я нагнал: он прислонился к углу и ждал меня с батиком, я размахнулся штыком, но платье было толстое ватное, да к тому же детина с отчаянием уцепился за штык, отвел удар и в свою очередь замахнулся на меня батиком. Мы схватились врукопашную. Я не нашел ничего лучшего, как колотить его по голове, а в кулаке-то у меня была коробочка со спичками для зажигания домов — спички воспламенились и обожгли мне руку. Видя такой неумелый прием борьбы, противник мой, крепкий с проседью мужчина, ободрился, опустил свое оружие и стал отнимать у меня мое. На беду, другой сарт, спасшийся было в ворота, тоже показал снова свой нос. Я понял, что меня сейчас убьют — кругом не было ни души, — и что есть силы

* Сарты — старое название оседлых узбеков.

закричал: «Братцы, выручай!», кричал почти безнадежно, но солдаты услышали: один прибежал, ружье на руку, размахнулся, — но тот с отчаянием уцепился и за этот штык; тогда солдат снова размахнулся — на этот раз штык глубоко вошел — и мой противник склонился. Я от души поблагодарил солдата за спасение и обещал ему 10 рублей. Эта штука, однако, не исправила меня, и сейчас же вслед за тем я нарвался второй раз. То же бесконечное «ура!» и погоня за утекающим неприятелем, из которых несколько человек вскочили в лавку, я за ними, опять крепко опередив товарищей. Как они набросятся на меня, несколько-то человек, один чем-то дубасит, другие выдергивают ружье. Признаюсь, у меня была одна мысль: батюшки мои, отнимут ружье, срам! Опять подбежали солдаты, выручили, переколол всех.

По временам мы останавливались и зажигали преимущественно базарные циновки; скоро целая улица запылала, так что высокий дым поднялся по всему нашему пути.

Хотя тут были все сплошь лавки, солдаты вели себя очень прилично, ничего и не подумали грабить; убивать, разумеется, убивали всех, кто ни попадал под руку, но никаких бесполезных жестокостей себе не позволяли. Раз только я видел, как одному из валявшихся трупов солдат воткнул штык в глаз, да еще повернул его, так что скрипнуло... Я только хотел сказать: «Что ты делаешь!» — как слышу: «Трах!» — звук здоровой оплеухи и голос Назарова: «Ах ты, подлец, убитому-то!» Мы прошли таким образом до самых Бухарских ворот, потеряв очень мало народа, двух или трех, и то только ранеными.

Когда мы возвратились, нас встретил комендант с несколькими офицерами; он, кажется, сильно перетревожился, извещаясь, что Назаров рискнул слабыми силами и перешел в наступление, но, узнав о нашей малой потере, успокоился. Мы встали во фронт, я на правом фланге; Штемпель в самых милых выражениях благодарил всех и за отбитие штурмов, и за вылазку; я получил на свой пай несколько очень лестных слов, до слез меня тронувших.

Оказывается, что bravому Штемпелю прибежали сказать: «Назаров перепоил людей и убежал с ними в город», — было от чего сконфузиться и поспешить на место действия! Впрочем, побоку это, лучше верить, что это неправда.

Насчет схваток моих было немало шуток и смеха: о первой рассказывал только мой «спаситель», другие, подбежавшие после, не застали этого поединка.

— Слышу, — говорит, — режут: спасите! Я туда, вижу Василий Васильевич, белехонек как смерть, борется со старым сартом...

Вторая «оказия» была на большой улице в виду у всех; ее видели и офицеры и подтрунивали потом надо мною: «Что, Василий Васильевич, каково вас в лавку-то зазвали?» или: «Василий Васильевич, расскажите, как у вас, говорят, ружье чуть не отняли!..» Признаюсь, меня внутренне — невидимо, конечно, для посторонних — душил, как кошмар, вопрос: почему я не пустил в дело револьвер? В кармане был небольшой «смит и vesson», неважного, правда, калибра, но достаточный, чтобы убить человека на таком близком расстоянии, и я его не пустил в ход — почему? А просто потому, что забыл о нем. Часто потом и днем, и ложась спать, и просыпаясь, когда обыкновенно перебираешь свои поступки, я мысленно возобновлял в уме все перипетии этих схваток, мысленно хватался за револьвер, стрелял раза два, даже три или делал то, что сделал солдат, т.е. вырывал у врага штык из рук и снова всаживал, уже в самые внутренности... Утешаясь несколько мыслью, что солдату это легче было сделать, так как мне пришлось держать замахнувшуюся руку с батиком, я все-таки не мог себе простить моей недогадливости и только сравнительно недавно успокоился на уверенности, что самое пустое дело иногда не сразу дается...



Было очень жарко. Не имея в эту минуту под руками книжки моих заметок, не могу сказать, какие это были именно

числа месяца, но знаю, что был конец мая; солнце палило страшно, и трупы, облежавшие наши ворота, начали издавать невыносимое зловоние, которое приходилось терпеть, так как непрерывно нападали на нас и, не рискуя большою потерею людей, нельзя было выйти за стены. Теперь, когда стало поспокойнее, Назаров решил сделать еще вылазку для уборки тел; цепь оберегала нас, пока мы занимались этим «приятным» делом, главную долю которого пришлось вынести на себе, несмотря на то что я брезглив насчет трупного запаха. Поверят ли — никто не хотел приступить, так как всех солдат тошнило; еще Черкасов, кажется, распорядился, но милейший Воронец, после нескольких попыток, отошел, красный от слез... Нечего делать, я всаживал штык в известное место и проталкивал тела до большого арыка, т.е. канавы. Около самой стены валялась серая лошадь, павшая еще в первый день, в одно из бешеных нападений на нас; я видел ее тогда сильною, прекрасною, очевидно, под каким-то начальником, налетевшим во главе толпы под полный заряд картечи и рухнувшим вместе с нею, — его тут же подхватили и утащили свои, а лошадь лежала теперь вздутая до невероятных размеров. Как только мы тронули ее с места, она, уже обратившись в настоящий кисель, треснула по всем швам и разлезлась; тут была сцена, трудно поддающаяся описанию: все мы лоском легли, т.е. не в буквальном смысле, а в том, что все в судорогах, скорчившись, а некоторые ползком, отошли прочь — никакой, по-видимому, возможности работать. Однако кое-кто доброю волею, некоторые после строгого приказанья взялись за эту тушу, утащили ее, подобрали остатки и проч. и проч.

Между солдатами, надобно заметить, мало было таких, которые охотно шли вперед на верную опасность, только некоторые были замечательно храбрые ребята: например, Иванов — крепкий, толстоголовый блондин, лезший решительно всюду, как будто не разбирая, есть опасность или нет; что у него было на душе — не знаю, но снаружи он казался совсем пассивным. Он уцелел за эти дни самаркандского сидения, но, помнится, мне говорили потом, что он был убит в одной

из экспедиций. Из-за неуклюжести этого храброго дитины мы все, находившиеся для стрельбы в башне, в числе 15–20 человек, чуть раз не погибли: осаждающие что-то работали под самыми стенами — подозревалося, не делают ли подкопа под стену, к чему поползновения у них были; поэтому, чтобы не рисковать людьми для вылазки, надобно было бросить несколько ручных гранат. Взялся бросить Иванов; он влез на укрепленные вверху башни балки, перешептываясь и любовно перебраниваясь с товарищами: «Чего стоишь-то, давай!» — «Бери, да ты ступай выше!» — «Куда выше-то, ступай сам, што ли!» — «А и то пойду, что ты думаешь!» ... Наконец взял в руки гранату, размахнулся, подбросил — и она упала посреди нас... Все ошалели — и я в первую минуту, признаюсь, в том числе; потом, сообразив опасность, я, как заяц, выпрыгнул оттуда с криком: «Спасайся, братцы!» Все, в том числе и Иванов, успели выбежать; раздался взрыв, тем более страшный, что он был в тесном пространстве, поднявший и разбросавший массу кирпичей и камней. Уж досталось же потом Иванову от товарищей! Надо было слышать, как они пилили его: «Ну что было бы, Иваноу, кабы ты нас всех убил, а? Нет, ты скажи, что бы было, ведь ты и Василья Висильевича положил бы!» Иванов не знал, куда деваться от конфуза. Уж я заступился раз:

— Да оставьте вы его, что бы ни было, дело прошлое, что вы его корите!

Но при первом же случае шутники опять начали: «Так как же, Иваноу! Как ты нас взорвать-то хотел?»



Мы узнали, что с первого же дня осады комендант отправил гонца из туземцев к генералу Кауфману с обязательством воротиться и принести ответ. Так как этому джигиту обещали за исполнение комиссии 100 рублей и еще какую-то награду, то полагали, что, коли он не явился, значит, убит, что и подтвердилось потом. Каждый день майор Серов приискивал

надежных людей, которые за вознаграждение, все более и более увеличиваемое, брались уведомить командующего войсками о нашей незавидной участи. Комендант писал маленькие записочки по-немецки, в которых уведомлял, что приступы не прекращаются, мы начинаем ощущать недостаток в воде, в соли, убитых и раненых много: по числу гарнизона — чуть не половина. Словом, положение делается критическим... Ответа не было! Мне рассказывали потом, что после сильного приступа второго дня комендант собрал военный совет, на котором решено было драться до последней крайности и, если одолеют, т.е. войдут в крепость, то собраться всем в ограду эмирова дворца, еще защищаться, сколько будет возможно, и затем взорваться — вот спасибо!.. Назаров, как я узнал, был не согласен с этим решением и брался, коли придется уступить крепость за невозможностью защищать ее, пробиться с остатками гарнизона до главного отряда. Хотя мнение его не было принято, он говорил будто после, что так бы и поступил, т.е. на свой страх стал бы пробиваться. Что касается Штемпеля, то с этого тщедушного, морщинистого, любезного, но молчаливого русского немца, едва, впрочем, владевшего немецким языком, случилось бы исполнить решение и отправить нас всех сначала на воздух, а потом туда, откуда никто еще не возвращался.

Мы, молодежь, тогда ничего этого не знали и были далеки от мысли, что такие кровожадные решения приняты нашими командирами. На третий же день, по сведениям, собранным Серовым от лазутчиков, сделалось известно, что генерал Кауфман идет к нам на выручку, о чем комендант и объявил гарнизону для ободрения его; но в этой вести была только доля правды. Как узналось после, дело стояло так: из наших джигитов, посланных с помянутыми известиями к Кауфману, ни один до него не добрался — всех их перехватили и всем перерезали горло, несмотря на то что они решились пробираться пешком или, вернее, ползком. Генерал же, побив бухарцев под Зера-Булаком, действительно остановился и далее не пошел, что и было тотчас по обыкновению быстрее ветра

сообщено туземцами и своим единомышленникам в Самарканде и значительно посбавило у них куражу.

Разбив эмира, Кауфман собрал военный совет для решения вопроса: идти вперед или воротиться? Приятель мой генерал Гейнс советовал идти немедленно на Бухару, разрушить ее и там предписать мир эмиру; генерал Головачев подал противоположное мнение; он указал на неполучение вестей из Самарканда, на настойчивые слухи о том, что город этот в восстании, крепость, по одним — штурмуется, а по другим — уже взята восставшими жителями вместе с подошедшими шахрисябзцами. Генерал Кауфман, сам очень обеспокоенный неполучением вестей от нас, присоединился к последнему мнению, что и спасло нас; пойдя отряд в Бухару, нам бы не удержать крепости. Лично я, например, — смело могу сказать, если не самый ретивый и неутомимый из защитников, то один из таковых, — начинал чувствовать усталость; после сильного приступа второго дня сам про себя, т.е. совершенно искренно, я задался вопросом: а что, если так будет еще несколько дней — хватит сил или нет? И решил, что вряд ли...

Правду говорят, что Господь умудряет младенцев: один Г. был очень умный, талантливый человек, другой Г. был бравый, но, не очень умный и без особенных талантов — первый, однако, ошибся, а второй угадал; спасибо ему за это, а главное — мир его праху, так как он умер недавно, и умер в черном теле.



Несмотря на оповещение, что главный отряд идет к нам на выручку, дни проходили, а о помощи не было ни слуху ни духу. По-прежнему у нас с утра до вечера была перестрелка и иногда то там то сям нападения, далеко, однако, не такие отчаянные, как прежде. Мы видели, что число атакующих было меньше, но только после узнали, что войска Шахрисябза, опасаясь мщения Ярым-падишаха, т.е. полуцаря, как они называли генерал-губернатора, стали отходить и вскоре совсем улетучились.

Наши купцы так ободрились за это время, что целою гурьбою под предводительством жившего вместе с ними военного интендантского чиновника отправились к стенам — посмотреть и себя показать; но, увы, отец-командир, интендантский чиновник, был немедленно же убит наповал, и вся компания воротилась домой с тем, чтобы более уже не любопытствовать.

Делать большие вылазки мы более не стали, так как убыль в людях была и без того слишком велика, и комендант не хотел рисковать, но выжигать прилегающие к стенам дома мы ходили. Назаров выжег все по направлению от Бухарских ворот к той дороге, по которой должен был войти отряд не без задней мысли, как сам он признавался, показать командующему войсками, что следовало бы ему сделать перед уходом для обеспечения крепости.

Надобно сказать, что генерал Кауфман, не говоря о многих других чудных его качествах, был еще человек высокой доброты: он не дал пальцем тронуть жителей, когда занял Самарканд, и, конечно, не мог решиться уничтожить треть города вокруг крепости и разорить столько народа, ничем еще официально не провинившегося; этим только и можно объяснить то, что он ушел вперед, не приведя крепость в тылу в состояние возможности обороняться.

Хлеба у нас было довольно, соли, как сказано, недостаточного, мясо тоже было, но сена для лошадей и скота не хватало, пришлось предпринять фуражировку по всем правилам военного времени.

Мы прошли тайным проходом под стеной, который обыкновенно был завален, залегли в цепь и перестреливались с окрестными садами, пока солдаты-косари выстригли порядочную площадку клевера; тогда мы, тихо ретируясь, вошли опять в крепость, почти без потерь.

В ожидании скорого освобождения наш начальник артиллерии решил отомстить той мечети, с минарета которой били по нашим раненым. Купец Трубчанинов, зная мою слабость к мечетям, известил меня:

— Василий Васильевич, ведь штукатурку-то отбивают!
Штукатуркою он называл фаянсы, которыми мечеть была выложена и которыми, он знал, я восхищался.

— Где, как?

Я бросился к М. и едва-едва уговорил его пощадить минарет, в который уже было пущено несколько ядер.

На пятый или шестой день осады, не помню хорошенько, появился под воротами человек, махавший бумагою. Назаров не велел стрелять и подозвал его. Здоровенный бородатый детина, очевидно, не из трусов, потому что подошел под самый огонь наших ружей, показал имевшееся у него писание не по-нашему, и Назаров поручил мне провести его к коменданту. Я взял бумагу, вскинул ружье на плечо и повел этого посланца, державшегося, надобно сказать, с большим достоинством; перед входом в эмиров двор, где был наш парк, раненые и проч., я завязал ему глаза носовым платком, сказавши по-туземному:

— Не бойся.

— Я ничего не боюсь, — отвечал он.

Взяв за плечи, я протащил его до комнаты коменданта, где снял с глаз повязку. У Штемпеля в это время был Серов, хорошо владевший туземным языком. Он принял бумагу, просмотрел и начал бранить моего парня самыми отборными, непечатными словами: оказалось, что он принес предложение о сдаче. «Спасенья вам нет, — писали заправители восстания, — сдайте крепость, мы пропустим вас свободно».

— Больше ничего не надобно? — спросил я начальство.

— Ничего, можете идти.

Я воротился и сообщил нашим как о предложении нам сдаться, так и о немилостивом приеме, сделанном комендантом этому предложению.

Солдатики столько раз уже слышали о том, что идут, идут нам на выручку, что, когда никто не являлся, стали опять поговаривать: «Видно, нам здесь зимовать, забыли о нас». Наконец на седьмой день рано утром въехал в ворота со стороны отряда молодой джигит, благополучно проехавший туда и привезший назад ответ генерала. Мы смотрели на него как на

спасителя, и невзрачная, грязная физиономия его, повязанная еще грязнейшею тряпицей, положительно казалась нам вдохновенною! Впрочем, он, по-видимому, сознавал важность исполненного поручения и кроме понятного довольства своим подвигом предвкушал, вероятно, и удовольствие получения награды в 300 рублей вместе с Георгиевским солдатским крестом (если не ошибаюсь). «Держитесь, — писал генерал Кауфман коменданту, — завтра я буду у вас». Какое же грянуло по всей крепости «ура!», когда сделалось известно содержание этого письма! Конечно, восставшие поняли, что дело их проиграно, и, кроме нескольких отчаянных голов, не беспокоили более нас серьезно. Оказалось, что это был первый из посланцев, добравшийся до отряда, когда тот был уже на обратном пути; остальные шесть человек были перехвачены и убиты.

Перестрелка по-прежнему продолжалась, даже вышла тревога, небольшое нападение вечерем, но эпопея наша, очевидно, приходила к концу.

Эту ночь главный отряд ночевал недалеко от города, хорошо слышал нашу перестрелку, и генерал Кауфман особенно беспокоился нашими пушечными выстрелами. Г. рассказывал мне после, что он не спал, все боялся, как бы не взяли крепость.

На другой день, как ни упрашивал меня Назаров и офицеры встретить вместе отряд, я ушел в свою саклю и в первый раз после восьми дней лег на чистую простыню. Хотелось заснуть, но не мог, нервы были слишком напряжены. Я лежал в полудремоте, когда ворвался ко мне Николай Николаевич Назаров.

— Василий Васильевич! У меня свежий батальон, пойдем город жечь?!

— Нет, не пойду, — отвечал я.

— Так не пойдете?

— Нет.

— Ну так я пойду один, пусть скажут, что Назаров сжег Самарканд!!!

Скоро огромный столб дыма дал знать, что Назаров время не потерял — весь громадный базар запылал.

Добрейший Кауфман, понимавший, что надобно будет дать пример строгости, очевидно, нарочно провел предыдущую ночь, не доходя несколько верст, чтобы дать возможность уйти большому числу народа, особенно женщинам и детям; зато теперь он отдал приказ примерно наказать город, не щадить никого и ничего. Один военный интендантский чиновник, бывший в числе добровольных карателей, рассказывал, что «вбегают он с несколькими солдатами в саклю, где видит старую-престарую старуху, встречающую их словами: аман, аман! (будь здоров). Видим, — говорит, — что под рогожами, на которых она сидит, что-то шевелится — глядь, а там парень лет шестнадцати; вытащили его и пришибли, конечно, вместе с бабушкой».

Солдатам дозволили освидетельствовать лавки — и чего-чего они оттуда не натаскали! Нельзя было без смеху смотреть, как они одевались потом во всевозможные туземные одеянья, одно другого пестрее и наряднее. За несколько рублей можно было купить у них целые сокровища для этнографа.

А что погибло в пожаре старых, чудесной работы разных деревянных и мраморных дверей, колонок и прочего, то и вспомнить досадно!

Назаров потешился и с лихвою заплатил городу за все беспокойства, ему причиненные в продолжение памятных восьми дней осады; особенно выместил он злобу на мечети Ширдари, с минарета которой так метко стреляли из фальконетов по нашим больным, раненым и по артиллерийскому парку. «Всех перебил в проклятой мечети», — хвастал он потом. Так как у меня был в этой мечети знакомый мулла, человек вежливых манер и редкой начитанности, которого я, признаюсь, втайне подозревал в помянутой злой стрельбе по нас, но участь которого меня все-таки беспокоила, то я расспросил подробно одного из офицеров, участвовавших в истребительном подвиге Назарова, много ли и какого народа нашли они в мечети. «Нет, не много, — отвечал он, — все разбежались, подлецы!» Я вздохнул свободно. «Только один старикашка-мулла

попался; поверите ли, как кошка, убежал от нас на самый верх минарета».

— Ну?!

— Ну, конечно, сбросили его штыками оттуда.

— Уф!



Как теперь вижу генерала Кауфмана на нашем дворе, творящего после всего происшедшего суд и расправу над разным людом, или захваченным в плен с оружием в руках, или уличенным в других неблаговидных делах. Добрейший Константин Петрович, окруженный офицерами, сидел на походном стуле и, куря папиросу, совершенно бесстрастно произносил: «Расстрелять, расстрелять, расстрелять, расстрелять!»

Случайно остановясь посмотреть эту процедуру, я увидел в числе подведенных и моего знакомого парламентаря, подошедшего к нашим воротам с предложением о сдаче.

— Неужели и его расстреляют? — спросил я генерала Г., тут же стоявшего, — я знаю этого человека за храброго и порядочного.

— Скажите Константину Петровичу, — отвечал он, — для вас его отпустят.

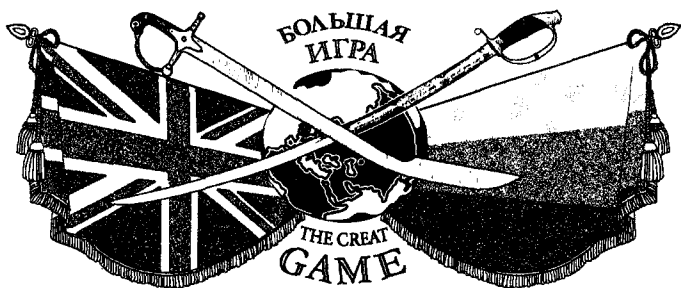
Нелегкая меня дернула, прежде чем обратиться к генерал-губернатору, сказать коменданту:

— Майор, за что это хотят наказывать этого парламентаря, ведь он, помните, держал себя порядочно?

— Напротив, он был дерзок, позвольте уж мне лучше знать... И проч. и проч.

Я видел, что вмешательство мое неприятно Штемпелю, и отступился: одним больше, одним меньше!..

Над парламентарем, между тем, был уже произнесен роковой приговор «расстрелять», и должно быть он понял, потому что его в пот бросило. Выходя со двора, бедняга спросил только «попить»; ему дали воды, он выпил, обтерся полою и покорно зашагал по пути в ту область, где нет «ни печали, ни воздыхания» и где не нужно будет никому предлагать сдаться.



НА КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ, 1869 ГОД

Путешествуя по китайской границе, я свернул к укреплению Борохудзиру, бывшему крайним пунктом наших владений к стороне Кульджи, от пикета Алтын-Имельской станции, что по дороге из Верного в Ташкент. Перевалив через невысокий хребет, тянущийся вдоль почтового пути, я сразу почувствовал перемену — стало теплее и тише, не так ветрено. Мы остановились отдохнуть и переменить лошадей в кочевке управителя Алтын-Имельской волости, в палатке у хорошенькой киргизки, его родственницы.

Хозяйка рассказала о своем горе: недавно умер муж ее.

Я ответил, что дело для нее поправимое, найдет другого, но она замахала руками: «Нет, нет, как можно», «Ики балача бар», т.е. двое ребятишек у меня!

— Ну так что же, еще двое будут, не скучать же тебе всю жизнь одной.

Она отчаянно махнула рукою на мою нескромную речь и поприлежнее наклонилась над своею работой — приготовлением войлока для киргизских сапог, который делается так.

На камышовую переборку от юрты, разостланную по земле, она накладывала размягченную шерсть, ряд к ряду, в требуемую длину и ширину, смачивая и закатывая. После довольно продолжительного катанья получился тонкий войлок,

который она свернула еще вдвое, подложила на места схода краев еще шерсти, еще помочила и снова стала скатывать — вышел войлочный цилиндр в толщину ноги. По этому уже хорошо скатанному войлоку выложила от руки же узоры цветною шерстью и потом еще стала катать.

Пока я наблюдал за этим нехитрым производством, пришел управитель волости со свитою и между разными разностями рассказал, что его киргизы, мстя не раз грабившим их таранчам*, в свою очередь отбарантовали недавно много скота и захватили немало всякого добра, даже серебра; но губернатор генерал Колпаковский, известясь об этом их подвиге, рассердился и приказал все возратить — обстоятельство, о котором собеседники мои глубоко скорбели и причину которого никак не могли сообразить.

В кои-то веки довелось побаловаться, пограбить, и вдруг награбленное с опасностью жизни возвращать! Тем более это было обидно, что барантовали они у народа, возмутившегося против китайского владычества, не имевшего теперь над собою сильной руки и поэтому бесцеремонно обращавшегося с собственностью соседей, наших киргиз.

К вечеру добрались мы до первого из трех пикетов, расположенных по пути к отряду. И вечер и ночь были чудные, точно в мае, слегка прохладные и светлые, хотя стоял уже октябрь.



Следующий день был пасмурный, по временам мочил дождик, а на горах в это время падал снег, как белою скатертью покрыв весь хребет. После пятидесятиверстного переезда добрался я до пикета № 2. Поохотился за дрофами и зайцами, которых тут было великое множество, и, усталый, расположился ночевать на открытом воздухе.

Не тут-то было, однако; не мог заснуть от страшного лая и вытья собак.

* Уйгуры-земледельцы, жившие в долине р. Или.

— Да уйми ты, братец, как-нибудь своих собак, — говорю пикетному казаку.

— Никак невозможно, — отвечает он, — их теперь ничем не унять, потому зверя близко чувуют.

— Какого зверя?

— Тигру.

— Разве есть здесь тигры?

— И! Просто такое множество; по речке вот, с гор, почти что каждую ночь приходят.

— А близко подходят к вам?

— Да к самой избе; вот где вы лежите, тут завсегда уж вынюхивают.

— Так, пожалуй, я напрасно так далеко расположился, не откусили бы они мне носа?

— Храни Бог, как можно; ежели как подойдут — собаки беспрерывно дадут нам знать, зальются...

В уверенности, что собаки зальются и тем своевременно дадут знать, я славно заснул и благополучно проспал всю ночь.



Утром на другой день я поехал далее, сначала довольно ровною местностью, вдоль невысоких холмов, мимо нескольких мазарок, т.е. киргизских гробниц, затем ущельем, очень глубоким и узким. Бока ущелья состояли из песчаника самых разнообразных ярких цветов, красного, фиолетового, желтого и др. — право, если представишь такие цвета на картине, так не поверят, скажут: приврал художник!

Я не утерпел, чтобы не пострелять горных куропаток, со всех сторон перекликавшихся и стаями перебежавших дорогу. Мимо нескольких одиноких юрт, рассеянных там и сям по ущелью, начавшему расширяться, добрались мы и до пикета № 3. Отсюда, поднявшись еще на крутую гору, начали уже всё спускаться, прямо к месту расположения пограничного Борохудзирского отряда. Почва становилась более и более глинистою, по краям дороги рос мелкий камыш, из которого

поднимались иногда целые стаи диких уток. Забелелись наконец вдаль казармы отряда; слышно было, как играли знакомую зорю. Миновав поселение калмыков, выбежавших в наши пределы из Китая от возмущения мусульман (дунган и таранчей), я въехал в самый четырехугольник зданий, образующих казармы.

Начальника отряда не было дома; в его отсутствие меня очень любезно принял ротный командир поручик Эман и предложил свое нехитрое, но уютное помещение, от которого, конечно, я не отказался, потому что был совершенно налегке — ни палатки, ни юрты с собою не было.

Узнав, что я еду смотреть и рисовать, Эман вызвался проводить меня завтра же до первого китайского городка Тургеня, всего в трех верстах от речки Борохудзир. Вообще, впрочем, он сообщил мало утешительного для моих будущих занятий: все пограничные китайские городки, по словам его, были совершенно разрушены, не столько мятежниками — таранчами, сколько нашими солдатами, строившими из тамошних балок и кирпичей свои казармы хозяйственным способом. Экономия казны от этого могла быть значительная, — если только здешнее начальство распорядилось не так, как в Т** отряде, где строили казармы из леса и кирпичей, выломанных в городе Чугучаке, но каждое бревно и каждую тысячу кирпичей ставили казне по справочной цене; впрочем, это «уж самим Богом так устроено, и вольтерьянцы напрасно против этого восстают».

Далее реки Хоргос, по словам Эмана, нечего было и думать ехать, ибо я наткнулся бы там, по всей вероятности, на пикет таранчей. На мой вопрос, а что будет, если я попробую довериться гостеприимству таранчинских властей, Эман ответил: «Худого, может быть, ничего не сделают, но из одной подозрительности задержат вас и, пожалуй, потребуют выкупа».

Подумав, я согласился не рисковать, не ездить за Хоргос, хотя и очень хотелось мне попасть в город Чампандзи за этою рекой, покинутый жителями, но совершенно сохранившийся, как рассказывали. В Кульджу пробраться и думать было

нечего, да вряд ли и стоило, так как таранчи и дунгане жили в мусульманской Кульдже, а китайская, наиболее интересная, в которой до возмущения имел местопребывание дзяндзюн (генерал-губернатор), стояла пустая, более чем на половину разрушенная и подмытая рекою Или.



Речка Борохудзир, еще несколько лет тому назад бывшая далеко впереди нашей границы с Китаем, теперь протекала под самыми стенами четырехугольника казарм с орудиями по углам, представлявшего укрепление, совершенно неодолимое для воинов степей.

Постройки благодаря сухому даровому материалу очень недурны, хотя низки и тесноваты. При казармах садик, покамест еще тощий; лавочка со всяким нужным и ненужным товаром, а главное, хорошие бани — все, мало ли, много ли, способное услаждать досуг непрехотливых воинов, заброшенных в эти дальние углы нашей необъятной Родины. Офицеры, разумеется, скучают тут, урываясь возможно чаще в город Верный, где есть и женское общество, и кое-какие общественные развлечения и удовольствия.

Доходишки офицерские — разумею безгрешные — теперь сильно пообрезаны, особенно в пехоте, хотя, например, с продовольствия ротных лошадей или с освещения все-таки перепадает кое-что ротному командиру, перепадает совершенно уж «без греха». «Потому что, — говорил Эман, — если я зажгу в казармах все полагающееся количество свечей, то подумают, что я или захотел сделать иллюминацию, или сошел с ума!» В этом же роде говорил и милый, весьма образованный артиллерийский офицер Р.: «Невозможно скармливать лошадям все, что отпускается по положению, — они падут на ноги». Вот и остается в руках экономия, усиленная еще тем, что в этих благодатных местах четверть ячменя покупается, например, по рублю, а справочная цена, уплачиваемая казною, 3,5 рубля — разница немалая.

Впрочем (говорю о том, что было 20 лет тому назад), командир взвода, то есть двух орудий, волею-неволею обязан был составлять экономию, чтобы доставлять ежегодно по 2,5 тысячи своему батарейному командиру, который на прием и карточную игру должен был иметь 10 000 рублей сверх положенного: не внести следуемой доли — значило потерять командование частью — *c'était a prendre ou a laisser**. Повторяю, так бывало «в старину».

Заговорив об этих старых порядках, я припоминаю, что рассказывали в Ташкенте о командире батареи М., который из всех русских песен, по его собственному будто бы признанию, особенно любил «Возле речки, возле моста трава росла — зеленая, шелковая, муравая»; эту песню он не мог хладнокровно слушать.

— Господи! — говорил он будто бы каждый раз чуть не со слезами на глазах, — кабы на этой речке да на такой травке да батарейку... да хорошие справочные цены!.. Умирать бы не надо!



Здесьние места, обезлюдившие после кровавого возмущения в Китае, недавно перешли в наши владения; они были заняты сметливыми офицерами, главным образом, разумеется, потому, что плохо лежали, официально же — под предлогом, что тут протекает речка с чистою, здоровою водицей. Неудивительно будет, если государственная граница передвинется еще на сто верст вперед, когда дальше отыщется водица с леском! Наш передовой пикет был уже на той стороне реченьки, благо там нашлось для него пригодное место — развесистое дерево, на котором устроили площадку для дозорного казака, птицею обзиравшего окрестность; несколько других таких же «птиц» располагались внизу в тени дерева. Когда мы с Эманом направились к Тургеню, дежурный с этого

* Держать или потерять (фр.).

гнезда подъехал к офицеру с рапортом о благополучии пикета и окрестности.

Городок Тургень оказался небольшим селением, обнесенным стеною. Все в нем было разрушено, так что надежды мои видеть здесь более, чем в Чугучаке, совершенно улетучились. Эман утешал тем, что в самом дальнем из доступных для обозрения городов, Ак-Кенте, я найду много неразрушенного и любопытного.

На другой же день я отправился туда в сопровождении нескольких казаков и телеги, нагруженной вещами и провизиею, между которою два живых барана непрерывным, отчаянным блеянием своим перебудоражили, вероятно, волков, шакалов и тигров всей окрестности.

Следующее за Тургенем поселение Джаркенд тоже порядочно разрушено; в кумирнях боги повреждены, фрески на стенах перепачканы и обезображены. Однако, несмотря на то что оросительные каналы заброшены, сохранилось немало чудесных тополей и карагачей. Фазанов было такое множество, что они буквально поминутно взлетали из-под ног.

В третьем городке, Тишкенте, я тоже не останавливался и довольно густым, прохладным после знойной степи леском (этот лесок был причиною того, что граница наша, как я и думал, вскоре передвинулась вперед еще на сто верст) добрался до Ак-Кента (ак — белый, кент — поселение).

Городок действительно оказался много целее других; например, дом управителя, игильдая (полковника), отлично сохранился, с галереєю внутри двора, с фигурным раскрашенным навесом, сплошь разрисованными стенами, с драконами на крышах и проч. Прелестная беседка в цветнике сохранилась в том виде, как, вероятно, была покинута кейфовавшими тут за трубкою опиума китайцами.

В одном месте я наткнулся на сооружение чисто туземных характера и архитектуры — яму, служившую тюрьмою, вроде знаменитых подземных клоповников Бухары и Самарканда, только меньших размеров. Тюрьма эта шла в землю не глубоко, на сажень с небольшим, и около сажени же была в диаме-

тре; стены суживались кверху бутылкою, до отверстия не более аршина в поперечнике, так что человек едва мог пролезть.

Надобно думать, что сидевшие на этой «гауптвахте», как называли ее мои казаки, были не недовольны возмущением, позволившим им улизнуть в общей суматохе из такого злачного и прохладного места.

Главная кумирня города тоже хорошо сохранилась; в ней я устроил себе резиденцию на все время работ в этом местечке. Постоянно день и ночь горели у меня на дворике два огромных костра для варки пиши и очищения воздуха, благо сухого дерева не занимать было стать. Воды только не было близко, за нею приходилось посылать за пять верст, все же остальное имелось у нас.

Наша живая провизия — бараны чуть не накликали нам беды от тигров, подходивших по утрам к самым стенам кумирни. Мяуканье-рычанье их составляло наш ежедневно утренний концерт, к которому мы, пожалуй, прислушались бы и привыкли, может быть, открыли бы в нем кроме оригинальности и силы также и известную прелесть — если бы не постоянная боязнь, что одна из этих зверинок, наиболее голодная, не утерпит и прыгнет к нам через ограду; прыгают ведь тигры удивительно высоко! Бывшая с нами собачка до того трусила при этих рычаньях, что забивалась куда-нибудь глубоко с головою.

Зато волкам, собиравшимся иногда перед нашею калиткой стаями, пес наш преисправно и прехрабро вторил, когда те неистово выли, тоже, вероятно, из желания завязать знакомство с нашими милыми барашками. Иногда, когда хор волков выводил какую-нибудь тоскливую, вероятно, только очень голодному понятную ноту, я выскакивал, потеряв терпение, за ворота с револьвером и стрелял направо и налево: точно брызги, разлеталась эта трусливая команда в разные стороны.

Впрочем, относительно тигра мы были почти уверены, что он схватил бы разве барана, а может быть, и собачку, но нас бы не тронул. Очень редко, только в случае крайнего голода,

они нападают на людей; вообще же, хотя их много здесь, они ведут себя смиренно, вероятно, потому, что и люди их не трогают. Здесь почти не стреляют тигров — нет ни деревьев, ни слонов, как в Индии, например, а стрелять в тигра с одного с ним уровня до крайности опасно: почти нет вероятия убить его одним выстрелом, не убитая же, только раненная, даже и тяжело, животинка эта наверное наскочит и разорвет стрелявшего.

Можно с уверенностью сказать, что тигр и сильнее и ловчее льва, а живучесть его изумительна.

Только когда тигр начинает уж очень много портить скота, киргизы собираются на него большими партиями, подкарауливают спящего, разом набрасываются и убивают; но и тут не всегда еще одолеют зверя, а он наверное перепортит много народа.

Солдаты здесь при перевозке дерева и кирпича из китайских поселений часто встречались с тиграми, которые постоянно уходили или даже убегали, только иногда оглядываясь, облизываясь на волон; нападать же на людей они не решались, конечно, без вызова.

Вообще, по моему опыту, проверенному во многих странах и лично, и рассказами бывалых людей, рассказы о свирепости диких животных преувеличены. Человек своею вертикальною фигурой внушает непреодолимый страх всем остальным тварям, и надобно, чтобы крупный зверь был очень голоден, а мелкие, как волки, были в большом числе, чтобы отважились напасть на прохожего, не делающего им зла и не несущего оружия. Это последнее если и пугает мелких зверей, то всегда раздражает больших, умеющих прекрасно различать намерения человека.

Конечно, исключения бывают во всем: в Индии случается, что тигр или тигрица, в особенности когда они стары и не могут уже преследовать и нападать на быстроногих и сильных животных, попробовав человеческого мяса, находят его таким вкусным, а процедуру добывания этого рода пищи такою легкой, что начинают питаться только людьми, почему и называются в окрестности людоедами (Man-eater).

Однако возвращаюсь к Ак-Кенту. Работы свои, заметки и этюды масляными красками я чередовал с охотой, в особенности на фазанов, которых в камышах было видимо-невидимо. Часто попадались и дикие свиньи, но я не стрелял их из боязни, как бы раненый кабан не вздумал попробовать крепость своих клыков на моих ногах — они на это мастера. Местами бывали, должно быть, и тигры: после выстрела по фазану иногда так быстро ломался и склонялся камыш в одном направлении, так что-то рычало, сердилось, что, очевидно, какие-то большие звери утекали, изъявляя свое неудовольствие. В этих случаях я тоже обыкновенно благоразумно ретировался в более открытые места.



Схватившая меня сильная лихорадка не дала очень заработать в этих местах. Наскоро окончив начатые этюды, я возвратился к Борохудзиру, откуда уже располагал уехать в Ташкент, как вдруг расчеты мои перевернулись, и мне снова пришлось направиться через Ак-Кент, как раз по желанному пути к Кульдже, через Хоргос.



Три дня спустя по приезде моем в отряд пришла «летучка» из Лепсинской станицы, расположенной к северу от Борохудзира, с уведомлением командира казачьего полка о том, что, догоняя киргиз, угнавших у него табун лошадей, он перешел через границу, отбил почти всех украденных коней да еще в возмездие захватил 20 000 голов разного скота; киргиз же Кизяевского рода, произведших этот дерзкий грабеж, побил и прогнал по направленню к озеру Лоб-Нор. Он предлагал начальнику нашего отряда встретить бегущие кочевья с юга и еще раз поколотить, чтобы на долгое время отбить охоту барантовать в русских пределах.

Маленький отрядец наш, скучавший бездействием, встрепенулся и схватился сейчас же за это известие как за предлог

почесать руки, давно уже зудевшие. И думать было нечего, конечно, идти к Лоб-Нору, а тем более ловить там каких-то киргиз, хотя для вида об этом и толковали, даже рассматривали карту, — зато офицеры смекнули, что теперь или никогда случай перейти границу и пощипать соседей, на совести которых было давно уже несколько дерзких грабежей и даже убийств.

Отдан был приказ выступить в эту же ночь.

Хотя лихорадка не совсем еще оставила меня, я, конечно, присоединился к экспедиции в чаянии повысмотреть и порисовать в китайских пределах.

Силу снарядили великую: 60 человек пехоты, неполную сотню казаков и одно орудие. Пехота выступила еще ночью. Несмотря на приказ раньше залечь спать, чтобы хорошенько подкрепиться сном перед набегом, который должен был быть быстр и, следовательно, утомителен, никто в казармах, как перед большим праздником, не ложился спать: одни с шутками и прибаутками собирались, другие с шутками же и смешками горевали, что им приходилось отстать от товарищей, остаться караулить казенную «хурду-мурду».

Начальник отряда, бравый майор П., с артиллериею и казаками выступил ранним утром; к этим конным пристроился и я. Мы догнали нашу пехоту уже около второго городка, обогнали ее и сделали вместе привал за Ак-Кентом, в сассах, т.е. в камышах, откуда возили мне воду за время занятий тут.



Мы шли без шума, очень скоро и в сумерках подошли к полуразрушенной постройке на реке Хоргос, где пехота, сделавшая с утра около 80 верст, остановилась отдохнуть, а мы двинулись через реку далее.

Уже темно. В этой ограде оставлен был обоз под прикрытием 30 человек солдат, так что за нами пошло пешей рати тоже только 30 человек. Около реки была растительность,

но далее за камышами она исчезла, и к городу Чампанцзи мы вышли на совершенно гладкую местность.

И стены и дома города этого показались мне в темноте громадными; так как, подходя, я просто спал в седле от усталости (мы сделали в 18 часов около 120 верст), то естественно, что сонные глаза поражались темным массам ворот, кумирен, театров и проч. На правой руке у нас была высокая стена крепости; у ее ворот мы, т.е. казаки и артиллеристы, расположились отдохнуть, дожидаться зари, когда предположено было устремиться на расположенное в двенадцати верстах отсюда селение Мазар со стоявшим там, по слухам, отрядом в 400 человек таранчей. Надобно было подойти к ним не поздно, чтобы застать их врасплох и не дать отогнать далеко стада, составлявшие главный предмет наших вождедений. Кстати сказать, казаки у нас были сибирские, не теперешние лихие сыны этого войска, а только еще начинавшие правильно формироваться, непривычные, не одетые, необученные. Когда я увидел их, собравшихся в поход, я просто ахнул: один был в полушубке, другой в длинной шубе, у третьего шубенка мехом кверху, у четвертого сверху донизу заплат на заплате. Шапки и высокие, и куцые, и широкие, мохнатые... Ружья были кремневые, самые новые стволы 1840 годов, некоторые же носили клейма прошлого столетия — словом, это были ни дать ни взять казаки Трубецкого 1612 года под Москву; хоть сейчас рисуй их за таких.

Я побродил немного по крепости и ближним улицам; насколько можно было различить в темноте, многие здания хорошо сохранились; видны были живопись, барельефы, драконы, завитки и разные затей.

Окрестные жители шибко ломали постройки, увозя дерево и кирпич, грудами сложенные во многих местах.



Лишь только показался свет, мы сели на коней и выступили; впереди казаки, потом артиллерия, сначала шагом, потом рысью и, наконец, во весь опор!

На правой стороне от нас, к стороне знаменитой Кульджинской долины, видно было много поселений, но не попалось в этот ранний час ни души из жителей.

Впереди показались дымки двух деревень, сначала Большого, потом Малого Мазара (мазар — гробница).

В голове отряда у нас ехали два китайца, чиновник со слугою, служившие проводниками. Сын Неба по мере приближения к тем местам, откуда он несколько лет тому назад едва унес свою голову, начинал, видимо, трусить, вероятно, смущаясь нашею малочисленностью. «Смотрите, — настойчиво твердил он, — если встретятся таранчи, не троньте их, а то они извелят своих в Кульдже, и вам отрежут путь отступления!» «Ладно, там видно будет, кто кого отрежет», — отвечали ему.

Версты за две до деревни мы понеслись марш-маршем, едва не завязли всем отрядом в каком-то затопленном поле и вихрем внеслись в поселение...

Батюшки мои, что за суета там поднялась! Несколько человек перебежали через дорогу, спасаясь в свои дома; казакам показалось невозможным допустить это: «Стой, стой! — раздались их голоса, — держи их, не допускай, не допускай!»

Деревенька оказалась крохотная, всего в несколько дворов, в одном из которых собрался весь наличный люд: бледные, буквально дрожавшие от страха и, видимо, ожидавшие себе конца. Военного отряда тут не было.

Я слез с лошади и пошел к одной сакле. «Смотрите, ваше высокоблагородие, не сделали бы они вам худа», — предупредил меня казак; но беднякам было, очевидно, не до нападения на нас; они сгибались, низко кланялись и, не смея поворотиться спиною, пятились назад, отступали. Только молодые женщины смотрели с меньшим страхом, как-то особенно пытливо.

Всех мужчин позвали к начальнику отряда; они не шли; пришлось тащить — они упирались. Жены и дети пошли за ними следом с воем и причитанием; судя о наших порядках и обычаях по своим, они, конечно, ожидали смерти для мужчин и плена-неволи для женщин. Признаюсь, я бы охотно удержал у себя в неволе одну молодую особу, должно быть, дочь

почетного человека, смотрителя гробницы: немного татарский, т.е. скуластый, овал лица и прорез глаз, но прелестные и личико и фигура, а гнева никакого, только любопытство.

По расспросам майора оказалось, что в этой деревне живет всего несколько семейств при гробнице святого, а в следующей, рядом, действительно стоит отряд в сто конных таранчей, наблюдающих за границею, — как мы имели случай убедиться, наблюдающих очень плохо, так как наш налет был чистым сюрпризом для них.

В эту вторую деревню, окруженную высокою стеной, послали десять человек казаков, но жители не впустили их, успев затворить ворота, перед которыми майор и приказал казакам стоять, сторожить, чтобы кто-нибудь из конных не улизнул и не дал знать в Кульджу. Так как всех лошадей в окрестности мы захватили, то конных гонцов для созыва воинства жители не могли разослать.

Тем временем несколько партий казаков были посланы в разные стороны собирать скот, по мере подхода загонявшийся в очень обширную ограду гробницы, где расположилось и наше орудие.

Я пошел осматривать гробницу, представляющую большую святыню не только для местных, но и для всех среднеазиатских мусульман. Она построена Тамерланом, или Хромым Тимуром, над могилою Тоглук-Тимура, знаменитого Джагатайского султана, при котором Тамерлан начал свое бурное и громкое поприще.

Здание прекрасной постройки, но купол уже провалился, и тучи птиц поднялись оттуда при моем входе.

Самая гробница, громадных размеров, в очень жалком виде, когда-то богато украшенная, теперь была лишь грязно вымазана простою глиной. Зато фронтон здания до сих пор покрыт глазурованными кирпичами чудной работы, — что за цвета и краски, что за работа!

Очень хотелось мне вынуть несколько образцов цветных кирпичей, и, конечно, жители охотно сделали бы это, но я не решился так распорядиться и ограничился несколькими

обломками, а теперь жалею. Сколько я знаю, ни в одном из наших музеев нет образцов цветной глазури от этого памятника тамерланской эпохи.



Стали сгонять скот и целые облака пыли вместе с ним; крупного скота, однако же, лошадей, коров, верблюдов, оказалось мало.

Вот прискакал казак с известием, что сбежавшийся из соседних аулов народ не дает скотину, затевает драку. Начальник отряда послал десять человек подмоги с приказанием не стрелять, чтобы не пугать окрестность, а действовать больше по мордасам и в крайних случаях шашками. Кусочек, который казаки тут отнимали, оказался тысячи в четыре голов. Я не понимал, кто и как погонит к границе всю эту массу овец, уже и здесь, в ограде, заявлявших о своем намерении не покоряться участи: влезет козел на стенку, обозрит окрестность, прыг через да и давай утекать во все лопатки, а за ним, конечно, спасаются десятки и сотни четвероногих — ловят их, гонят назад! А что за блеяние, что за шум — трудно и передать.

Казаки поминутно таскали сначала яблоки и груши, потом войлоки и разную домашнюю рухлядь. Я пошел посмотреть, откуда это они раздобывают, и, к ужасу моему, нашел, что все в домах было переломано, разбросано, разбито. Кое-где бродили казаки, ища «еще чего-нибудь». При этом все, что нельзя было захватить с собою, должно быть в наказание, ломалось, уничтожалось: попалась связка медных денег — разбросана по сторонам: книги — по листам и по ветру или в печку. Везде клочья, обломки, обрывки. Дверь в мечеть выломана; древки с пучками лошадиных волос повалены, переломаны; жертвенные рога, украшающие обыкновенно все среднеазиатские могилы, разбросаны — что за срам! Чисто дух разрушения обуял наших воинов.

Я оставил этот печальный осмотр, потому что уже трубили сбор и отряд выстраивался для обратного выступления.

Вплоть до Борохудзира, т.е. на протяжении 150 верст, приходилось теперь гнать набарантованные нами стада, которые, конечно, туземцы станут отбивать.

Как только казаки, сторожившие ворота второй деревни, отошли, чтобы присоединиться к нам, оттуда стали один за другим выезжать вооруженные всадники, проделывавшие сначала разные воинственные эволюции и затем правильно выстраивавшиеся; выехал белый значок, и отрядец открыто принял угрожающее положение.

Также со всех сторон стал собираться народ, вооруженный копьями и шашками, в правильные сотенные части; ружей у них было мало. Лишь только мы тронулись назад, все эти отряды двинулись за нами с очевидным намерением развлечь скуку нашего отступления атаками.

Неприятель начал правильно облагать нас одним сплошным кольцом; уже явилось множество значков разных цветов и одно огромное ярко-красное знамя, по величине и по той огромной толпе, которая его окружала, вероятно, сопровождавшее начальника. С дикими криками и гиканьем они стали обскакивать нас.

Раздалась команда «Орудие с передков!» и затем — «Первая!». Не столько самый снаряд, ядро, сколько гром выстрела мгновенно обратил в бегство всю вражью силу, хотя ненадолго, — они оправились, загарцевали, загикали снова, еще пуще прежнего.

Я ехал с моим казаком поодаль от отряда и, признаюсь, забавлялся, подпуская неприятельских джигитов на самое близкое расстояние; когда они, не видя оружия, подъезжали в упор и уже заносили копые — я направлял мой карманный револьвер («смит и vesson») прямо в физиономию смельчака, щелкал курок, и... пригнувшись к седлу, отлетали они так же быстро, как налетали. После нескольких неудачных попыток захватить меня врасплох они подлетали уже менее стремительно и держались на более почтительном расстоянии.

Это воеванье было уморительно. «Кель мунда!» (ступай сюда), — кричали они, маша рукою и прибавляя крепкое словцо.

«Ех, сан мунда кель!» («Нет, ты ступай сюда!»), — отвечал я, каюсь, тоже добавляя соленое выражение.

Вот она, первобытная борьба один на один, которая в былые времена всегда предшествовала серьезным делам, — не доставало только богов с обеих сторон, ободрявших, помогавших и направлявших руки воюющих; конечно, так воевали греки с троянцами, так перебранивались, так же отнимали, отгоняли стада — только прекрасная Елена в нашем случае отсутствовала.

Туземцы, видимо, держались известной повадки: всячески дразнили движениями и словами, вызывая на выстрел, от которого ловко увернувшись, уже смело бросались вперед, с шашкою наголо или пикою наперевес — шестиствольный револьвер, однако, сбивал с толку эту ловкую тактику.

Казак мой вопреки совету не утерпел раз, чтобы не выстрелить в очень надоедавшего ему молодца, да, не успев зарядить ружье, перетрухнул, ударился прочь, когда тот с криком налетел на него; я отвел нападавшего револьвером и выговорил казаку: «Как не стыдно тебе бежать от такого вояки?» — «Да ружье разряжено, ваше высокоблагородие, а шашкой от пики где же оборониться!» — «Зачем тебе заряжать, ты сделай вид, что опустил пулю, хлопни по ложе и прицелься — смотри, как побежит прочь!» Вышло как по писаному: лишь только мы поехали пошибче, чтобы догнать отряд, как несколько джигитов бросились следом; казак остановился, хлопнул по своему незаряженному ружью и прицелился в передового — только мы их и видели.



Однако положение наше начало принимать серьезный характер: со всех сторон нас обскакивали, облегали и круг стеснялся, все более и более нажимали на нас. Уже впереди дорога нашего отступления была перерезана. С гиком, визгом, гамом кружили со всех сторон на расстоянии ружейного выстрела тысячи конного народа — видно, успели-таки разо-

слать всюду гонцов оповестить окрестность о нашей малочисленности и созвать охотников душиить нас и отбивать скот.

Отдельные джигиты и целые группы их подскакивали вот-вот совсем близко и едва не отхватывали часть баранов. Кабы не солдаты, присоединившиеся тут и расположившиеся на больших интервалах, по сторонам нашего шествия, казакам никак бы не уберечь добра.

Казачья, не только первый раз бывшие в огне, но и вообще плохо дисциплинированные, видимо, чувствовали себя неладно. Когда послали один взвод завязать перестрелку, то, выехав на небольшое расстояние, они исполнили приказание вяло, неохотно и, постреляв в продолжение нескольких минут, воротились назад.

Да и то сказать, воевать с ружьями, какие были у них, — трудно. Не помню, одно или два ружья только были пистонные, остальные все кремневые, и браваый конник никогда не был уверен, что его пицаль выпалит, скорее он должен был рассчитывать на противное: вспыхнет порох, поднимется белый дымок в виде маленького фейерверка, да и только. Зато если ружье выпалит, то удивленная и довольная физиономия казака поворачивается к товарищам: «Накось! Ишь ты! Взяло!»

Выговоривши взводу за слишком вялое действие, начальник отряда выслал другой, но с этим дело обошлось совсем неблагоприятно. Ему велено было выехать подалее, а он забрался слишком далеко: не слыша сигнала, призывавшего его назад, он забирался все далее и наконец, увидев невозможность двигаться далее на сплошную массу неприятеля, не останавливаясь, поворотил назад, да не шагом, а крупною рысью, так что, когда враг с гиком ударил в спину, до марш-марша было уже недалеко и казаки понеслись: «Спасайся, кто может!»

Не бывавшие в военных делах понятия не имеют о том, как легко паника охватывает отступающих с поля битвы, в кавалерии еще сильнее, чем в пехоте, потому что от выстрелов и криков с тыла лошади закусывают удила и несутся бешено, неудержимо! Просто глазам не верилось! Казаки стлались,

спасаясь во весь опор от летевших за ними и лупивших их вдогонку степняков. Некоторые из наших, сбитые с лошадей пиками, утекали по пешему способу, вприпрыжку, как зайцы; некоторые были уже проткнуты и порублены. Я поскакал наперерез: «Стой, стой! Такие-сякие!» — и, влетев в середину взвода, очутился в самой середине погрома: один раненый, проткнутый в пазуху, ревел благим матом, продолжая утекать; другой, на бегу же вцепившись в направленную на него пику, просто тащил за собою всадника... Таранчи и киргизы с визгом наотмах били бежавших!

Первое, что я немедленно же получил в награду за вмешательство, был удар пикою по голове, благодаря гладкой бобровой шапочке моей счастливо скользнувший; если бы не это случайное обстоятельство, удар, конечно, не только бы оглушил меня, но и вышиб из седла (этот удар долго давал себя потом чувствовать).

Я в упор выстрелил, но противник, ловко увернувшись, набросился с пикою наперевес, за ним оказался другой, третий...

Крепко обозлившись на удар по голове, я намеревался выпустить на них заряды револьвера... когда кто-то схватил меня сзади за руки — оборачиваюсь, добрейший Ф., наш казакий сотник: «Бога ради, стойте, вас беспрременно прирежут».

Тут сигнальный рожок призвал нас к отряду, и месть волею-неволею пришлось отложить, — как ни обидно было, съевши лизуна, не дать сдачи.

Казаки, остановясь наконец, открыли пальбу; одни стонали от боли, другие оживленно переговаривались, препирались, оправдывались один перед другим в случившейся беде, — видимо, беспокойство стало овладевать людьми, сознавшими свою малочисленность и неловкость положения среди густых масс неприятеля, который делался все более и более дерзким; начал даже напирать на оружие — того и смотри отхватит!

Нашей лучшей защиты, пехоты, было очень мало, потому что из тридцати человек десять я посоветовал послать для занятия ворот и стен крепостцы Чампандзи. Это было необходимо, потому что, займи неприятель укрепление, через которое

шла дорога, нам было бы совсем плохо; теперь же солдатики, перебегая по гребням стен и отпаливаясь во все стороны, значительно охлаждали пыл врагов, нет-нет да и сбивая с седла наиболее зарывавшихся. На счастье наше, у противников наших было мало огнестрельного оружия, так что преградить нам выход из города и путь к границе они могли только массою, грудью, а на это у них не хватало решимости.



Эман, присоединившись к отряду с двадцатью солдатами, тоже привел порядочное стадо, тысячи в две голов, и толкотня, теснота у нас увеличались, разумеется, еще более.

Дорога, особенно под аркою узких городских ворот, до того была запружена, что все перемешалось: тут и бляело, и ржало, и мычало, кричало, шумело, распоряжалось — ничего не разберешь. Вдобавок над нами стояло такое большое, такое густое облако пыли, что не видно было ничего; будь только неприятель попредприимчивее, ударь тут на нас с хорошим гиком, хоть десять человек, — все бы растерялось и перестреляло друг друга.

Было отчего прийти в отчаяние, один из офицеров даже вскрикнул с горя: «Если выход занят — мы пропали!» Я тихонько напомнил ему о том, что казаки кругом нас и слышат это...

Казаки, большие охотники распоряжаться, без толку сновали из стороны в сторону и срывали сердце на наших волонтерах, китайских эмигрантах, испуганными взорами окидывавших нашу и неприятельскую силы и, по-видимому, очень сомневавшихся в благополучном исходе предприятия, в каком случае их головы, конечно, прежде других отделились бы от туловищ. Один «гаврилыч» под шумок даже наклал в загрибок какому-то майору Небесной империи, да так быстро, что не было времени вступитья; и должно быть, наложил солидно, потому что союзник забыл зевать по сторонам и отдался всецело присмотру за баранами, что и требовалось.

Теперь еще менее, чем утром, довелось осматривать постройки города: не до того было, так как, спасаясь от всей этой убийственной сумятицы, мы с Эманом протискались поскорее вперед; там, под закрытием полуразрушенных построек, толпы неприятеля ожидали выхода отряда. Недолго думая мы схватились за наше оружие, товарищ за шашку, я за револьвер, и с криком «ура!», подхваченным бывшими с нами шестью казаками, бросились в атаку. Как же перетрухнуло все воинство, нам угрожавшее, как оно рассыпалось в разные стороны!

Тут насмешил меня один казак, пресерьезно советовавший не преследовать далее, так как «из-за крайних саклей стреляют».

— Ну так что же, что стреляют?

— Да ведь пулями стреляют, ваше высокоблагородие!



Бесконечное стадо наше, а с ним и мы уже выступили из города, на ровную поляну, когда пришло приказание от начальника отряда остановиться: будем-де ночевать в крепости. Невозможно — решили мы с Эманом, мыслимо ли защищаться в этих руинах, возможно ли поворачивать теперь назад наших четвероногих, а главное — неужели дожидаться, чтобы к завтрашнему утру собралось вокруг нас все кульджинское население, которое тогда действительно задушит отряд, — и не только баранов не угнать, и самим не уйти.

Мы решили возможно поспешать к реке Хоргос, где кроме воды есть еще и большой, защищенный оградой двор, тот самый, в котором остался наш обоз под прикрытием тридцати солдат.

— Пойдем, черт побери, — решил Эман, — пойдем далее, хоть бы мне за это попасть под суд!

Он уведомил начальника отряда, что поворотить стадо нет теперь никакой возможности, и мы, не теряя веселого расположения духа, продолжали наше движение.

Ф. слышал потом, как один из бывших с нами тут казаков рассказывал товарищам: «Этот штатский полковник просто

бедовый! Вертят папироски с ротным да впересмешку друг перед дружкой и идут прямо на киргиз».

Думаю, что все бы обошлось благополучно, если бы Эман не был чересчур великодушен: солдатам своим он велел остаться и ожидать приказания начальника отряда, т.е. лишил наш авангард единственной поддержки, способной внушить спасительный страх неприятелю, и вся многотысячная масса скота, растянувшаяся уже на двух верстах, не имела иной защиты, кроме нескольких дополусмерти перепуганных китайцев с их традиционными луками и стрелами, нас двоих да немногих казаков — этих последних из шести осталось только трое, так как другие, видя опасность, под разными предлогами улетучились.

— А ведь на нас сейчас ударят, — говорю я товарищу.

— Может ли быть? — хладнокровно отвечает финляндец. Он потерял на привале свои очки и теперь тщетно поворачивал близорукие глаза, выпуклые зрачки которых ничего не видели далее нескольких саженей.

— Вот, посмотрите, сейчас ударят!

— Да где вы их видите?

— Как где? Это-то что же кругом? — говорю, указывая на массы, нас облежавшие.

— Будто все это неприятель? Представьте себе, ведь я думал, что это кусты!

— Неужели, однако, вы до такой степени плохо видите?

— Да. Помните место, где мы закусывали в Сассах? Там я оставил мои очки и глаза вместе с ними.

Ну, думаю, хорошо иметь такого зрячего товарища.

— А это что такое, эти высокие предметы — это деревья?

— Нет, это знамена, смотрите, сколько их тут!..

— А! Как странно! Этого я не предполагал!

Только что успел я послать одного из казаков к начальнику отряда с известием об опасности и для нас, и для баранов наших, как все кругом дрогнуло, застонало и, потрясая пашками и копьями, понеслось на нас! Признаюсь, минута была жуткая; Эман опять с пашкою, я с револьвером, но уже

не гарцуя, а прижавшись один к другому, кричим «ура!» и ожидаем нападения.

Без сомнения, из нас были бы сделаны отбивные котлеты, как то случилось с одним из бывших около нас двух казаков (другой успел удрать), но мы спаслись тем, что, во-первых, неприятель больше зарился на наш скот, чем на нас самих; во-вторых, Эман, а за ним и я свалились с лошадей: сослепа мой товарищ заехал в ров и, полетев через голову, так крепко ударился лбом о землю, что остался распростертым. Моя лошадь споткнулась на него: я тоже слетел, но успел удержать узду и, встав над лежавшим, не подававшим признака жизни приятелем, левою рукою держал повод лошади, а правою отстреливался от мигом налетевших и со всех сторон окруживших нас степняков: так и норовили, подлецы, рубнуть пашкою или уколоть пикою, но или выстрел, или взвод курка удерживали их, не подпускали слишком близко. Едва успеваю отогнать одного-другого от себя, как заносят пику над спиною Эмана, третий тычет сбоку, четвертый, пятый сзади — как только я не поседел тут! Признаюсь, я думал, что товарищ мой ловко притворился мертвым, но он мне рассказывал после, что страшно ударился при падении и только как сквозь сон слышал, что ходили и скакали по нем. Счастье наше было то, что эти господа, видимо, считали револьвер мой неистоцимым; я выпустил только четыре заряда, понимая, что пропаду, если буду еще стрелять, и больше страдал: уже пики приближались со всех сторон, и исковерканные злостью физиономии скалились и ругались на самом близком расстоянии...

Затрудняюсь сказать, сколько времени продолжалось мое неловкое положение, — мне-то казалось, долго, но, в сущности, вероятно, не более одной минуты, — как вдруг все отхлынуло и понеслось прочь так же быстро, как и принеслось: это подбежали к нам на выручку солдаты. Лошадь Эмана промчалась мимо них, унтер крикнул: «Выручай, братцы, ротного убили!» — и они все бросились сломя голову вперед. Затем прискакало орудие, лихо снялось с передков, и после первого выстрела не

осталось никого около нас, а после второго и около баранов, отогнанных было, но снова теперь нами захваченных. Надобно сказать, что все это случилось очень быстро, быстрее, чем я рассказываю, и сопровождалось сильнейшим шумом: с бранью налетали киргизы, с бранью я отстреливался, с бранью стреляли солдаты, с бранью же, наконец, взмахнул пашкою и Эман, когда, очнувшись и вскочив на ноги, успел еще рубнуть одного из всадников, конечно, ускакавшего умирать.

Очевидно, шум и крики входили в систему устрашения у нашего неприятеля, да отчасти и у нас самих. Впрочем, и в наиболее дисциплинированных войсках во время действия потребность пугать неприятеля и подбодрять себя шумом сказывается еще в наше время.

С удовольствием вспоминаю я, как Эман бросился мне на шею благодарить и как славно мы с ним расцеловались. В немногих словах он рассказал, как, будто в кошмаре, слышал, что его топчут, но подняться не мог. Он понял, что подвергался опасности получить несколько дырочек на свой новый полушубок и что я отвел эту опасность.

Не теряя времени, мы бросились отбирать наши трофеи, т.е. баранов, к счастью, не успевших далеко уйти. Таранчи и киргизы, несмотря на умение обращаться с ними, так заторопились, что запугали животных, и те, вместо того чтобы идти вперед, повернули мертвым кругом, т.е. так, как обыкновенно гоняют баранов по степи, когда не хотят, чтобы они разбродились и шибко переходили с места на место. В такую-то мертвую и заходил отхваченный у нас косяк, и, несмотря на все усилия огромной толпы, его погонявшей, он передвинулся всего на несколько сажен. Два снаряда, пущенные через головы неприятелей, окончательно отняли у них охоту препираться за добычу, и они ускакали без оглядки.



Надобно сказать здесь, что именно эта атака послужила мне образцом при исполнении потом картин «Нападают

врасплох» и «Окружили — преследуют». Офицер, с саблею наголо, ожидающий нападения, в первой из этих картин, передает в некоторой степени мое положение, когда, поняв серьезность минуты, я решился, коли можно, отстреляться, а коли нельзя, так хоть не даваться легко в руки налетевшей на нас орды. Конечно, многое в этих картинах и изменено, кое-что, например, взято из свежего в то время рассказа о нечаянном нападении известного Садыка на небольшой русский отряд, посланный на розыск его, — нападении, случившемся перед самым приездом моим в Туркестан, на местах, по которым я проезжал. Так как и этот факт я взял не в целом составе, а заимствовал из него только нужное, наиболее характерное, то немало пришлось потом слышать нареканий за то, что картины мои — небывальщина, ложь, клевета на храброе туркестанское воинство и т.п. Даже разумный, добрый и хорошо ко мне расположенный генерал К.П. Кауфман публично укорял меня в том, «что я слишком дал волю своему воображению, слишком насочинял».



Не безынтересно, что в самую опасную минуту человека не покидает забота о сравнительных мелочах: когда неприятельская конница гикнула, полетела на нас и мы поняли, что будем сейчас изрублены, я вместо того, чтобы обменяться с Эманом мыслями о защите, только сказал ему:

— А ведь баранов-то отобьют у нас!

— Отобьют, — ответил он, — скверно!

— Ничего, после опять отнимем!

И все это, и мои вопросы, и его ответы, перебралось между криками «ура!» и потрясанием нашим оружием, пашкою и револьвером.

Казака, с нами бывшего, совсем порубили, буквально искололи и иссекли. Он еще дышал, когда его подняли и положили вместе с другими ранеными на лафет орудия, но бедный воин вскоре умер; перед смертью он поднес ко рту изувечен-

ную правую руку с перерубленными пальцами да так и застыл. Жутко было смотреть на его вытянутую фигуру, державшую кольцом руку перед самым носом, точно в насмешку над кем-то.



Неприятель опять начал собираться вокруг нас густыми толпами, и по ним распрекрасно действовало наше орудие. Я просто любовался, как добрейший и мирнейший Р. вылетал на позицию, марш-маршем выскакивая далеко вперед к неприятельским группам: «Орудие с передков! Первая!»... И прежде, чем храбрые, но недисциплинированные противники наши успевали рассыпаться, выстрел частенько вышибал несколько всадников сразу. Сейчас же подхватывал он пушку, во весь опор подлетал к другому угрожаемому пункту, и там «первая» снова давала знать о себе.

Все время крик и шум были страшные — всякий командовал. Покажется казаку, что там, где он находится, опасно, — сейчас же он кричит благим матом: «Орудию сюда давайте! Орудию! Скореея!» Орудие наше было героем дня. При выходе из Борохудзира Р. мечтал лишь о том, чтобы сделать парочку выстрелов, для реляции; но действительность превзошла самые смелые его надежды, потому что пришлось стрелять не переставая, и он выполнил выпавшую на его долю службу так, что, признаюсь, во множестве дел, которых участником мне доводилось быть, ни разу я не видел более блистательного действия орудия — все наши люди, солдаты, казаки и китайцы забывали и об опасности, и о баранах, засматриваясь на «жарившую» пушку.

Одного калмыцкого полковника я не мог видеть без улыбки: колчан, набитый стрелами, за спиною; в руках — готовый к смертоносному действию лук; он только вздумает натянуть стрелу, как бес любопытства одолеет его и, весь перевернувшись на седле, он следит испуганным и любопытным взором за движениями и действиями орудия; на беду, еще

полковник этот был близорук, и на кончике носа его были воздвигнуты величайшие из когда-либо виданных мною очков — просто умора! Казалось, он мечтал: «Вот, кабы нам, китайцам, побольше таких орудий, мы бы сумели с ними распорядиться; мигом оставили бы их в неприятельских руках!»

Впрочем, и у нас дело едва не доходило до этого: в коротких промежутках между выстрелами так налегали на орудие, что начальник отряда стал, вероятно, опасаться за исход нашей экспедиции.

Мы ехали в авангарде с Эманом, который уже опять восседал на своем чудесном иноходце, чуть было не попавшем в руки врагов, когда майор, сильно смущенный, подъехал к нам.

— Кажется, придется бросить баранов!

— Что вы, майор, ни сотни нельзя уступать — срам!

— Да ведь орудия отнимут, напирают так, что стрелять не дают!

Эман ускакал с ним в арьергард посмотреть, что там делается, а я остался распоряжаться впереди. И пришлось же понукать и браниться! Солдатам достаточно было только сказать, и с ними забота была лишь о том, чтобы они не стреляли попусту, в пространство, и не рисковали бы, таким образом, остаться без патронов, но казаков приходилось постоянно то подгонять, то разгонять и бранить: собираются в кучки и передают друг другу разные страхи, вместо того чтобы делать дело, т.е. возможно поспешнее гнать вперед стада, растянувшиеся теперь на добрых четырех верстах расстояния.



Уже смеркалось, когда мы подошли к первым рукавам реки Хоргос. Наконец-то!

Выстрелов из орудий не было слышно в тылу, но солдатики, шедшие в цепи, по сторонам, постреливали еще.

Оставшиеся в обозе, за оградой, солдаты рассказывали, что киргизы подъезжали к ним, уверяли, что отряд наш рассеян, уничтожен, и предлагали уходить: мы-де вас не тро-

нем» но в ответ им выставили ружья и посоветовали убираться к черту под хвост.

С величайшим трудом и — нечего говорить, с каким шумом наши трофеи были переправлены через реку и загнаны в ограду, из которой майор соорудил укрепление, совершенно недоступное для преследовавших нас полчищ. По стенам, внутри и снаружи, были рассыпаны стрелки, казаки поставлены в боевой порядок, орудие в воротах.

Предосторожности эти оказались очень нелишними, потому что вслед за наступившей было передышкой вдруг — когда уже совсем стемнело — раздался со всех сторон адский визг и гик толпы подступающих... Выстрелы, хотя и направленные наугад, быстро отняли охоту у неприятеля повторять опыт, и мы провели ночь сравнительно спокойно.



После вчерашней закуски на привале в Сассах я ничего не имел во рту, если не считать пары груш, найденных и съеденных в Мазаре, — груш очень вкусных, но далеко не достаточных для заморения червяка, начинавшего теперь, на сравнительном покое, давать знать о себе. Я просил достать мне хоть что-нибудь поесть так действительно и угрожал в противном случае умереть с голода так решительно, что отыскались кусочек говядины и старая лепешка, показавшиеся мне, конечно, очень вкусными.

На другой день мы готовились к таким же хлопотам, но, сверх ожидания, довелось выступить ранним утром совсем спокойно. Только часа два спустя показался в тылу неприятель, державшийся, однако, вдали, по холмам, вне наших выстрелов.

Должно быть, потеряв накануне немало народа, они решились не пробовать более счастья и проститься с отбитым скотом издалека.

Отдохнув опять на том же месте в Сассах, где, мимоходом сказать, к великой радости Эмана, нашлись его очки, мы без дальнейших приключений добрались до Борохудзира.

—♦•❖♦—

Так кончился наш набег. Прекрасная Елена была разделена — разумею баранов, в данном случае игравших роль красавицы-гречанки. Все нижние чины получили по два барана, урядники по пяти, офицеры по пятьдесят, начальник отряда — не помню сколько, кажется, двести. Остальные, тысяч пять-шесть, — вместе с небольшою дозою рогатого скота были по приказанию военного губернатора проданы, и вырученные за них деньги приобщены к каким-то казенным суммам.

А пораненные казаки? Что им делается, поболели да и выздоровели.

А изрубленный казак? Гм... Ну, изрубленный-то, конечно, умер, зато похоронили его с честью, всею командою, с музыкою и залпом; на последней демонстрации разряжены были все ружья, оставшиеся заряженными с похода. Так и тащили беднягу с рукою, поднесенною ко рту, — даже крышку гроба пришлось из-за этого делать выше обыкновенного.

Не обошлось без шутки: похоронный рожок так старательно выводил все один и тот же однообразный даже не мотив, а какой-то оклик, что я спросил Р., что это он наигрывает.

— Разве вы не знаете, — отвечал он, — это спрашивают мертвого: «Ты куда? Ты куда-а? Ты куда-а-а-а!»

—♦•❖♦—

Был и эпилог нашего похода «за похищением руна».

Начальник отряда получил сведения о том, что таранчи собирают огромные силы — 40 000 человек будто бы собираются раздавить борохудзирский отряд. Для подъема фуража этому войску согнано будто бы 1000 верблюдов и т. д. в том же роде.

Правда эта была или нет, в отряде на всякий случай приготовились встретить гостей. Прежде всего послали разъезд для высматривания неприятеля; затем приказано было казакам держать лошадей оседланными; запаслись сухарями на

случай осады, и орудия стали делать репетицию новой маленькой комедии, нам обещанной. В то же время майор П. послал донесение о случившемся и просил о подкреплении отряда.

Все эти приготовления и ожидания разрешились очень скоро и весьма неожиданным образом: после двух дней, проведенных в непрерывной тревоге, получено наконец известие о том, что идет сила — но какая!

Прискакал казачий разъезд — лошади в мыле — «скакали не останавливаясь двадцать верст». Неприятель гнался за ними, но они успели спастись!.. Не могут сказать, сколько неприятеля!.. Они видели только передовых... а там дальше, за камышами, — видимо-невидимо!..

Ударили тревогу; в несколько минут все встало на ноги; орудия по углам, стрелки у окон и амбразур.

— Вот посмотрите, как мы начнем их сейчас валять, — говорил мне начальник отряда, расхаживавший по двору и по минутно отдававший приказания.

В ожидании этого «валянья», которое что-то замедлилось, мы пошли с Эманом допивать чай в его комнату, куда вскоре, хохоча и бранясь, вошел и майор П.: «Ах, подлецы, ах, мошенники, ах, трусы негодные; представьте себе, что они сделали!» И рассказывает: «Третьего дня был выслан разъезд из восьми человек наших киргиз с приказанием проследовать до реки и разузнать, не собираются ли таранчи на отместку нам. Так как разъезд долго не возвращался, то я послал еще десять человек казаков тоже окрестности осмотреть, да и киргиз, кстати, разыскать. Двадцать верст наши воины прошли благополучно, но тут вдруг увидели, что из-за камышей выезжают вооруженные люди, один, другой, третий!.. Недолго думая «гаврилычи» назад! Киргизской разъезд, — так как это он возвращался, не встретив ни одной вражеской души, — поскакал следом за ними: «Стой! Стой! Послушайте! Мы ваши, вы наши!..» Не тут-то было, казаки еще пуще удирать — скакали, скакали до самого отряда, который и перебудоражили известием о приближении неприятельской рати...»

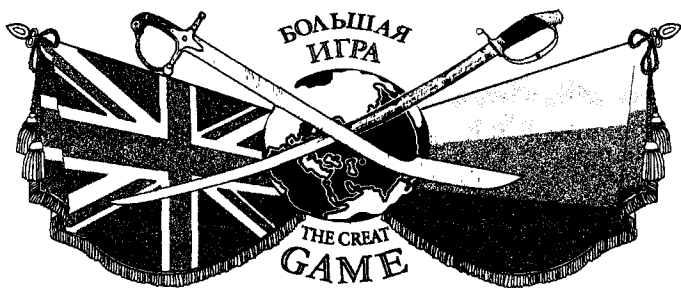


Все участники этого набега были награждены орденами, но моя награда была лучшая. Узнав из донесения военного губернатора Семиреченской области генерала Колпаковского об участии, которое довелось мне принять в этом деле, генерал Кауфман сделал мне ручкою и сказал: «Спасибо, спасибо за спасение Эмана!»



Два слова о драматической смерти Эмана: образцовый строевой офицер, исполнительный и разумный, он несколько лет потом прекрасно шел по службе, будучи на самом лучшем счету у своего начальства. Связь с дрянной женщиной втокнула его в проступок: он растратил 5000 казенных денег и свалил беду на разбойников, якобы ограбивших его на эту сумму в дороге. Когда после следствия арестовали и осудили совершенно невинных людей, честная натура Эмана взбунтовалась: он написал письмо с разъяснением дела, просил отпустить невинно осужденных, если возможно, простить ему... и застрелился.





ИЗ ОПЫТА ПОХОДОВ*

За время Русско-турецкой войны много было замечено в военных порядках такого, что, по приговору сведущих людей, следовало исправить, переделать или вовсе пересоздать; а так как война, — хотя ее никто не желает — может быть не за горами, то всякий голос, возвышенный с целью обратить внимание на правильное разрешение вопросов организации военных сил, нелишний теперь. Не откликнутся, скажут, что все и без того в порядке, — пусть будет так... Не впервые слышать: «Вам-то какое дело? Вы что суетесь?»



Сделаю обзор различных родов оружия и начну с кавалерии. Не будучи кавалеристом по профессии, я имел случай наблюдать деятельность конницы на разных окраинах России, и наблюдать преимущественно в военное время, когда достоинства и недостатки организации сказываются особенно рельефно, когда их трудно преувеличить или уменьшить.

Конечно, я не имею претензии учить специалистов дела, а желаю лишь обратить их внимание на кое-что, упускаемое

* Текст по книге: На войне в Азии и Европе: Воспоминания художника В.В. Верещагина. М., 1894. С. 346–370.

ими из вида, притом проверке общественным мнением, по существу дела, недоступное. (Известно, что военные всех родов оружия очень не любят вмешательства «штатских»; а так как дисциплина обязывает военных «сора из избы не выносить», то выходит, что они и сами обо многом помалчивают, и другим мешают говорить.)

Я имел случай видеть нашу кавалерию кроме Европейской России еще на Кавказе, когда в западной части его замирало последнее эхо долгих, кровопролитных войн. Видел ее на Урале, в Сибири, на китайской границе и в Туркестане. Наконец, видел в минувшую турецкую войну в отрядах Гурко, Скобелева, и более всего под начальством генерала Струкова, в набеге на Адрианополь, набеге, признанном теперь и у нас, и многими авторитетами за границую, образцовым подвигом кавалерии.

Мне приходилось участвовать в действиях кавалерии почти во всех поименованных местах, и надобно сказать, что если и случалось бывать в набегах более дерзких и опасных, чем помянутый адрианопольский, то более правильного и разумно веденного, более обильного результатами — я не помню.



Перед тем как перейти к некоторым техническим вопросам организации кавалерии, я брошу общий взгляд на адрианопольский набег и отмечу некоторые характерные черты, обусловившие успех его.

Движение конницы к Константинополю решено было после шейновской победы. Спустясь с Балкан, великий князь главнокомандующий спросил генерала Радецкого: «Почему кавалерия еще не впереди?» Немедленно же был послан за Малые Балканы генерал Дохтуров, у которого Струков начальствовал передовою частью; с нею он и занял мост через Марицу, т.е. одержал первый важный успех. Драгуны потушили этот зажженный неприятелем мост и тем обеспечили для армии переправу через реку, по которой шел лед. Турец-

кий табор, охранявший переправу, заклепал орудия и убежал, не оказав серьезного сопротивления.

Назначенный вслед за тем командиром авангарда Скобелевского отряда, Струков пошел на Адрианополь, занял его без боя и, конечно, занял бы Константинополь, если бы не было заключено перемирие, остановившее нас в Чаталдже.

Так как серьезное сопротивление турок было сломлено сначала генералом Гурко под Филиппополем, а потом Радецким, Скобелевым и Святополк-Мирским под Шейновом, то нет ничего невероятного в предположении, что наш отряд конницы из трех полков с конною батареей дошел бы благополучно до Босфора. Многие улыбнутся, если я признаюсь, что мы со Струковым были настолько уверены в этом, что уже составили план временной организации управления турецкой столицей, снабжения войск провиантом и фуражом, обезоружения жителей и т.п. (Правду сказать, перспектива обезоружения, лежавшая на моей обязанности, особенно улыбалась нам, так как я собирал коллекцию восточного оружия, да и Струков обещал некоторым петербургским друзьям по боевому сувениру... «Мечты, мечты, где ваша сладость?»)

Необходимые условия всякого набега — быстрота движения, умение поддержать дух солдат, сберечь лошадей и умение организовать продовольствие отряда без грабежа.

Задорной быстроты в нашем случае не было проявлено, так как очень налегать на отступавших турок не было расчета: как прижатый к стене заяц, они могли показать зубы и без нужды перепортить нам много народа, — под Чорлу отчасти так и случилось.

Мы делали средним числом от 35 до 45 верст в сутки, и Скобелев не требовал большей скорости, совершенно одобрил эту, — а он был порядочно нетерпелив и требователен относительно быстроты движения войск, особенно кавалерии.

Надобно сказать, что передовая дивизия была свежая, нетронутая, офицеры и солдаты неутомленные, лошади хорошие, — немало было малороссийских лошадей. Уход за лошадьми был внимательный, так что ряды сохранились до конца похода.

Ячменя и сена было достаточно, особенно первого, и все даром, так что весь поход был сделан на свой счет, т.е. ничего не стоил казне, — настоящий кавалерийский набег. Денег полковые командиры не только не получали своевременно, но все не получили, так что жили остатками старого, пробавлялись как кому Бог на душу положил, пробавлялись недурно, благо не было возни с интендантскими чиновниками, всегда все обещающими и никогда ничего вовремя не заготавливающими. Я далек от того, чтобы возвести в идеал такое кормление на шаромыжку; напротив, иметь доверие к начальнику отряда, открыть ему кредит — мне кажется необходимо, особенно на Востоке, где, например, «бакшиши» играют большую роль.

Организация движения была донельзя проста: не было относительно нее никаких споров или препирательств.

Скобелев велел наступать — и мы наступали. Мы делали по два перехода в день, и каждый третий день был дневка-роздых.

Отряд шел очень весело: по утрам обыкновенно играли вальсы, а в продолжение дня пелись песни, — разумеется, по погоде глядя, с большим или меньшим увлечением.

Начальника штаба авангарда, наступавшего к Константинополю, вовсе не было, и часть обязанностей по этой должности я взял на себя из дружбы к Струкову, ни днем ни ночью не знавшему отдыха; письменность вел драгунский офицер Востросаблин — и вел толково, исправно.

Добывание сведений от туземцев велось правильно и регулярно благодаря хорошему переводчику Христо, сообщавшему мне все слухи как о больших турецких силах, так и мелких шайках черкесов и башибузуков; сведения эти я передавал потом Струкову.

Хлеб был... хотя, пожалуй, этой статьи могло бы быть и больше; зато мяса имелось до отвала, так как турки, ограбив болгар волами и перевозочными средствами, побросали огромные стада баранов, оказавшихся совсем не неприятельскими на солдатских зубах.

Попадалось везде местное вино и ракия, т.е. водка, также табак. Не только кавалерия промышляла про себя, но даже заготовляла кое-что и для пехоты — Скобелев изъявил потом благодарность за это.

Конечно, телеграфное сообщение везде немедленно прерывалось, т.е. снимались замки; рубить же столбы или обрывать проволоки Струков строго запрещал, так что через два дня по приезде уполномоченных для мирных переговоров телеграфное сообщение могло быть восстановлено.

Железнодорожная линия была все время под строгим контролем, и, уж конечно, никто из турок или каких-либо подозрительных лиц не проскочил по ней.

Поползновения к грабежу со стороны солдат, а в особенности казаков, были, но они строго обрезались в самом начале; например, вторая столица Турции — богатый и многолюдный Адрианополь не потерпел за время нашего пребывания в нем ни в каком отношении, не было даже драк и ссор с жителями.

Попытка генерального консула одной из великих держав вмешаться в управление занятым нами городом и его застрахивания восстанием не имели успеха, — помянутый чиновник, разодетый жар-птицею, потратил напрасно свое красноречие и ушел не солоно похлебавши.

Надобно заметить, что больных в походе у нас не было и что, несмотря на множество рыскавших по стране там и сям черкесов и башибузуков, только два пикета были вырезаны.

Конечно, и офицеры, и полковые командиры не дремали, но в особенности я дивился энергии тщедушного на вид Струкова, хорошо понимавшего громадную ответственность, на нем лежавшую, — ответственность начальника кавалерийского отряда, шедшего на сто верст впереди своей пехоты и положительно не знавшего покоя. (Когда я буквально сваливался с ног и, например, ночью, в день занятия Адрианополя, не будучи в состоянии более двинуться, заснул как убитый, Струков отправился еще один удостовериться, все ли везде благополучно, накрыл каких-то тридцать орудий, приготовленных

турками к отправке, осмотрел посты и т.д. Поверка постов, почти ежедневная, была в особенности тяжела.)

Словом, если Скобелев быстро и умно направлял движение кавалерии, то она толково и успешно исполняла его. Результат не заставил себя ждать.

Вот в немногих словах, как наша конница в минувшую войну прошла от Казанлыка почти до ворот Константинополя, гоня арьергард турецких войск. Теперь я перейду к некоторым техническим сторонам, в которых кое-что кажется мне непрактичным, требующим пересмотра.



Кавалерия при императоре Николае I была образцовая, идеальная — с казовой, парадной стороны: старые служаки говорят, что «нынче только во сне можно видеть такую».

Бесспорно, и офицеры и солдаты были тогда менее развиты, но выучка, муштровка была очень строга, а лошади были хороши — высокого роста, сильные, что при большом весе всадника и вооружении много значит.

Однако кавалерия была хороша, как сказано, лишь на парадах, лагерных переходах и маневрах — в кампании же оказывалась несостоятельной: боевые потери конями были обыкновенно невелики, а солдаты возвращались с похода с седлами за плечами! Солдаты хорошо ездили манежной старонемецкою системой, а на первых же тяжелых переходах сдирали спины лошадям.

Кто не знает, что в забалканском походе Дибича кавалерия «легла костью» не против внешнего неприятеля — турок, а против внутреннего — веса всадника со снаряжением, порчи и ломки спин, дурнойковки и, главное, казнокрадства, воровства повсеместного, колоссального! Известно, что в те времена сплошь и рядом полки давались для поправления состояний, а когда же было и поправлять состояния, как не во время войны, — ну, и поправляли, к выгоде неприятеля и к нашему сраму.

В последнем турецком походе также не было больших боевых потерь лошадьми, но уже при проходе Румынией выбыло множество лошадей, а в конце похода лейб-гусары, например, вступили в Адрианополь в числе 60 коней в эскадроне. Конечно, это некоторый успех против 1829 года, но все-таки досадно, что такая часть войска, как гвардейская кавалерия, содержание которой обходится ужасно дорого, так печально оканчивает походы.

Конечно, нельзя ставить казаков в пример регулярной кавалерии, но нельзя не задаться вопросом: почему у казаков потери лошадьми менее?

Никто не скажет, что лошади у казаков лучше, — скорее наоборот.

Никто не скажет, что казаки несут меньшую службу, — скорее наоборот.

Может быть, подумают, что «что твое — мое, а что мое — не твое» практикуется у казаков в меньшей степени, — ничуть, скорее наоборот!

Надобно сказать, что в общих чертах казак более конник на русский лад, а кавалерийский солдат — на иностранный лад. У казака и сам он и лошадь больше приспособлены к существенным условиям службы, к климату, почве, пище. У кавалериста-солдата все налажено в подражание иностранцам и их климату, к показу на учении, к параду.

В нашу суровую зиму, например, и сам кавалерист, и его лошадь совершенно не закрыты от холода и вьюги, и солдату не полагается ни полушубка, ни рукавиц! Не принят во внимание факт, что мы по преимуществу воины холодного климата, в Италию ходить воевать больше не будем и все серьезные кампании оканчивали и будем оканчивать зимою.

Каково солдату в 30-градусный мороз без полушубка и теплых рукавиц, которые он может надевать лишь нарушая дисциплину? Каково лошади, имеющей лишь небольшую попону?

Казак вообще меньше замуштрован и относительно одежды меньше стеснен, чем солдат; он ловчее, хитрее, находчивее

в походе — в этом нет сомненья; он больше любит лошадь, как за собственностью больше за нею ухаживает, старательнее добывает пищу, лучше пригоняет седло — словом, больше любит и бережет свою лошадь. (Кавказские казаки у нас, бесспорно, лучшие конники покамест; зато же кроме свежих еще традиций между людьми и лошади у них очень хороши — одни кабардинские скакуны чего стоят. Но все-таки, как ни хороши кавказские казаки, они горцы, их прототипы — черкесы, и они не могут служить образцами для регулярной конницы, действующей преимущественно на равнинах.)

Солдатам часто меняют лошадей для уравнивания, для подбора по эскадронам, что следовало бы делать лишь в самых необходимых случаях. Рассылается кавалерист с конвертами и разными поручениями обыкновенно пешком, а лошадь в это время стоит на конюшне; когда эти посылки дальни и утомительны, они озлобляют солдата на лошадь: ходи, дескать, за нею как за барыней и любуйся на нее, — только от нее и пользы!

В кавалерии некоторых государств лошадь не только носит своего всадника всюду, при разноске приказаний и исполнении поручений, но и дается унтер-офицерам для прогулок, что весьма разумно ввиду цели сближения конника с его конем.

Можно сказать, что *необходимо у нас больше привязать солдата к лошади.*



Прежде было много малороссийских лошадей в кавалерии; многие помещики имели такие большие табуны, что с одного завода поступали в ремонт от 50 до 80 мерин, — а теперь у помещиков собирают по одной-две лошади от владельца. Это сильные, рослые лошади, гораздо больше способные к манежной выгучке, чем донские. Лошади задонских степей недурны. Зимовниковы владельцы производят хороших лошадей; у них жеребцы — английские, арабские и государственного

коннозаводства, хотя надобно сказать, что, к сожалению, лучшие лошади не попадают к нам, а идут в Австрию, Румынию, Турцию.

В станичных табунах лошади слабые, не соответствующие весу всадника со снаряжением. Лошадь в нашей кавалерии должна нести от 7,5 до 8,5 пуда, т.е. почти то же, что и в царствование Николая I, когда одни кирасиры разве были тяжелее; но теперь прибавилась винтовка с патронами, пулями и седельный выюк — а лошадь-то много слабее прежней.

Впрочем, так как теперь все вещи снаряжения изготавливаются легче, то в конце концов ружье не много увеличивает против прежнего общий вес.

Вообще, строевая лошадь требует сбора, а донская, при ее достоинствах, не может собраться, у нее оленья шея, она задирает голову, и задирает с упрямством, ее характеризующим.

Удивительно, что темперамент лошади до сих пор не принимается во внимание: степная свободная лошадь, более других злопамятная, настойчивая, капризная, муштруется точно так же, как меланхолический конь, взросший в конюшне. Донская лошадь очень свободолюбива, чего не хотят знать; до чего она свободолюбива, видно из того, что были случаи, когда кони, срывавшиеся из частей, стоявших на расстоянии около ста верст от их прежних пастбищ, возвращались к себе в зимовники, в табуны, — можно ли не обращать внимания на такие факты и мучить такую лошадь мундштуком и шпорами, т.е. совершенно портить ее характер?

Прежде, при Николае I, полки ремонтировались по мастям; потом, при Александре II, группировались по мастям только эскадроны. Теперь нашли возможным снова подбирать одномастные полки. Мне кажется, что подбор под один тип лошадей из степи, из конюшни и из-под упряжи нецелесообразен, и выгоды такого подбора не выкупают невыгод.

Одно, что необходимо по части подбора мастей, — это помещение в хвостах эскадронов белых коней на случай темных ночей. Я живо помню отчаяние генерала Т., получившего от Скобелева приказание «выступить следом за кавалерией» и,

за темнотою ночи, потерявшего эту кавалерию, имевшую в арьергарде гнедых коней. Недалеко ходить и за другим примером: ночью при выступлении из Адрианополя, когда зги не видно было, мы тоже потеряли арьергард, шедший перед нами всего в нескольких шагах, и нашли его только наутро, — хорошо, что не наскочили на крупную партию черкесов, рыскавших по окрестностям!

Если бы лошадей, пригодных к мундштуку, отдавать в одну часть, а непокорнейших из степняков — в другую, где не было бы мундштука, то дело выучки лошадей много бы выиграло. Тогда и вопрос о годности и непригодности мундштука для нашей кавалерии мог бы быть решен на «да» или на «нет», теперь же он так и остается вопросом.

В высших сферах управления кавалерией не допускается и сомнения относительно мундштука, и только некоторые отдельные начальники, люди инициативы, пробовали обходиться без них.

Генерал Струков, один из лучших и наиболее компетентных кавалерийских генералов, делал на свой страх опыты с лошадьми, носившими в строю на мундштуке, — он снимал с них мундштук и надевал уздечку — результат выходил поразительный: большая часть лошадей успокаивалась, делалась послушнее, характер их улучшался.

Струков делал пробу водить весь эскадрон на уздечке — тянут, лежат на руке, но, коли навык есть, слушаются, равняются, и есть полное основание надеяться, что если работать в этом направлении правильно, настойчиво, каждый день, то носить не будут.

Можно, значит, еще сказать, что *желательно, чтобы лошади подбирались не столько по мастям, сколько по температурам.*



Мне сдается также, что несправедливо поощрять развитие коневодства только на юге. На конных ярмарках севера,

например в Вологодской губернии, можно приобретать крепких, красивых и рослых лошадей по недорогой цене — от 80 до 150 рублей. У нас совершенно несправедливо распространено мнение, что лошади севера все малорослы, приземисты — очевидно, смешивают тут чисто вятскую породу с обще северною.



Другое горе строевых лошадей — подкова: она весит более фунта, т.е. свыше четырех фунтов на четыре ноги. В обыкновенное время куют только на перед и лишь в походе — на все четыре ноги, в зимнее время даже на винты. Но тут-то и беда: винты эти совсем особенные, солдат должен возить их с собою, и винтов этих не напастись, потому что иногда они держатся не более нескольких часов.

Очевидно, это должно быть упрощено: винты должны быть проще, чтобы их можно было чаще менять и солдат был бы в состоянии перековать свою лошадь в каждой встречной деревенской кузнице.

(Как трудно отрешиться от замысловатого и непрактичного, видно из того, что до сих пор полковые повозки не только грузны и неуклюжи, но и до того хитро устроены, что, раз она сломается, немислимо ее починить в обыкновенной кузнице — в одном колесе чуть не десяток разных винтов, которые тоже все надобно возить с собою в огромном запасе.)

Генерал Струков делал опыт, ввиду особенного свойства копыта донской лошади, вовсе не ковать — результат опыта тот, что добрая часть лошадей может оставаться некованую. Разумеется, желательно, чтобы такого рода опыты были расширены и чтобы они делались не тайком, на свой страх, а по официальному дозволению и приказанию.

Надобно заметить, что еще затрудняют движение лошади сумы, до некоторой степени и передние, но в особенности задние, бьющие по брюху и по ногам животного.



Несколько слов о вооружении.

Обращение большей части кавалерийских полков в драгунские можно признать мерою разумною, хотя немало традиций лихой легкой кавалерии уничтожено этою переменою.

Ружье сильно стесняет кавалериста во всех движениях, и особенно при атаке, но, правда, с другой стороны, оно дает ему уверенность, а с тем вместе и силу, так что, в кое-каких мелочах лучше пригнанное и приноровленное, оно, в конце концов, будет надежным помощником кавалеристу.

Уменьшить вес ружья, однако, положительно необходимо: оно весит теперь до 20 фунтов, да шашка 12 фунтов, да патроны около 10 — не перечесть всех фунтов, которые приходится носить сравнительно слабой донской лошади, несравненно менее нагруженной под казаком.

Кстати здесь заметить, что пробовать достоинство ружья нужно не единично, а целыми эскадронами и даже полками — только полк, прошедши все маневры с новым ружьем, в состоянии сказать, хорошо оно или нет.

На пику казак жалуется: она легко ломается и из-за раза, что он пойдет с нею в атаку, доставляет слишком много возни с нею. С другой стороны, если немцы вооружат своих гусар и улан пиками, то, без сомнения, нашим драгунам атаковать их кавалерию будет трудно.

По моему личному опыту в делах со среднеазиатцами казак наш, какой бы он ни был, уралец, оренбуржец или сибиряк, не боящийся шашки туземцев, крепко остерегается пики их: «Шашкой от пики где же оборониться?» — говорит он.

По крайнему нашему разумению, уничтожить пику, как об этом говорилось, рискованно; лучше, напротив, попробовать вооружить оставшихся гусар и улан или несколько других полков легкими железными пиками, вроде тех, что приняты индийскою конницею, — я вывез из Индии несколько таких пик, они, с одной стороны, несравненно менее тяжелы и громоздки, чем наши деревянные, а с другой — менее ломки.



Взглянем на одежду драгун.

Шапка — только до мобилизации; в походе носят фуражку, которая при морозах, на дожде и солнце ссыхается. При быстрых аллюрах она легко слетает с головы, и множество фуражек теряется.

Натурально, что с таким головным покровом при атаке приходится защищать голову естественным движением руки, — вот уже первое неудобство.

Так как каски тяжелы, жестки, винтами режут головы, а при нашем климате и холодны, то необходимо озаботиться, чтобы головной убор был мягкий, стеганый, хоть мерлушечий, вроде малороссийской шапки. Говорю это по убеждению, потому что до сих пор помню удар пикою по голове, полученный в схватке на китайской границе, — удар, который, без сомнения, оглушил бы и сшиб меня с седла, если бы не защитила мою голову мягкая меховая шапочка, заставившая пикку соскользнуть.

Затем, к шапке необходима цепочка, которая и удерживала бы шапку на голове, и отводила бы при случае сабельный удар, — мало ли было примеров того, что какой-нибудь образок или крестик отводили удары и спасали от смерти. Наконец, пусть только подведут счет шапкам, растерянным в походе, тогда увидят, что дать мягкий, крепко сидящий и придерживаемый цепочкой головной убор — необходимо.

Сапоги должны быть не очень высокие, до колен, и по возможности, без складок, т.е. без искусственных, так как в них набивается всегда масса грязи.

Шпоры, одно из наказаний не только для лошадей, но и для людей, в походе обыкновенно снимаются — конечно, о них не горюют: хлыст или нагайка совершенно достаточны. Если уж вообще быть шпорам, то, конечно, на ремнях, а не на винтах, что теперь, впрочем, и введено.

Больше же всего я настаиваю на том, чтобы солдаты имели на зиму полушубки и теплые рукавицы, имели не контрабандно,

как теперь, а официально — *полушубок должен быть формой наших солдат от ноября до марта.*

Еще пехотинец скорее может обойтись без него, потому что он ходит, греется, тогда как кавалерист не может двинуться и в походе при 30 градусов мороза мерзнет в шинелишке, буквально подбитой ветром.

И теперь хорошие начальники, жалея людей, заводят полушубки на экономические суммы, если таковые есть, — но все это делается негласно, как я сказал, контрабандою от начальства, которое пришло бы в ужас, если бы полк был выведен зимою на смотр в полушубках даже под шинелями. Можно только представить себе, что было бы, если бы нашелся такой дерзкий полковой командир, — как он скандализировал бы начальство: «Почему люди так толсты, неуклюжи? Шинели долой! О ужас!»

Шинели, конечно, должны остаться на остальное время, но зимою пусть будет форменный полушубок, длинный, до колен, как обыкновенный русский, или короткий, закрывающий лишь живот, как у румын.

Крестьянин наш почти целый год носит полушубок, он снимает его только на три летних месяца, а солдат — тот же крестьянин — никогда его не носит; невольно спрашивается: почему?

Под шинелью полушубок действительно был бы неуклюж, но вместо сюртука, перетянутый, он может быть очень представителен; и говорить нечего, что это была бы чисто русская форма, не «европейская».

Достаточно видеть какой-нибудь смотр зимою, чтобы заметить, с каким состраданием относится народ к шинелишкам солдат. Три или пять тысяч солдат стоят во фронте, хоть при 10 градусов мороза, в шинелях, т.е. в легкой суконной одежде; толпа, тоже в несколько тысяч, смотрит на них, вся одетая в мех. Если эти последние так одеты из боязни простуды, то почему же простуда не страшна для первых? Не надобно забывать, что солдатам сплошь и рядом приходится в походе проводить ночи на морозе, — тут уж полушубок и

теплые рукавицы положительно необходимы, потому что отдыхать на снегу, часто при ветре, снежном вихре, в шинели — чистое мученье.

Помню, что при переходе через Балканы я пробовал ночью забываться сном около костра, в полушубке, под буркою и одеялом — не тут-то было; почувствовавши, что начинаю просто-напросто коченеть, я встал, присел к огню и, закурив сигару, дожидался часа выступления. Каково было в эту ночь солдатам в легких шинелях и что было бы с отрядом, если бы случился вихрь или если бы вообще Скобелев и Куропаткин были менее заботливы, не запасли бы набрюшников, просаленных портянок и т.п.?

Кто не знает, не слышал о шипкинском сидении — что было бы там с солдатами без полушубков, не признаваемых начальством, но по его же просьбе доставленных туда сердобольными людьми со всей России?

Пока полушубок не получит пра за гражданства в наших войсках, будет какою-то непризнанною, побочною частью туалета, он всегда в случае надобности не будет поспевать вовремя, будет доставляться в апреле вместо октября, как то было с войсками, переходившими Балканы по пояс в снегу, при морозах и вихрях в холодных шинелях... «Свежо предание, а верится с трудом!»

Офицеры, конечно, тоже не отказались бы от полушубка, который, грея более, не был бы тяжелее: офицерское теплое пальто из штиглицкого драпа весит ведь от 25 до 30 фунтов — тяжеленько в нем действовать!

Солдатское сукно плохое, на дожде намокает, от ветра не защищает — он пронизывает его; на морозе оно никуда не годится!

Вспомнить, например, кампанию 1812 года: сколько приходилось солдатам ночевать в лесах, в снегах — мыслимо ли это без полушубков?

Теперь, с обращением большей части регулярных кавалерийских полков в драгунские, надобно помнить, что назначение драгуна не то, что казака или гусара — где-нибудь ударить во

фланг; ему нужно пробраться незаметно между городом и крепостью, крепостью и фортами, ночуя в случае нужды в лесу, в степи без огней, — мыслимо ли все это зимою без форменных полушубков?

С другой стороны, в провинции лошади стоят в небольших конюшнях по две-три лошади в каждой, так что примерно на каждые три конюшни нужен конюх, который не может быть так одет, как в казарме. Вообще, люди там целый день на дворе или в сквозном сарае — возможно ли им быть в холодных шинелях?

А необходимость работать зимою без теплых рукавиц? Хоть теплые варежки должны быть при форме. Взглянуть на чухонца или на нашего крестьянина — почему он не боится мороза? Потому что он хорошо защищен от мороза, и мороз ему нипочем.

Лошадей следует также лучше покрыть, хоть попону сделать больше. В последний турецкий поход лошади сильно простуживались, потому что вовсе не имели закрытия, — люди снимали попоны и клали себе на ноги, чтобы хоть сколько-нибудь согреться. Словом, еще раз: необходимо ввести в войсках зимнее платье, т.е. полушубки: в кавалерии нужда в этом еще настоятельнее, чем в пехоте.



Вопрос о казармах и бивуаках очень важен. Огромные казармы, на которые теперь мода, вряд ли так необходимы, как то думают.

Во-первых, они страшно дорого стоят: каменная казарма на полк не может обойтись менее полумиллиона, и между ними и грошовыми деревенскими хатами и сараями можно взять среднее — выстроить небольшие эскадронные казармы, более удобные не только в строевом, но и в гигиеническом отношении.

В образцовой 4-й кавалерийской дивизии Струкова были сделаны опыты постройки таких казарм хозяйственным способом, в помещичьем имении: они деревянные, бревенчатые

и обходятся каждая в 8000 с небольшим; значит, постройка таких казарм на целый полк будет стоить 50—60 тысяч рублей — сумма, далекая от полумиллиона! Больших каменных казарм и молодые солдаты недолюбливают после деревни; небольшая постройка, конечно, менее тосклива, менее отделяет людей от существенных элементов деревенской и боевой жизни — воздуха, степи, леса.

Не только люди, но и лошади, привыкшие к жизни большой казармы, мало способны к бивуачной жизни зимою, а непривычка к зимнему бивуаку вредно отзывается на всей кампании: люди не умеют ни постели себе приспособить в снегу, ни вбить коновязи, не умеют ни лошадь от мороза укрыть, ни сами оборониться, — поморозятся, полезут отогреваться к огню — и пропали.



Маневры необходимо производить более серьезно, не по заученной программе, а на страх и риск начальников; не летом только, а непременно также зимою.

Все понятия и знания не только солдат, но и начальства переворачиваются, когда приходится зимою применять опыт, добытый летом; сказать прямо — и солдаты и офицеры часто теряют голову в этих случаях.

Сделать переход по глубокому снегу, заночевать на морозе, в лесу, в дебрях, не поморозив ни людей, ни лошадей, кажется в мирное время для маневрирующих полков какою-то далекою и необыкновенною случайностью, тогда как это обычно и неизбежно в военное время.

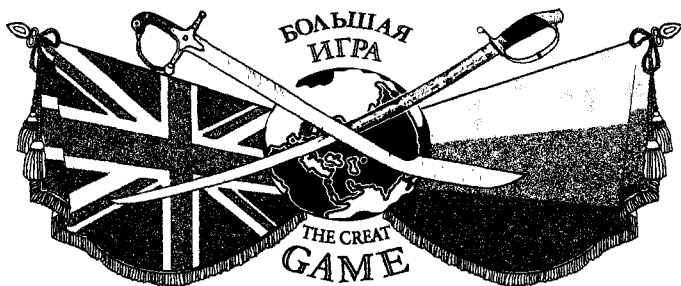
Необходимы частые поездки на возможно большие дистанции — поездки хоть и не всегда тактические, но толковые и практичные. Не следует брезгать переправой через ручьи и речки, что обыкновенно не нравится ни офицерам, ни солдатам.

Беседовать офицерам с людьми, развивать их; необходимо как можно чаще в положенные часы читать избранные

сочинения; надобно поощрять наградами тех офицеров, которые охотно и старательно исполняют это.

В конце концов, можно сказать: необходимо, чтобы солдат наш, с одной стороны, возможно развился нравственно и физически, с другой — сбросил бы с себя иностранную форму, которую он еще имеет, и, одетый в полушубок с теплыми рукавицами и носками, наловчился бы во всех маневрах, изворотах и движениях зимою: зимою ему придется сводить окончательные счета с неприятелями России; зима его не раз уже выручала, пусть не стыдятся того, что зима у нас длиннее лета — она и впредь не даст нас в обиду.





О СОЦИАЛИЗМЕ*

Нельзя отрицать того факта, что все другие вопросы нашего времени бледнеют перед вопросом социализма, который подвигается на нас, словно молниеносная громовая туча.

Народные массы, в течение долгих веков влачившие жизнь, граничившую с медленною голодною смертью, уповая на лучшее будущее, не желают более ждать. Их бывшие надежды на будущее разрушены; их аппетиты возбуждены, и они громогласно требуют себе недоимок, т.е. дележа всех богатств, а для того, чтобы дележ этот сделать более прочным, они требуют сравнения под один уровень, подведения под одну мерку талантов и способностей, причем все работники прогресса и комфорта будут получать одну и ту же плату. Они стремятся перестроить общество на новых основаниях, а в случае сопротивления их целям грозят сжечь все памятники, относящиеся к тому порядку, который, по их понятиям, уже отжил свою полезность; они угрожают взорвать на воздух общественные здания, церкви, картинные галереи, библиотеки и музеи, проповедуя настоящую религию отчаяния.

Мой друг, покойный генерал Скобелев, раз спросил меня: — Как понимаете вы движение социалистов и анархистов? — Он признался при этом, что сам он совсем не понимает

* Из очерка «Реализм» (1891 г.). Текст приводится по книге: В.В. Верещагин. Повести, очерки, воспоминания. М., 1990. С. 202–206.

их целей. — Чего хотят они? Чего стремятся они достигнуть?

— Прежде всего, — отвечал я, — люди эти являются противниками международных войн; затем, их оценка искусства весьма ограничена, не исключая и живописи. Так что если они когда-нибудь заполучат власть в свои руки, то вы с вашими стратегическими соображениями и я с моими картинами — мы оба будем немедленно сданы в архив. Понимаете ли вы?

— Да, я понимаю, — отвечал Скобелев, — и отныне я намерен бороться с ними.

Я не заблуждаюсь, как сказал выше, что обществу серьезно угрожает в близком будущем огромная масса, насчитывающая сотни миллионов людей. Это — люди, бывшие из поколения в поколение в течение целых столетий на краю голодной смерти, нищенски одетые, живущие в грязных, нездоровых кварталах, бедняки и такие люди, у которых нет ни кола ни двора либо совсем обездоленные. Хорошо, кого же следует винить за их бедность, разве не сами они виноваты в ней?

Нет, было бы несправедливо взваливать всю тяжесть вины на них; гораздо вернее, что общество в общей массе более виновно в их положении, чем они сами.

Но есть ли какое-либо средство выйти из этого положения?

Разумеется, есть. Христос, наш Учитель, много веков назад указал на то, как богатые и сильные мира могут помочь делу, не доводя до революционного шага, не производя переворота в существующем общественном порядке, если только они серьезно позаботятся о несчастных; это, несомненно, обеспечило бы за ними безмятежное наслаждение всею массою их богатства. Но в настоящее время мало надежды на мирное решение этого вопроса; разумеется, благоденствующие классы предпочтут остаться христианами только по имени; они все будут надеяться, что паллиативные меры достаточны для улучшения положения; или же, думая, что опасность еще далека, они не пожелают сделать больших уступок; а нищие и бедняки — прежде готовые на соглашение — скоро не захотят принять предложенного им подаяния.

Чего же хотят они?

Ни больше ни меньше как уравнивания богатства в грядущем обществе; они требуют материального и нравственного уравнивания всех прав, занятий, всех способностей и талантов; как мы уже сказали, они стремятся разрушить все основы существующего общественного строя, а в новоосвященном порядке вещей они стремятся открыть действительную эру свободы, равенства и братства взамен теней этих высоких вещей, как существуют ныне.

Я вовсе не думаю входить в рассуждение по поводу этого предмета, я вовсе не имею претензий доказывать, насколько эти притязания справедливы или несправедливы, насколько они разумны или нелепы; я констатирую только факты, что существует глубокая бездна между прежними криками о хлебе и резко сформулированными требованиями нынешнего времени.

Очевидно, аппетит народных масс увеличился сравнительно с прошлыми столетиями, и счет, который они намерены предъявить к уплате, будет не малый.

От кого потребуется уплата по этому счету?

Вероятнее всего, от общества.

Будет ли это сделано добровольно?

Очевидно, нет.

Следовательно, будут осложнения, споры, гражданские войны.

Разумеется, будут серьезные осложнения; они уже бросают свои тени в форме беспорядков социалистического характера то здесь, то там. В Америке, весьма вероятно, беспорядки эти не так велики или менее заметны, но в Европе, во Франции и в Бельгии, например, эти беспорядки принимают грозный вид.

Кто победит в этой борьбе?

Если только Наполеон Первый не ошибался, утверждая, что победа всегда останется за *крупными батальонами*, — победят *«уравнители»*. Число их будет очень велико; кто знает человеческую природу, тот поймет, что все, кому не придется

терять много, в решительный момент присоединятся к тому, кому терять нечего.

Вообще, полагают, что опасность еще не неизбежна; но, насколько я был в состоянии судить, близость опасности неодинакова в различных государствах. Франция, например, — эта многострадальная страна, которая вечно производит опыты на самой себе, будь то в области социальных или научных вопросов или в области политики, — ближе всех остальных к роковому перевороту; за ней следуют Бельгия и другие государства.

Весьма вероятно, что даже нынешнее поколение будет свидетелем чего-либо серьезного в этом отношении. Что же касается до грядущих поколений, то нет сомнения, что они будут присутствовать при полном переустройстве общественного порядка во всех государствах.

Притязания социалистов, а в особенности анархисты и возбуждаемые ими беспорядки, производят повсеместно огромную сенсацию на общество. Но едва эти беспорядки подавляются, как общество снова впадает в обычную безучастность, и никому и на мысль не придет, что факт частоты таких тяжелых симптомов, повторяющихся с таким постоянством, сам по себе есть признак нездорового состояния общества.

Дальновидные люди начинают понимать, что паллиативные меры не приведут ни к чему; что перемена правительств и правителей не окажет также ни малейшей пользы; и что остается лишь ждать случайных движений в образе действий враждующих партий, в энергической решимости со стороны благоденствующих классов не делать уступок и в энергической решимости пролетариев мужественно и настойчиво идти к намеченной цели.

Богатым остается утешать себя только тем фактом, что *«уравнители»* не имели еще времени организовать свои силы для успешной борьбы с обществом. Это верно до известной степени. Но хотя дело подвигается медленно, *«уравнители»* все время заняты усовершенствованием своей организации; а с другой стороны, можем ли мы сказать, что общество достаточно хорошо организовано, чтобы не страшиться нападения?

Кто признанные и официальные защитники общества?
Армия и Церковь.

Предположим, настанет день, когда священнослужители окончательно потеряют свое влияние на народ, когда солдаты опустят долу жерла своих пушек, — где же общество найдет себе тогда оплот? Неужели у него не будет более благонадежной защиты?

Разумеется, у него есть такая защита, и это не что иное, как *таланты* и их представители в науке, литературе, в искусстве и во всех его разветвлениях.

Искусство должно и будет защищать общество. Влияние его малозаметно и не ощущается резко, но оно очень велико; можно даже сказать, что влияние его на умы, на сердца и на поступки народов громадно, непреодолимо, не имея себе равного. Искусство должно и будет защищать общество тем с большей заботливостью и тем с большим рвением, что его служители знают, что *«уравнители»* не расположены отвести им то почетное и достойное положение, которое они занимают теперь, так как, по мнению *«уравнителей»*, добрая пара сапог полезнее хорошей картины, статуи или хорошего романа. Люди эти открыто заявляют, что талант — роскошь, что талант — аристократическая привилегия, а потому талант следует сбросить с его пьедестала до общего уровня — принцип, которому мы никогда не подчинимся.

Не станем обманывать себя: появятся новые таланты, которые постепенно «приспособятся» к новым условиям, если только такие условия возьмут перевес, и, быть может, произведения их выиграют от этого; но мы никогда не признаем принципа всеобщего разрушения и переустройства, если такой принцип не представит за себя другого основания, кроме хорошо известного положения: «Уничтожим все и расчистим почву; а что касается до переустройства... так уж увидим впоследствии». Мы будем защищать и отстаивать улучшения существующего порядка вещей посредством мирных и постепенных мероприятий.

Само собою разумеется, мы требуем, чтобы общество со своей стороны помогло нам в исполнении нашей задачи,— чтобы оно доверилось нам, дало бы нам всю необходимую свободу для развития и проявления талантов.

Вот в этом-то и затруднение!

Упитанное, самодовольное общество приходит в уныние от каждой перемены, от каждого слова порицания, насмешки или замечания; оно теряет доверие к передовым, смелым представителям науки, литературы и искусства. Общество ревниво стремится удержать за собою право не только указывать дорогу таланту, но даже регулировать меру, степень его развития и его проявления.

В этом обществе, каково наше, все, что заурядно и условно, ограждено всякого рода правами и привилегиями, между тем как все, что ново и самобытно, обязательно возбуждает враждебность и хулу, подвергается тяжелой борьбе под давлением широко распространенного ханжества и лицемерия.

Попробуйте создать что-либо необычайно умное в области науки и литературы, попробуйте представить в графической или пластической форме самую оригинальную, поразительную концепцию, но забудьте только окружить ее условным слоем пошлости и заурядности, столь дорогим сердцу общества, — вас разнесут в пух и прах за это, вас не захотят даже выслушать, вас назовут шарлатаном, а то еще словом и похуже.

Почему это так? Разве общество указывало путь ко всем великим открытиям? Нет, оно постоянно задерживало их, постоянно тормозило их.

Вызывало ли когда-либо общество в своей коллективной форме хоть одно из великих проявлений в искусстве или в литературе? Нет, общество постоянно усердно мучило, преследовало даровитых людей, хотя оно же после их смерти воздвигало им памятники.

Как могло общество обнаружить такое высокомерие и такую самонадеянность? Оно было увлечено на эту дорогу только благодаря нехристианскому убеждению, что «цель оправдывает средства».

Может ли быть что-нибудь невыносимее разговоров, которые нам приходится иногда слышать?

— Были ли вы в «Салоне»?

— Нет, нам не случилось побывать там в этом году, но в прошлом году мы бывали там несколько раз.

В этих словах ирония и истина, так как в большинстве случаев вы увидите в «Салоне» то же самое число картин, приблизительно того же качества, приблизительно с теми же сюжетами и, всеконечно, написанных в том же стиле.

— Видели вы новую пьесу Сарду?

— Представьте себе, по всей вероятности, мне ее не придется еще увидеть: спешу в деревню; но завтра мы отправляемся в «Комеди-Франсез», посмотреть новую пьесу Дюма. Говорят, что обе пьесы очень похожи между собою, как по идее, так и по завязке.

И это совершенная правда; они, несомненно, более или менее одинаковы.

Чья же это вина, если не самих авторов?

Нет. Спросите-ка у драматических писателей, осмелятся ли они представить действие в том виде, как оно вдохновило их своей реальностью, с его логическим заключением, неизбежным по самому ходу событий, отбросив на этот раз годами установившуюся, банальную условную развязку?

— Нет, — скажут вам авторы, — о такой вещи нельзя и помышлять, — и они будут правы.

Общество, придавленное бременем ханжества, не пойдет смотреть такую пьесу, как бы она ни была интересна; итак, автору приходится угождать вкусам публики, если он не желает разорить своего директора и самого себя.

То же самое относится к художникам, скульпторам и даже к композиторам. Какое огромное число любимцев муз были сведены в раннюю могилу вследствие враждебности публики ко всякому новому толкованию поэтических и музыкальных идей!

С одной стороны, раздаются жалобы на преобладание в искусстве скучного однообразия и даже пошлости, люди требуют

чего-нибудь вдохновенного, чего-нибудь оригинального; с другой стороны, та же публика деспотически казнит вас за все, что выходит из ряда установившихся, условных понятий!

Давно бы пора, мне кажется, понять необходимость относиться к искусству с терпимостью и доверием, если мы желаем, чтобы оно «побраталось» с обществом, чтобы оно слилось с ним воедино, чтобы служить ему верой и правдой в нынешние беспокойные времена, когда поэты и художники являются солдатами на своих постах.

— Но послушайте, вы, представитель искусства, — спросят, может быть, у меня, — какие такие новости вам так желательно объявить нам, какие такие сделали вы открытия, которые были бы совершенно новы для общества?

Хорошо, то, что мы скажем, быть может, и не ново, однако несомненно, что идея об этом еще не проникла в сознание людей. Вооружившись богатыми, разнообразными ресурсами искусства, мы выскажем людям несколько истин.

— Перестаньте, — скажем мы им, — перестаньте услаждать себя иллюзиями идеализма, которые убаюкивают ваш разум, идеализма высокопарных слов и фраз, оглянитесь кругом себя глазами сознательного реализма, и вы убедитесь в своем заблуждении. Вы не христиане, какими желаете прослыть. Вы не представители христианских обществ, христианских государств.

Те, кто убивают себе подобные человеческие существа сотнями тысяч, — не христиане.

Те, кто постоянно руководятся в частной и в общественной жизни принципом «око за око и зуб за зуб», — не христиане.

Те, кто проводят многие часы своей жизни в церквах, однако не дают беднякам ничего или почти ничего, — не христиане.

Что сделали вы с заповедью Спасителя о христианском смирении и о вспомоществовании тому, кто находится в действительной нужде?

Позвольте спросить, в какое положение стали в настоящее время эти две великие администрации Церкви Христовой,

которые называют сами себя римско-католическою и православною церквами, которые разделились из-за неумения сговориться между собою, исходит ли Святой Дух от Отца и Сына или же от одного Отца? Возможно ли, что они все еще не пришли к соглашению и, ослепленные обоюдною ненавистью, пренебрегают своей высокой миссией на земле?

Какое положение приняли эти новые церкви, сравнительно говоря, недавнего происхождения, на защиту более реального понимания связи жизни с ее Творцом? Возможно ли, чтобы, окончив борьбу со своей великой противницей, эти церкви также погрузились в сладкий сон относительно существующего порядка вещей и также отказались приложить свою руку к дальнейшим реформам?

Но если это так, то пусть даровитые люди стряхнут крепкую и властную спячку, в которую они погрузились; это трудная, зато благородная задача. А если откажутся выслушать нас, если будут пытаться сковать наши уста, ну, тем хуже будет для общества. Оно само пробудится от сна, но это будет слишком поздно: еще раз «вандалы сожгут Рим». Мы можем быть уверены, что тогда не будет пощады ни церквам, ни банкирским конторам.

«Кто имеет уши слышать, да слышит!»





ПРИЛОЖЕНИЯ

Краткие биографии героев записок В.В. Верещагина

Александр II (1818–1881), император Всероссийский (с 1855). Сын императора Николая I. С детства готовился к престолонаследию. Воспитывался В.А. Жуковским; получил разностороннее образование: владел пятью языками, знал историю, географию, статистику, математику, естествознание, логику и философию. Прослушал специальные курсы М.М. Сперанского, министра финансов Е.Ф. Канкрина, советника Министерства иностранных дел Ф.И. Врунова, военного историка А. Жомини. В 1837 совершил трехмесячное ознакомительное путешествие по России и Зап. Европе. Женился на Марии Гессен-Дармштадтской (в православии Мария Александровна), от которой имел 6 сыновей и 2 дочерей. Вступив на престол в разгар неудачной для России Крымской войны (1853–1856), решил на проведение реформ. Был закрыт Высший цензурный комитет, объявлена амнистия декабристам, петрашевцам, участникам Польского восстания 1830–1831. Положение от 19 февраля 1861 отменило крепостную зависимость крестьян от помещиков. При Александре II проведены реформы: университетская (1863), судебная (1864), печати (1865), военная (1874); введено самоуправление в земствах (1864) и городах (1870). Убежденный, что самодержавие — наиболее органичная форма правления в России,

император не считал полезным принятие конституции. В результате он стал мишенью для террористов-революционеров (6 покушений), что привело к усилению охранительных принципов (усиление роли III Отделения во главе с П.А. Шуваловым). После неожиданной смерти старшего сына, 21-летнего цесаревича Николая (1865), и последовавшей тяжелой болезни жены Александр II вступил в связь с княгиней Е.М. Долгорукой, завершившуюся после смерти императрицы морганатическим браком. Император стал апатичен и потерял интерес к государственным делам. В области внешней политики Александр II стремился к расширению империи и усилению влияния России. Во время Русско-турецкой войны 59-летний император, считавший борьбу за освобождение единоверных соплеменников-болгар от османского ига священным долгом России, лично присутствовал на театре военных действий, покинув армию только после падения Плевны. Одержав военную победу, Россия потерпела дипломатическое поражение на Берлинском конгрессе в 1878. Война, сыгравшая благотворную роль для южных славян и поднявшая престиж России, усилила внутреннюю конфронтацию в обществе, вызванную многотысячными жертвами (особенно остро переживавшимися в связи с введением в 1874 всеобщей воинской повинности) и финансовым кризисом. Успешно было проведено завоевание и начато мирное освоение Средней Азии, присоединен к России Уссурийский край. В европейских делах Александр II занимал германофильскую позицию. 1 марта 1881 император был убит народовольцами, в тот самый день, когда собирался подписать проект широкой программы административных и экономических реформ, разработанный М.Т. Лорис-Меликовым.

Верещагин Александр Васильевич (1850–1909), брат художника, генерал-майор, писатель. Учился в Николаевском кавалерийском училище, затем вышел в отставку. С началом турецкой кампании 27-летний офицер вернулся на службу, командовал казачьей сотней под началом ген. М.Д. Скобелева, 30 августа 1877 был тяжело ранен под Плевной. Состоял ординарцем при Скобелеве во время ахалтекинской экспедиции (1881). Был оценщиком Дворянского земского банка. В 1900–1902 служил на Дальнем

Востоке. Автор сочинений «Дома и на войне», «У болгар и за границей», «Новые рассказы», «По Маньчжурии», «В Китае», «На войне».

Верещагин Сергей Васильевич (1845–1877), брат художника. Так же как и Василий Васильевич, занимался рисованием, обнаружив большой талант. Навестив раненого брата в Бухаресте, 22-летний начинающий живописец по его совету отправился на места боев и поступил в качестве волонтера в ординарцы к ген. М.Д. Скобелеву. Проявив незаурядную отвагу, был награжден Георгиевским крестом. Погиб при 3-м штурме Плевны 30 августа 1877.

Горталов Федор Матвеевич (1839–1877), майор 61-го пехотного Владимирского полка. 31 августа 1877 владимирцы во главе с Горталовым при обороне захваченного накануне ген. М.Д. Скобелевым турецкого редута на юго-западной окраине Плевны отбили 5 атак превосходящих сил противника и погибли при отражении 6-й атаки. Сам Горталов пал, заколотый штыками. В честь него было названо одно из сел под Плевной.

Горчаков Александр Михайлович (1798–1883), князь, министр иностранных дел России и государственный канцлер (1856). Окончив Царскосельский лицей (1817, вместе с Пушкиным), поступил на дипломатическую службу. Служил секретарем русского посольства в Лондоне; участвовал в конгрессах Священного союза в Троппау, Лайбахе и Вероне; был первым секретарем посольств в Лондоне, Риме, поверенным в делах во Флоренции, советником посольства в Вене, посланником при Германском союзе во Франкфурте-на-Майне. Во время Крымской войны, будучи главой русского посольства в Вене, удержал Пруссию и другие немецкие государства от вступления в войну против России, оттянул отправку австрийских войск для оккупации Молдавии и Валахии. Был сторонником сближения с Францией, крайне опасался конфликта с Англией. После событий 1876 престарелый канцлер был против вмешательства России в события на Балканском полуострове, счи-

тая, что жертвы, которые придется принести ради освобождения болгар, будут слишком тяжелы, а польза для русской политики не будет существенной.

Гурко (Ромейко-Гурко) Иосиф Владимирович (1828–1901), генерал-фельдмаршал (1894). По окончании Пажеского корпуса (1846) служил в лейб-гвардии гусарском полку; в 1875–1877 командовал 2-й гвардейской кавалерийской дивизией. В ходе Русско-турецкой войны 49-летний генерал-лейтенант Гурко во главе Передового отряда (4 конных полка, стрелковая бригада и болгарское ополчение при 2 батареях конной артиллерии) перешел Балканы, взял Казанлык и Шипку (за что удостоен ордена Св. Георгия 3-й степени). Затем, во главе войск гвардии и кавалерии Западного отряда, разбил турок под Горным Дубняком и Телишем. После падения Плевны, усиленный IX корпусом и 3-й гвардейской пехотной дивизией, перевалил через Балканский хребет, взял Филиппополь и занял Адрианополь. Произведен в генералы от кавалерии (декабрь 1877); за военные подвиги удостоен ордена Св. Георгия 2-й степени (1879). По окончании войны назначен помощником главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа. В 1879–1880 — санкт-петербургский временный генерал-губернатор; в 1882 назначен временным одесским генерал-губернатором и командующим войсками Одесского округа; в 1883–1894 — генерал-губернатор Привисленского края и командующий войсками Варшавского округа. С 1884 член Государственного совета.

Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905), генерал-адъютант (1878), генерал от инфантерии (1891), военный теоретик. По окончании Конопотского училища поступил в Петербургский Дворянский полк, в 1849 назначен прапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк. Окончил с золотой медалью Академию Генштаба (1856). Во время австро-итало-французской войны 1859 г. находился при штабе сардинской армии. С 1860 преподаватель, в 1863–1869 профессор кафедры тактики Академии Генерального штаба. С 1869 нач. штаба Киевского округа. В 1873–1877 командовал 14-й пехотной дивизией. В начале Русско-турецкой войны 47-летний Свиты Его Величества

генерал-майор Драгомиров первым перешел Дунай с 14-й дивизией и обеспечил развертывание русских войск на занятом плацдарме (за что награжден орденом Св. Георгия 3-й степени). В составе Передового отряда ген. Гурко 14-я дивизия участвовала во взятии Тырново и овладении горными перевалами. В период контрнаступления турок на Балканах Драгомиров привел резерв на помощь оборонявшему Шипкинский перевал русско-болгарскому отряду Н. Столетова; 12 августа был ранен на Шипке в колено правой ноги и выбыл из строя, едва избежав ампутации ноги. Произведен в генерал-лейтенанты. По выздоровлении назначен начальником Академии Генштаба (1878). С 1889 командующий войсками Киевского округа, в 1898–1903 киевский, подольский и волынский генерал-губернатор. Автор нескольких капитальных трудов по военной тематике. С 1903 член Государственного совета. Принадлежал к числу наиболее последовательных борцов с иудейским засильем в России.

Зотов Павел Дмитриевич (1824–1879), генерал от инфантерии. По окончании Академии Генерального штаба состоял при ней адъютант-профессором; служил начальником штаба войск Кубанской области и генерал-квартирмейстером кавказской армии. В феврале 1877, накануне начала Русско-турецкой войны, 53-летний генерал Зотов получил в командование IV армейский корпус. В ходе войны руководил штурмами Плевны (30 августа и 5 сентября) в качестве начальника штаба князя Карла Румынского, формально командовавшего объединенными русско-румынскими силами. По окончании войны назначен членом Военного совета.

Игнатъев Николай Павлович (1832–1908), граф, генерал-адъютант, генерал-лейтенант, дипломат. Сын гр. П.Н. Игнатъева, петербургского генерал-губернатора и председателя Совета министров при Николае I. Воспитывался в Пажеском корпусе. В 1849 произведен в офицеры и поступил в Академию Генерального штаба (окончил в 1853 с медалью). В чине капитана гвардейских гусар ушел добровольцем на Крымскую войну. В 1856 направлен военным атташе в Лондон. На Парижской мирной конференции в качестве военного эксперта принимал участие в переговорах с Тур-

цией об определении границ. В 1858 заключил выгодный торговый договор с бухарским эмиром; в 1860 заключил Пекинский договор с Китаем, присоединивший к России левый берег Амура и тихоокеанское побережье Маньчжурии. Директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел (1861–1864); с 1864 посланник, в 1867–1877 чрезвычайный и полномочный посол в Константинополе, пользовался большим влиянием при дворе султана Абдул-Азиза, поддержал образование независимой от греческого патриарха Болгарской Православной Церкви (1870). После обострения отношений с Турцией Игнатьев выступал за скорейшее начало военных действий, пока Турция была не готова к войне и воевала с Сербией и Черногорией. Отсрочка до апреля 1877 позволила туркам закупить оружие в Англии и Америке и мобилизовать армию. Во время войны 45-летний Игнатьев был прикомандирован к свите царя, принимая участие в обсуждении разнообразных дипломатических вопросов в главной квартире. После падения Плевны разрабатывал совместно с Милютиным проекты мирного договора. 5 января 1878 г. проект договора, представленный Игнатьевым, обсуждался на совещании у царя и получил одобрение. Помимо создания независимых княжеств Румынии, Сербии и Черногории и значительных территориальных приращений к ним предусматривалось создание «большой» Болгарии с выходом к Черному и Эгейскому морям. 19 февраля 1878 г. в Сан-Стефано был подписан preliminary договор, завершивший войну России и Турции. Сербия, Черногория и Румыния получали независимость. Болгария, включавшая Македонию, становилась автономным княжеством. России возвращалась Южная Бессарабия, а на Кавказе она получала города Батум, Карс, Ардаган и Баязет. России предстояло обсудить статьи, «имеющие европейский интерес», на конгрессе европейских держав. Правительство попыталось договориться с противниками порознь, начав с Австро-Венгрии. В марте 1878 г. в Вену для переговоров отправился Игнатьев. Однако он вернулся в Петербург, не добившись уступок. На Берлинском конгрессе Россию представляли Горчаков и Шувалов. Они согласились на пересмотр ряда важнейших статей Сан-Стефанского договора, в том числе на оккупацию Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины и

разделение Болгарии на две части. В 1881 Игнатъев был назначен сначала министром государственных имуществ, затем министром внутренних дел, но уже в 1882 отправлен в отставку. Он оставался членом Государственного совета, но больше занимался общественной деятельностью. Игнатъев был председателем Общества содействия торговле и промышленности, возглавлял Петербургское славянское благотворительное общество, был членом Русского географического общества, писал мемуары.

Имеретинский Александр Константинович (1837–1900), светлейший князь, генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Сын имеретинского царевича. Окончил Пажеский корпус и Академию Генерального штаба (1862). Службу начал в лейб-гвардии коннопионерном дивизионе (1855). Принимал участие в Кавказской войне, в подавлении Польского восстания (1863); в 1867 назначен начальником штаба командующего войсками, собранными в Варшаве. В 1873 начальник штаба Варшавского военного округа. Во время Русско-турецкой войны 40-летний генерал-майор князь Имеретинский командовал 2-й пехотной дивизией; 22 августа приступом овладел Ловчей (операцию проводил ген. Скобелев); под Плевной командовал резервами левого фланга, затем возглавлял штаб отряда, блокировавшего город; за отличие произведен в генерал-лейтенанты и награжден орденом Св. Георгия 3-й степени. В 1879 назначен начальником штаба Санкт-Петербургского военного округа, в 1881–1891 служил начальником Главного военного-судного управления и главным военным прокурором. С 1895 варшавский генерал-губернатор. Член Государственного совета.

Карл (Кароль) I Румынский (1839–1914), князь (1866), затем король (1881) Румынии, генерал-фельдмаршал российских войск (1912). Второй сын князя Карла Антона Иоахима Зеферина Гогенцоллерн-Зигмарингенского, министра-президента Пруссии в 1858–1862. В 1857 поступил в прусскую армию; посещал Боннский университет; в 1864 участвовал в войне с Данией. В 1866 приглашен на румынский престол, признан султаном наследственным правителем. Испытывал немало проблем с местной арис-

тократией, обострившихся в 1870 из-за традиционной симпатии румын к Франции. 4 апреля 1877, перед началом Русско-турецкой войны, Румыния заключила с Россией конвенцию, предоставляющую русским войскам право прохода по территории страны. 9 (21) мая, вскоре после начала войны, Румыния провозгласила независимость и объявила Турции войну. В середине августа по приглашению русского главнокомандующего 38-летний князь принял командование над румынско-русскими войсками под Плевной. Пожалован орденами Св. Георгия 3-й (за штурм укреплений Плевны, 5 сентября) и 2-й степени (по случаю падения Плевны, 29 ноября). В 1878 по условиям мира в Сан-Стефано, подтвержденным на Берлинском конгрессе, Турция признавала независимость Румынии, к которой была присоединена Северная Добруджа (при этом Южная Бессарабия отошла к России). В марте 1881 Карл I провозгласил Румынию королевством и начал военную реформу. В 1883 Румыния заключила секретный союз с Австро-Венгрией и Германией. В 1913 король, проведя при поддержке России бескровную войну с Болгарией, выступил затем в роли миротворца и на конгрессе в Бухаресте добился для Румынии территориальных приобретений. В начале 1-й мировой войны, разрываясь между давлением своих немецких родственников и профранцузским общественным мнением, король принял решение отречься от престола, но скончался от удара.

Катков Михаил Никифорович (1817 или 1818–1887), публицист, издатель, критик, тайный советник (1882). С отличием окончил словесное отделение философского факультета Московского университета (1838). В 1839 переехал в Санкт-Петербург, сотрудничал в журнале «Отечественные записки». Слушал лекции в Берлинском университете, был принят в доме Ф. Шеллинга. По возвращении в Россию (1843) сблизился с кругами славянофилов. Защитил магистерскую диссертацию «Об элементах и формах славяно-русского языка» (1845). Служил адъюнктом на кафедре философии Московского университета. В связи с новыми правилами в 1849 оставил университет. Работал редактором газеты «Московские ведомости» и чиновником особых поручений при Министерстве

народного просвещения. С 1856 редактор журнала «Русский вестник». В 60-е гг. годы был влиятельным публицистом. Инициатор реформ в сфере просвещения, нацеленных на утверждение классического образования. Пользовался покровительством Александра II и влиянием в правительственных кругах.

Кауфман (фон Кауфман) Константин Петрович (1818– 1882), генерал-адъютант (1864), инженер-генерал (1874). Службу начал в 1839. В 1844–1854 активный участник Кавказской войны. В Крымской войне командир Кавказского саперного батальона, участник сражений при Кюрюк-Дара и штурме Карса. С 1861 директор канцелярии военного министерства, сподвижник Д.А. Милютина в проведении военных реформ. В 1865 назначен генерал-губернатором Северо-Западного края и командующим войсками Виленского округа. С 1867, в возрасте 49 лет, назначен туркестанским генерал-губернатором и командующим войсками в Туркестане. В 1868 после серии побед над бухарским эмиром вынудил его сдать Самарканд и признать протекторат России; в 1873 покорил Хиву (за что удостоен ордена Св. Георгия 2-й степени); в 1875 — Коканд, где была образована Ферганская область. С 1874 занимался гражданским устройством Туркестанского края: основал 4 гимназии, 60 школ, публичную библиотеку; в Ташкенте выстроил лавки и биржу, но вскоре, не видя интереса туземцев к торговле, здание биржи обратил в театр. Дал импульс развитию хлопководства, шелководства и виноградарства; пытался развивать орошение Голодной степи. По окончании Русско-турецкой войны Кауфман принял предложение афганского эмира о союзе против англичан, но после Берлинского конгресса русская дипломатия затормозила его инициативу в этом направлении.

Криденер Николай Павлович (1811–1891), барон, генерал от инфантерии (1878). С 1859 генерал-майор, с 1863 начальник 27-й пехотной дивизии; генерал-лейтенант (1865); с 1876 командир IX армейского корпуса. Во время Русско-турецкой войны 66-летний Криденер командовал Западным отрядом Дунайской армии, во главе которого 4 июля овладел Никоподем (за что удостоен ордена Св. Геор-

гия 3-й степени). Был отбит с большими потерями при 2-м штурме Плевны (18 июля). С 1878 помощник командующего Варшавским военным округом.

Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925), генерал-адъютант, генерал от инфантерии, писатель. Окончил Павловское военное училище и Академию Генерального штаба. Участвовал в самаркандском походе 1868; командирован в Алжир, где принял участие в экспедиции французских войск в Большую Сахару. Участвовал в кокандском походе под начальством М.Д. Скобелева, заслужив за отличие в бою 27 января 1876 орден Св. Георгия 4-й степени. В 1876–1877 стоял во главе посольства в Кашгарию, где заключил договор с Якуб-беком. Во время Русско-турецкой войны 29-летний подполковник Куропаткин в должности начальника штаба отряда ген. Скобелева находился в сражении под Ловчей; при штурме Плевны 31 августа контужен в голову. При переходе отряда Скобелева через Балканы 25 декабря 1877 был тяжело ранен. После войны заведовал азиатской частью главного штаба, состоял адъютант-профессором военной статистики в Академии Генштаба. В 1879 назначен начальником стрелковой бригады в Туркестане, весной 1880 послан с отрядом в Кульджу для организации обороны хребта Борохоро. Сформировав в Амударьинском отделе особый отряд, провел его через 700 верст по пустыне к ген. Скобелеву в Ахалтекинский оазис. При штурме Геок-Тепе состоял начальником войск правого фланга, командовал главной штурмовой колонной. С 1882 служил при главном штабе. В марте 1890 назначен начальником Закаспийской области и командующим ее войсками. С 1898 военный министр. После начала Русско-японской войны, 8 февраля 1904, назначен командующим Маньчжурской армией. Потерпел ряд неудач. 12 октября был назначен вместо Е.И. Алексеева главнокомандующим всех русских сухопутных и морских сил на Дальнем Востоке. После поражения при Мукдене заменен Н.П. Линевичем. После войны назначен членом Государственного совета. Автор военных мемуаров.

Левицкий Казимир Васильевич (1835–1890), генерал-адъютант (1876), генерал-лейтенант (1885). По окончании Полоцкого

кадетского корпуса (1853) назначен в лейб-гвардии Павловский полк. Окончил Академию Генерального штаба (1859), причислен к гвардейскому Генеральному штабу с назначением старшим адъютантом штаба войск гвардии. В 1865 штаб-офицер для поручений при штабе войск гвардии Санкт-Петербургского военного округа, а в 1867 начальник штаба 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. С 1870 преподавал в Академии Генерального штаба в качестве адъютант-профессора. В 1874 за отличную службу по Генеральному штабу пожалован флигель-адъютантом, утвержден в звании профессора. Вскоре назначен членом комитета по образованию и устройству войск. В 1875 перешел в войска, получив в командование лейб-гвардии Конно-гренадерский полк; весной 1876 назначен помощником начальника штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. Во время Русско-турецкой войны 42-летний Свиты Его Величества генерал-майор Левицкий был одной из самых известных и противоречивых фигур. Назначенный вел. кн. Николаем Николаевичем на ответственный пост помощника начальника полевого штаба армии, он был нелюбим товарищами и подчиненными за излишнюю мелочность и угодливость перед начальством; из-за польского происхождения его обвиняли в измене России, возлагая ответственность за все военные неудачи. К числу заслуг Левицкого можно было отнести то, что на военном совете 1 сентября, после неудачного штурма Плевны, он решительно высказался против отступления (29 ноября, после падения Плевны, Александр II вспомнил об этом, лично вручив ему орден Св. Георгия 4-й степени). Выдвигая ген. И.В. Гурко, Левицкий всячески затушевывал М.Д. Скобелева, с которым у него еще в 60-х гг. было личное столкновение. Крупным упреком было его упущение в организации обеспечения продовольствием действующей армии и передаче этого дела пресловутой компании Грегера, Когана и Горвица. Репутация Левицкого была так подорвана, что Э.И. Тотлебен, вступая в командование армией, первым делом хотел убрать его с занимаемого поста, но тот своим служебным рвением сумел покорить сердце нового главнокомандующего. По окончании войны вел. кн. Николай Николаевич взял его к себе на должность генерал-инспектора кавалерии. В 1885 назначен командиром 1-й кавалерий-

ской дивизии, но вскоре подал в отставку по здоровью; по настоянию Николая Николаевича и Д.А. Милютина в 1888 назначен состоять для особых поручений при генерал-инспекторе кавалерии.

Мак-Гахан Януарий Алоизий (MacGahan, 1844–1878), журналист. Родился в США. Во время Франко-прусской войны 1870 и Парижской коммуны обратил на себя всеобщее внимание корреспонденциями в «New York Herald». Впервые ввел в Европе практику газетных интервью с политическими деятелями. В 1872 приехал в Россию, где женился на Варваре Николаевне Елагиной. Участвовал в хивинской экспедиции, дружил с М.Д. Скобелевым. Летом 1874 провел 9 месяцев в Пиренеях в лагере Дон-Карлоса. В 1875 путешествовал на английском корабле «Пандора» в полярные страны. В июне 1876 по предложению английской газеты «Daily News» отправился в Болгарию для расследования «болгарской резни». Его корреспонденции, вышедшие отдельной брошюрой («Turkish atrocities in Bulgaria», рус. пер. 1877), заставили смолкнуть противников вооруженного вмешательства России в защиту балканских народов. Во время Русско-турецкой войны 33-летний корреспондент присутствовал при переходе русских войск через Дунай, сопровождал (несмотря на перелом ноги) отряды Гурко и Скобелева, лежал в траншеях, больной лихорадкой. Во время мирных переговоров умер от тифа в Константинополе.

Меньшиков Владимир Александрович (1815–1893), князь, генерал-адъютант. Сын известного политического деятеля А.С. Меньшикова, главного «виновника» Крымской войны. Стал последним представителем знаменитого рода по мужской линии.

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912), граф, генерал-адъютант (1859), генерал-фельдмаршал (1898), военный министр при Александре II. Воспитывался в Московском университетском пансионе. Поступив фейерверкером в гвардейскую артиллерию, в 1833 был произведен в офицеры. В 1839 окончил курс Академии Генерального штаба. В 1839–1840 участвовал в Кавказской войне, был ранен. В 1845 назначен профессором Академии Генштаба по кафедре

военной географии. Ввел курс военной статистики. Автор трудов по военному делу, в т.ч. исследования об итальянском походе Суворова, за которое был удостоен Демидовской премии и избран членом-корреспондентом АН. С 1848 состоял по особым поручениям при военном министре. В 1856 назначен начальником штаба Кавказской армии. В 1860 назначен товарищем военного министра, с 1861 по 1881 занимал пост военного министра. Активно участвовал в государственных реформах 60-х гг., провел ряд мер по реорганизации армии, важнейшей из которых стало введение всеобщей воинской повинности (1 января 1874). Учредил женские врачебные курсы (закрытые после его отставки). Главным испытанием для нового устройства Русской армии стала Русско-турецкая война 1877–1878, когда молодое общенародное войско блестяще оправдало возлагавшиеся на него надежды. В критический момент кампании, после неудачи 30 августа под Плевной, 61-летний Милютин, прибывший на места боев с Александром II, решительно высказался против отступления за Дунай, и император поддержал его мнение. За труды во время войны Милютин был возведен в графское достоинство (30 августа 1878). После войны министр сурово расследовал многочисленные злоупотребления в армии, допущенные по интендантской и другим частям. После гибели Александра II вышел в отставку, оставшись членом Государственного совета, до самой кончины жил в Крыму. В 1898, при открытии памятника Александру II, был произведен в генерал-фельдмаршалы.

Непокойчицкий Артур Адамович (1813–1881), генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Учился в Пажеском корпусе и Академии Генштаба. Служил по Генеральному штабу. С 1841 принимал участие в военных действиях в Чечне и Дагестане. В 1849, состоя начальником штаба в отряде генерала Лидерса, вступившего в Трансильванию, отличился в сражении при Германштадте. В 1854–1856 был начальником главного штаба 2-й армии. По окончании войны назначен председателем комитета о сокращении штатов и делопроизводства по военному ведомству, затем председателем военно-кодификационной комиссии. Во время Русско-турецкой войны

64-летний генерал от инфантерии Непокойчицкий был начальником полевого штаба Действующей армии на Дунае. Удостоен орденов Св. Георгия 3-й степени (за успешную организацию переправы через Дунай, 15 июня 1877) и 2-й степени (за взятие Плевны, 29 ноября 1877). Член Государственного Совета.

Николай Николаевич (Старший) (1831–1891), великий князь, генерал-адъютант, генерал-фельдмаршал (1878). Третий сын императора Николая I. Участвовал в Крымской войне; 24 октября 1854 сражался на Инкерманских высотах (за что награжден орденом Св. Георгия 4-й степени). 28 марта 1855 назначен членом Государственного совета. Занимался реформой вооруженных сил в области инженерного дела и кавалерийской службы; с 1856 генерал-инспектор по инженерной части, с 1864 генерал-инспектор кавалерии. Командующий войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа. Во время Русско-турецкой войны 46-летний великий князь был назначен своим старшим братом Александром II главнокомандующим Действующей армией на европейском театре. Награжден орденами Св. Георгия 2-й степени (за успешную переправу через Дунай, 15 июля 1877) и 1-й степени (за взятие Плевны, 29 ноября 1877), став последним в истории полным кавалером этого ордена. За переход через Балканы получил золотую саблю с алмазами. По окончании войны произведен в генерал-фельдмаршалы. Почетный член Петербургской академии наук.

Новиков Модест Дмитриевич (1829–1893), капитан флота 1 ранга, вице-адмирал (1891). Окончил Морской кадетский корпус, в 1847 произведен в мичманы и назначен на Черноморский флот. В период обороны Севастополя — лейтенант, сражался на 6-м бастионе, был контужен (награжден орденом Св. Георгия 4-й степени). В 1869 вышел в отставку, в 1876 вновь поступил на военную службу. Во время Русско-турецкой войны 48-летний капитан 1 ранга Новиков успешно провел устройство минных заграждений через Дунай, обеспечив успешную переправу Русской армии, за что был удостоен ордена Св. Георгия 3-й степени (17 июня 1877). В 1886–1888

командовал отрядом кораблей Черноморского флота. В 1891 назначен старшим флагманом Черноморского флота. Член адмиралтейств-совета.

Осман-паша (Осман Нури, 1832–1900), турецкий маршал. Из рода Ягджи-огуллары. Окончил военную академию (1852). Во время Крымской войны служил в кавалерии, быстро вырос по службе. Успешно подавил восстание на Крите (1861) и беспорядки в Йемене (1864, награжден титулом «паша»). Назначен командующим округом Ишходра (совр. Шкодер, Албания) и Боснии. За успешное подавление сербского восстания 1876 произведен в звание маршала (мушир). Вскоре после начала Русско-турецкой войны 45-летний Осман-паша во главе 17-тысячного корпуса стремительно двинулся из Видина близ сербской границы на помощь Никополю; узнав о сдаче крепости, Осман-паша и его начальник штаба Таалет-бей закрепились в районе Плевны, построив в горах вокруг города артиллерийские редуты (один из первых в мировой практике примеров оперативного устройства мощных земляных укреплений). Захват Плевны, стратегического дорожного узла Северной Болгарии, поставил под угрозу коммуникации Русской армии. После ряда неудачных попыток штурма Плевны, понеся огромные потери, русские войска совместно с румынскими союзниками приступили к осаде города (с июля по ноябрь). Перед угрозой голода 12 (24) октября Осман-паша запросил у верховного командования разрешения прорваться из Плевны, но получил отказ. 28 октября (9 декабря) гарнизон совместно с турецким населением города решился на прорыв, но был остановлен русскими войсками; Осман-паша, раненный в ногу, был взят в плен и сложил оружие. За успешные действия под Плевной, парализовавшие на 145 дней действия основных русских сил, был удостоен титула «гази» (победоносный). В знак уважения к военным заслугам имп. Александр II вернул Осману-паше его саблю. До конца войны находился в плену в Харькове. По возвращении в Константинополь был встречен как герой и назначен султаном Абдул-Гамидом II обергоф-маршалом (мабейн-и хумаюн мушири). Впоследствии четырежды занимал пост военного министра.

Петрушевский Михаил Фомич (1832–1893), генерал от инфантерии. Окончил 1-й кадетский корпус и Академию Генерального штаба. Служа в лейб-гвардейском Литовском полку, участвовал в подавлении польского мятежа (1863–1864), был ранен. Назначен начальником штаба войск Оренбургского военного округа, затем помощником начальника штаба Туркестанского военного округа; участвовал в походе против бухарцев (1868) в должности начальника полевого штаба. Во время Русско-турецкой войны 45-летний генерал-майор Петрушевский командовал сначала бригадой, потом 14-й дивизией; участвовал в переправе через Дунай у Систово и в обороне Шипкинского перевала. При атаке 28 декабря начальствовал войсками, атаковавшими с фронта, овладел сильным неприятельским укреплением и удержал 22 турецких батальона, чем способствовал сдаче окруженной под Шейново турецкой армии; награжден орденом Св. Георгия 3-й степени. С 1882 по 1891 командовал IV корпусом, затем состоял в распоряжении военного министра. Погиб при пожаре парохода на Волге.

Радецкий Федор Федорович (1820–1890), генерал-адъютант, генерал от инфантерии (1877). Окончил Главное инженерное училище (1845) и Академию Генерального штаба (1849). Служил на Кавказе. В 1861–1862 начальник штаба Терской области, после 1863 командовал различными дивизиями. В 1876 назначен командиром VIII армейского корпуса. В начале Русско-турецкой войны 57-летний генерал-лейтенант Радецкий с вверенными ему войсками в ночь на 15 июня 1877 успешно совершил переправу через Дунай у Зимницы и Систово (за эту операцию награжден орденом Св. Георгия 3-й степени). Во главе частей Южного отряда Радецкий направился на Шипкинский перевал, где вел 5-месячную оборону; его незначительные силы 9–14 августа отразили нападения армии Сулеймана-паши, а затем выдержали изнурительные затяжные бои в сложных условиях. После падения Плевны руководил движением двух колонн своего отряда (Н.И. Святопол-Мирского и М.Д. Скобелева), обошедших позиции турок; результатом операции было окружение и пленение корпуса Весселя-паши под Шейново 28 декабря

(за заслуги под Шипкой и Шейново удостоен ордена Св. Георгия 2-й степени, 4 января 1878). В январе 1878 командовал левой колонной при наступлении на Адрианополь. По окончании войны Радецкого чествовали в России как национального героя. В 1888–1889 командовал войсками Киевского округа. С 1889 член Государственного совета.

Святополк-Мирский Николай Иванович (1833–1898), князь, генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Воспитанник Пажеского корпуса. Службу начал на Кавказе, где участвовал в делах с горцами и турками. Во время Русско-турецкой войны 44-летний генерал-лейтенант князь Мирский был начальником 9-й пехотной дивизии, командовал левой колонной во время окружения турецкой армии под Шейново; награжден орденом Св. Георгия 3-й степени. С 1881 наказной атаман войска Донского. Член Государственного совета (1898).

Скалон Дмитрий Антонович (1840–1918), генерал-адъютант (1914), генерал от кавалерии (1907), военный историк. Брат генералов Н.А. Скалона и Г.А. Скалона. Окончил Академию Генерального штаба. Служил в лейб-гвардии Уланском полку; в 1863 участвовал в подавлении восстания в Польше. С 1864 адъютант главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа вел. кн. Николая Николаевича (Старшего). Во время Русско-турецкой войны 37-летний Скалон состоял управляющим канцелярией великого князя, занимавшего должность главнокомандующего действующей армией; награжден золотым оружием (1877). В 1878–1891 начальник канцелярии управления генерал-инспектора кавалерии, затем начальник кавалерийской части главного штаба. С 1895 в распоряжении военного министра. Председатель Имп. русского военно-исторического общества (с 1907), действительный член Имп. русского исторического общества (с 1910), почетный член Имп. археологического института. Главный редактор юбилейного 13-томника «Столетие военного министерства, 1802–1902»; автор воспоминаний о войне 1877–1878.

Скобелев Дмитрий Иванович (1821–1879), генерал-лейтенант (1869). Сын ген. И.Н. Скобелева. Учился в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В 1849 в чине штабс-ротмистра назначен флигель-адъютантом, участвовал в венгерской кампании. Участвовал в Крымской войне на закавказском театре военных действий, за отличие в боях получил орден Св. Георгия 4-й степени. В 1855 назначен походным атаманом донских казачьих полков в Финляндии; командовал Елизаветградским драгунским (1856) и лейб-гвардии конно-гренадерским (1857) полками, собственным его величества конвоем (1858–1864). В 1869 назначен командующим ротой дворцовых гренадеров и инспектором кавалерии. В начале Русско-турецкой войны 56-летний генерал-лейтенант был назначен командиром Кавказской казачьей дивизии совместно с 4-й стрелковой бригадой, участвовал в заграждении Дуная, обеспечивая переправу русских войск. После расформирования Кавказской дивизии поступил в распоряжение главнокомандующего; в ноябре принимал участие в блокаде Плевны; участвовал в занятии Филиппополя (4 января), преследовал остатки армии Сулеймана-паши. За мужество и храбрость получил орден Св. Георгия 3-й степени. По окончании войны состоял при великом князе Николае Николаевиче.

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882), генерал-адъютант (1878), генерал от инфантерии (1881). Сын ген. Д.А. Скобелева. Образование получил дома и в пансионе Жирарде в Париже. В 1861 сдал экзамены в Петербургский университет, но, ввиду его закрытия из-за студенческих волнений, поступил в Кавалергардский полк. В 1863 добровольцем участвовал в подавлении Польского восстания. В 1864 переведен в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. По окончании Академии Генерального штаба (1868) направлен в командировку для изучения постановки военного дела в западноевропейских странах. Служил в Туркестанском военном округе. Участвовал в завоевании Хивы (1873) и подавлении Кокандского восстания (1874–1876), проявив выдающуюся отвагу (награжден золотым оружием и орденами Св. Георгия 4-й и 3-й степени). В феврале 1877 после образования на месте Кокандского

ханства Ферганской области назначен ее военным губернатором и командующим войсками. Но уже через несколько месяцев 34-летний генерал-майор Скобелев добровольцем отправился на Русско-турецкую войну, назначен начальником штаба сводной казачьей дивизии Д.А. Скобелева. Командовал Кавказской казачьей бригадой во время 2-го штурма Плевны (18 июля); руководил операцией по взятию крепости Ловча (22 августа); во время 3-го штурма Плевны (30 августа) во главе левофлангового отряда прорвался к городу, но на другой день был отбит. Командуя 16-й пехотной дивизией, участвовал в блокаде Плевны и зимнем переходе через Имитлийский перевал; в сражении под Шейново сыграл решающую роль в окружении армии Весселя-паши. В феврале 1878 отряд Скобелева занял Сан-Стефано (в 12 км от Константинополя), где была поставлена победная точка в военных действиях. После 3-го штурма Плевны получил чин генерал-лейтенанта. В 1878–1880 командир корпуса. В 1880–1881 возглавил 2-ю ахалтекинскую военную экспедицию, с 11-тысячным отрядом штурмом взял крепость Геок-Тепе, после чего Туркмения была присоединена к России; за эту победу произведен в генералы от инфантерии и получил орден Св. Георгия 2-й степени (14 января 1881). Разделял славянофильские взгляды, публично выступал против Австро-Венгрии и Германии. Скоропостижно скончался от паралича сердца. Талантливый военачальник, продолжатель суворовских традиций, Скобелев пользовался огромной популярностью в армии. В 1912 в Москве на Тверской площади был установлен памятник Скобелеву, снесенный в 1918.

Скрыдлов Николай Илларионович (1844–1918), адмирал (1909). Окончил Морской кадетский корпус (1864). Плавал на кораблях Балтийского флота. В 1869 был наблюдающим за погрузкой и отправкой на судах артиллерийских грузов. На яхте «Держава» в 1879 совершил плавание в Данию, Голландию и Англию. В 1875–1876 командовал яхтой «Никса». Вместе с гвардейским экипажем 33-летний лейтенант Скрыдлов принял участие в Русско-турецкой войне, командовал на Дунае минным катером «Шутка». 8 июня 1877, прикрывая работы по минированию реки для

обеспечения переправы русских войск, атаковал шестовой миной пароход «Эрекли», получив в бою ранения обеих ног (удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени). В дальнейшем командовал на Дунае пароходом «Карабия» (1877–1878). После войны служил на Балтийском флоте. В 1893 назначен младшим флагманом Балтийского флота с производством в чин контр-адмирала. В 1898–1899 командовал Средиземноморским отрядом судов Балтийского флота. В 1900 командующий сводным отрядом флотских экипажей в Петербурге, в 1900–1902 командующий эскадрой Тихого океана, в 1903–1904 главный командир Черноморского флота и портов Черного моря. После гибели вице-адмирала С.О. Макарова в Порт-Артуре в 1904 назначен командующим флотом Тихого океана, но не успел прибыть в осажденный Порт-Артур и осуществлял руководство из Владивостока. После окончания войны с Японией в 1906 инспектировал возвратившиеся на Балтийский флот корабли. С 1904 член адмиралтейств-совета. В августе 1909 уволен в отставку. Казнен в Петрограде во время большевистского террора.

Столетов Николай Григорьевич (1834–1912), генерал от инфантерии (1898). Из семьи владимирского купца; окончив гимназию, поступил в Московский университет (брат Александр — известный физик). По окончании учебы (1854) отправился на Крымскую войну фейерверкером. Сражался под Севастополем (где подружился с Л.Н. Толстым), под Инкерманом заслужил Георгиевский крест и получил офицерский чин. После войны окончил Академию Генерального штаба. В чине штабс-капитана назначен в главный штаб Кавказской армии под начало Д.А. Милютина. Служил начальником Закатальского округа. Летом 1865 переведен в Ташкент; трижды с дипломатической миссией посещал Персию и Афганистан. В 1868 участвовал в укреплении войск Оренбургского военного округа и занятии юго-восточного берега Каспийского моря, основал форт на месте буд. г. Красноводск. После покорения Хивинского ханства руководил амударьинской экспедицией (1874). Вскоре назначен командиром 1-й бригады 7-й пехотной дивизии. Во время Русско-турецкой войны 43-летнему генерал-майору Столетову были поручены сборы и обучение

болгарского ополчения; 18 мая 1877 ополчение приняло знамя, присланное из г. Самара с изображением Богоматери и свв. Кирилла и Мефодия. В составе передового отряда ген. Гурко ополчение участвовало в переходе через Балканы, у Эски-Загры отражало атаки превосходящих сил Сулеймана-паши. С июля по ноябрь отряд Столетова вместе с подошедшими на помощь силами ген. Драгомирова, а затем подкреплением ген. Радецкого держал оборону на Шипкинском перевале, отражая многочисленные атаки противника. С началом общего наступления участвовал в окружении стоявшей под Шейново турецкой армии. Сразу после войны, в мае 1878, направлен с дипломатической миссией в Афганистан, заключив договор о дружбе. Впоследствии командовал дивизией, корпусом, с 1899 член Государственного совета. Его именем названа одна из вершин близ Шипкинского перевала.

Струков Александр Петрович (1840–1911), генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Во время Русско-турецкой войны 37-летний полковник лейб-гвардии Конного полка Струков состоял адъютантом при главнокомандующем Действующей армии вел. кн. Николае Николаевиче. За рейд к Барбошскому мосту пожалован золотым оружием. За отличие, проявленное при минном заграждении Дуная у Парапана, удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени (21 июня). После падения Плевны произведен в генерал-майоры свиты. Командовал авангардом во время движения русских войск к Адрианополю. В апреле 1878 награжден золотой саблей с бриллиантами. Член Государственного совета.

Суворов Александр Аркадьевич (1804–1882), граф Рымникский, князь Италийский, генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Внук генералиссимуса Суворова. Воспитывался за границей; начал службу юнкером в лейб-гвардии конном полку; с отличием участвовал в персидской кампании. Во время турецкой войны 1828 находился при особе Николая I; позже командовал Фанагорийским полком. С 1848 лифляндский, Эстляндский и курляндский генерал-губернатор. В 1861 назначен санкт-петербургским военным генерал-губернатором, а в 1866, по упразднении этой должности, —

генерал-инспектором пехоты. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 престарелый 73-летний князь Суворов посещал театр военных действий в свите Александра II.

Сулейман-паша (Сюлейман, 1840–1892), турецкий генерал (1877). Окончил военное училище в Стамбуле (1861). С 1873 преподавал в военной академии, с 1874 ее вице-директор. Участвовал в свержении султана Абдул-Азиза (май 1876), вскоре назначен командующим турецкими войсками в Боснии и Герцеговине, руководил наступлением на Черногорию. После начала Русско-турецкой войны в июле 1877 корпус 37-летнего генерала был переброшен морем в Болгарию. Назначенный командующим балканской армией, в августе 1877 безуспешно штурмовал Шипку; с конца сентября до середины декабря командовал восточно-дунайской армией; в декабре 1877 — феврале 1878 главнокомандующий турецкими войсками; за поражение при Филиппополе (январь 1878) был отдан под суд и приговорен к 15 годам тюремного заключения, но затем помилован.

Тотлебен Эдуард Иванович (1818–1884), граф, генерал-адъютант (1855), инженер-генерал. Из семьи коммерсанта. После окончания частного пансиона учился в Петербурге в Главном инженерном училище. В 1838, не окончив курса из-за болезни сердца, вернулся в Ригу, служил в саперном батальоне в чине подпоручика. В 1848 направлен на Кавказ, проявил себя как храбрый и умелый сапер. С 1851 служил гвардейским инженером в Петербурге. Во время Крымской войны в 1854–1855 отличился при осаде Силистрии; обороняя Севастополь, проявил выдающийся инженерный талант при строительстве укреплений, не позволивших взять город атакой и заставивших противника перейти к осаде. Получив ранение, Тотлебен оставался на позициях, продолжая руководить оборонительными работами. После падения Севастополя строил фортификационные укрепления г. Николаев, совершенствовал оборону Кронштадта. В 1859 назначен директором инженерного департамента. В 1866–1873, будучи товарищем генерал-инспектора по инженерной части, разработал систему укреплений на

северо-западных границах, в 1874 занимался реорганизацией инженерных войск. Во время Русско-турецкой войны 59-летний Свиты Его Величества генерал-майор Тотлебен был вызван для организации регулярной блокады Плевны, увенчавшейся пленением турецкой армии Османа-паши (за что награжден орденом Св. Георгия 2-й степени, 29 ноября 1877 года). Командовал Рущукским отрядом, затем назначен главнокомандующим. По окончании войны награжден орденом Св. Андрея Первозванного и возведен в графское достоинство. В 1879 назначен одесским генерал-губернатором, с 1880 виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор. Член Государственного совета. Крупнейший военный инженер своего времени, автор ряда научных трудов, Тотлебен был почетным членом русской и иностранных академий.

Цвецинский Адам Игнатьевич (1826–1881), генерал-адъютант, генерал-лейтенант. Учился в Инженерном училище; командуя стрелковым батальоном, участвовал в подавлении польского мятежа. В 1871 назначен командиром 4-й стрелковой бригады. В начале Русско-турецкой войны 51-летний ген. Цвецинский во главе своей «железной бригады», находясь в авангарде, 15 июня 1877 переправился через Дунай у Зимницы и участвовал в занятии Систово. С 20 июня в составе передового отряда ген. Гурко совершил первый забалканский поход; в критическую минуту подоспел на помощь шипкинскому гарнизону.

Цертелев Алексей Николаевич (1848–1883), князь, дипломат и писатель. Окончил юридический факультет Московского университета. Совершил поездку в Турцию и Сербию; был секретарем генерального консульства в Белграде, вторым секретарем посольства в Константинополе, управляющим консульствами в Адрианополе и Филиппополе. В разгар «болгарской резни» 1876 вместе с американским консулом Скайлером производил расследование о турецких жестокостях. Во время Русско-турецкой войны 29-летний Цертелев поступил на военную службу, состоял ординарцем у ген. Д.И. Скобелева, затем у ген. Гурко, активно участвовал в занятии Тырнова и переходе по Хаинкёйскому перевалу; участвовал

в мирных переговорах в Адрианополе и Сан-Стефано; некоторое время состоял генеральным консулом в Филиппополе. Составитель «органического статуса» для Восточной Румелии. Автор исторических записок и воспоминаний.

Шаховской Алексей Иванович (1821–1900), князь, генерал от инфантерии. Во время Русско-турецкой войны командовал корпусом, вместе с ген. Криденером руководил неудачной 2-й осадой Плевны.



Указатель имен и географических названий

- Адлерберг Александр Владимирович, граф, министр двора
Адрианополь (совр. Эдирне), г. в Турции
Ак-Кент, г. в Китае
Александр Баттенберг, князь Болгарский
Альбедиль Федор Константинович, майор
Араб-Конак, перевал на Балканах
- Баба-Эски, село в Болгарии
Балк, командир уланского полка в отряде Струкова
Баранок, ординарец М.Д. Скобелева
Бибеско, румынский полковник, начальник бранкованского госпиталя
Бискупский Константин Ксаверьевич, генерал-майор Генерального штаба
Бобриков Г.И., полковник, бывший русский военный агент в Константинополе
Богдановский, врач
Богота, село в Болгарии
Бок, уполномоченный Красного Креста
Борохудзир, р. на границе с Китаем
Босния и Герцеговина
Боткин Сергей Петрович, врач
Брестовац, село под Плевной
Бухарест
- Вамбери А., венгерский востоковед
Васильчиков, кн., ротмистр
Венков Кузьма Петрович, казачий сотник
- Верещагин Александр Васильевич**
Верещагин Сергей Васильевич#
Верный (совр. Бишкек), г. в Туркестане
Вессель-паша, турецкий военачальник
Воейков Н.В., генерал-адъютант
Воронец, саперный офицер
Вульферт Г.А., полковник
Вяземский Л.Д., князь, полковник начальник бригады болгарского ополчения
- Габров (совр. Габрово), г. в Болгарии
Гадон С.С., полковник, командир Самогитского гренадерского полка
Галац, г. в Румынии
Галл, генерал
Гейнс, генерал
Германлы (совр. Харманли), г. в Болгарии
Гершельман, командир дивизии
Головачев, генерал
Горталов Ф.М.#
Горчаков А. М.#
Горшельт Теодор, живописец
Гофман Д.А., полковник
Греков, командир Донского казачьего полка
Гривица, село под Плевной
Григорович Дмитрий Васильевич, писатель
Грин, американский военный агент
Гродеков, полковник
Громов, купец
Гурко И.В.#

* Знаком # отмечены лица, чьи краткие биографии приведены в Приложении.

- Демидова, заведующая отделением Красного Креста в Бухаресте
- Дерфельден, штабс-ротмистр
- Джаркенд (совр. Панфилов), г. в Туркестане
- Джунис (Дьюниш), село в Сербии
- Дионисий, митрополит Адрианопольский
- Дмитровский Виктор Иванович, генерал-майор Генерального штаба
- Домонтович Михаил Алексеевич, генерал
- Дохтуров, генерал, начальник кавалерии
- Драгомиров М.И.**#
- Дубасов, артиллерист, брат капитан-лейтенанта Ф.В. Дубасова
- Дукмасов Петр Архипович, хорунжий, ординарец М.Д. Скобелева
- Дунай, р.
- Египет
- Ени-Загра (совр. Ново-Загора), г. в Болгарии
- Жиранде, знакомый Кауфмана и Скобелева
- Журжево (совр. Джурджу), г. в Румынии
- Зимница (совр. Зимнича), г. в Румынии
- Златоустовский перевал
- Зотов П.Д.**#
- Игнатьев Н.П.**#
- Идеат-паша
- Имеретинский А.К.**#
- Иметли, село
- Индия
- Казанлык, г.
- Казнаков, штабной офицер в отряде ген. Гурко
- Калитин П.П., подполковник
- Карл I Румынский**#
- Кармен-Сильва, псевдоним румынской княгини (затем королевы)
- Елизаветы, супруги Карла I
- Катков М.Н.**#
- Каты-Курган, г.
- Каульбарс Александр Васильевич, барон, генерал
- Кауфман К.П.**#
- Кашталинский, капитан
- Келлер Федор Эдуардович, граф, подполковник Генерального штаба
- Кирилин, сотник уральских казаков
- Китай
- Кишинев, г.
- Кладищев Д.П., полковник, флигель-адъютант
- Клегельс, ротмистр, ординарец ген. Гурко
- Колпаковский Герасим Андреевич, генерал, военный губернатор Семиреченской обл.
- Константинополь (совр. Стамбул), г.
- Косиковский, драгун
- Кремниц, врач
- Криденер Н.П.**#
- Кульджа, г. в Китае
- Кумани Алексей Михайлович, дипломат
- Курбатов, казак
- Курковский, денщик М.Д. Скобелева
- Куропаткин А.Н.**#
- Кутепов Н.И., штабс-капитан, градоначальник Габрова
- Кухаренко, командир полка кубанских казаков
- Ласковский, полковник

- Левис (Левис-оф-Менар) Оскар Александрович, командир полка владикавказских казаков
- Левицкий К.В.**[#]
Лоб-Нер озеро Ловча (совр. Ловеч), г. в Болгарии
- Ломсен, английский генерал
- Лукашев, штабс-ротмистр гатчинских кирасир
- Лысая гора, на Шипкинском перевале
- Люле-Бургас (совр. Люлебургас), г. в Турции
- Мак-Гахан Я.**[#]
Малорош, село в Румынии
Малы-Дижос, село в Румынии
Марица, р.
Марков, ординарец М.Д. Скобелева
Марконет, доктор
Маслов М.Н., капитан
Меллер-Закомельский Александр Николаевич, генерал
- Меньшиков В.А.**[#]
Мещерский Е.М., полковник, командир батареи, убитый на Шипке
- Милютин Д.А.**[#]
Михневич, капитан
Мольский Виталий Константинович, генерал-майор
Мольтке Хельмут Карл, немецкий фельдмаршал
- Муравьев Михаил Николаевич, граф, будущий министр иностранных дел
- Мустафа-паша
Мухтар-паша
- Нагловский Дмитрий Станиславович, генерал-майор Генерального штаба
- Назаров Николай Николаевич, полковник
- Намик-паша
Наполеон I, французский император
Наполеон III, французский император
Насветевич Александр, офицер Минского полка
Нелидов Александр Иванович, дипломат
Немирович-Данченко Василий Иванович, писатель
- Непокойчицкий А.А.**[#]
Николай Николаевич (Старший), великий князь[#]
Никополь (совр. Никопол), г. в Болгарии
Нилов Константин Дмитриевич, мичман гвардейского экипажа
Новиков М.Д.[#]
- Обер-Миллер, доктор
Оболенский Николай Николаевич, князь, генерал-майор свиты, командир лейб-гвардии Преображенского полка
Орлов Денис, командир полка донских казаков
Орхание (совр. Ботевград), г. в Болгарии
- Осман-паша**[#]
Остен-Сакен, барон
- Панкратьев, командир полка ингушей и осетин
Панютин Всеволод Федорович, полковник, командир Углицкого полка
Парадим, село в Болгарии
Парапан, село в Румынии
Паренцов (Паренсов) П.Д., полковник Генерального штаба
Париж
Паршин, казак, денщик ген. Струкова

- Пацельт, врач
 Пеллегрини, адъютант ген. Зотова
 Петлин, штабной офицер в отряде
 ген. Гурко
 Петрошаны, село в Румынии
Петрушевский М.Ф.[#]
 Пистолькорс, полковник
 Плевна (совр. Плевен), г. в Болгарии
 Плоешти, г. в Румынии
 Плюцинский, полковник-артиллерист
 Подъяпольский, офицер гвардейского экипажа
 Правец, перевал на Балканах
 Пуцин, полковник, командир гренадерского полка
 Пясецкий, врач

Радецкий Ф.Ф.[#]
 Радоницы, село в Болгарии
 Раух Оттон Егорович, генерал-майор Генерального штаба
 Рейс, князь, немецкий посол в Константинополе
 Родосто, г. в Турции
 Руцук (совр. Русе), г. в Болгарии

 Самарканд
 Сан-Стефано, пригород Константинополя
 Сахаров, капитан Генерального штаба
 Св. Николая гора, на Шипкинском перевале
Святополк-Мирский Н.И.[#]
 Сталовицы, село в Болгарии
 Севастополь
 Сельви, село в Болгарии
 Сербия
 Сервер-паша
 Серов, майор
 Силиври, г. в Турции
 Систово (совр. Свиштов), г. в Болгарии

 Скалон Георгий Антонович, ротмистр, брат Д.А. Скалона
Скалон Д.А.[#]
Скобелев Д.И.[#]
Скобелев М.Д.[#]
Скрыдлов Н.И.[#]
 Слободзеи (совр. Слобозия), г. в Румынии
 Служенко, поручик
 Ставрополь
 Стамбулов (Стамболов) С., болгарский политик
Столетов Н.Г.[#]
Струков А.П.[#]
 Стуковенко, врач
 Стюарт Д., русский консул в Бухаресте
Суворов А.А.[#]
Сулейман-паша[#]
 Суханов, штабной офицер в отряде ген. Гурко
 Сухотин Н.П., штабс-ротмистр

 Темплъ Ричард, английский генерал
 Ташкент
 Тишкент, г. в Туркестане
 Толстой, граф, командир болгарского ополчения
 Томиловский, генерал
 Топлиш, село в Болгарии
Тотлебен Э.И.[#]
 Трново-Семенли, село в Болгарии
 Трубчанинов, купец
 Тунджа, р. в Болгарии
 Тургенев Иван Сергеевич, писатель
 Тургень, г. в Китае
 Туркестан
 Тутолмин, полковник
 Тырнов (совр. Велико-Тырново), г. в Болгарии

 Филиппополь (совр. Пловдив), г. в Болгарии

- Форбс, американский журналист
Фратешти, г. в Румынии
Фрезе, полковник Генерального штаба
- Хавса, село в Болгарии
Харанов, ординарец М.Д. Скобелева
Хлудов, купец
Хомичевский, ординарец М.Д. Скобелева
Хоргос, р. в Китае
Христо, болгарский переводчик
- Цвезинский А.И.[#]
Цертелев А.Н.[#]
- Чайковский, офицер главной квартиры
Чампандзи, г. в Китае
Черкасов Константин Семенович, поручик
Черкасский, князь
Чернявская Александра Аполлоновна, сестра милосердия
Черняев Михаил Григорьевич, генерал
Чингис-хан, генерал-адъютант вел. кн. главнокомандующего
Чорлу, г. в Турции
Чугучак, г. в Китае
Чудновский, врач
- Шандорник, гора в Болгарии
Шаховской А.И.[#]
- Шаховской Лев Владимирович, князь, журналист
Шейново, село в Болгарии
Шеметилло Николай Михайлович, капитан
Шестаков, офицер
Шипка, село в Болгарии у перевала через Балканы
Шлиттер, полковник, флигель-адъютант
Штаден, сестра милосердия
Штейн, генерал, комендант Казан-лыка
Штемпель (фон Штемпель) Фридрих Карлович, барон, подполковник
Штрандман, командир кавалерии
Шувалов, граф, начальник 2-й гвардейской дивизии
- Щаблыкин, денщик Венкова
Щербинский, русский губернатор
Тырнова
- Эман, поручик
Энгельгардт Александр Николаевич, подполковник Генерального штаба
Эски-Загра (совр. Стара-Загора), г. в Болгарии
Этрополь, село в Болгарии
- Яблонцы, село в Болгарии
Языков, полковник

Список иллюстраций

- Верещагин — гардемарин (по окончании Морского кадетского корпуса, 1860). Фото. С. 7.
- В.В. Верещагин. Забытый.* 1871. Не сохранилось. С. 10.
- В.В. Верещагин. Подавление индийского восстания англичанами: Расстрел из пушек. Ок. 1884.* Местонахождение неизвестно. С. 12.
- Великие князья Александр Александрович и Владимир Александрович. Фото. Из кн.: *Верещагин В.В. О войне.* М., 1902. С. 14.

- Верещагин в 1877 г. Фото. Оттуда же. С. 15.
- Ген. Д.И. Скобелев. Из кн.: *Верещагин В.В. О войне*. М., 1902. С. 27.
- В.В. Верещагин*. «Бабу тронул». Из кн.: *Верещагин В.В. Повести, очерки, воспоминания*. М., 1990. С. 31.
- В.В. Верещагин*. Солдатские палатки. Из кн.: *Верещагин В.В. О войне*. М., 1902. С. 32.
- В.В. Верещагин*. Донской казак. Оттуда же. С. 36.
- В.В. Верещагин*. Кубанский казак. Оттуда же. С. 36.
- Вид Руцука. Из кн.: *Война 1877 и 1878 гг.* СПб., 1879–1880. С. 39.
- Лейтенант гвардейского экипажа Н.И. Скрыдлов. Оттуда же. С. 45.
- Ген. М.И. Драгомиров. Оттуда же. С. 47.
- Переправа у Зимницы. Оттуда же. С. 52.
- Закладывание мин на Дунае. Оттуда же. С. 56.
- В.В. Верещагин*. Матрос. Из кн.: *Верещагин В.В. О войне*. М., 1902. С. 58.
- Минная атака лейтенанта Скрыдлова. Из кн.: *Война 1877 и 1878 гг.* СПб., 1879–1880. С. 60.
- Н.И. Скрыдлов — георгиевский кавалер. Из кн.: *Верещагин В.В. О войне*. М., 1902. С. 74.
- Сестра милосердия. Оттуда же. С. 76.
- Генерал Н.П. Криденер. Из кн.: *Война 1877 и 1878 гг.* СПб., 1879–1880. С. 77.
- Сергей Верещагин в 1877 г. Фото. С. 78.
- Вид Систова. Из кн.: *Война 1877 и 1878 гг.* СПб., 1879–1880. С. 97.
- В.В. Верещагин*. Болгарский домик. Из кн.: *Верещагин В.В. О войне*. М., 1902. С. 98.
- Военный министр Д.А. Милютин. Оттуда же. С. 99.
- Д.А. Скалон. Оттуда же. С. 101.
- Князь А.А. Суворов. Оттуда же. С. 103.
- Генерал А.И. Шаховской. Из кн.: *Война 1877 и 1878 гг.* СПб., 1879–1880. С. 104.
- Император Александр II в 1877 г. Оттуда же. С. 106.
- Великий князь — главнокомандующий Николай Николаевич (старший). Оттуда же. С. 107.
- В.В. Верещагин*. Палатка главнокомандующего. Из кн.: *Верещагин В.В. О войне*. М., 1902. С. 108.
- Александр II под Плевной. Из кн.: *Война 1877 и 1878 гг.* СПб., 1879–1880. С. 117.
- План штурма Плевны 30–31 августа. С. 120.
- Взятие Гривицкого редута. Оттуда же. С. 125.
- Генерал князь А.К. Имеретинский. Оттуда же. С. 133.
- Скобелев берет редут 30 августа. Оттуда же. С. 136.
- Осман-папа. Оттуда же. С. 138.
- Генерал П.Д. Зотов. Оттуда же. С. 140.
- Генерал Э.И. Тотлебен. Оттуда же. С. 143.
- В.В. Верещагин*. Болгарская хата. Из кн.: *Верещагин В.В. О войне*. М., 1902. С. 145.
- Я. Мак-Гахан. Фото. С. 147.
- Вид Тырнова. Из кн.: *Война 1877 и 1878 гг.* СПб., 1879–1880. С. 159.
- В.В. Верещагин*. Минарет. Из кн.: *Верещагин В.В. О войне*. М., 1902. С. 160.

- Вид Габрова. Из кн.: Война 1877 и 1878 гг. СПб., 1879—1880. С. 163.
- Зима на Шипке. Оттуда же. С. 166.
- В.В. Верещагин.* Землянка-дворец генерала Петрушевского. Из кн.: *Верещагин В.В.* О войне. М., 1902. С. 167.
- Генерал М.Ф. Петрушевский. Из кн.: Война 1877 и 1878 гг. СПб., 1879—1880. С. 168.
- Верещагин после ранения. Фото. С. 169.
- В.В. Верещагин.* Турецкие траншеи под горой Св. Николая после нашей атаки. Из кн.: *Верещагин В.В.* О войне. М., 1902. С. 172.
- Атака турками горы Св. Николая. Из кн.: Война 1877 и 1878 гг. СПб., 1879—1880. С. 174.
- В.В. Верещагин.* Вход на редут Горного Дубняка. Из кн.: *Верещагин В.В.* О войне. М., 1902. С. 175.
- В.В. Верещагин.* Редут Горного Дубняка. Оттуда же. С. 175.
- В.В. Верещагин.* Братские могилы под Горным Дубняком. Оттуда же. С. 177.
- План укрепления Горный Дубняк. Из кн.: Война 1877 и 1878 гг. СПб., 1879—1880. С. 178.
- Князь Цертелев — парламентар. Оттуда же. С. 180.
- В.В. Верещагин.* Памятник егерям под Телишем. Из кн.: *Верещагин В.В.* О войне. М., 1902. С. 182.
- Внутри взятого редута под Горным Дубняком. Из кн.: Война 1877 и 1878 гг. СПб., 1879—1880. С. 184.
- В.В. Верещагин.* Гусар. Из кн.: *Верещагин В.В.* О войне. М., 1902. С. 186.
- В.В. Верещагин.* Отрезанные турками головы егерей под Телишем. Оттуда же. С. 188.
- В.В. Верещагин.* Вырезанная турками часть из ноги. Оттуда же. С. 189.
- В.В. Верещагин.* Болгарский буйвол. Оттуда же. С. 191.
- Генерал И.В. Гурко. Из кн.: Война 1877 и 1878 гг. СПб., 1879—1880. С. 194.
- План позиций при Шандорнике и Араб-Конаке. Оттуда же. С. 198.
- В.В. Верещагин.* Орудие в Правце, близ генерала Гурко. Из кн.: *Верещагин В.В.* О войне. М., 1902. С. 201.
- Празднование взятия Карса и Плевны солдатами и офицерами. Из кн.: Война 1877 и 1878 гг. СПб., 1879—1880. С. 204.
- В.В. Верещагин.* Убитый турок. Из кн.: *Верещагин В.В.* О войне. М., 1902. С. 209.
- Геройская смерть майора Горталова. Из кн.: Война 1877 и 1878 гг. СПб., 1879—1880. С. 212.
- Александр II в Болгарии. Фото. Из кн.: *Верещагин В.В.* О войне. М., 1902. С. 213.
- Очистка Плевны. Из кн.: Война 1877 и 1878 гг. СПб., 1879—1880. С. 215.
- Генерал М.Д. Скобелев. Оттуда же. С. 219.
- В.В. Верещагин.* Турецкая деревня. Из кн.: *Верещагин В.В.* О войне. М., 1902. С. 221.
- План обхода Шипки. Из кн.: Война 1877 и 1878 гг. СПб., 1879—1880. С. 224.
- Переход через Балканы у Шипки. Оттуда же. С. 226.

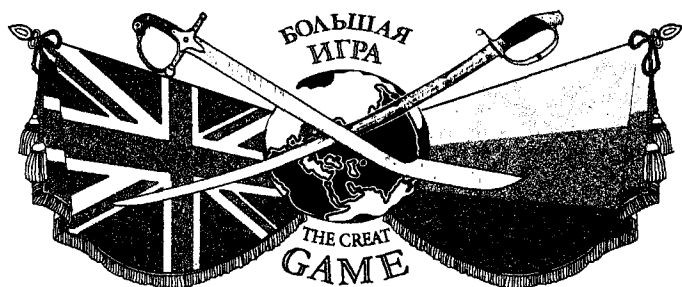
- В.В. Верещагин.* Переход Скобелева через Балканы. Из кн.: *Верещагин В.В. О войне.* М., 1902. С. 227.
- Подполковник А.Н. Куропаткин. Из кн.: *Война 1877 и 1878 гг.* СПб., 1879–1880. С. 229.
- В.В. Верещагин.* Скобелев и Куропаткин смотрят в бинокли в долину Тунджи, откуда ждут подхода турецкой армии Сулеймана. Из кн.: *Верещагин В.В. О войне.* М., 1902. С. 231.
- Насветевич на Шипке. Фото. Оттуда же. С. 232.
- В.В. Верещагин.* Гвардейские могилы. Оттуда же. С. 235.
- В.В. Верещагин.* Колодец. Оттуда же. С. 240.
- В.В. Верещагин.* Солдат. Оттуда же. С. 241.
- В.В. Верещагин.* В траншеях у Скобелева. Оттуда же. С. 243.
- Генерал Н.Г. Столетов. Из кн.: *Война 1877 и 1878 гг.* СПб., 1879–1880. С. 254.
- В.В. Верещагин.* Главный турецкий редут под Шейновом с белым флагом. Внизу землянка Веселя-паши, занятая Скобелевым. Из кн.: *Верещагин В.В. О войне.* М., 1902. С. 257.
- Верещагин зимой 1877–1878 гг. Фото. Оттуда же. С. 259.
- Генерал Н.И. Святополк-Мирский. Из кн.: *Война 1877 и 1878 гг.* СПб., 1879–1880. С. 261.
- В.В. Верещагин.* Братская могила. Из кн.: *Верещагин В.В. О войне.* М., 1902. С. 263.
- Последняя турецкая атака на Шипке. Из кн.: *Война 1877 и 1878 гг.* СПб., 1879–1880. С. 268.
- Генерал Ф.Ф. Радецкий. Оттуда же. С. 275.
- Генерал А.П. Струков. Из кн.: *Верещагин В.В. О войне.* М., 1902. С. 282.
- В.В. Верещагин.* Переводчик Христо. Оттуда же. С. 287.
- В.В. Верещагин.* Офицеры-кавалеристы. Оттуда же. С. 294.
- Бегство турок из-под Адрианополя. Из кн.: *Война 1877 и 1878 гг.* СПб., 1879–1880. С. 296.
- В.В. Верещагин.* В Адрианополе. Из кн.: *Верещагин В.В. О войне.* М., 1902. С. 301.
- Вступление русских войск в Адрианополь. Из кн.: *Война 1877 и 1878 гг.* СПб., 1879–1880. С. 302.
- В.В. Верещагин.* Мечеть под Адрианополем. Из кн.: *Верещагин В.В. О войне.* М., 1902. С. 305.
- В.В. Верещагин.* Болгарский погонщик. Оттуда же. С. 310.
- В.В. Верещагин.* Цыганка. Оттуда же. С. 310.
- В.В. Верещагин.* Дом в Чорлу. Оттуда же. С. 316.
- В.В. Верещагин.* Денщики. Оттуда же. С. 318.
- В.В. Верещагин.* Офицер и денщик. Оттуда же. С. 319.
- В.В. Верещагин.* Офицер. Оттуда же. С. 320.
- В.В. Верещагин.* Капитель. Оттуда же. С. 322.
- Верещагин в 1878 г. Фото. Оттуда же. С. 328.
- Генерал М.Д. Скобелев. Фото (с дарственной подписью Верещагина). Оттуда же. С. 346.
- В.В. Верещагин.* Фото.

Иллюстрации на 1-й вкладке
(работы В.В. Верещагина)

- В.В. Верещагин.* Пикет на Дунае. 1878–1879. 120х200,5 см. Киевский музей русского искусства.
- В.В. Верещагин.* Угол турецкого редута, взятого 30 августа М.Д. Скобелевым, но 31 августа снова отбитого турками. Этюд. 1877. 10,3х15,5 см. Киевский музей русского искусства.
- В.В. Верещагин.* Дорога военнопленных (Дорога в Плевну). 1878–1879. Бруклинский музей, США.
- В.В. Верещагин.* Телега для раненых. 1877. 9х16,5 см. Киевский музей русского искусства.
- В.В. Верещагин.* Шпион. 1878–1879. 100х76 см. Киевский музей русского искусства.
- В.В. Верещагин.* Транспорт раненых (Раненые). 1878–1879. Местонахождение неизвестно.
- В.В. Верещагин.* Место битвы 18 июля 1877 г. перед Кришинским редутом под Плевной. Этюд. 1877–1880. 16,5х23,5 см. Киевский музей русского искусства.
- В.В. Верещагин.* Перед атакой. Под Плевной. 1881. 179х401 см. Государственная Третьяковская галерея.
- В.В. Верещагин.* После атаки. Перевязочный пункт под Плевной. 1881. 183х402 см. Государственная Третьяковская галерея.
- В.В. Верещагин.* Победители. 1878–1879. 180х301 см. Киевский музей русского искусства.
- В.В. Верещагин.* Побежденные. Панихида. 1878–1879. 180х300,5 см. Государственная Третьяковская галерея.
- В.В. Верещагин.* Трупы замерзших турецких солдат. Этюд. 1877–1878. 3,9х14,3 см. Киевский музей русского искусства.
- В.В. Верещагин.* Привал военнопленных. 1878–1879. Бруклинский музей, США.
- В.В. Верещагин.* Переход колонны М.Д. Скобелева через Балканы. Этюд. 1877–1878. 7,9х13,1 см. Киевский музей русского искусства.
- В.В. Верещагин.* Пикет на Балканах. Ок. 1878. 47х38 см. Киевский музей русского искусства.
- В.В. Верещагин.* Два ястреба (Башибузуки). 1878–1879. 78,5х110 см. Киевский музей русского искусства.
- В.В. Верещагин.* Представляют трофеи... 1872. 240,8х171,5 см. Государственная Третьяковская галерея.
- В.В. Верещагин.* Двери Тамерлана (во дворце бухарского эмира в Самарканде). 1872. 213х168 см. Государственная Третьяковская галерея.
- В.В. Верещагин.* Афганец. Этюд. 1867–1868. 41,5х26,8 см. Государственная Третьяковская галерея.
- В.В. Верещагин.* Смертельно раненый: «Ой, убили, братцы!.. Убили!.. Ой, смерть моя пришла!..» 1873. 41,5х26,8 см. Государственная Третьяковская галерея.
- В.В. Верещагин.* Высматривают. 1873. 81х103 см. Государственная Третьяковская галерея.

- В.В. Верещагин.* Парламентеры: «Сдавайся!» — «Убирайся к черту!» 1873. 58,4x74 см. Государственная Третьяковская галерея.
- В.В. Верещагин.* У крепостной стены: «Тсс!.. Пусть войдут...» 1871. 95x160,5 см. Государственная Третьяковская галерея.
- В.В. Верещагин.* У крепостной стены: «Вошли!..» 1871. Не сохранилось.
- В.В. Верещагин.* «На Шипке все спокойно!» Триптих. 1878–1879. Ч. 1: Московский центр искусств. Ч. 2–3: Местонахождение неизвестно.
- В.В. Верещагин.* Снежные траншеи. 1878–1881. Местонахождение неизвестно.
- В.В. Верещагин.* Торжествуют: «Так повелевает Бог. Нет Бога, кроме Бога...» 1872. 195,5x257 см. Государственная Третьяковская галерея.
- В.В. Верещагин.* Нападают врасплох. 1871. 82x207 см. Государственная Третьяковская галерея.
- В.В. Верещагин.* Окружили — преследуют... 1872. Не сохранилось.





Содержание

От редакции	3
<i>П. Кузенков. Верещагин и война</i>	6
На войне 1877–1878 гг.	25
Турецкий поход. На Дунае	25
Госпиталь. Бухарест	65
Плевна	94
На Шипке	149
В отряде генерала Гурко	174
Через Балканы со Скобелевым	218
На Адрианополь	276
Михаил Дмитриевич Скобелев, 1870–1882 гг.	331
Самарканд, 1868 год	364
На китайской границе, 1869 год	402
Из опыта походов	433
О социализме	451
Приложения	460
Краткие биографии героев записок В.В. Верещагина	440
Указатель имен и географических названий	484
Список иллюстраций	488



Информационно-просветительский портал ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА РОССИИ

www.pravkniga.ru

По БЛАГОСЛОВЕНИЮ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
АЛЕКСИЯ II

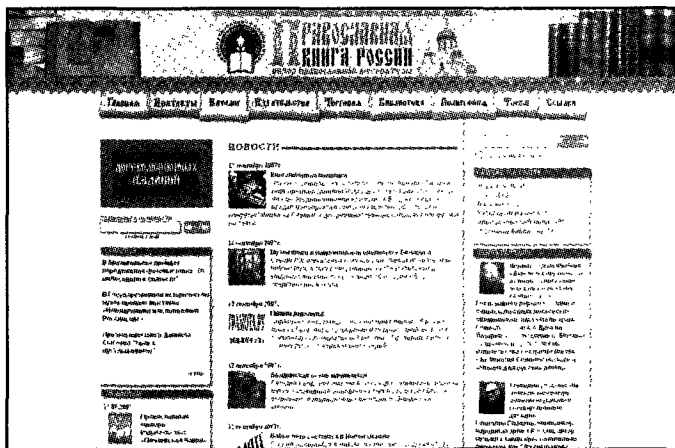
создан сайт, посвященный православным книгам,
выходящим в России,
издательствам, их выпускающих,
православным книготорговым организациям
и библиотекам.

ЧТО РАЗМЕЩЕНО НА САЙТЕ:

1. Контактная информация всех издательств, специализирующихся на выпуске православной литературы;
2. Сведения о книгах: автор, название, издательство, объем, издательская цена, содержание, аннотация, обложка, несколько страниц текста;
3. Сведения о книжных магазинах, специализирующихся на продаже православной литературы;
4. Ссылки на интернет-ресурсы: электронные библиотеки, СМИ, интернет-магазины.
5. Поиск книг по издательствам и тематике.
6. Интернет-встречи и круглые столы с руководителями издательств и книготорговых компаний (в том числе с настоятелями храмов, организовавших издательства или большие церковные лавки). Аналитические статьи о православном книжном рынке.

ИНФОРМАЦИЯ
НА ПОРТАЛЕ
ДЛЯ ВСЕХ
РАЗМЕЩАЕТСЯ
БЕСПЛАТНО.

Портал носит
исключительно
информацион-
ный характер
и торговой
деятельностью
не занимается.



В.В. ВЕРЕЩАГИН

СКОБЕЛЕВ

**РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877–1878 гг.
В ВОСПОМИНАНИЯХ В.В. ВЕРЕЩАГИНА**



Редактор-составитель *П.В. Кузенков*
Выпускающий редактор *Е.В. Кораблина*
Технический редактор *А.Н. Ковалева*
Корректоры *Н.В. Комышанская, Н.Н. Сергеева*
Компьютерная верстка *С.В. Митриковой*
Оформление *Н.Л. Климовой, С.В. Митриковой*

Издательство «Даръ»

105264 Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.49а
тел. (495) 780-39-11 (многоканальный)

Подписано в печать 05.10.2007. Формат 70 × 100/16.

Бумага офсетная. Гарнитура «SchoolBookС».

Печать офсетная. Усл.печ.л. 40,2. Уч.-изд. л. 20,4.

Тираж 5000 экз.

Заказ № С-1337.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии ОАО ПИК «Идел-Пресс».

420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.

E-mail: idelpress@mail.ru

Настоящая книга открывает собой серию «Большая игра». Профессиональным военным, дипломатам, историкам этот термин (по-английски «the great game») известен как термин, обозначающий англо-русское соперничество за влияние на Ближнем и Среднем Востоке в XIX — начале XX века. Соперничество, приведшее Россию и ее армии в Среднюю Азию, Персию, Манчжурию, Сибирь, на Кавказ, Балканы и в Малую Азию, получило свое драматическое продолжение после Октябрьской Революции в противостоянии СССР и США — в противостоянии военных блоков и политических систем. Таким образом, «Большая игра» отнюдь не закончилась русско-британским договором 1907 года, подписанным ввиду растущей германской мощи. Она также не ограничивается регионом Ближнего и Среднего Востока и Средней Азии — эта игра охватила весь земной шар, а место Британии в роли «мирового гегемона» заняли их прямые наследники — США. Не закончена эта игра и поныне, и уже от нового поколения политиков и военных зависит, приобретет ли она форму прямого столкновения, или будет разыгрываться в виде холодной войны.

Первая книга данной серии посвящена событиям русско-турецкой войны 1877–1878 гг., 130-летие которой отмечается в этом году. Эта война — одно из крупнейших событий XIX века. Причина этого не только в числе участвовавших в сражениях войск и масштабе военных действий, развернувшихся одновременно на двух фронтах в Европе и Азии. Главное значение этой войны в том, что ее результатом стало окончательное освобождение балканских народов, получивших возможность выйти на путь свободного национального развития.

В. В. Верещагина мы знаем в первую очередь как художника-баталиста и героя нескольких войн. Книга «Воспоминания о русско-турецкой войне» показывает его с новой стороны — как замечательного писателя. Это редкий по своим художественным и историческим достоинствам памятник эпохи. Читая правдивые строки о той жестокой войне, мы вновь вспоминаем наших героев, рядовых солдат и офицеров, верой и правдой служивших Отечеству.

